

**МИХАИЛ
КОЛЕСНИКОВ**



**ЖИЗНЬ
БЕЗ
АПЛОДИСМЕНТОВ**



**Михаил
КОЛЕСНИКОВ**

М И Х А И Л К О Л Е С Н И К О В

**ЖИЗНЬ
БЕЗ
АПЛОДИСМЕНТОВ**

ПОВЕСТИ
И РАССКАЗЫ

ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР
МОСКВА • 1968

Колесников М. С.

К60 Жизнь без аплодисментов. М., Военное издательство, 1968.

440 с. 100 000 экз. 83 к.

Перу М. Колесникова принадлежит до двух десятков книг: здесь и повести «Атомоград», «Рудник Солнечный», «Счастливый оазис», и романтизированные биографии замечательных людей — «Миклухо-Маклай», «Лобачевский», «Сухэ-Батор», «Таким был Рихард Зорге», и сборники рассказов и очерков.

Изображая своих героев, писатель как бы ищет в них пределы человеческих возможностей, критерии целеустремленности во имя большого дела. К познанию смысла жизни его герои идут через трудности и испытания.

Михаил Сергеевич Колесников родился в 1918 году в Саратове. В 1938 году окончил военное училище связи в Ленинграде, а позже, после Великой Отечественной войны, — редакторский факультет Военно-политической академии имени В. И. Ленина, долго служил на Дальнем Востоке и в Сибири. Сотрудничать в армейской печати начал в 1944 году. Работал в Военно-морском издательстве и в журналах «Советский моряк» и «Советский воин».



Огонь, вода...

ПОВЕСТИ

На действительную приходят разные люди: и вчерашние десятиклассники, и те, кто успел, несмотря на свой юношеский возраст, пройти большую жизненную школу.

Меня как писателя всегда интересовала эта вторая категория. Вот уже несколько лет пишу роман в повестях «Жизнь без аплодисментов» — своеобразную «одиссею» рабочего парня, на долю которого выпадают различные испытания. В них он мужает, крепнет, постепенно становится сознательным строителем коммунистического общества.

Предлагаю вниманию читателя две повести этого цикла, связанные общностью замысла, — подготовка молодого человека к выполнению воинского долга.

АВТОР



нашего начальника, главного инженера Перегудова Григория Ивановича, богатая биография: он был на фронте — через всю щеку тянется белый шрам. Об этом шраме даже ходит анекдот: парикмахер с Калининской, желая польстить Григорию Ивановичу, сказал: «Я вас знаю. Брил три года назад». — «Ты, браток, опибаешься, — ответил Перегудов, — этот шрам я получил во время великой Курской битвы». Богатые биографии также и у других инженеров. Но все они, так сказать, уже стабилизировались в жизни. Григорий Иванович преподавал взрывное дело в Песчанке, он же возглавлял квалификационную комиссию, сам отбирал рабочих на стройку. И если бы я не заболел самой нелепой болезнью в моем возрасте — коклюшем, то уехал бы вместе с другими. Этот коклюш ляжет черным пятном на всю мою биографию. Нужно же умудриться из целого выпуска заболеть одному-единственному и к тому же коклюшем! Всем, бывшим в контакте со мной, ввели приличную дозу сыворотки. «Если выздоровеешь — устроим темную!» — пообещали бывшие в контакте. На прощанье симпатичная медсестра подарила в профилактических целях брошюрку: «Как Ванюша умер от коклюша». Ношу в нагрудном кармане. Перегудов на вид добродушный дядька. Но это кажущееся, а не действительное. Взрывники и бурильщики вздрагивают от негромкого голоса Григория Ивановича. Отобрав талон у провинившегося рабочего для него — раз плюнуть. И никакие мольбы и заступничества не помогут. Он кандидат технических наук, и его лысая, отливающая тусклой латунью голова набита формулами, как корзина груздями. Есть в этой драгоценной голове и еще кое-что позакovskyристее формулы Протодьяконова. Перегудов силой взрывчатки может поднять на воздух Гималаи.

Я пока не знаю, что может Угрюмов. Ведь он, по сути, такой же рабочий, как и мы. И все же мысли о Родионе не дают покоя. Вздвешиваю каждый его поступок, даже самый незначительный, пытаюсь смотреть на все его глазами.

Я думал о Родионе всю дорогу, пытался представить, как произойдет наша встреча.

Позади болотистое Витимское плоскогорье, заросшее лиственницами, выветрившиеся, разрушенные вулканы, жалкие холмы, которые и вулканами-то называть неприлично, озера с романтически-книжными названиями — Исинга, Харга; плоские вейниковые равнины, моховые топи в тряских кочках, перевалы; все та же бесконечная темная тайга, жесткая, колючая; небольшие поселения, прижавшиеся к берегам рек и озер: Сосново-Озерское, Гунда, Сага-Нуга, Ципикан. Куда бы ни свернули вездеходы, всюду Витим — золотая река; он, словно тенетник, оплел все плоскогорье. Километр за километром я открывал для себя новую страну, небывалую по красоте, страну, где с человеком все может случиться. Все, все, самое невероятное! Отойди на шаг в сторону от слякотной дороги — и сразу же тайга засосет тебя, ты останешься один на один с зеленой пустыней, со звонкими ручьями, на дне которых мерцают крупинцы золота, с косматой росамахой и бурым медведем.

На севере и на северо-востоке — высочайшие хребты Забайкалья — Северо-Муйский, Каларский, Удоканский, Патомское нагорье, Олекмо-Чарское нагорье. Тут встречаются горюшки и в три тысячи метров высоты!

Говорят, что страна между Витимом и Олекмой богата золотом, серебром, медью, оловом, углем, драгоценными камнями.

Я не первооткрыватель этого края. По пути часто попадались скреперы, бульдозеры, трелевочные тракторы — механизированные отряды прокладывают трассу. Трасса нужна всем. В котловине Цаган-ама за гольцом Бусугуй находится богатейшее месторождение касситерита. Совсем рядом, на Удокане, обнаружены, должно быть, самые богатые на земном шаре залежи медной руды. И этот край несметных сокровищ прочно огорожен болотами, порожистыми реками, труднопроходимой тайгой, горными цепями. Временные зимние дороги с потеплением превращаются в зыбкий холодец, оттаявшая мерз-

лота мягко осаживается. Сперва машина буксует, под колеса суют толстые бревна, водитель подает назад-перед; затем грузовик прямо на глазах начинает проваливаться — сперва по радиатор, а если не подоспеет подмога, то и по самую кабину. В наиболее опасных местах всегда наготове тягачи — дежурят день и ночь. Бывает, все оборудование, продукты, снаряжение вместе с машиной навсегда исчезают в трясине. А когда начинаешь подниматься по тугой спирали на голец, то душа уходит в пятки и с замиранием ждешь, что вездеход вот-вот съедет по неустойчивому склону и, переваливаясь с боку на бок, полетит в пропасть. Ночью приходится останавливаться. На высоте двух тысяч метров по-стеклянному звенит ветер, перемешанный со снегом. Возле костра на животе начинает тлеть ватник, а спина мерзнет. Тут уж не до сна.

И даже по этой дрянной дороге поток грузов не прекращается. Строители шоссе торопятся — они должны до ноября закончить работы. По всей трассе разбросаны бригады взрывников. Жидкая грязь, белые торфяные мхи, корневища болотной сосны взлетают на воздух — шоссе прокладывают через топи силой взрывчатки. Сколько ее, желтой, как яичный порошок, рассеяно по всей трассе!

Гольцы... Лучшего названия не придумаешь. Поднимаются над глубокими падами и распадками, над сизой до черноты тайгой куполообразные горы; а скаты у них гладкие, как бока у коровы. Это издали. Подступишься — вздыбятся утесы, скалы, повиснут над головой громадные зернисто-сиреневые осыпи, застывшие потоки некогда излившихся темно-серых базальтов и диабазов.

Голец Бусугуй не самый высокий из тех, что заслонили небо. Но склоны у него крутые, скользкие от мхов, будто намыленные. Да и олений мох — ягель по виду напоминает взбитую мыльную пену.

Я стою возле вездехода на ржавом от накипного лишайника камне и все не верю, что мы наконец прибыли. Пожалуй, и на картах не найдешь этого благодатного местечка: накручено речных долин, отрогов, распадков, ущелий. На все смотришь, словно через мутное синеватое стекло. Проступают сквозь дымку мгlistые, почти нереальные контуры гор, и тайга на их склонах внизу напоминает черную овчину. Распадки наполнены лиловатым туманом. Дальние хребты рассечены глубокими и

узкими ущельями. Где Удокан, где Калар, где Северо-Муйский, Южно-Муйский? Всучилась земля до самого неба. Горный узел. Завязано накрепко, не распутаешь...

Южный склон гольца Бусугуй белеет от палаток — веселый городок. Гуси-лебеди... Теперь и я буду жить здесь.

Встречает Родион Угрюмов. На нем синие рубчатые штаны и брезентовая роба. Из-под расстегнутой робы кокетливо выглядывает тельняшка. Моряк на суше. Из широкого брезентового кармана высунула голову какая-то желчно-трясущаяся гадость собачьей породы с влажными злыми глазами.

— Маргаритка, — нежно представляет Родион. — Прораб подарил. Убери пальцы, а то тяпнет. Злая, как крыса. Натренировал таскать записки от взрывников к бурильщикам. «Коблограмма» называется. А тебе письмо! — вдруг спохватывается он и сует помятый конверт. — Я от Наташи недавно получил...

— От Наташи? Кто такая?

— Да та, из Москвы, дружинница. Мы же переписываемся.

— А, капустный вилок с бородавкой на левой ноздре!

Родион мрачнеет. Удар был нанесен тупым орудием.

— Сам ты капустный вилок! Не бородавка, а родинка. Очень даже красиво.

Он сердито сплевывает и отходит.

С недоумением разглядываю конверт. Из Владивостока. Военская часть номер такой-то. От кого бы? Почерк совсем незнакомый. Почему Владивосток? Возможно, ошибка? Мало ли однофамильцев!

Любопытство берет верх. Вскрываю конверт: «Дорогой друг! Хочу сказать по-дружески, как друг другу: Ремарк не прав...»

Алька Пискунов! Потрясающий фокус!.. Каким ветром занесло этого вертопраха к океану?

Алька пишет: «Исполнилась моя заветная мечта — стал военным моряком. Романтика на сто процентов: клотик, комингс, полубак, галюн. А в перспективе: пальмы, бананы, ананасы, Гваделупа, Посьет, бухта Ольга, Шантарские острова и энное количество кружек компота...»

Не верю глазам: что-то никогда не слышал, чтобы

Алька мечтал о флоте. Призывали — служит. И, как всегда, фантазирует. А как служит, о том никогда не узнаю: Алька не станет писать о неудачах. Несладко придется разгильдяю! Даже трудно представить его в благородной матросской форме.

— Ну, дед, а ты теперь куда? — спрашиваю Антипа. — Небось стражем склада взрывчатых материалов?

Старик крутит головой.

— Это нам ни к чему. Жить еще не надоело. Да и образованием в кладовщики не вышел. Пусть Афонька Кублаков краматорием командует. Раз сам Григорий Иванович вызвал, значит, дело найдется. Не без того. У меня, брат, свой институт: пока есть расхитители добра — страж нужен. Скажем, шофера и бурильщики — народ сознательный, а запчасти друг у друга воруют. Вроде бы не для себя, для дела. Все равно воровство. Как сказывал начальник милиции товарищ Бутаков: характер воровства изменился с изменением опчества. Понял?

...Сплю с Родионом в одной палатке. Он у нас за старшего. Вечером скулы трещат от обычного «умственного» разговора.

— Математику подтянул?

— Тянул, да не дотянул. От бинома даже у Антипа ум за разум зашел. Пробежал глазами тысячу километров строк. Зубрить — это все равно что ездить по надоевшей дороге. А как у тебя с художественными образами?

— Не до жиру! Объясни про Обломова. Какого черта он все время дрых?

— Среда заела.

— Чего же она других не заела? Того же Рахметова?

— Одних заедает, других нет. В литературе тоже свои формулы. Послушай: «Илья Ильич болезненно чувствовал, что в нем зарыто, как в могиле, какое-то хорошее, светлое начало, может быть теперь уже умершее, или лежит оно, как золото в недрах горы, и давно пора бы этому золоту быть ходячей монетой. Но глубоко и тяжело завален клад дрянью, наносным сором. Кто-то будто украл и закопал в собственной его душе принесенные ему в дар миром и жизнью сокровища». Такая цитатка убивает экзаменатора наповал — пятерка обеспечена.

Родион задумывается.

— Зарыто, как в могиле... Как золото в недрах горы... Тяжело завален клад дрянью. Это наподобие оловянной руды. Дрянью взрывать будем. Ну а если ни черта в нем не зарыто? Просто лежебока — и все! Легче всего валить на среду. А цитатку перепишу. Пригодится. Среда заела... Вот если мою дворнягу заедают блохи, она и ухом не ведет, а пудель прямо с ума сходит. Зубами шкуру прокусывает. Загадка природы.

Он распаляется и начинает философствовать. Со стороны склада взрывчатых материалов доносится голос скрипки: это кладовщик Афоня Кублаков «осваивает» «Танец маленьких лебедей». Перед каждой палаткой полыхает костер, а весь наш городок напоминает становище кочевников.

— Прожить бы сто жизней! — восклицает Родион.

— Зачем?

— Чтобы попробовать себя во всем. Скажем, у меня до флота одна была жизнь. На флоте — совсем другая. Теперь вот третья...

— Как талоны в «Единой книжке взрывника».

— Думал: поступаю в институт — будет четвертая. Сорвалось. А ведь должна же быть четвертая!

— Женишься — будет четвертая, и последняя. Дружинница зажмет тебя в кулак.

— А при чем тут дружинница?

— При том. Вот посмотришь — прикатит. Мужик нонче в цене. А такого красавца, как ты, поискать.

— Брось дурацкие шутки, а то могу разозлиться.

— Злись. А я, дяденька, не боюсь. Кедрач, пихтач, медвежатник!

Родион швыряет подушку, твердую как железо. Взываю от боли. Летят раскладушки, обрушивается палатка. Маргаритка впиивается зубами мне в ногу.

— Ну и коблы! — кто-то сбрасывает полотнище палатки. Перед нами Григорий Иванович Перегудов, гордый инженер, руководитель взрывных работ. Он морщит узловатый раздвоенный на конце нос, отбрасывает ногой осатаневшую от злости Маргаритку. Мы смущены и стоим навытяжку.

— Завтра в пять утра на участок! — говорит Григорий Иванович. И уходит в рыхлый туман, насвистывая какой-то марш.

Угрюмов восхищенными глазами провожает высокую сухопарую фигуру в свитере, военных шароварах и кирзовых сапогах и шепчет:

— Бог!

И с этим удивительным человеком я буду встречаться каждый день, работать. А потом, лет через двадцать, открою толстенный учебник с выразительным заглавием «Буровзрывные работы» или что-нибудь в этом роде, а на первой странице — портрет Григория Ивановича. И я вырву этот портрет, и повешу в своей походной палатке, и каждое утро натошак стану произносить его знаменитую формулу. Ибо тот, кто придумал хоть одну формулу, входит в бессмертие. Вы можете дурно относиться к Пифагору, но «пифагоровы штаны» обязаны знать.

...В три утра плетемся к складу. Во рту еще не исчез горький вкус от прерванного сна. Расходный склад размещается в пескольных пещерах. От остального мира он отгорожен земляным валом и колючей проволокой. Тут и охрана и караульное помещение. Отведена даже уютная пещера для резки детонирующего и огнепроводного шнура. Владения кладовщика Афанасия Кублакова, перебравшегося сюда со всем своим гремучим имуществом из Песчанки. Кладовщик, пещерный житель, повелитель детонаторов, аммиачно-селитренных и нитроглицериновых — почти колдовская профессия!

Родион умеет ладить с людьми. Только не может подобрать ключика к Кублакову.

— Афанасию Саввичу компривет! — оживленно произносит Угрюмов, явно подлаживаясь под характер этого сумного человека. Тот поднимает лицо от прихода-расходной книги, глядит на нас неподвижными глазами из-под тяжелых надломленных бровей. Здесь же на ящике со зловещей надписью «Динамит», рядом с тесаком для резки огнепроводного шнура, лежит скрипка, хрупкая, изящная, словно только что вынутая из лакового раствора. В помещении сладковато-душный запах.

— Балетные мелодии разучиваете? — любопытствует Родион, стараясь говорить профессиональным языком. — Танец маленьких медведей. Па-де-де.

Хмурая улыбка кривит губы Кублакова. Он трясет перед носом Родиона разграфленными бумажками. Это не ноты, а накладные.

— Почему твои стажеры носят взрывчатые материалы в карманах? Что, для вас «Единых правил» не существует? Сказано же: при переноске ВМ нигде не останавливаться, направляться к месту работ, минуя скопления людей. А этот, — он тычет в меня медно-желтым ногтем, — вчера с детонаторами в кармане полчаса трепался с бурильщиками.

Родион укоризненно качает головой.

— Возьми на пол-октавы ниже. Накажу его. Ты же меня знаешь...

Лицо Кублакова светлеет.

— На пол-октавы ниже... — передразнивает он. — На полбалалайки выше. Давай наряд!

За проволочной оградой склада встречаем Антипа. Он сидит на бочке с водой. Старый мерия нехотя шевелит ушами, косится из-за оглобли на хозяина.

— А, дорогой Антипод! Зачем вы посетили нас в глуши забытого селенья? — восклицает Родион.

— Посетил. По приказу Григория Ивановича воду развожу. Отойди подальше со своей сумкой — небось детонаторы. Мерия, он привычный, а я пока не обвык.

— Значит, вывалился из своей тележки?

— Это еще как сказать. Григорий Иванович обещал на взрывчатку перебросить — подвозить к скважинам и караулить.

— А не боязно?

— Все там будем. Одни раньше, другие опосля. Но-о, милый!..

Я смотрю вниз, где бурлит река. Крутой спуск — ноги обломает. И что заставляет неугомонного старика маяться целыми днями? Здесь, среди множества людей, Антип стал будто ниже, и вся его житейская философия кажется обыкновенной старческой болтовней. Родион обещал Кублакову наказать меня. Знаю Угрюмова: слов на ветер не бросает. Сказал — будет сделано. Для него неважно, что друг. Нарушил правила — получай сполна. Стажер есть стажер, а бригадир — уже начальник. Расправится по-свойски, без официальных. Даже разбирает любопытство: какую казнь придумает?

— А знаешь, — говорит Родион, — этот Афоня довольно симпатичный малый. Рассеянность как у Бетховена. Десять лет дружит с одной девушкой. Ее все знают. Галя из столовой. Сам понимаешь — десять лет! Тут ангел тер-

нение потеряет. Вот Галя ему и говорит: «Не думаешь, что пора нам пожениться?» — «Конечно, — рассеянно соглашается Афоня, — но кто же нас возьмет?»

Западный склон гольца Бусугуй. Он поднимается почти отвесной стеной. Внизу, на дне ущелья, — туман. Как грязная атласная перина. Над пропастью качается люлька — сооружение из досок. В люльке человек. При взгляде на него захватывает дыхание.

— Чего это он там?

— Это Андрияха Чупров, — нехотя бросает Родион. — Бурит шпуры. Видишь ли, там будет нижняя площадка.

— А он не сорвется?

— Сорвется, конечно. При желании в тазу утонуть можно.

Ветер раскачивает люльку. Но Чупров делает свое дело. Я знаю этого парня. Тоже с причудами. Коллекционирует растения. Родом из Арзамаса. А где тот Арзамас — представления не имею. Сперва почему-то казалось, что на Кавказе. Возможно потому, что в детстве дразнили косоного Фильку Лопатина: «Один глаз — на Кавказ, а другой — на Арзамас».

— Арзамас — знаменитый город, воспетый Горьким и Гайдаром, — пояснил Чупров. — Все великие люди там перебивали. В ссылке, конечно. Лабазы — во! До сих пор сохранились.

— А зачем ты цветочки собираешь? — недоумевал бурильщик Ломакин.

Чупров делался серьезным.

— Кому что. Угрюмов вон собак обожает. Страсть. Может, в нем великий собаковод загублен. А я — цветочки и травы. Ботаника и фармакология. Учитель был. Герасим Акимович. Добрее мамки. У него садик: опунции и юкки. Агавы. В Арзамасе-то! Его прозвали арзамасским Мичуриным. Он во мне это с пятого класса провидел. «Вы, — говорит, — рождены для ботаники. Я из вас нового Шипчинского сделаю». Или, к примеру, лекарственных травы. Бадан, левзея софлоровидная. В нашей полосе нет таких растений, а тут их топчут ногами. Очень полезные травы. Левзея расширяет кровеносные сосуды. Для склеротиков — находка.

— Ну, у меня до этого еще не дошло. А бадан?

— При расстройстве желудка.

— Яшагину посоветуй. У него перед зарядкой шпуров всегда такая история.

Я видел гербарии Чупрова. Все аккуратно. Листик к листику. И названия. От него узнал, что магнолия — древнейший цветок мира: была уже в меловом периоде. Ни я, ни Чупров магнолии никогда не видели.

— Чего же ты не пошел по этой части?

Чупров согнул руку.

— Пошупай.

Не мускулы — камень.

— А куда гербарии?

— Учителю отсылаю. Он старенький. Нигде, кроме Арзамаса, никогда не бывал. Ему бы в тропические леса! Ученики разъехались кто куда: кто на север, кто на юг. Каждому задание. Особенно большое любопытство у него по отношению к Сибири. Ведь, если хочешь знать, тут четыре тысячи видов дикорастущих. Герасим Акимович живет школой. Небось развесил присланные со всех концов гербарии по всему кабинету и упивается. Да мы для него со дна морского достанем! Вот видишь те крупные сине-фиолетовые цветы? Аквилегии!..

Я поглядел на этого огромного парня и подивился его привязанности к школе, к Герасиму Акимовичу, ко всему тому, что называется детством...

Теперь Чупров висит над пропастью. И, конечно же, помимо своего дела, еще занимается чепухой: пытается сорвать с риском для жизни какую-нибудь левзею или камнеломку, торчащую из расселины.

А Родион все поглядывает искоса на раскачивающуюся люльку и говорит:

— Опасная у них работа. Аж мороз по коже. Того и гляди, веревки оборвутся. Я бы ни за что не рискнул. А ты?

Зябко повожу плечами, как читинская балерина, которая зимой выступала у нас в нетопленном клубе.

Мы на верхней площадке. С истошным визгом крутятся блоки. Люлька ползет вверх. Из нее выбирается Чупров. Лицо посиневшее.

— Ну как, опунция?

— Как на качелях. Если бы не предохранительный пояс, загремел бы к предкам.

— А что у тебя в карманах?

— Анемоны.

— А их едят?

Андрюха вынимает из люльки бурильный молоток.

— Полезайте. Не забудьте чищалку!

Он отстегивает предохранительный пояс и протягивает мне.

— Надевай слюнявчик!

Я в смятении. Ходуном ходят колени.

Родион подмигивает с видом злодея-заговорщика.

— Полезай, полезай! Двоих это корыто не выдержит. Дай бог, одного бы выдержало. Полегче с детонаторами. Перекинь сумку на левый бок. Забойку уже положили. О родных не беспокойся — напьемся.

Это и есть наказание? Туман внизу рассеялся. Теперь там клубится солнечный свет. Видны острые черные камни. Под ногами, на расстоянии вытянутой руки, покачивает желтой головкой на тощюсеньком стебле мак. Никакая сила не заставит меня оседлать шаткие доски! Я не приучен к высоте, боюсь ее. Голова сразу же пойдет веретеном.

Родион отвернулся. Он разговаривает с Григорием Ивановичем. Ведь для других это обычное дело — болтаться на веревке над пропастью. Лица Угрюмова не видно. Но знаю: на губах насмешливая улыбка. Проучил, проучил... Тут же стоит заместитель Перегудова — инженер Скоробогатов.

— Чего он там мешкает? — спрашивает инженер.

И я лезу в люльку. Лучше смерть, чем презрение. Чтобы усть Угрюмова, уже из люльки кричу:

— Как тебя ласкательно: Родимчик?..

— Не забудь нарвать ацемонов! — верещит от восторга Яшагин.

2

Весь западный склон гольца разделен на участки. На каждом несколько штолен. Проектная глубина выработок тридцать пять — сорок метров. Инженер Перегудов решил произвести так называемое массовое обрушение западного склона. Силой взрыва будет образована широкая гранитная полка. По ней-то и пройдет шоссе в котловину Цаган-ама.

Прямо-таки грандиозная задача! Смотришь на гранитную твердь, на тупой лоб гольца и не веришь, что подобное дело во власти человека.

Не знаю, как проект Перегудова выглядит на бумаге: наверное — кальки, синьки, хрусткий ватман, до которого не дотронешься перепачканными в грязи руками, строгие столбцы цифр. Расчеты, расчеты: нужно учесть длину каждой штольни, объем каждой минной камеры, расположить заряды — много всякой всячины. Внушительно, солидно. Проект...

На практике все гораздо проще: наш мир ограничен штольной. Этакая дыра, или тоннель, в полтора метра высоты и в метр ширины. Ни повернуться, ни выпрямиться. Вот так изо дня в день и ласкаешь взглядом каменную грудь забоя. Воздух густой, тяжелый, можно ложкой мешать.

Жизнь в полусогнутом состоянии. Даже выработалась особая походка: так передвигался наш предок питекантроп — втянув голову в плечи и опустив руки чуть ли не до земли. С грацией престарелого павиана карабкаешься на косогор, а из-за валуна — антропоид! Ошибка! Это бурильщик Кузя Зуев собственной персоной. Пренеприятнейший тип. Краснобровый глухарь с задатками скупого рыцаря и мелкого рвача. Бузотер почище Яшагина. Торгуется из-за каждого сантиметра выбуренного шпура. Копит деньги, завел сберкнижку. Платит за мыло и то прикидывает: не переплатить бы. Каждый гривенник ощущает.

Стычки с Кузей происходят каждое утро. Наш бригадир Угрюмов поднимается ровно в три. Остальных в эту пору хоть за ноги тащи.

— Подъем! — кричат Родион. — Выходи строптаться, салажата!

Для верности, чтобы не было опаздывающих, заложит два пальца в рот, свистнет — мертвый вскочит. Бежим к кадушке с ледяной водой, наскоро умываемся. Суматоха, верещание Маргаритки, короткий завтрак, который от спешки становится колом в глотке. Особенно великолепен в эти минуты Кузя Зуев. Он ест не спеша. Отрезает от индивидуального куска сала тонкие розовые ломтики, протыкает их складным ножом и отправляет в рот. Потом старательно облизывает лезвие. Неврастеника Яшагина всего корчит от этой картины.

— Не дыши над ушами салом! — кричит он.

Родион смеется и, чтобы поддразнить Яшагина, также облизывает свой нож. Наконец Маргаритка прыгает в ши-

рокий карман брезентовой куртки Родиона, и мы отправляемся на участок.

Еще с вечера остались выбуренные шпуры — отверстия в породе, куда нужно заложить заряд. Начинается легкая перебранка с тяжелыми последствиями. Наш бригадир отказывается принимать работу бурильщиков: глубина, направление и диаметр шпуров не соответствуют паспортным нормам. Из-за неправильно выбуренного шпура задерживается взрывание всего блока.

— А че ты меня учишь, че учишь? — ерепенится краснобровый Зуев. Уши, за которыми спрятаны окурки, наливаются кровью, жилы на шее натянуты как струны.

Маргаритка настороженно следит за каждым взмахом его рук, расшатанных в запястьях, трясется от ярости.

У Кузи железная логика: он способен доказать, что кривое вовсе не кривое, а наоборот. Он, как всегда, неуязвим. Родион нетерпеливо морщится. Кузю все равно не переспоришь, пусть убирается ко всем чертям!

— А че ругаешься? Я через бюро потребую извинения. Ты че ругаешься, молокосос? А еще член партии, тельняшку напялил. Моряк — с печки бряк. Обормот! Вот Перегудову пожалуюсь...

Угрюмов в изнеможении поднимает руки.

— Сдаюсь, Кузя! Припошу тысячу извинений в квадрате за неделикатность. А теперь забирай свои непреходящие ценности и уматывай на полусогнутых. Взрывать пора. Ну и фрукт!

— Я-то?

— Ты-то.

— Я те не фрукт и не Кузя, а Кузьма Савельевич. Видал карточку на доске? Уважать обязан.

— Точка. Поджигаю шнур!

Кузя смиряется и уходит.

Как ни удивительно, но фотография Зуева в самом деле висит на Доске почета. Трудится он, правда, зверски, до потери сознания. И тут же мечтает о том дне, когда бросит «чертову» работу и заживет мелкой спекуляцией с приусадебного участка. Были дебаты по вопросу, вывешивать ли фотографию Зуева на доску. «У Зуева несоветская идеология. Я категорически против!» — заявил молодой инженер Пилюгин. У Кузи сделалось постное лицо. Он лизнул шелушащиеся губы и глухим голосом произнес: «Политическое обвинение. Кто дал право

этому желторотому воробью предъявлять мне подобные обвинения? Руки у меня ухватом, точно. Но они ухватом от работы, а не оттого, что Зуев хочет загрести побольше. Я восемь лет член профсоюза. У твоего папеньки, наверное, правильная идеология: тебя нам подсунул, великого специалиста. Сперва подучись, а потом рассуждай про идеологию. А у меня несоветская идеология. Я слишком зарабатываю и еще ни одного огурца с несуществующего участка не продал. А ты комаров давишь. Вешайте карточку, говорю!..» Карточку вывесили. Пилюгин, рассерженный сверх меры, куда-то писал, жаловался.

Кузя умеет постоять за себя, и даже речь сразу становится безо всяких «че».

Ладони горят, наливаются чугушной тяжестью. В тесной штольне жарко. Стрекочут перфораторы, по-стеклянному звенит голец. На лице Родиона масляно блестящие пятна расплавившейся грязи. Он отбрасывает бурильный молоток, снимает рубашку. От голой спины идет терпкий пар.

— И как они, чертяки, целую смену выдерживают?! — восхищается Угрюмов бурильщиками. — Можно оглохнуть и петушину грудь нажить.

— Родимчик, разреши глоток свежего воздуха! Слишком до печенок добрался.

— Не разрешаю.

Мы осваиваем новую специальность. По совместительству. Обязанности предельно просты. Проверил давление воздуха и воды, продул шланг, присоединил к молотку — и знай себе долби. Бур с натугой входит в гранит. Весь дергаешься, как наглухо привязанный к молотку. Часа через три выползаешь с опухшими от грохота ушами. Нос трясется, руки трясутся, глаза от беспрестанной натуги лезут из орбит!

— Так жить нельзя! — надрывается Родион. Слова доходят, будто через толстый слой воды.

— Ась?

— Жить нельзя.

— Все там будем.

— Где?

Показываю на походную кухню, из трубы которой приветливо вьется дымок.

— Рано еще. Нужно что-то придумать.

— Насчет еды? У Яшагина видел селедку.

— Какую еще селедку? До подхода механизированной колонны не успеем штольни пробить.

Наконец тупой гул в ушах смолкает, и мы ведем уже осмысленный разговор.

— Григорий Иванович тревожится, — говорит Родион.

— А чего ему тревожиться? Вон инженер Скоробогатов ходит как ни в чем не бывало.

— Ведь полка для дороги должна быть определенной ширины! Намечалось, что до осени управимся.

— Ну и что ж?

— Что ж, чего ж... — терлет Родион терпение. — Тончайший расчет — вот чего ж! Нужно получить ровный отрыв породы по всему фронту.

— Получим. Он же бог.

— Бог-то бог, да бурильщиков мало.

— Следовало прислать больше.

— Не требовалось. А теперь, когда стали в голове потока, потребовалось. Не управимся до подхода мехотрядов.

Оказывается, пока я ловил чебаков на озере, на трассе произошли большие изменения. Если бы дорожники шли, как было намечено, не стоило бы тревожиться: мы успели бы вырубить в граните полку нужной ширины и длины. Но у них там, на трассе, появились свои рационализаторы, кто-то изыскал более экономный участок, кто-то предложил способ, уменьшающий расход каменных материалов, кто-то сверху приказал перейти от рассредоточенного метода строительства на поточный; и мы вдруг оказались в голове потока. Над нами занесены ножи бульдозеров и стрелы экскаваторов.

Не знаю, чем эти два метода отличаются друг от друга, но озабоченность Родиона непонятна. Ему-то что? Есть Перегудов, Скоробогатов, инженеры, техники. Они за все в ответе. А мы знай руби, взрывай. Как-нибудь что-нибудь и без нас придумают. Неверие в собственный разум у меня сочетается с глубокой верой в инженерную мысль, находчивость. Это так же, как непоколебимая убежденность в том, что к моей старости ученые обязательно придумают бессмертие. И, конечно же, бессмертие в первую очередь подарят мне. Я никогда ничем, кроме коклюша, не болел и не сомневаюсь, что при современном уровне медицины можно излечить любую болезнь. Даже силикоз. Хотя фельдшер Северинов и утверждает,

что от силикоза еще никто не поправился. Запугивает в профилактических целях.

Мы очутились по воле начальства в голове потока. Стоит ли из-за этого унывать? Хоть в хвосте, хоть в голове — все равно руби, долби, взрывай, выгребай. Ночью во сне спину и руки судорогой сводит.

— Вон в гильзу дербанят. Пошли обедать...

Раздобревшие после еды лежим возле палатки. У самой барабанной перепонки зудит здоровенная муха, будто играет на гребешке.

— А Перегудов-то ходит с опущенными бровями, — говорит Яшагин и указывает на главного инженера, который в глубокой задумчивости бредет по лагерю.

— Подсуропили дорожки со своим потоком, — лениво отзывается Родион. — Тут не только брови опустятся. Одним словом, поток. Того и гляди, захлестнет! Григорий Иванович ищет выход из создавшегося положения. Теперь бы всем пораскинуть мозгой, подсказать что-нибудь дельное Перегудову. Ум — хорошо, а полтора — лучше, говаривал один классик.

— А правда, что от Григория Ивановича жена сбегала? — спрашиваю я.

Угрюмов косится огненно-зеленым глазом.

— За сплетни сажают на ящик с шестидесятидвухпроцентным динамитом и слегка покачивают. Чтобы любить такого, как Григорий Иванович, нужна особенная женщина. Перегудов целыми сезонами пропадает на стройках. Тебя, между прочим, тоже ждет подобная перспектива.

— И тебя.

— Я не буду жениться.

— А дружинница?

— Что дружинница?

— Да так.

— То-то же! Григорий Иванович — идеал человека.

— Идеал-то идеал, — возмущается Ромка Яшагин, — но за каким чертом этот идеал отстранил меня от взрывания и хочет послать воду возить? Я же горнорабочий, а не Швейк. И что это за порядки? Мы должны еще вкалывать и за бурильщиков. Чья-то нераспорядительность, а тут отдувайся, расплачивайся своим горбом...

Приподнявшись на локте, Родион некоторое время как бы с удивлением разглядывает Ромку.

— На собрания все были, и все голосовали за то, чтобы каждый овладел тремя горняцкими специальностями.

— Я воздержался. Мне не требуется. Одной сыт по горло. Хватит измываться над человеком.

— А ты хотел, чтобы тебя за нарушения по головке гладили? — распаляется Угрюмов. — Еще по комсомольской врежем! Подвел всю бригаду...

Ромка в самом деле отличился. Есть золотое правило: при огневом способе взрывания рабочий обязан вести счет взрывам. Яшагин обнаружил отказ заряда в шпуре. Но вместо того чтобы выставить предупредительный знак и доложить об осечке бригадиру, кинулся извлекать патрон-боевик. Все обошлось благополучно, Ромка не погиб под обломками. Чувствовал он себя героем: ведь все считали его чуть ли не трусишкой, не понимая, что Яшагин на каждом шагу старается победить свой характер, вырабатывает волевые качества. Подоспевший к месту происшествия Перегудов прямо-таки закрипел зубами. Голос его напоминал удары камня по железной крыше.

— Куда вы смотрите? — накинулся он на Угрюмова. — Под суд отдам... Разгильдяя устранить. Пусть воду возит, пока не наберется ума.

Рабочие опасливо обходили стороной разъяренного инженера.

— И все-таки он плешивый дьявол, — убежденно произносит Яшагин.

— Лысица — не главное в человеке. Человек — это прежде всего существо, способное к абстрактному мышлению. Все остальное — атрибуты.

— И лысина — атрибут? Двадцать лет спустя после Курской битвы носит военные штаны! Пора бы уж менять ансамбль.

На язык Ромка остер. Это белокурый красивый парень. Напоминает добротный сделанный негатив: волосы белые, ресницы белые, а лицо черное, загорелое. Уверенная посадка головы, будто ему все нипочем. Личность для меня крайне загадочная. Болтают о Яшагине всякое. Будто бы, проучившись семестр в вечернем политехническом институте на энергетическом факультете, погорел на экзаменах. Отец тяжело оскорбил Ромку, обозвав тряпкой. Тот же отец, агент по заготовке мяса, добился своего: Ромке позволили пересдать экзамены. Но Роман

не ухватился за эту возможность. Сел на поезд и укатил в Сибирь. И тут, конечно, попал в распростертые объятия Григория Ивановича. Перегудов питает непонятную слабость к Яшагину. Допусти нарушение кто-нибудь другой — отобрал бы талон. Отчитал Угрюмова — и все. И в водовозы, разумеется, не пошлет. Так, для острастки... А Ромка чуть ли не в глаза издевается над инженером. Яшагин, безусловно, человек интеллигентный. Читает книжки с непонятными заглавиями — первый признак интеллигентности. Скажем, «Эвристика». Довольно-таки потрепанная книжочка. Одним словом, дореволюционное издание. И еще другая: «Хатха-йога».

Ко мне Яшагин отнесется дружески, как равный к равному, без покровительства. Его всегда занятно послушать. Особенно когда рассуждает о воле и о том, как по почерку определять характер.

Под вечер, когда производить взрывы в штольнях уже запрещено, спускаемся к реке. Тут можно задохнуться от цветущей черемухи и рябины. Белый дурман. А сбоку, из-за макушки гольца, вырывается слепящий луч солнца. Тайга подступает к реке малахитовой стеной, и оттого вода кажется желтовато-зеленой.

— Вон те уродливые скалы называются кыгылляхи, — поясняет Яшагин. — Красоту понимать нужно. Будто природа собиралась создать статуи каких-то неведомых существ. Кыгылляхи... Чувствуешь? Экзотика. — Он изумленным взглядом окидывает меня с ног до головы и неожиданно говорит: — Ты вписываешься в этот пейзаж: темная, заскорузлая тайга, горелые пни и дремотно-равнодушный к дикой природе мужик в здоровенных резиновых сапогах. А я нет! Мне больше подходят одинокие утесы над морем. У нас в Ульяновске — Венец. Такое место, где по вечерам собирается народ. Обрыв над Волгой. Я любил стоять там и слушать тоскливые гудки пароходов. Волга... Тебе не понять.

— Ты плохой психолог. Мы с тобой почти земляки. Посмотрел бы Волгу возле Астрахани...

Яшагин сбив с толку. Он считал меня коренным сибиряком.

— Твой отец был на фронте? — спрашиваю я.

— Нет. Папахен умеет жить. За то и ненавижу его.

— А моего убили уже после войны в Германии. На посту стоял... Так никогда его и не видел.

Ромка любит подпустить непонятное словечко из Большой советской энциклопедии. Так, для оригинальности. Одурачить кого-нибудь — тоже хлебом не корми.

Попросили как-то еще в Песчанке показать карточку возлюбленной. Ромка долго рылся в карманах, вздыхал, наконец вынул черный конвертик, а в нем — фотография смеющейся обезьяны! На обороте каракулями: «Дорогому Ромулу, воспитаннику волков! Привет из Московского зоопарка. Твоя Бубу».

Ломакин, который был тут же, даже потемнел и произнес дурным голосом:

— Такой тип, как ты, подохнет — никто добрым словом не помянет.

Яшагин рассмеялся.

— Предрассудки, старик. Какой толк от того, что тебя помянут? Я живу не по чьей-то милости, не потому, что мне это разрешают, и не для того, чтобы доставлять кому-то удовольствие. Я никому ничем не обязан и не требую к себе чуткого отношения. Даже после смерти.

— Ты комсомолец, а читаешь всякую ерунду: Шопенгауэра, про йогов, какую-то «Классификацию личностей». Поносишь всех, не понимая, что непримиримость ко злу совсем другое.

— Запрещенный прием. Представь себе, приняли в КСМ и воздержавшихся не было. Чтобы спокойно спалось, считай мое увлечение волюнтаризмом временным, причудой. Ты же запоем читаешь приключенческую белиберду, и я отношусь к подобному разврату терпимо.

Ломакин затаил злость и отомстил.

Ночью привязал к железной кровати Яшагина будильник. Проснулись от вопля Ромки:

— Ребята, тикает!

— Что тикает?

— Часовой механизм. Тут же раньше склад ВМ был. Мина...

В нижнем белье, трясущиеся от холода, мы по одному подходили к его кровати и прикладывали ухо к подушке.

— Ничего не слышно.

— Тикает, говорю.

— Что же делать?

— Взлетит к черту этот сарай! Смываться нужно...

— Ну и смывайся! Мы спать хотим. Может быть, и

минна-то пустяковая, а мы — на мороз. У тебя тикает, а не у нас.

Ломакин, которому надоела комедия, нагнулся, отвязал будильник, потряс им в воздухе и с деланным возмущением произнес:

— Идиоты! Разве такими вещами шутят?.. Спи спокойно, дорогой друг. Мы последуем твоему примеру...

Заходящее солнце над сопкой — словно прикушенный язык. На небе красно-серые облачка. К ветру... Ветер и так все уши продул. Багровеет ягель. Потом становится лунно-голубым.

— А чего понесло тебя во взрывники? — спрашиваю Ромку. — С твоей грамотностью мог бы подыскать что-нибудь полегче.

— Фортупа. Познакомился в поезде с Перегудовым. Не знал, кто такой. Ну, скучно. Морочил ему голову системой йогов, «Эвристику» цитировал. Старик в то время под впечатлением находился: отказался от заграничной командировки. Во Вьетнам хотели послать, на Хонгайский карьер. Роскошь... Пальмы, бананы, южные моря. Синяя экзотика... Можно только грезить, а он отказался. Свое, дескать, дело торопит. Стал расписывать, как хорошо быть взрывником. Я-то слюни и распустил. Папахена допечь хотел: напишу, мол, что стал взрывником, со смертью играю, быстро прискачет, извинения попросит. Написал. А он в ответ телеграмму: «Рад, что проявил самостоятельность. Поздравляю трудовыми успехами. Батя». Не выгорело. Как ты думаешь, что главное в человеке?

— Родион говорит — совесть.

— А как ты считаешь?

— Я, как он.

— И я так считал. А папахен утверждает — воля. Волевой человек даже с ограниченными возможностями всегда пробьет дорогу. Борьба за приличное существование. Нужно воспитывать в себе волю.

— Научи, пожалуйста. Может, пригодится.

— Таким вещам не научишь. Это понимается интуитивно. Предположим, охота тебе яблоко съесть, а ты его откладываешь в сторону. Мне девчонка письма пишет, а я не отвечаю. Воспитывать волю — значит поступать наперекор всем своим желаниям. Вот меня обвиняют во всех смертных грехах. Чуть ли не рвач. А что плохого

я сделал? Курсы окончил с отличием. Не пью и не курю. Работаю, как все вы. Дурачусь? Так все дурачатся. У каждого свои бзики.

— Бзики?

— Да.

— Это по-каковски? Признайся: у тебя есть график жизни?

Он хмыкает.

— График есть. Только поезд идет в обратную сторону. Накоплю монет — перемену знаки на обратные. Сам добыюсь всего без подачек.

И Яшагин сжимает кулаки.

— Ты ведешь дневник? — спрашивает он.

— А зачем?

— Ну как? Ведь все, что случается с человеком, это неповторимо. Понимаешь? Никогда потом этого уже не будет. Должен же ты оставить после себя какой-то документ, как-то выразить свое отношение ко всему. Или хотя бы научиться формулировать это отношение. Прочитаешь в старости — и поразишься, каким извилистым путем шел к цели, хотя ларчик-то открывался просто. Потом скажешь, если бы все начать с самого начала, пошел бы другим путем, отрешился от глупых иллюзий, от жалкого вздора, называемого романтикой, внутренним благородством. Для сильных личностей единственный закон — их желание.

— Как у Некрасовского помещика: «Кулак — моя полиция, закон — мое желание»?

— Утрировка! Я говорю о том, что человек опутан условностями, культом служения своему муравейнику.

— Родион сказывал, что если бы мир состоял из индивидуалистов, то и никакого общества не существовало бы. Кто землю пахал бы или делал ставки? Не было бы ни дорог, ни автомобилей. Ты первый не пошел бы строить дорогу.

— Сильная личность — явление исключительное. Она создает законы для других, ломает старые.

— А нас учили, что законы общества имеют объективный характер.

— Ну и черт с тобой! Оставайся со своими школьными истинами.

— Покажи дневник.

— Дневник не показывают. Это сокровенное. Я, на-

пример, совсем недавно был сторонником теории фрустрации. А теперь эта теория начинает казаться мне вздором.

— Отродясь не слыхал. Фрустрация — протрация.

— Есть целая теория, учение о том, как добиться успеха в жизни. Мол, человек только тогда активизируется, становится деятельным, когда испытывает невероятные лишения и страдания. А я убедился, что на пустой желудок и башка ни черта не варит.

— Я до этого дошел еще в детстве своим умом.

В какой микроскоп нужно разглядывать этого парня, чтобы до конца понять его? Раньше люди для меня делились на две категории: на добрых и злых. К добрым причислял тех, кто ко мне хорошо относится. Яшагин стоит особняком. Он может быть и великодушным и до смешного мелочным. Больше всего оберегает свою «внутреннюю свободу». Ему так и кажется, что все посягают на эту «свободу». Но мы иногда его просто не понимаем. Никому нет дела до его секретов, сердечных тайн. Здесь о людях судят по делам. Ходишь в молодцах — к любому твоему слову прислушиваются, если даже мелешь вздор. Добродушно посмеиваются: «Ну, погибает, бродяга! Уши вянут...» Молодцу прощают грубость и озорство, которые не всегда бывают безобидными. Молодца по трансляции поздравляют с днем рождения и вывешивают на доске специальную стенгазету с карикатурами на него. В такой газете Родиона называли «дамой с собачкой». Тут же карикатура: Угрюмов на собачьей упряжке отправляется в столицу сдавать экзамены. Из Москвы возвращается на осле. Тонкий намек. Угрюмов хохотал вместе со всеми и разбрасывал пятаки.

Не таков Яшагин. Он обидчив, хотя всегда не прочь тонко и зло высмеять недостатки товарищей. Он не молодец, несмотря на то что отлично разбирается в теории взрывного дела. К нему какое-то настороженное отношение. Даже доброжелательный Угрюмов недолюбливает Ромку, окрестил его «интеллектуалом».

Сидим с Родионом на облюбованном валуне. День погас. Отошли заботы. Вспыхивают один за другим костры. Светятся изнутри палатки. Должно быть, странно одинокому путнику, попавшему в эти безлюдные места, вдруг издали, среди тьмы увидеть на косогоре огненные пирамиды и клубящееся пламя костров. Есть в такой картине нечто сказочное.

В какую даль, в какую диковинную трущобу занесло меня! Хребты... Даже летом в расщелинах снег. К утру вода в кадushке покрывается хрупким синеватым ледком. Кедровый стланик и багряная стелющаяся пва сивеют от инея. Голец недаром называется гольцом: голенький, ослизлый, как запотевшая тыква; нормальные деревья сюда не добираются. Граница леса там, внизу. А тут даже цветы жмутся к почве, ловят жадно раскрытыми ртами ее теплое дыхание. Наши палатки открыты четырьмя ветрам. Ночью наваливаешь на себя всю одежду, какая есть. Зато полная гарантия от коклюша: коклюш не переносит высоты.

Палаточный городок — мой дом, постоянное место жительства и прописки. Все, что было до этого: и Песчанка и Тасей, — лишь временные остановки в пути. Может случиться так, что мы с Родионом застрянем здесь на долгие годы. Ведь строительство в котловине Цаган-ама только разворачивается. Потребуются сотни горняков.

Горняк... Не смешно ли это звучит по отношению ко мне, выросшему на равнине, гладкой как стол? С таким же успехом мог бы стать полярником, лесорубом, рыбаком. И казалось бы, что так и надо и что нет более интересного дела. Большинство людей под влиянием обстоятельств избирают профессию. Как говорит Угрюмов, если бы не было войн, не было бы и полководцев. И только те, у кого все намечено наперед, идут по жизни, как по графику, — с некоторым запозданием или опережением. Или своим умом доходят до графика жизни, или же заботливые родные еще в детстве приучают к мысли: «Только не запоздай, не упusti! Упустишь — катастрофа; можешь оказаться где-то внизу. Мы даем все для нормального развития, тебе незачем заботиться о еде и одежде — обо всем позаботились родители. Ты не ребенок — чудо!» Десятилетка, пять лет прозябания в институте, где приходится насиловать память, загромаждать ее массой бесполезных знаний, и, наконец, диплом. Юноша, обдумавший свое жите и твердо решивший вырваться из-под родительской опеки, неожиданно заявляет: «Еду в глушь!» Все потрясены. Едет в глушь... Подобный поступок приравнивается чуть ли не к подвигу, героизму. Но молодой дипломированный специалист сразу же спешит успокоить: три года — не велика потеря, даром времени

не потрачу, получу практику, напишу диссертацию — и в принцы!

А я, может быть, родился в этой глуши и никогда не считал ее глушью. И даже не подозревал, что врач, к которому иду дергать зуб, всего-навсего культуртрегер, временный жилец в наших местах. Он вернется на свой проспект, и опять все пойдет по графику; мы же, аборигены, будем по-прежнему добывать соль и, по его мнению, прозябать в этой глуши, где нет даже телевидения. Ему нужна особая «культурная среда», без которой его драгоценные таланты не разовьются в полную меру, завянут, будто там на проспектах у людей особые зубы, не такие, как у нас. Натренировавшись на наших железных зубах (здесь ведь не нужна деликатность), можно перейти к зубкам с более благородной эмалью. Фоме Гурко, должно быть, не нужна «культурная среда», ведь он только и занят тем, что «дает стране большие соли». Он постоянный жилец.

Я почему-то твердо убежден, что людей с временной пропиской все же меньшинство. Все зависит от того, как понимать временную прописку. Григорий Иванович Перегудов до войны жил в Туле. Теперь он часто меняет место жительства — бросают со стройки на стройку: то Магадан, то Якутск, то Усть-Камчатск или какое-нибудь Шумшу. Постоянная прописка Перегудова вот уже двадцать лет — Сибирь, Дальний Восток.

График жизни... У меня его никогда не было. Никто не подсказал, а сам не додумался. Меня можно посадить на льдину в океане, и по наивности буду считать, что повезло. Я не знаю, что такое «медвежий угол», «глухомань», почему в Москве жить лучше, чем в Песчанке, где от воздуха пьянеешь, а по утрам встаешь, будто заново родился. В чем счастье? Наверное, в том, чтобы чувствовать себя счастливым. И у каждого это по-разному, зависит от широты кругозора. «Самое большое несчастье — одиночество», — сказал мне один человек на Баскунчаке. Угрюмов, который все знает, рассказывал, что в Африке, в пустыне Сахаре, составляют специальные топографические карты миражей. Иначе путешественнику легко заблудиться. Умираешь от жажды, а перед тобой блещут призрачные белые города с пальмами и прудами. Еще несколько километров... И ты, вытянув иссохшие руки, делаешь последние шаги, а мираж, этот бредовой сон

тоскующих по воде песков, уводит все дальше и дальше. Обессиленный вконец, падаешь на раскаленный литой бархан. А по сторонам по-прежнему дрожат миражи один прекраснее другого. Если бы можно было и для жизни составить карту миражей, чтобы не протягивать руки туда, куда не нужно. Где-то в глубине мозга тоненько и нудно перекликаются голоса: «Человек должен обладать целкостью... Или ты до старости намерен трубить на своем солесосе? Человек должен что-то значить. Есть и дантисты с мировым именем...» — «Мечта? У кого ее нет. Как ни крути, а главное — презренный металл...» — «Человек не смерти боится, а жизни... Страх жизни...» — «Воля, воля, воля... Накопил монет — меняй знаки на обратные. Борьба за приличное существование...» Каждый торопится выкрикнуть мне в уши свое, у каждого «философия». Даже у Антипа. Только у меня нет философии. Жить бы всегда в тайге, раствориться в ее просторах, знать повадки зверей и птиц, по-свойски разговаривать с каждым листиком и цветком. А рядом чтобы была такая девчонка, как Таня, которая не ждет от меня никаких чудес. Я ей в самый раз такой, какой есть.

— У человека должна быть цель, — гудит Родион. — Не график, а большая цель. По графикам пусть скорые поезда ходят. График нужен производству. А к цели можно идти всю жизнь, и притом очень трудными путями, может быть, за счет здоровья и благополучия. Дай количеству перейти в качество. График же предполагает сквозное движение с некоторыми отклонениями по шкале времени в силу непредвиденных обстоятельств. Яшагин вон и не скрывает, что шпарит по графику. Выбьется. Поможем... Блаженных, нищих духом любят, растят, перевоспитывают, окружают заботой. На полную катушку выдают только тому, кто тянет воз и за все в ответе. А Яшагин даже за себя не отвечает. Повертится, повертится, как дым в трубе, и улетит. Есть приспособляемость и есть приспособленчество. Возьми носового овода. Хитрая тварь. Он выстреливает в ноздри оленю своими личинками. У этих личинок крючки-зацепки. Сколько бы ни чихал, ни фыркал олень, личинки держатся в ноздре мертвой хваткой, пробираются в носоглотку, жиреют, зимуют. Олешек, разумеется, чахнет от незваных квартирантов и даже околеваает.

— А Кузя Зуев?

— Что Кузя? Типичный бузотер-труженик. Каждый нутром понимает: такой далеко не пойдет. Рвачество-то мелкое. Страшнее скрытый рвач, с идеологией, с философией. Рвача с философией голыми руками не возьмешь. Он огражден цитатами, как колючей проволокой. График жизни Кузи Зуева ведет в тупичок. График жизни «идейного» рвача может вывести на широкий простор. И тогда-то уж он получит сполна, не давая взамен ничего.

3

Несколько слов о любознательности и любопытстве.

У нас на Баскунчаке проживал девяностолетний старик Федот. Может быть, уже умер, а возможно, дотягивает до ста. Как-то я спросил: «Дед, куда ведет проселочная дорога?» Ведь всегда хочется знать, куда ведет та или иная дорога. Федот почесал затылок и откровенно признался: «Я тут век прожил и ни разу не полюбопытствовал, куда она идет. Не все ли равно, если сам по ней не едешь?..» Помню, ответ деда прямо-таки потряс меня. Оказывается, можно прожить почти сто лет и не понтересоваться: а что же дальше порога твоей мазанки?

Рядом с нами, через перевал, лежит загадочная котловина Цаган-ама. Там-то и находится месторождение касситерита. По той каменной полке, которую мы собираемся сделать, отколов от гольца столько-то и столько-то миллионов тонн породы, и пройдет шоссейная дорога в котловину. А потом и мы сами переберемся туда, станем добывать оловянную руду. Попасть в котловину не так уж сложно: стоит лишь подняться по камням на крутой перевал. Когда из Читы прибывают вездеходы, основную часть имущества персправляют на лошадях и оленях в котловину. Там живут геологи и несколько бригад горняков.

Казалось бы, интерес к котловине должен быть повышенным. Но никто из нас, кроме Чупрова, ни разу там не бывал. Не очень-то тянет после рабочей смены карабкаться чуть ли не к облакам.

По письменному заданию своего арзамасского учителя Андрияха Чупров изучает высокогорные растения и грибы. Просто диву даешься поступкам этого простака. Целый день торчит в штольпе, выходит оттуда, покачиваясь, с затуманенным взглядом, а потом до темноты лазает по скалам, собирает поганки. Для меня все грибы одинаковы.

У Чупрова — классификация. Скажем, стелется по земле березка, а над ней поднял ременно-желтую шляпу здоровенный гриб. По иронии судьбы называется «подберезовиком». А тот самый ягель, который мы именуем оленьим мхом, вовсе не мох, а лишайник, помесь водоросли с грибом. Я сам видел, как олень жрал грибы. Удивительная скотинка!

Когда Чупров у костра начинает разглагольствовать о грибах, приходит слушать даже сам Перегудов. Хотя ему грибы вроде бы и ни к чему.

Чего только не наслушаешься у костров — волосы дыбом встают! Каждый врет в меру своих возможностей. Даже про нашу баскунчакскую соль слушают с удовольствием.

— Шел бы ты, Андриуха, по грибной части, — советует Чупрову Ломакин, — стал бы главным грибологом, или как оно называется. Грибология, мохология, мухология, мехология. Потом докопаешься: одни люди произошли от груздей, другие — от поганок и мухоморов. — И он с неприязнью поглядывает на Япагина.

— Да я что, — оправдывается Чупров, — по мне, грибов хоть не будь. Герасима Акимовича уважить хочется. Знания — в массы. Поглядит человек на гербарий или на заспиртованный гриб — и задумается...

— Задумается, задумается, а потом запьет, — подковыривает Кузя Зуев. — Все это отвлечение от главного дела. Вот я в школе спирты изучал. Углерод, водород... И на эту гадость народ деньги тратит.

— Тебе бы только пятак зажать в своей куриной лапе. Знаешь, как в тропиках обезьян ловят? Выдолбят тыкву, отверстие такое, чтобы еле-еле обезьянья лапа пролезала. В тыкву кладут апельсин. Просунет мартын руку, зажмет апельсин, а вытащить не может. Разжать пальцы ума не хватает или же жадность не позволяет. Тут его, голубчика, и накрывают. Так и с тобой будет. Станешь спекулировать помидорами да клубникой, а миллионер тут как тут.

После смены Чупров говорит:

— Хочешь поглядеть на оловянную руду?

— Не очень. Спина ноет, и ноги трясутся. Теперь бы темно-синих щей похлебать дополнительно.

— Чудак чумак! Любознательности ни на грош. Да там же топазы, турмалины. Одному неудобно отлучаться

из лагеря. Перегудов запретил. «Сорвешься,— говорит,— со скалы, а потом расхлебывай». Составь компанию — не пожалеешь.

— А тебе что в котловине? Небось за какой-нибудь левзеей софлоровидной охотишься?

Чупров смущенно улыбается.

— Угадал. Только не левзея. Элеонора губоцветная. Одуванчик такой, как бы из воздуха сотканный. Будь другом. Ведь я в самом деле могу сорваться. Ты человек особенный, душевный...

Он страдальчески кривит губы и прикрывает веки. И я кляю на эту жалкую удочку, поднимаюсь, крихтя, как столетний дед.

Глупейшая затея. Из-за какого-то паршивого одуванчика, который тут же облетит от малейшего дуновения ветра, ползу по косогору, обдирая руки. Стоим на перевале. Вид величественный. Цепи гор, поднимающиеся одна над другой ступенями, оплавлены сумеречно-желтым струящимся светом. На западе сияние встает над кручами широкими косыми полосами. Но от усталости и натуги глаза ни на что не смотрят. Ледяной ветер вышибает слезу.

— Взгляни на чудо природы,— говорит Чупров и указывает на деревце с кроной, напоминающей развернутый флаг: с южной стороны пушистые ветви, с северной — голый ствол. Оно одно-единственное среди серых морщи-нистых камней. Тугое, как натянутая струна, жилистое, мозолистое. Какие шальные ветры занесли семечко кедр на холодную высоту? Да, это кедр. Не стланник, обладающий удивительной способностью судорожно прижиматься к земле во время морозов и с потеплением вновь распрямляться, а самый настоящий сибирский кедр. Правда, ему далеко до тех жирных красавцев кедров, что растут на приусадебных участках. Пышные дымчато-серебристые кроны тех кедров, окруженных заботой и вниманием хозяев, способны покрыть целиком весь двор.

— Не гляди, что он маленький. Ему лет двести, не меньше,— поясняет Чупров.

Двести лет сдерживать напор пурги и злых ветров! Весь иссечен, изогнут, перекручен, а стоит, гордо подняв свой изодранный флаг. Молодчага старик! А ведь в юности небось тоже воображал себя пальмой и грезил о зеркальных лагунах... Будь здоров! Ты мне нравишься.

Мы спускаемся в котловину Цаган-ама. Даже зайцу-беляку в гору бежать легче, чем под гору, а Чупров скачет, как рысак, будто не вместе целый день прели в забое. Любознательность...

Когда оглядываюсь, вижу груды камней, а над ними — темно-зеленый флажок.

Я совсем выбился из сил.

— Знаешь, Андрюха, давай повернем. За одуванчиком в другой раз сходишь. Иссаяк. А ведь придется еще карабкаться обратно.

— В другой раз никак нельзя. Я тебе свою зажигалку отдам. Хочешь? Ты только погляди, погляди! Обогательную фабрику строят. Представь себе, оборудование и стройматериалы еще зимой с южного склона на лошадях и оленях переволокли. Творились дела... Грузовые вертолеты до сих пор каждый день шныряют туда-сюда. Если хочешь знать, Цаган-ама — богатейшее коренное месторождение. Некоторые доказывали, что здесь вообще никакого олова быть не может. Мол, южнее Читы искать нужно. Сам увидишь — рудные жилы выпирают, как ребра у дистрофика. Недавно нашли топазово-кварцевую жилу. Много всего: свинец и цинк, вольфрамит, молибденит, медь. Геологи все покажут. Ведь жить тут будем!..

Мы как путники, попавшие после долгого изнурительного путешествия в счастливую долину. Приветливо журчит вода. На берегу речки аккуратный поселок: сборные домики, крытые толем и гофрированным железом. На лужайке пасутся олени и коровы, копаются в пыли куры, за куропаткой, перепрыгивающей с места на место, бегают кот с перебитой лапой. Горняки, геологи, работники Читинского управления «Гидрометеослужба» осели здесь уже накрепко, привезли семьи, завели подсобное хозяйство. Есть даже гостиница для прибывающих, магазин, прозванный факторией, посадочные площадки для вертолетов. Вертолеты перебрасывают через хребет экскаваторы, буровые станки, тракторы, ящики с крупой и сушеным картофелем. В котловине, так же как и у нас, беспрестанно грохочут взрывы. Очистные бригады шаг за шагом ползут вверх по блокам, отбивая руду про запас. Идет подготовка к промышленной разработке. Штольни широкие, по ним может пройти поезд с породой. В котловине Цаган-ама нет таких ветров, как на склоне нашего гольца. Дремотно светит вечернее солнце.

Да, здесь жить можно...

Чупров решительно останавливается возле желтого теремка, пропахшего смолой, просовывает голову в окно и закатывает соловьиную трель. (Свистеть он умеет на все лады.)

Из домика выскакивает белобрысая девчонка, всплескивает руками; подрагивают от радости пеньельные реснички. В желтой с черными полосками вязаной кофточке она похожа на пчелу.

— Андрюшка! Накопец-то... Отчего так долго?

На меня — цоль внимания.

Чупров роется за бортом тужурки и, к моему изумлению, вытаскивает великолепный букет анемонов.

— Вон с той скалы!

И уже обращаясь ко мне:

— Шел бы ты, парнишка, камешки глядеть: может, склонность к геологии появится. А мы с Элеонорой поболтаем кое о чем. Секреты у нас. Понял? Да рот закрой, а то шмель влетит.

Яснее не скажешь. Ну и ну! Губоцветный одуванчик, мерзкая опуция в образе человека. Оказывается, простак из простаков не Чупров, а я. Хотя бы для приличия познакомил. Нет, вместо этого кричит в окно:

— Муся, вынеси человеку воды. Оне упарились и ножками больше не двигают. Покажи ему заодно касситерит.

Большого вероломства не приходилось встречать!

Скриплю зубами и опускаюсь на глыбу кварца. Муся выносит кружку воды. В сравнении с худенькой Элеонорой Муся — гигант. У нее круглый подбородок и ямочки на щеках.

— А, это вы! — произносит она таким тоном, словно знакомы с ней лет сто, и вращает глазами яблоками. — Испейте, вода не простая, целебная.

— Я здоров. Показывайте касситерит и все, что там по программе.

На широкой ладони Муси кусок кварца с короткостолбчатыми блестящими кристаллами черного цвета. Это и есть касситерит, главная промышленная руда олова. Кто бы мог поверить, что из черных кристалликов получается белое олово! А вот и топаз, или тяжеловес, как его тут называют. Винно-желтый камешек с сильным стекляннм блеском.

- Спасибо, Муся. Хотите, я вам зажигалку подарю?
- Мы некурящие. Оставьте себе.
- Жених у вас есть?
- Будет! Сватается кое-какая мелкота. Не по мне.
- Вы про женщину-борца слышали? Так это моя мама.
- Вы шутите?
- Конечно. Моя мама — откатчица на оловокомбилате.
- Значит, и вы пошли по олову.
- У нас все по олову. Только старший брат по мышьяку.
- По мышьяку?
- Ну да. Инженер. Мышьяк добывает. Здесь же, в Забайкалье.
- А для чего он, мышьяк?..
- Когда возвращаемся в лагерь, говорю Чупрову:
- Возьми свою зажигалку и три копейки в придачу.
- ...И опять сидим с Угрюмовым на камнях возле палатки. Тревожит воображение звездная глубина. Сорвался метеор — будто кто чиркнул спичкой, покатился за темные вершины гольцов, а может быть, упал в реку или же превратился в костер на опушке леса... Надрывается, плачет скрипка. Наверное, Афоня Кублаков грустит о своей Гале из песчанской столовой. Сегодня Угрюмов предрасположен к философствованию.
- Как по-твоему, что сильнее всего на свете? — спрашивает он.
- Известно что. Мерин, на котором Антип воду возит.
- Разум! Вот что сильнее всего на свете. У овцы, например, в мозгу, в сером веществе нервных клеток в четыре раза больше, чем у человека, а разума столько же, сколько у жены Перегудова. Такого человека бросить, променять на гастролера! Есть ли на свете справедливость? Он ведь страдает, хоть и крепится. Думаешь, полюбила того инспектора? Так. Снялась и укатила. Живет без руля, без ветрил, без цели, ради мимолетного удовольствия. Трезвого разума нет.
- Родимчик, а у тебя есть большая цель жизни? Такая, о какой говорил. Всей, всей жизни.
- Так точно!
- Не секрет?
- Он явно смущен. Молчит.

— Клянусь формулой Борескова, тротилом и динамом, никому не скажу.

— Зачем тебе? Разговор идет о другом. О верности.

— Да так. Я по твоим рецептам учился думать.

— Ну и как?

— Ни черта не получается. Почему в школах не введут специальный предмет «Учись думать» — наподобие урока труда? В башке первозданный хаос. Хоть убей — нет у меня большой цели. Все так, пустяки. Женимся, скажем...

— Женидьба не пустяк, но и не главная цель жизни. Пржевальский так и не выбрал времени жениться.

— А Пафнутий Львович Чебышев был женат?

— Чего не знаю, того не знаю. Наверное. У меня, брат, цель жизни странная, фантастическая. И возможно, неосуществимая. Так, мечта... А без нее холоднее жилось бы. Вот Кант, Ньютон, Эйнштейн и многие другие... Я хотел бы создать новую космологическую гипотезу. Охватить умом всю вселенную, понять, что к чему.

— Эк замахнулся!

— А почему бы и нет? Если хочешь знать, в тайге о вселенной думают чаще, чем в городах. И пристальнее. Зимой даже в Средней Азии нет такого ясного неба, как у нас. Иду я на лыжах, подбитых сохатыным камусом, а вокруг — только затвердевший снег, тайга и небо горит в вышине... Смотрю на небо и размышляю: Млечный Путь, а за ним — спиральные и иные туманности. Точно гигантские клетки организма вселенной. А может быть, ядро каждой галактики состоит из антивещества! Парадоксально? На первый взгляд. Мышление истинного ученого должно быть парадоксальным.

— А откуда взялось ядро? Ну то, которое из антивещества?

— Мы еще не знаем всех свойств вакуума. Вернее, даже всерьез не занимались его изучением. Возможно, он и является главным источником энергии, порождает ядра галактик и звезды. Ведь вакуум, как особое состояние материи, также подчиняется законам диалектики, развивается. Количественные изменения в вакууме приводят к скачку, к переходу в новое качество. Где кроется величайшая загадка движения? Мы говорим: источниками гравитационного поля, тяготения служат все тела и все силовые поля — все, что обладает массой и энергией. А что является источником антигравитации, отталкива-

ния? Может быть, тот же вакуум. Ведь вакуум — это океан отрицательной энергии. В результате взаимодействия гравитации и антигравитации возникает движение. И звездам и галактикам — всем им дает бесконечный бег извечный процесс. Ядро — это брешь, дыра в вакууме, из которой хлещет фонтан, вихрь энергии. Все эти безумные гипотезы не поставить на ноги без нового мощного математического аппарата. Гипотеза, не обоснованная математически, не представляет интереса для науки.

— Поэтому и зубришь формулы?

— Не в формулах дело, чужачина. Формулы — азы. Меня интересует проблема конечного и бесконечного, времени и пространства. В математике много вещей, тебе неизвестных. Ты ведь пока школяр. В математике разыгрываются свои битвы, очень жестокие, возможно, в итоге решающие судьбы человечества. Что ты знаешь о «геометрии в целом», о работах по обыкновенным дифференциальным уравнениям и их приложению к теории оптимального регулирования и теории колебаний?

— Тут у меня в самом деле большой пробел. Вот познаю бином Ньютона, перейду к геометрии в общем и целом. До геометрии все руки не доходят. Ты, Родимчик, с высоты своих теоретических познаний объясни: правда, что человек в основном состоит из пустоты?

— Как это нужно понимать?

— В буквальном смысле. Ведь вещество, из которого состоит человек, составляет всего одну миллионную кубического миллиметра. Остальное — пустота.

Он отодвигается, смотрит на меня с явным интересом.

— Сам подсчитал?

— Смеешься? Один французский ученый.

— Оригинально, но не совсем верно. Пустоты, в твоём понимании, в природе не существует. Ничто не может занимать места, обладать протяженностью. Есть различные формы материи: вещество, поля, вакуум. Вакуум занимает целую вселенную. Это своеобразное состояние материи, назовем его отрицательной энергией. Таким образом, всякое тело состоит из небольшой доли вещества и очень большой доли вакуума. Что важнее? Аммонитовые патроны или детонатор? Человек — это патрон-боевик. Вещество — детонатор, вакуум-заряд. Эффект от взрыва капсулы-детонатора невелик, но с зарядом он может разнести горы.

— Теперь знаю, какая у меня цель! Быть у тебя всегда на подхвате. Ведь я как с завязанными глазами. Уцепился за твой рукав. Авось куда-нибудь приведешь...

Но Угрюмов нисколько не польщен.

— Мелкий подхалим! За чужой рукав взрослому человеку цепляться неприлично. Доходи до всего своей лобной частью.

— А если полпяди во лбу?

— Прикидываться дурачком легче всего.

— Обоснуй научно.

— Тут и обосновывать нечего. Читайте Сеченова и Павлова. На индивидуальные, так сказать, врожденные особенности Сеченов отводит одну тысячную долю. Остальное — воспитание. Руководствуйся!..

Балетная мелодия все еще будоражит душу. Нужно иметь звериное вдохновение, чтобы так терзать скрипку в течение нескольких часов. Афоня явно тоскует. И невольно припоминаются слова Антипа: «Ежели по совести, то самый великий певец — глухарь. Не смейся. Другую птицу за версту слышно, кричит во все горло, а сама по сторонам посматривает, на сто шагов не подпустит. И песня с выгодой. Глухарь поет ночью. Да и на песню не похоже: вроде тупую косу точит — сразу и не разберешь. А когда поет, то ничего не слышит, не видит. Весь в своей песне. С закрытыми глазами токует. Подходи — и бери голыми руками...»

— Я его когда-нибудь убью! — неожиданно произносит Родион. — Скрипит как несмазанное колесо. У Маргаритки от его музыки каждый раз истерика. Не понимает, что собаки музыки не переносят. Я даже балалайку выбросил... А ведь вернется к Григорию Ивановичу жена, вернется. Вот увидишь. Помотается, помотается — и вернется. И самое грустное — он простит. Я бы на выстрел не подпустил. А ты?

— Я, как ты! Всю жизнь охотился бы на чужих жеп с двустолкой.

4

Каша заварилась после того, как кто-то из комсомольского бюро (может быть, тот же Петя Ломакин) или же из начальствующего состава бросил призыв: закончить все работы к подходу механизированных отрядов!

Человеку только кажется, что он сам по себе. На поверку — он частичка коллектива. Как коллектив решит — так и будет. Если ты даже прирожденный лодырь — все равно заставят работать. От Угрюмова слышал, будто у нашего фельдшера Северинова тоже есть свое «отвлечение»: ставит над нами опыты. Называется индустриальная психология или социально-психологические исследования. Дескать, в каждом коллективе бывают так называемые «значимые ситуации». В «значимых ситуациях» и проявляются качества каждого. Как коллектив и его члены реагируют на изменение норм выработки, на внедрение рационализаторского предложения, на сверхурочные работы, на обсуждение комплексного плана, на успехи в учебе, на поведение своих членов в быту — все это и есть «значимые ситуации» для коллектива. Целая наука! А мы-то живем и не подозреваем, что фельдшер Северинов всем нашим передрягам ведет учет в кондуите, анализирует и делает научный вывод. «Метод наблюдения значимых ситуаций»... Уж на мой-то счет фельдшер Северинов наверняка прокатывается в своем кондуите! Есть на то основания. Подопытная свинка — первый сорт.

Миллионы лет лежал тут касситерит. Мог бы лежать еще столько же. Даже бронзовый век обошел стороной котловину Цаган-ама. И консервная промышленность не остановилась. А сейчас всех охватила трясушка: скорей, живей! Перегудов то и дело звонит на трассу, справляется, как у них там с продвижением. Поток шумит, катится, ломится сквозь тайгу и болота.

Кузя Зуев кипит больше всех. Вызвался работать на двух перфораторах. Выгодно — червонцы так и сыплются с каждого выбуренного шпурометра. Эх, если бы можно было работать на пяти-шести установках! Кузя загнал бы себя до смерти. Скачет туда-сюда.

Раньше поступок каждого человека казался мне естественным, вытекающим из его характера. Да я и не задумывался, почему отчим хочет уехать на Кавказ и не уезжает, почему Алька Пискунов ищет легких путей в жизни, почему Фома Гурко такой, какой есть, и почему, например, нельзя даже допустить, что он может быть малодушным или хулиганом. Тут мои представления о людях перепутались. Как, например, расцепить такое заявление Кузи: он согласен работать без выходных и сверхурочно. Пусть все последуют его примеру...

Никогда не предполагал, что наши неповоротливые на вид ребята проявят необыкновенную прыть и изобретательность. И еще раз убеждаюсь, что существует тысяча способов повышения производительности труда. Рабочие предлагают очень эффективные меры — все записано в блокноте Перегудова.

«Опыт передовиков производства» мы изучали на курсах. Даже сохранились конспекты — бери и вычитывай. Но на практику не всякий опыт можно перенести. Существуют еще специфические условия. По конспектам производительность не повышают. В каждом деле свой нюанс. Иногда вдруг всеми забытый способ оказывается самым выгодным. Рационализаторы редко открывают что-либо новое, в большинстве случаев они лишь разумно применяют то, что открыто другими и в суматохе забыто. Это все равно, как если бы добывать огонь на необитаемом острове с помощью увеличительного стекла. К сожалению, еще никто не взял на себя труд обобщить в одной книжке методы скоростной проходки на сотнях рудников и бассейнов. Подучусь — займусь.

Помакин настаивает на совмещении основных проходческих операций по бурению шпуров и уборке породы. Чупров считает, что наиболее передовым является последовательное выполнение этих операций. Пример тому — успехи горняков Криворожского бассейна. Попробуй разберись, кто прав! Нужно обладать аналитическим складом ума, чтобы извлечь пользу из разнородных, исключаящих друг друга методов.

Создается такое впечатление, что Григорий Иванович не вмешивается во все эти дела. Похаживает спокойненько, насвистывает марш из «Фауста», не говорит ни «да», ни «нет». И вид у него почти равнодушный. Я-то, мол, при чем? Я свое дело сделал: составил проект, а остальное — как уж вы решите. Не успеем до подхода мехотрядов, самим же стыдно будет.

Один Яшагин куксится:

— Штурмовщина... Хитрее всех Зуев. На глаза начальству лезет. Чует, где калымом пахнет.

...Эту жизнь, наполненную грохотом отбойных молотков и взрывов, невозможно представить без Родиона Угрюмова. К нему приходит советоваться даже сам Перегудов, тот самый Перегудов, который способен силой своих формул поднять на воздух Гималаи. У Родиона —

практика. Такой практики нет даже у Перегудова. У Григория Ивановича другая практика: практика тончайших расчетов.

Но Родион, на удивление, ведет себя ровно: ничего не предлагает, не выступает с пламенными речами. Они с Перегудовым словно сговорились. К чему-то приглядываются, чего-то выжидают. А чего ждать, если поток в самом деле надвигается и надвигается?

— Чего же ты не проявляешь творческую инициативу? — спрашиваю Родиона. — Ты же кладезь... Придумал бы что-нибудь такое, чтобы с этим чертовым гольцом за месяц расправиться.

— А потом два месяца сидеть сложа руки? Способов много.

— К примеру?

— Ну, хотя бы способ котловых зарядов. Экономия времени и варывчатки. За месяц управились бы. Расход ВМ с пятнадцати килограммов на погонный метр сокращается вдвое.

— Так в чем же дело?

— Мы должны уложиться до подхода мехотрядов. Примерно к этому же времени будут закончены работы в котловине и всех нас по специальностям, в организованном порядке переведут туда. А что получится, если управимся месяца на два раньше срока? Если бы работали на руднике, тогда иное дело. А тут одно за другое цепляется. Нам нужно увеличить выработку процентов на пятьдесят-шестьдесят, не больше. Иначе осовеет от безделья, а за бездельем, как известно, денежки не платят. Кузя Зуев первый хай поднимет. Ему-то не очень нужен сокращенный наполовину рабочий день.

— Замысловато. Не по зубам. Значит, и творческая инициатива регулируется?

— Разумом, но не равнодушием. Под всем лежат финансы и забота о людях. События ведь тоже нужно планировать. Взрыв гольца — событие большой важности. Но мы его запланировали, обеспечили деньгами, подвели, одним словом, материальную базу. У нас особо трудный случай. Не пойдет же проходчик в котловину разнорабочим. Материальной заинтересованности нет. На голом энтузиазме далеко не уедешь. Это только невменяемый, безответственный руководитель может крушить стену, не соображаясь с финансовыми возможностями. Дерзания

должны быть разумными. Возьми хотя бы тот же способ котловых зарядов. Прогрессивная штука. Эффект колоссальный. Но при некоторых условиях. Все определяется условиями.

Родиону, конечно, виднее. Он читает техническую и научную литературу. В углу палатки стоит целый ящик книг — Угрюмов не поленился привезти их из Песчанки. Всякий багаж кажется мне обузой, все мое имущество уместается в небольшом фибровом чемодане. Багаж — это уже точка, к которой невольно привязан человек. А самое противное, когда барахлишко цепляется за руки. Не то Угрюмов: он не боится багажа и на любом месте устраивается накрепко. Тут и туляпка, и бродни, и набор лесок, и черканы, и слопцы, и чучела, и подчучельники, и собаки, и, конечно же, личная библиотека.

По вечерам Угрюмов занимается самоподготовкой и копанием в технических журналах. Чтобы не мешать ему, ухожу из палатки. Мне тоже нужен покой. «Умственные» разговоры доконали-таки. Хочется посидеть без единой мысли в голове, побыть в полном одиночестве, к которому привык на Тасее.

— Мечтаете об Аэлите?

Инженер Перегудов. Вскикиваю.

— Сидите, сидите. — Опускается рядом на валун. — Родион Терентьевич спит?

— Добывает «Обломова».

— Не будем отвлекать. Закуривайте!

Вынимает из кармана неправдоподобно длинную и толстую сигару с ярлычком. Григорий Иванович не курит. Но какой-то заботливый дружок, побывавший в заграничной командировке, прислал в подарок целую коробку сигар. Вот теперь инженер и раздает их при случае рабочим.

— Спасибо. Мы больше к махорке приспособлены.

— Если хотите порадовать приятеля, подарите ему саксофон или кривое ружье.

Он рассказывает, как однажды охотники подарили ему молодого медведя. А я вспоминаю другие случаи.

Родион не раз еще в Песчанке предлагал обзавестись псом. Будем ходить на охоту. Подстрелить чубука, то есть толстогого снежного барана, — заветная мечта моего друга. Щедрость Угрюмова не знала границ.

— Выбирай любого, — предлагал он. — Даже пуделя уступлю.

— На кой дьявол!

— Чудак! Умнейший пес. До трех считает. Только говорить не умеет.

— Вот и славно. Не хватало, чтобы еще он учил меня, как жить. От твоих нотаций тошно.

— Хорошо. Возьми пиявочку. На медведя пойдешь. Со слезами расстаюсь.

— Не плачь. Все равно не возьму. Я не старая дева, чтобы окружать себя псарней. Может быть, твоя пиявочка бипом Ньютона знает, тогда возьму.

— Собака — друг человека, и наоборот.

— Вполне довольствуюсь человеческим обществом.

— Тибетский дог! Это же не пес, а чудо! На нем воду возить можно.

— Ну и вози.

— Ладно. Возьми бультерьера. Благородных кровей.

— Ты мне напоминаешь одного персонажа из «Мертвых душ».

— Ни черта не смыслишь в псовой охоте! И как только такие люди существуют на свете?

— Как видишь, жив.

— Я тебе дробовик в придачу дам.

— Нет.

Этого Родион понять не мог. Он хотел поделиться самым дорогим, облагодетельствовать. А я уперся. Будь на моем месте Алька Пискунов, он забрал бы и пуделя, и пиявочку, и тибетского дога... и содрал бы с них шкуры.

Я привык отвечать только за себя. Всякое живое существо рядом со мной (будь хоть таракан, если я обязан кормить и отвечать за него) кажется обузой. Помню, на Баскунчаке ребяташки приволокли к нам во двор орла с перебитым крылом. Я выходил птицу. Окрепший царь птиц съедал по килограмму мяса. Конечно, досталось и цыплятам. Отчим возмущился, украл орла и подарил его одному из своих дружков. Но птица успела привязаться ко мне. Дружок отчима жил в Капустинном Яру, километров за сто от нашего поселка. И все же орел вернулся на Баскунчак. Наводя суматоху на глупых кур, он камнем упал с поднебесья и уселся мне прямо на плечо. Тогда отчим, воспользовавшись моим отсутствием, отрубил орлу голову.

«Он хищник, наподобие Гитлера, курицами питается», — сказал отчим.

«Сам ты хищник, — рассердилась мать. — Гитлер сусликов не ел, а орел их изничтожает».

Я был еще мал, чтобы проучить отчима, а потому убежал на задний двор и зарылся в бурьян. С тех пор дал зарок не обзаводиться никакой живностью.

Отчим не любил ни птиц, ни животных. Только к коту после одного случая он стал относиться терпимо.

Помню, задумал он «порешить» кота, который перестал ловить мышей. Этот кот был стар, и его в шутку называли участником обороны Порт-Артура. Пьяный отчим закинул кота в мешок и унес далеко в степь. Поздно вечером мы наблюдали примечательную картину: впереди, озаренный угасающим солнцем, шел кот, а за ним плелся отчим.

«Заблудился в этой чертовой степи. Если бы не Васька, крышка мне! Вывел... — Он взял кота, расцеловал в закишенные глаза. — Я теперь тебя селедкой кормить буду. Закуска — высший сорт!»

Получается по пословице: «Ты любишь одиночество, я люблю одиночество — давай посидим вместе». Начальство запросто рассказывает всякие потешные истории. И я могу распустить язык, поболтать о том, о сем, прикинуться в «исконном-посконном», подхихикнуть. Начальство любит таких парней, которые «вписываются в суровый пейзаж заскорузлой тайги». С интеллигентом больше возни. У него духовные и иные запросы. А парень-то пошел с десятилеткой, с интегралами и дифференциалами. Каждый вынашивает большую мечту. Хитрый Кузя Зуев, по уточненным сведениям, окончил восемь классов плюс курсы проходчиков, знает растворы и спирты; но при начальстве говорит «вынел труда», «кажний», «повесил пайку хлеба на рог — и поехал». Защитная окраска. А где нужно, возьмет свое, густо перемешивая сквернословие с изречениями.

Перегудов расспрашивает о прошлой жизни. Отвечаю кратко, односложно. Ему-то это не так уж интересно. Больше для порядка. Начальнику положено знать людей. Учитесь отвечать кратко. Начальника теперь не интересует, не имела ли ваша бабушка в камennom веке железного топора. Его интересуют ваши деловые качества и моральное состояние. Начальство может лезть вам в ду-

шу; вы — боже упаси. Начальство — солище, излучающее тепло и ультрафиолетовые лучи: хочешь — парься, хочешь — загорай.

— У вас есть любимая девушка? — спрашивает Григорий Иванович с таким деланным лиризмом.

— Есть!

— Пишет?

— Не пишет. Ей сейчас не до меня: урожай, тыква, брюква, телята и все прочее. Нам бы кинокартины почаще привозили. Желательно без довоенного стажа. Что-нибудь героическое и про современность.

— Вы правы. С культурным обслуживанием у нас не густо.

И он записывает что-то в блокнот. На мой взгляд, очень душевная беседа получилась. Мы сразу же нашли касательную. «А этот парень, ого!.. — небось думает Григорий Иванович. — Его интересует героика и современность. Милые мои цыплятки, все для вас сделаю. Нарастивайте годовые кольца лет до ста. Сам был таким, знаю. Вам, паршивцам, не пришлось сидеть в блиндажах и по четыре раза на день ходить в атаку. Мы эту героикау на горбу вынесли. Вон отметица от уха до подбородка. Полз к своим, и все лимонад грезился... А в Туле делают самое вкусное мороженое. «Волгу-Волгу» в госпитале показывали — расплакался. Научитесь, цыплятки, ценить воздух, которым дышите, каждую былинку, каждый рассвет, медовый запах липы. У нас в Туле липы. Они-то и шумели над головой, когда метался в бреду. Да вам всего этого не уразуметь...» Мы тоже плачем, когда в двадцатый раз смотрим «Волгу-Волгу».

— Вы правы, — повторяет Григорий Иванович. — Во всяком деле, большом и малом, требуется перец! Во время ленинградской блокады солдаты, несмотря на голод, теряли аппетит из-за отсутствия перца и лаврового листа.

Выползает из палатки Родион. Очнулся от «Обломова». Перегудов сразу же забывает обо мне. Они ведут непостижимый для моего ума разговор о крестовых колонках и быстроударных перфораторах, о прямом врубе, каретках и упорно-шарнирных колонках. Существует энное количество способов повысить производительность труда. Нужно изыскать самый эффективный. Конечно, впряжены мозги всех бурильщиков, взрывников, техников и инженеров.

— Знаю. Помешал, — говорит Григорий Иванович. — Ты вот что: загляни-ка завтра вечером на лимонад. Обмозгуем.

Поднимается и уходит.

— Придется идти, — крихтит Угрюмов. — Будешь сопровождать.

— Я-то при чем?

— Закон тайги. Небось любопытно?

Еще бы! Побывать в палатке самого Перегудова... Сидеть в непринужденной обстановке и пить лимонад. Обсуждать с глазу на глаз важные проблемы, от которых зависят наши успехи и неудачи. Как говорит Кузя Зуев: разговор «тет-на-тет». Лимонад — напиток богов. Его привозят из Читы в ограниченном количестве. Повар хранит лимонад в тайных пещерах. В день своей гибели от какого-нибудь дряпного патропа-боевика потребую бутылку лимонада. Снабжают нас не ахти как обильно. Зубную пасту и папиросы выдает по совместительству Кублаков. Все пропахло нитропроизводными ароматического ряда, и всегда пужно следить за тем, что суешь в рот: папироску или детонатор с бумажной гильзой. В котловине Цаган-ама есть торговая точка, прозванная факторией, но каждый раз туда не набегаешься.

Для меня поход в шатер Перегудова — событие. Жизнь слишком однообразна. Развлечений мало. Кинокартины привозят редко. Горы угнетают пустынностью, безнадежностью. Громоздятся и громоздятся перед глазами. Муторно, как в закрытом погребе. Особенно тяжело и бесприютно в ненастные дни. Вялый дождь может моросить и день, и два, и неделю. Еще хуже, когда по небу начинают ползать ветвистые трескучие молнии. Грозы в горах налетают внезапно. Сразу же замирает жизнь. Производить взрывы во время грозы категорически запрещается. Жмемся от холода в провисших пожелтевших палатках, а слепящие молнии лупят и лупят в макушку гольца. Высунь нос — и сразу перед глазами развернется фантастическая картина: на склоне развешаются седые гривы, верхушка курится наподобие вулкана, меж камней клокочут потоки. А синие слепящие столбы вспыхивают прямо перед глазами. Грохочут и земля и небо. И вдруг пад самым ухом как шарахнет!.. Огненные кнуты хлещут, стегают со свистом, с оглушительным треском по бокам гольца. В такие часы я почему-то вспо-

минаю маленький кедр на перевале: каково-то ему там?..

Варыльник даже на грозу смотрит со специальной точки зрения. Есть понятия: канал молнии, первичные и вторичные воздействия молнии, заносы высоких потенциалов, электромагнитная и электростатическая индукция. Во время грозы Афоня Кублаков, наверное, произносит заклинания, чтобы этот самый высокий потенциал не занесло, случаем, в его склад. У склада есть, конечно, грозозащита, но когда перед тобой стена огня, все плывет и качается, ни в какую защиту не веришь. Канал молнии может резануть и по любой палатке. Стихия. Тут уж ничего не попишешь. Много неприятных минут доставляют нам грозы. В нашем палаточном городке нет жепщин, и оттого почему-то особенно скучно. Должен же кто-то хоть взглядом согреть человека!

Один Чупров брызжет глупым оптимизмом влюбленного. После смены проходчики ползают на карачках, покряхтывают, рассказывают старческие анекдоты.

Чупров с улыбкой поглядывает на наше невеселое общество, берет папку под гербарий, подмигивает мне и, делая неопределенные виражи, поднимается на перевал. К Элеоноре, конечно! Хитер, ничего не скажешь. Счастливчик...

— Эй, парень, — кричит Антип, — отыскал бы лучше витамин «Ша», то есть спирт!

...И вот мы в шатре владыки. На кровати и на табуретках уже сидят инженеры, техники, заместитель Перегудова по техчасти Скоробогатов, двадцатипятилетний инженер Пилюгин и неизменный спутник Григория Ивановича — фельдшер Северинов, которому вручено наше драгоценное здоровье. На земляном полу шкура дикой козы или же домашнего козла. Этажерка с книгами и папками. Ярко светит электрическая лампочка от кислотного аккумулятора. В синеватом слепящем луче различаются на столике бутылки с лимонадом и сухим вином, грудка печенья на тарелке, коробка сигар. Родион говорит, что на корабле такое помещение, где собираются офицеры, называется кают-компанией.

Подумать только: я сижу в одной компании с Перегудовым, Скоробогатовым, Пилюгиным, Севериновым! И меня никто не выгоняет. Как будто все так и нужно. Григорий Иванович даже утомляется двух-трех фраз, а

фельдшер Северинов чокается: «Будь здоров, Капусткин!» Я, конечно, никакой не Капусткин, но подобная фамильярность приятна. В моем представлении всегда жил некий гуманный образ служителя медицины: откройте ротик, скажите а плюс бе; не сосет ли под ложечкой? Покажите дяде язык. Так. Не высовывайте на полметра. Закройте ротик. Дышите равномерно. Ну, легкое постукивание молоточком по колену. Итог: мазь Вишневского и рыбий жир. Два раза в день. Освобождение на неделю. От такого врача уходишь умиротворенным и чувствуешь себя в самом деле приятно-больным.

Фельдшер Северинов — разбойник в белом халате. Весь род людской живет у него на подозрении: все симулянты. Ты посмел явиться в рабочее время с этой пустяковой царапиной? Для кого же я поставил походные аптечки в каждой штольне? Ерунда! Заживет, как на Маргаритке. Что? Плохой сон? Кучумов, спой ему колыбельную. Животик болит? Кучумов, дай ему ложку касторки. Не налегай на пищу, когда сидишь за общим котлом: не с голодной горки свалился. В двадцать лет ничем не положено болеть. Солнце, воздух и вода... Следующий! И уходишь с пустыми руками, с остервенением хватаешь бурильный молоток и от злости перевыполняешь норму. Санитарный день каждый раз превращается в Варфоломеевскую ночь. Кузнец Кучумов, он же добровольный санитар, пропахший карболовым мылом, не знает пощады ни к кому. Недаром прозвали ханом Кучумом. «Я к медицине причастен, — говорит Кучумов, — в колхозе лошадей ковал, ну и по ветеринарному. Потом в доноры выбился. А насекомая, известное дело, — враг здоровья». — «Чего уж там за каждой блошкой-вошкой охотиться, — отвечает Яшагин, — давай уж сразу человека в горнило или на аутодафе!» — «То не по нашей части. Вот я с комарями боролся — всю местность очистил. Теперь комашки за сто километров облетают наше село. Грамоту дали. Не веришь?» — «Ты, Тигрولاпов! Убери конечности — я тебе не конь. Делай кровопускание, изверг!» — «Так то ж анализ крови. Медицину спользять нужно». — «Кто же берет анализ тупыми клещами, кентавр?!»

Скоробогатова и Пилюгина мы называем «сателлитами». Трудно отыскать что-нибудь общее в этих двух: зампотеху под пятьдесят, Пилюгин — почти наш ровес-

ник, только что окончил институт. Пилюгин — дородный молодой человек, шумный. Скоробогатов — щупленький, худосочный, молчаливый. Есть привычка: склонит голову набок, заложит мизинчик в ухо и трясет растопыренными пальцами, жмурясь от удовольствия. Лицо красное, но краснота какая-то нездоровая. Если Пилюгин одет с иголочки даже здесь, в полевых условиях, то Скоробогатов носит потрепанный китель, кирзовые сапожки и кепку с разбухшим от дождей ржавым козырьком. Я уверен, что эти двое за все время не сказали друг другу и трех фраз — так они различны во всем. И все-таки они — «сателлиты», спутники, вращающиеся вокруг Перегудова. Объединяет их слабое знание техники, производства. Ну, Пилюгин понятно: только что с институтской скамьи. А Скоробогатов — заместитель главного инженера по технической части! Величина. Когда к Скоробогатову обращаешься за советом, он смущенно-ласково улыбается: «Хорошо. Выясним». Хотя и выяснять нечего. Его окрестили Егором Тишайшим. Он в самом деле тишайший. Никто никогда не слышал от него замечаний, ругани. Никаких конкретных указаний по технической части не дает да и не может дать. Если даже будет рушиться кровля над головой, Скоробогатов не изменится в лице, а спокойненько скажет: «Выясним. Примем меры». На службу является точно в срок, уходит позже всех. Неторопливо похаживает по участкам, робковато посматривает, и за весь день от него слова не услышишь. Да и о чем говорить?

— Не везет Григорию Ивановичу на помощников, — говорит Угрюмов. — Вот всегда такая история: обязательно двух-трех шуляков навесят на шею, и он все за них делает. Прямо плапида какая-то. Всю жизнь так.

В слово «шуляк» Родион вкладывает определенное понятие: шуляк — значит пустышка, а вернее, неразвившийся вилок. «Пустой, как шуляк, даже на один борщ листа не хватает».

— А как Скоробогатов попал в замы?

— Была история. Назначали толкового инженера Сафохина. Знаю его. Но при обсуждении проекта Сафохин разругался с Григорием Ивановичем. Он выдвинул свой вариант. Завязалась настоящая баталия. Дело дошло до личных оскорблений. В конце концов Сафохин «полез в бутылку», отказался быть «на побегушках» у

Перегудова, так как претендовал на первую роль. Управленцы растерялись: как быть? Кто-то подал мысль: пошлем Скоробогатова. Он собачиться не будет. И послали. Григорий Иванович не стал или не захотел возражать. На него в то время навалились семейные неприятности. Да и какие возражения он мог выдвинуть против Скоробогатова? Так Тишайший оказался здесь.

— А разве в тресте не знают, что он не того?..

— Значит, Скоробогатов обладает какими-то качествами, которые помогли ему очутиться наверху, среди управленцев. Ведь он и раньше был замом на других объектах, откуда выдвинули в управление. Как где не могут подыскать зама, посылают Скоробогатова. Он может быть замом при хорошем начальнике и начальником при хорошем зама.

— Качества? Подхалимаж, карьеризм?

— Не думаю. Тишайший не подхалим. Не карьерист. Он никогда не просится на повышение. Он сидит — и все. И его каждый раз выдвигают.

В самом деле, удивительный человек. Все знают, что он в топкостях техники не разбирается, но лебезит перед начальством, не расталкивает других локтями, не занимается интригами, не имеет в управлении «руки», и все-таки всякий раз его назначают на высокую должность. Что это за таинственные качества, которыми обладает Скоробогатов?

Талантливый Сафохин послал рядовым инженером на какой-то третьестепенный объект и еще вкатили строга-ча за то, что он обозвал управленцев безмозглыми чиновниками. А Скоробогатов, не пошевелив даже пальцем, не создав за всю жизнь ни одного проекта (да и не мог бы создать), тихо, с хозяйским видом уселся на место вспыльчивого Сафохина. Назначают — что же делать? Такова воля начальства. «Справитесь?» — спросили у Скоробогатова в тресте. Тишайший будто бы ответил: «Трудновато будет. Сам понимаю: отказываться нельзя. Ведь не в Москву командируете, а в тайгу. Тут уж ничего не поделаешь...» — «Пустяки, — утешали управленцы, — Перегудов — сильный инженер, всегда подскажет. Да вы и не повичок. Справитесь. Руководителей у нас не хватает, не из кого выбирать. Придется уж вам...»

Вглядись пристальнее в лицо этого человека, говорю я себе. Он знает самую главную тайну, которой не знает

никто — ни Перегудов, ни Сафохин, тайну, как с наименьшей затратой сил выбиваться в большие люди. Он умеет жить. Где же разгадка его успеха? Ты тоже неважно разбираешься в технике, и опыт Скоробогатова мог бы пригодиться в будущем. По-видимому, в этом опыте нет ничего зазорного, если Тишайшего на каждой стройке награждают почетными грамотами, объявляют благодарности в приказе.

И вот он сидит передо мной, прыщавый сфинкс, иногда засовывает мизинчик в ухо и трясет, трясет, сидит безмолвно, как и положено сфинксу, не вступает в разговор, никого не перебивает. На губах пресная улыбка.

Видно, Перегудов быстро раскусил своего зама. Даже со стороны заметно, что к Тишайшему он относится с глубоким презрением и не может скрыть этого. Для Григория Ивановича Скоробогатов — нуль, пустое место. Когда они вдвоем обходят участки, Перегудов будто забывает, что рядом заместитель: никогда не перекинется с ним словом, шагает широко, так что Скоробогатов вынужден бежать за ним вприпрыжку. Бежит! Не завидую Тишайшему.

Пока Перегудов перечисляет рационализаторские предложения, поступившие от рабочих и техников, я налегаю на лимонад и цинандали, жую печенье, твердости которого позавидовал бы победитовый бур, затягиваюсь ароматным дымом заграничной сигары и разглядываю фотографию женщины все на той же этажерке. Наверное, жена. Ничего особенного: длинная гладкая шея, большие губы, на голову будто два капустных листа положено — модная прическа. Свитер из тех, на которых серая синтетическая шерсть стоит дыбом: а-ля гризли! Глаза веселые, вздернутые к вискам. Может быть, за эти глаза я полюбил. Теперь удрала с каким-то инспектором, подложила, можно сказать, свинью Григорию Ивановичу в разгар строительного сезона. Могла бы подождать до осени.

— Ну а ты, Родион Терентьевич, как кумекаешь? — спрашивает Перегудов.

У Родиона голова не серийного выпуска. Парадоксальное мышление сказывается во всем, даже во взглядах на производительность. Применить более мощную взрывчатку, быстроударные молотки? Можно, конечно. Но это слишком прямолинейное решение. К проблеме следует

подойти с другого конца. Есть возможность увеличить скорость проходки процентов на шестьдесят. Расход буров уменьшается на тридцать пять процентов.

Шестьдесят процентов! Пилюгин пригибает к столу голову. Его крохотные, в жирных веках глазки нацелены на Угрюмова.

— Каким же образом?

— Очень простым. До смешного простым. Мы промываем шпурь обыкновенной речной водой. А если добавлять в нее хлористый магний?

Ипжеперы озадачены. Не сразу доходит новизна предложения.

— Магний?

— Да. Хлористый магний. Понижитель твердости пород. Можно взять хлористый алюминий, на худой конец — обыкновенную поваренную соль.

— А где возьмем магний или хотя бы соль?

— Привезем из Читы. Пошлем человека. Хотя бы его... — Родион указывает на меня. — Насчет соли он соображает, вырос на поваренных солях. Могу и я прокатиться. Достанем.

Чуть не подпрыгиваю от восторга. Чита... Тасей... Таня... Нет, что бы там ни говорили потомки, Угрюмов — гений! Одним ударом решить все проблемы...

— Дело, — соглашается Григорий Иванович. — На других рудниках иногда применяют понизаторы твердости. Добавка к промывочной воде некоторых химических веществ в самом деле способствует увеличению скорости бурения. Пошлем две машины.

Вино, хоть и слабенькое по градусам, все же ударило в голову. Сижу в приятном тумане. Маленький потлач подходит к концу. Завтра или послезавтра покатам в Читу. Отпрошусь у Родиона на Тасей. Хотя бы на денек... Я уже слышу гоготание гусей в камышах, вижу темные крепкие избы с веселенькими ставнями. Золотистая кашкара... Иду знакомой тропкой, перешагиваю через поваленную лиственницу. Ствол березы, усеянный наростами... Горячий, душный воздух в тальпиковой чаще. Поляны голубого касатика и ярко-синих горечавок. Шагаешь будто по лазурной воде. Старая, покосившаяся баня, желто-зеленая от лишая. Таня уже ждет. Забудем мелкие обиды. «Хочешь, скажу правду: никогда и никого у меня не было. Только ты... И я люблю тебя. Ведь в самом деле

ты поедешь за мной хоть на край света? Ничего, кроме своей любви, тебе не обещаю: по службе не продвинусь и не придумаю новую космологическую гипотезу. Не поступлю в институт и не стану инженером. Давай поклянемся, что никогда кухонный комбайн не осквернит нашего тесного жилища!..»

— А вы как думаете?

Кусок печенья застревает в горле. Перегудов терпеливо ждет ответа. Будто мое мнение в самом деле чего-нибудь стоит. Но мне сейчас хочется казаться значительным, солидным.

Дети, не употребляйте наркотиков и спиртных напитков. Если верить фельдшеру Северинову, алкоголь приводит к алкогольному слабоумию. Спорт — сила, спирт — могила! Доза восемь граммов чистого спирта на килограмм живого веса смертельна для человека. Еще Аристотель говорил, что опьянение есть добровольное сумасшествие. В США четыре миллиона алкоголиков.

Важно надув щеки, брякаю в наступившую тишину:

— А почему бы не перейти на котловые шпурь?! Эффект колоссальный. Все знают. Угрюмов говорит, что при определенных условиях... расход взрывчатки с пятнадцати килограммов на погонный метр может сократиться почти вдвое. А скорость проходки...

Что это за «определенные условия», не имею ни малейшего представления. Да никто и не собирается меня допрашивать. Угрюмов бросает яростный взгляд. Но уже поздно. Молодой инженер Пилюгин прямо-таки подпрыгивает на табуретке. Трясется под шелковой теннисной жирная грудь.

— Я считаю, что это самое новаторское предложение! — с непонятной жадностью выкрикивает он. — Нужно завтра же издать приказ о переходе на котловые шпурь.

У него вид человека, сделавшего важное открытие. Будто он сам уже давно ломал голову над этой проблемой и теперь вот другой высказал его мысли. Пилюгин вынимает клетчатый платочек, прикладывает к потному лбу. Глазки наполняются хрустальным блеском. Он смотрит на меня так, как смотрят на чужой новенький мотоцикл с коляской.

— Мы должны обсудить предложение молодого рабочего, — подает голос молчавший весь вечер Скоробогатов

и поворачивается к Григорию Ивановичу, словно ища поддержки. — У нас нет выбора. Гнать машины за понизителями, жечь горючее. Да так ли уж эффектно понизители, как уверяет Угрюмов? А условия, как всякие условия, можно создать.

Перегудов презрительно щурится. Даже голос Тишайшего ему противен. «Что ты с твоими дыплячьими мозгами смыслишь во всем этом!..» — так и рвется с его губ. Но Григорий Иванович умеет себя сдерживать (если постарается!).

— Не будем торопиться, — говорит он. — Все предложения заслуживают того, чтобы их внимательно изучить. Нет такого метода, который спасал бы от всех бед. О котловых шпурах мы думали и до сегодняшнего вечера. Так что ничего нового сейчас не услышали. Я не согласен только с одним... Что значит создать условия? Как вы себе, Егор Федорович, сие мыслите? Проходчики у нас в основном молодые, без опыта, необстрелянные. О методе котловых зарядов знают из учебников. Можем ли мы в приказном порядке перевести рабочих на котловые шпуры? Не придется ли за такое «новаторство» расплачиваться партийными билетами? Ведь все тут понимают, какая ответственность ляжет на каждого. Ответственность за человеческие жизни...

Все. Кроме меня. Я-то ровным счетом ничего не понимаю. И угораздило же сболтнуть!

— Я тоже за разумное изучение. И конечно, ответственность... — лепечет Тишайший. Слова «ответственность» он побаивается.

Только Пилюгин тверд, как стальная болванка.

— Странно слышать подобные слова, — кипятится он. — Партийный билет, ответственность, человеческие жизни... Не пахнет ли от всего этого элементарной трусостью? Все новое рождается в муках, в борьбе со старым, с косностью.

— А нельзя ли без мук? — все так же презрительно щурится Перегудов. — Просто изыскать наиболее рациональный способ. Не устраивать бурю в стакане воды.

— Диалектику не я выдумал, — не сдается Пилюгин. — У нас нет ни одного новатора, и это постыдно.

— А где же их взять?

— Выращивать, как садовник дерево.

Выращивать тоже с умом пужно. Вначале подумай: выращиваешь или под корень рубишь?..

Задор Пилюгина мне по душе. В самом деле, почему у нас нет своих новаторов? Бригады коммунистического труда есть, а новаторов нет.

— Разумеется, когда появляются новаторы — хорошо, — соглашается Перегудов. — Но вот что такое «растить» новатора, извините, не совсем понимаю. Новатор не кристалл в банке. Он-то, новатор, и есть закоперщик. А растить нужно всех. Впрочем, мы отвлеклись от главного. А главное — в кратчайший срок необходимо взвесить заявки рабочих и принять правильное решение. Вы все должны помочь мне.

Чувствую, чем-то не угодил Родиону, сказанул неладное.

Когда выходим на свежий воздух, цедит сквозь зубы:

— Пошлый болтун, колпак!

— Кто? Я?

— Где уж тебе! Я, конечно. Нужно же было тащить за собой этакое интеллектуальное чучело...

5

Я целиком принимаю учение фельдшера Северинова о «значимых ситуациях» и постепенно прихожу к выводу, что жизнь человека или же коллектива в основном и состоит из подобных ситуаций. События из ряда вон выходящие случаются редко. Исключительное событие — своего рода ЧП. Начальство же, как огня, боится всяких ЧП. Все усилия Перегудова направлены к тому, чтобы оградить нас от чрезвычайных происшествий. Обходитесь, мол, «значимыми ситуациями» — руганью на собраниях, поощрениями и взысканиями, внедрением рационализаторских предложений.

Как расцепить отъезд Перегудова? Его срочно вызвали в Читу. Сел в вертолет и улетел. Что это? Исключительное событие в нашей жизни или же «значимая ситуация»? Улетел будто бы надолго. Зачем? Никто ничего не знает. Даже Родион. Наверное, какая-нибудь кляуза.

Правит нами Тишайший. Перегудов передал ему все полномочия. Так как Григория Ивановича вызвали срочно, можно сказать, подняли с постели, втиснули в верто-

лет и умчали. Тишайший остался без руководящих указаний. Перегудов только успел крикнуть:

— Займитесь перестройкой работы!

Все понимают, что необходимость в перестройке уже назрела. Но думаем не о перестройке, а о Григории Ивановиче.

— Почему такая спешка? — недоумевает Родион. — У нас умеют всякий пустяк обставлять таинственностью. Ведь могли бы в том самом предписании, чтобы человек не волновался понапрасну, указать: вызываем затем-то. Так нет! Без всяких пояснений. Срочно явиться к ноль-ноль — и никаких. Терпеть не могу таинственности!..

И все-таки любопытно, как поведет себя Скоробогатов, оставшись полновластным хозяином?

Однако ничего особенного не происходит. Первые два дня Скоробогатов вообще не показывается на участках. Да и что ему тут делать? Ведь все уже давным-давно организовано, налажено, поставлено на прочные рельсы Перегудовым. Самое трудное — организовать процесс, втолковать, что к чему, завести сложный механизм. Тогда Скоробогатов умело прятался за широкую спину Григория Ивановича: то жаловался на больной зуб, который «с ума сводит», то зачем-то отпрашивался в Читту, и Перегудов отпустил, то ходил по пятам за главным инженером, «брал на вооружение» каждую его фразу.

На третий день Скоробогатов появляется на участке. Сопровождает его Пилюгин. Мы даже как-то обрадованы. Какое-никакое, а все же начальство. Без начальства беспринутно, вроде чего-то не хватает. Человек, предоставленный самому себе, напоминает утлый челн среди безбрежного океана.

Когда Тишайший заходит в штольню, Петя Ломакин говорит:

— Почему бы не перейти на более мощные взрывчатые вещества? Это даст возможность бурить шпуры значительно меньшего диаметра и располагать их на большем расстоянии друг от друга. Переворот во всей технологии!

Скоробогатов запускает мизинчик в ухо, долго трясет его, блаженно улыбается.

— Значит, переворот? — переспрашивает он.

— Школьнику понятно! И котловые шпуры не понадобятся, а эффект почти такой же.

— А зачем это?

— Что?

— Ну, переворот?

— Да как же? Все над тем только и ломают головы. Опять же облегчается труд бурильщика. Вы не думайте, что я с бухты-барахты. Целую неделю рассчитывал, исписал тетрадь.

— Значит, вы считаете инженеров глупее себя? Они не знают, что облегчает, что не облегчает?

— Перегудов же просил всех высказать свои соображения!

— Перегудов просил... Он главный инженер. Главный инженер приказывает, а не просит. А почему вы обращаетесь со всем этим переворотом ко мне? Я, кажется, ничего не просил.

— Так вы же, как зампотех, должны быть заинтересованы в том, чтобы массы проявляли творческую инициативу.

Скоробогатов укоризненно покачивает птичьей головкой:

— У меня есть должность, а не кличка — заместитель по технической части, а не зампотех. А сейчас, как вам известно, я исполняю обязанности главного инженера. Вы ведете себя нескромно, товарищ Ломакин. Переворот... Речь идет о перестройке работы, а не о перевороте. Ну а в чем я заинтересован или не заинтересован, то не ваше дело. Нужно быть поскромнее, поскромнее. Пореже проявлять так называемую творческую инициативу и побольше работать. Вы же комсомолец, член бюро...

— А при чем тут комсомолец? Что вы меня к земле пригибаете своим авторитетом?

— При том. Комсомольцу положено быть скромным, примерным, не мутить воду, не заниматься саморекламой. Для критики и самокритики существуют собрания. На собрании можете высказать, в чем я заинтересован и в чем не заинтересован. А в рабочее время нечего митинговать, грубить старшим...

Нудно, противно. Не повышая голоса. Будто жует соломку.

— Ну и студены! — возмущается Петя, когда инженер уходит из штольни. — Ты его бьешь кулаком, а кулак насквозь проходит. Ты ему о деле говоришь, а он за слово цепляется. Так и ушел в кусты от сущности. Напле-

вать ему на рационализацию и на творческую инициативу. Придется Перегудову на глаза лезть, когда вернется, чтобы не заглохло предложение. И на что ведь бьет! Нужно быть скромненьким, скромненьким, тихоньким. Быть скромным на его языке — значит набрать воды в рот, не дерзать, не желать. Выступил с предложением — самореклама. Выступил с критикой на собрании — подрыв авторитета, разжигание страстей. Переходишь на личности — разваливаешь коллектив. Так и гнет, так и гнет к земле. Ходи скромно потупя взор.

В обеденный перерыв меня за руку ловит Пилюгин. У него такая привычка — ловить всех за руку.

— Ты зайди, зайди в контору перед собранием.

— А в чем дело?

— Здесь неудобно. Ну ладно, отойдем.

Мы уходим подальше от палаток.

— Хочешь быть новатором? — спрашивает Пилюгин.

Я ошарашен.

— Только без болтовни, — предупреждает инженер. — Чтобы даже Угрюмов не знал. Может все испортить.

— А что я должен делать?

— Да тебе ничего не нужно делать! Я все беру на себя. Необходимо привлечь внимание общественности к нашему объекту. Объект-то очень важный, а о нем нигде — ни гугу. Надо, чтобы приезжали фотокорреспонденты, чтобы в газетах писали. Мы ведь работаем не хуже, чем на трассе. О них трубят на всю страну, а мы будто аппендицит какой. Несправедливо!

В самом деле, почему за все время к нам не появился ни один корреспондент? На трассе — новаторы, показатели, бессменная вахта и прочее. Портреты передовиков в газете печатают. А мы как проклятушки — ни приличного кино, ни артистов филармонии, которые бродят где-то поблизости, ни корреспондентов.

— Перегудов говорит, что не любит шумихи. Явная недооценка культурно-массовой работы. Только о себе печется. Его-то физиономию уже пропечатали и еще в Чите на киноплёнку засняли. А тут довольствуйся заработком — и никаких духовных запросов. Будет свой новатор — сразу и репортеры прискачут, и артистов пришлют.

— Где ж его взять, новатора-то?

— Как где? Взрастить. Ты готовый новатор. Метод котловых зарядов. Талантливая идея. Вокруг этого все

может завертеться. Перестройка работы, переход на метод котловых зарядов, предложенный молодым рабочим... Приказы, благодарности, награды, большой экран. Ведь новаторы получаются из таких вот, как ты, парней.

— А если начнут интервьюировать?

— Тебе все на бумажке напишут. Все за тебя будут делать. Для всех важно, что взрастили своего новатора.

— Так я о котловых зарядах от Угрюмова слышал, а сам-то не очень...

— Чепуха. Не Угрюмов придумал котловые заряды. У него просто не хватило смелости предложить их. Он же тебе будет благодарен. Вон Ломакин не стесняется про-талкивать свой метод. В новаторы метит. А еще член бюро!

— А в Читу отпустят?

— Ну, само собой. Новатору всегда идут навстречу. Будешь хозяином положения. Разумеется, очутишься в апогее — не следует забывать и тех, кто взрастил.

— Будьте спокойны. Я не поросенок.

— Значит, по рукам?

— Боязно что-то. Никогда новатором не был. Как бы Перегудов по шее не надавал.

— Да он только рад будет. На объекте новатор. Кроме того, появился в его отсутствие. Следовательно, он-то при чем? Стоит только сделаться новатором — и для Перегудова станешь неуязвим.

— Ради смеха можно попробовать. Только чтобы в Читу отпустили. Мне очень нужно по пути наведаться в одно местечко. Отпустит Скоробогатов на пяток дней — согласен даже в новаторы пойти. А можно на собраниях не выступать? Неловко как-то.

— Можно.

Вечером Чупров кричит:

— Братва, пошли на туманные картины!

«Туманными картинами» называем доклады Скоробогатова на собраниях. Он мастак усыплять. Собираемся возле мачты, на которой полощется флаг. У нас как на корабле: флаг поднимают каждое утро. Повестка дня: «Перестройка производственного процесса при переходе строительства на поточный метод». Железно, зубами не угрызешь. Перестройка строительства... Пришли все. Даже Антип. С нетерпением ждем слова Скоробогатова. В чем выразится перестройка? Перестройка — значит переста-

новка, новые методы, новая оплата труда. Это собрание, пожалуй, самая «значимая ситуация» за все время. Куда повернет руль наш Тишайший?

Он долго трясет мизинчиком, засунутым в ухо. Потом перебирает бумажки. Доклад.

Вводную часть не слушаем. Ее можно было бы высечь на граните или мраморе — всегда одна и та же. Выражаясь научно — скрижали.

Больше пятнадцати минут никто не выдерживает. И слова будто бы правильные, высокие, все идейно выдержано. Есть и призывы — «перестроить производство в соответствии с передовыми требованиями».

Жует и жует соломку, как пищуха-сенокоска. Жует сорок минут, жует час. В голове образуется туман. Тру глаза, кусаю себя за руку — все бесполезно. Мерещится, будто Скоробогатов в темном костюме шамана совершает ритуальный танец.

Бьет кулаком в бубен, приговаривает:

— ...горняк должен быть скромным, боевитым, высококультурным, честным, правдивым, бороться за производительность труда, за культуру производства, за показатели производства, за дисциплину производства, за производство средств производства для производства и перепроизводства... Асса! Асса!

— Не храпи, скотик! — толкает в бок Чупров.

Екаю, как скачущий конь, и просыпаюсь. Бдение продолжается. Но никто не бдит. Даже член бюро Ломакин по-куриному закатил глаза. На него страшно смотреть. То и дело стучается носом о собственное колено.

— Поднаддай мне по шее, — просит Яшагин. — У меня дурная привычка спать с открытым ртом, вывалив язык. Как бы не прикусить.

Охотно исполняю просьбу.

— Эй, вы там, не драться! — кричит из президиума Пилюгин.

Доклад окончен.

— Вопросы к докладчику есть?

— А как все-таки будет происходить перестройка работы? — спрашивает Ломакин.

За Скоробогатова отвечает Пилюгин:

— Слушай ухом, а не брюхом. Проснал доклад, а теперь задает вопросы.

Яшагин тянет руку.

— Вы сказали, каким должен быть советский горняк. А каким он не должен быть?

Глупость, дурачество. Все это понимают. И Скоробогатов понимает. Но у Тишайшего великая выдержка. Вместо того чтобы отчитать Ромку, поставить на место, он с невозмутимым видом начинает перечислять, каким не должен быть советский горняк: несознательным, небоевитым, нескромным, безыдейным, бескультурным. Вроде того же доклада, только навыворот.

Мы уже не хихикаем. Хочется вздуть Ромку.

После доклада как с похмелья. Трещит затуманенная голова. Все кажется бессмысленным, ничемным. И уж не веришь всерьез в высокие призывы. Понимаешь: для проформы. Рот не раскрывается.

— Кто хочет выступить в прениях! — натужно выкрикивает Пилюгин.

Тягостное молчание. Стыдимся глядеть в глаза друг другу. Неожиданно поднимается Антип.

— Покороче, дед! — предупреждает Пилюгин.

— Я самую малость. Мы произвели у себя активный рост строителей. А вы что? Варнаки вы и есть варнаки! Совести человеческой нет. Не успеешь оглянуться, как всю воду разворуют. Коня жалеть нужно. Конь, он тоже животная. Вот моя самокритика.

Антип плюхается на землю, смахивает ладонью со лба потное просо и сразу же закуривает трубку. Разволновался.

— Речуга получилась идейно выдержанная, — подбадривает Яшагин. — Заодно сказал бы и о перестройке работы, а то у Тишайшего докладик как стерильная вата, только уши затыкать.

— Ты хочешь выступить, Яшагин?

— Да чего уж выступать? И так все ясно.

— Тогда разрешите мне?

Пилюгин упирается животом в стол, так что он едва не опрокидывается, и, лаская через все пространство меня взглядом, начинает говорить.

Вскоре мне становится душно, а ребята сидят с разинутыми от изумления ртами.

Оказывается, я новатор, последователь знатного горняка, прославленного на весь мир Еремеева. Это он, Еремеев, внес коренные усовершенствования в проходку минных штолен, применив котловые шпурсы. Ребята до

такой степени потрясены, что даже не знают, как принимать заявление Пилюгина. Что это, указание свыше? Они же знают меня как облупленного. Новатор, который и обыкновенный-то шпур зарядить как следует не умеет!.. А Пилюгин предлагает вывесить мой лик на доску.

— Ты это взаправду или всерьез? — шепчет Яшагин.

— Отвяжись! Не мешай строить карьеру.

— Вот так тип! Не ожидал...

Ромка явно в растерянности.

Ребята прямо-таки из себя выходят. Достается мне и от Кузи Зуева, и от Ломакина, и от других. Я чуть ли не самозванец.

— Чего же ты молчишь, чертова кукла? — насеждает Яшагин. — Это же профанация.

— Не приставай, жалкий индивидуалист. Нам нужны новаторы. Ясно?

Начинаю понимать, что шутка зашла далеко. Прошу слова. Меня выдавливают к столу, словно вазелин из тюбика.

Делаю постное лицо, как и подобает человеку, которого подняло на гребень исторической волны, скромно потупляю взор.

— Товарищи!

Шум сразу же стихает.

— Мне непонятна запальчивость некоторых выступавших. Инженер Пилюгин назвал меня новатором. Это его личное дело. На столь высокое звание не претендую. Скромность не позволяет.

Сдавленный крик Яшагина из задних рядов:

— Еще бы!

— К сожалению, я не знаком с товарищем Еремеевым и потому не могу претендовать на роль его последователя. Метод котловых зарядов тоже открыл не я. Идея принадлежит Угрюмову. Мы обсуждали с товарищем Угрюмовым, стоит ли предлагать котловые шпуры. На одном из совещаний я подал мысль начальству...

Крик откуда-то сбоку:

— Нахал!

— Хорош или плох метод котловых зарядов — не мне судить. Вы все опытнее меня. Но имею же я, черт возьми, право высказать свое мнение! Особенно если меня спрашивают.

— Это не твое мнение.

— Пусть. Разве метод котловых шпуров исключает другие ценные предложения? Я, например, считаю, что понизители твердости в сочетании с более мощными взрывчатыми веществами...

— Заткнись, чумак! Научись сперва чищалку в руках держать.

Но меня не так-то легко смутить.

— Председатель, наведите порядок, иначе...

— Хватит!

— Не умеете себя вести в общественных местах, товарищ Яшагин.

— Ну и зануда! Кто бы мог предполагать...

— Ладно! Дьявол с вами! Под нажимом общественного мнения отказываюсь от всяких предложений. Считайте, что ничего не было.

— Так легко не отделаешься! Знаешь, что бывает за воровство чужих идей?

Родион хохочет навзрыд. Скоробогатов совершенно невозмутим. Что-то записывает в тетрадку. Пилюгин гремит, как барабан.

После собрания Кузя Зуев лезет на меня чуть ли не с кулаками.

— Че удумал, вражина, че удумал! Умник нашелся. За такую рационализацию у нас на Чумыше по шею дают.

Гнев Кузи справедлив. Из выступлений ребят я уже понял, что переход на котловые шпуров больно ударит бурильщиков по карману. У них ведь счет идет на шпурометры. Выдал столько-то шпурометров за смену — получай красненькие! Теперь потребность в проходчиках может сократиться раз в десять. Куда девать людей?

Антип со своей варнацкой философией тут как тут:

— Прогресс, он всегда трудящему человеку боком выходит. Новатор-рenegатор.

— А ты чего глотку дерешь, старший мухомор?

— За опчество.

— Шел бы к своему мерину.

— У него инфаркт.

— Чего пристали к парню с тупым ножом к горлу? — вступается Петя Ломакин. — Не тебе одному, Зуев, висеть на Доске почета. Дай дорогу молодым. Как говорил князь Потемкин, фаворит Екатерины, каждый проби-

вает себе дорогу тем оружием, каким он лучше всего владеет.

— А ты что насчет всего этого думаешь? — спрашиваю Родиона. — Я ж не виноват, Пилюгин...

— Что я думаю? Скоро узнаешь, что я думаю...

Не нравится мне тембр голоса Угрюмова.

...Тишайший совсем перестал показываться на участках.

— Отсиживается в конторе, обвалившись бумагами, — пропизирует Ромка. — Так когда же тебя повесят? На доску, разумеется.

После собрания все осталось без изменения. Один Пилюгин бегаёт, суетится, призывает. Раздувает и раздувает меня — вот-вот лопну, как детский воздушный шар. Внедрять, мобилизовать, проводить в жизнь... А как это делается, не знает. И Скоробогатов не знает.

Знает Родион, знает Ломакин, знает Зуев. Они, как и все, высказали свои соображения, но Скоробогатов или ничего не понял, или решил проявить полную самостоятельность, щелкнуть, так сказать, по носу этих «зазнаек», которые все время относились к нему внешне почтительно, но с иронией. Один Андрюха Чупров целиком на стороне метода котловых зарядов. Или притворяется?

— Метод прогрессивный, очень прогрессивный. Ты, старик, гений, если не больше. Скоро все в этом убедятся. Научное предвидение. Берусь в кратчайший срок овладеть методом. Немного сноровки... Зря ты так, при первом же нажиме оттолкнулся.

— Так ведь ребята могут остаться без работы.

— У нас в Советской стране ещё никто без работы не оставался. Пусть проклятый капитализм корчится в катаклизмах и тихоенько катится себе в пропасть. А нам это ни к чему. Ты гибрид аквилегии с египетским лотосом и померанцем? Тебя не на доску, тебе памятник нужно, прижизненный саркофаг с надгробной плитой. Хочешь, опять зажигалку подарю?

— Не нужно.

Что это Андрюху так корежит? Не без подвоха.

Все упорнее и упорнее ползут слухи, что метод котловых зарядов будет принят на вооружение. После долгих колебаний Скоробогатов якобы дал согласие: готовится приказ. Мне прямо-таки не дают проходу. Отличился!

Хожу потуплясь, прячу глазки. Интеллектуальное чучело. Лжедмитрий, Лженерон... Лженоватор...

— Внедряй, новатор! — пощупает Пилюгин.

— Я бы рад, да с какого конца взять? Издавайте приказ побыстрее. Тогда сами начнут шевелиться. Консерватизм! Привыкли ходить в исконном-посконном. Мы их заставим мобилизовать ресурсы...

Только теперь начинаю понимать, что Пилюгин круглый дурак и мелкий провокатор. А я, что называется, по легкомыслию влип в историю. Скорее приезжал бы Григорий Иванович!

Неужели Тишайший издаст приказ? В это невозможно поверить.

— Издаст, — говорит Родион. У него злобно-веселый вид, не обещающий ничего хорошего. — Мы посоветовали Скоробогатову назначить тебя бригадиром.

— Это еще зачем?

— Как же? Новатору неудобно ходить в рядовых. Будешь обучать молодежь методу котловых зарядов.

— А ты?

— Мои попизители Скоробогатов с Пилюгинным забраковали. Машины в Читу не пойдут. Стану проситься в котловину Цаган-ама. Должно же быть у человека самолюбие! Ведь я третий раз делаю попытку заинтересовать начальство попизителями твердости. Теперь крах мечтам.

Не пойму, дурачится или говорит всерьез. Должен же он понимать, что возня с котловыми шпурами — пилюгинская глупость. Захотелось сотворить из необработанной глины новатора и самому прославиться.

— Глупость? Ну, ты плохо знаешь Скоробогатова. Метод котловых зарядов ведь в самом деле прогрессивный, весьма эффектный. Пилюгин притащил Скоробогатову брошюры и учебники, где речь идет о котловых шпурах. Там все очень красочно и убедительно описано. Скоробогатов колеблется, а Пилюгин насаждает.

— Так почему же ты против котловых шпуров? Ведь сам подал мысль...

— Я не против. Я за разумный подход к делу, за условия. Объясни-ка все же, что такое котловый шпур?

— Тот самый, когда в донной части обычного шпура посредством взрыва небольшого заряда получаем расширение или котел. Котел заплняем аммонитом.

— Интеллект! — восхищается Родион. — Перейдем от теории к практике. Вот шпур. Нужен котел. Действуй!

— Я растерян. Необходимо на дно шпура поместить небольшой заряд взрывчатки, произвести простреливание. Потом вспоминаю, что число простреливаний зависит от таких вещей, как крепость и структура породы, свойства взрывчатки. Нужно знать, какой требуется объем котла. Формулы насмешливо покачивают рогами.

— Не трудись, детка! Кузя Зуев лучше тебя усвоил, что такое котловый шпур, однако не пришел в восторг. Знаешь, что считается самым опасным в нашем деле? Простреливание шпуров! Могут быть жертвы. И не теоретически, а практически. Только Пилюгину и Скоробогатову кажется, что в приказном порядке можно всех перевести на котлы. Это все равно что тракториста посадить на самолет. Требуется высокая специализация, большой опыт. В гранито даже мастеру трудно получить котел. А так — ЧП за ЧП.

— Что ж теперь делать?

— На первый случай получи пятак. Честно заработал. И прочти бумажку.

Буквы расплываются перед глазами. Приказ о переходе на метод котловых зарядов! Подпись Скоробогатова. Падаю на колени.

— Родимчик, не губи! Заступись!.. Это же гибель, физическое уничтожение... Вырви мой подлый язык, казни, как самого распоследнего комара! Я тебе бродни чистить буду. Какой же из меня бригадир, новатор, если формулу Борескова до сих пор не могу запомнить! Подурчатиться захотелось от скуки. А они взаправду...

Родион трясется от смеха.

— Жаль тебя, дурня! А следовало бы опшкурить, как ту никчемную осину. Дерзай по разуму, если не хочешь дров наломать.

— Куда же мне теперь укрыться от Тишайшего и Пилюгина? Ведь все равно жизни не дадут, заставят.

— Выступи на комсомольском собрании, честно расскажи, как все было, как тебя Пилюгин подбивал на новатора.

— Позор принять?

— Да. И чем скорее, тем лучше, чтобы эти недоумки не цеплялись за тебя. Знаешь, что такое новатор? Это такое же явление, как, к примеру, талантливый поэт. Маяк.

И устраивать балаган мы никому не позволим! Не только Пилюгину, но даже папе Пилюгина.

6

Не знаю, какой смысл имеют психологические исследования на производстве, но, наверное, смысл есть. Совсем недавно фельдшер Северинов раздавал нам анкеты, отпечатанные на машинке, с такими вопросами: 1. С кем бы вы желали работать вместе (назовите фамилии): а) на операции, б) в бригаде. 2. С кем бы вы не хотели работать вместе. 3. С кем бы вы хотели дружить в свободное от работы время: а) отдыхать, б) совместно учиться, в) по-настоящему дружить.

Ответы каждого оставались в тайне. По ответам Северинов строил матрицы, выделял «звезды» авторитетных и изолированных в группе лиц.

Вот такому социометрическому обследованию подвергались все бригады. Северинов неизменно делал вывод: коллектив стабильный, прочный.

Теперь, как говорится у Толстого, все смешалось в доме Облонских. «Звезды» авторитетных лиц стали меркнуть. Ответы в анкетах утратили былую определенность. Участились ссоры, опоздания на работу. Откуда-то появилась водка. Диагноз Северинова таков: коллектив болен.

— Вынужден разгласить тайну, — говорит мне Северинов, — твоя «звезда» закатилась, не успев взойти. Набрал голосов «за» меньше, чем Никсон на президентских выборах. Зато «против» — пышный букет.

— Без анкет знаю. Темную хотят устроить.

Пока был Перегудов, его присутствия никто не замечал. Все шло само собой. Без рывков, без дерганья. А сейчас начался какой-то развал. Скоробогатов в штольни не кажет поса, отдает распоряжения через Пилюгина. Распоряжения диковинные, не сразу сообразишь, что требуется. Северинов с азартом исследователя следит за всеми фокусами Тишайшего. Бестолковщина во всем. Внешне все будто бы идет своим чередом, стучат молотки, гремят взрывы. А суточная выработка резко снизилась. И это тогда, когда ее нужно повышать и повышать. Напрасно подрывают голосовые связки бригадиры. Они и сами напоминают разжалованных боцманов — Скоробогатов не зовет их на производственные совещания, не дает конкретных указаний. Мы, выражаясь морским жар-

гоном Угрюмова, попали в штиль и стоим с обвисшими парусами, а течение относит нашу каравеллу назад.

Хуже всего то, что ребята начинают ссориться из-за каждого пустяка. Нытик Яшагин беспрестанно задирает Родиона, юродствует и шаманит. Эрудиция сочится изо всех щелей. Никаких сдерживающих центров.

— Человек опускается незаметно, — философствует Ромка. — Сперва лень ноги мыть, стричь ногти. Потом тихо начинаешь терять веру в смысл всего. Даже на бетонщиц из котловины смотришь как на богинь. Есть там одна Муся. Такая Муся положит длань на плечо — калек на всю жизнь останешься. Всю ночь, проклятая, мерещилась. Будто бы обнимает... Чуть не задохнулся. Просыпаюсь в белой горячке. Ну, монастырь! Хоть бы пару поварих подбросили для развития эстетических чувств.

Угрюмов слушает Ромку с удивлением, даже с каким-то любопытством.

— Давай выскажись до конца, дабы дурь явлена была.

— Живем по жестокому шаблону. Откуда тут взяться чрезвычайным происшествиям? Сплошное томление духа. Даже твоя тельняшка — шаблон. Во всех кино показывают.

— А чего б ты хотел?

— Огурцов. Да, да, зеленых, бородавчатых, пахнущих утренней росой. От сушеной картошки в глотке дерет, будто наглотался железных стружек. Мясо твердое, как рессора. Ты скажи: из чего варят темно-синие щи?

— Из фасоли.

— Феноменально! Ни в одном магазине никогда не видел фасоли, думал — выдумка ботаников. Ее что, специально берегут для великих строек?

— Фантазия снабженцев. Питательно, калорийно, вкусно. По-моему, никакого шаблона.

— Шаблон во всем. Кино смотришь: долбят, бурят, добывают, осваивают. В книжку заглянешь, опять бурят, долбят, в трубу лезут, занимаются рационализацией. Хотя при современной технике лезть в трубу с риском для жизни вовсе не обязательно. Не признаю искусственных трудностей.

— И я не признаю. Когда хочу разобраться в каком-либо явлении, всегда задаю вопрос: «А закон ли это нашей жизни?» Ответ всегда бывает безошибочным. Самый верный ключ ко всему.

— Наплевать! Я не прокурор. Хочу широкой, полнокровной жизни. Неужели я родился лишь для того, чтобы бурить, долбить, добывать, взрывать, унавоживать почву для грядущих? В Рио-де-Жанейро хочу, как Остап Бендер! Чтобы гуайявы и гуанако, джунгли, питоны, гиббоны и махаоны...

— А какого черта ты там забыл, что будешь делать? Воровать или гуано собирать?

— Обязательно делать? Смотреть на мир во все глаза. Поймите правильно: мечтаю не о какой-то ресторанной жизни, а о некоем аристократизме ее. Чтобы люди были джентльменами по отношению друг к другу, чтобы меня не прорабатывали за каждый пустяк, как мальчишку, а создали условия для гармоничного развития. Чтобы я мог насладиться жизнью, увидеть все.

— А те, другие?

— Какие другие?

— Ну, те, которые должны создавать условия для гармоничного развития? Ты благовонный тополь, интеллектual, а у тех, других, в голове не мозги, а цветная капуста? Понимаю, хочется, чтобы другие бурили, долбили, а ты бы нюхал мимозы, разъезжал по экзотическим границам, где лакей угодливо берет плед и чемодан. А кругом — ананасы-бананы, три «к»: кальвадос, коктейль, кока-кола, и безработица. И чтобы мальчик в живописных лохмотьях бежал сзади, кланчил пезету, или как она там называется, а ты бы с гордостью думал: «У нас обязательное восьмилетнее обучение и нет безработицы». А кто всего этого добился, тебе и невдомек. Я не аристократ духа и не могу отмахнуться от безобразий, беру на себя роль обвинителя: надеваю повязку, иду на станцию, охочусь на хулигана, спрятавшего в рукаве фишку. А ты ждешь, пока тот, другой, оградит тебя от воров, хулиганов, от всех неприятностей. Какой же ты хозяин? Видишь ли, не создали условий для гармоничного развития. Я должен тебе их создавать? Почему бы самому не заняться этим? Твой папа создал условия, которые другому и во сне не снились, а ты вылетел из института. Почему? Потому, что вбил дурь в голову. Книжное представление о воле времен Ницше и Шопенгауэра. Волевые качества — это прежде всего способность к методическому труду в любой обстановке, а вовсе не то, что вообразил. По шпаргалкам характер не воспитывают.

— У нас разный словарный запас, и толковать бесполезно. Старый прием подводить подо все политический базис.

— Отчего же бесполезно? Польза взаимная. Тебе и самом деле следовало бы переменить знаки на обратные: выкинуть хлам из головы, почаще вспоминать, что ты комсомолец.

— Горжусь, горжусь. Прижал. А грядущие будут хлебать темно-синие щи?

— Не знаю, что они там станут хлебать, но, если ты разменяешь жизнь на пустячки, на туристские поездки, на сибаритство, твои дети вправе будут спросить: почему ты не освободил нас от мелких и больших страхов, не очистил землю от хулиганов, дармоедов, подхалимов, сутяг, аристократов духа и тела, идейных отравителей, взяточников, от всех, кому хотелось бы, чтобы земля напоминала джунгли, где можно безнаказанно охотиться?

— Благодарим за содержательную политинформацию, — все еще кривляется Ромка. — Постараюсь не иметь детей, чтобы не нести перед ними столь суровой ответственности.

Слушаю Родиона и припоминаю случай: в первые годы после войны на детей фронтовиков, еще не вернувшихся домой, по особой записке одного из хозяйственников промысла в распределителе давали рыбий жир. Особенно жир требовался моей рахитичной сестре. Хозяйственник всегда встречал мать низким поклоном — он уважал фронтовиков, так как сам всю войну просидел в тылу, — без всякой волокиты выдавал волшебную записку: «Срочно отпустить!..» Но ни по одной из записок мать так ни разу ничего и не получила. Продавец неизменно отвечал: «Жир кончился!» — «Да как же так? — недоумевала мать. — А Чевардакова только что приволокла целый литр. Этой бездетной толстухе отпускают, а у меня ребенок чахнет...»

Позже выяснилось: хозяйственник вел двойную бухгалтерию — если действительно кого хотел облагодетельствовать, писал красными чернилами «Срочно отпустить»; виза синими чернилами продавцом во внимание не принималась. Мы были «синечернильниками».

...На дощатый настил сел вертолет. Все решили, что вернулся Перегудов. Оказалось — почта.

Лежим с Родионом на траве, читаем письма. Ему — из Москвы. Ясно от кого! Мне от Альки Пискунова. Все еще в учебном отряде. Обещает прислать карточку. Писулька от Фомы Гурко. На Баскунчаке все то же. Те же солесосы и экскаваторы, те же люди. Приезжали в отпуск Христофоровы. Она — с младенцем. Девочка. Наташка. Хотели взять Ксению Вениаминовну к себе, нянчить внучку. Отказалась. План, как всегда, невыполняется. Фома даже не спрашивает, почему я уехал в Сибирь. В конце копцов работа всюду есть работа. Не спекулировать же укатил!

Читаю письмо, и кажется, что оно пахнет сверкающей рапой, гранаткой — крупной, прозрачной, как слеза, солью. А ведь только год, один год...

Прибегает Яшагин. Вид у Ромки возбужденный. Белки перекатываются в глазницах.

— Чупров нализался! Буянит...

Родион ни о чем не расспрашивает. Вскикиваем и бежим к палатке Чупрова, в дальний конец городка. С Элеонорой не поладил?.. Никогда ничего подобного не наблюдалось с Андрюхой. Один из комсомольских вожakov, член бюро. В такое не сразу поверишь...

Врываемся в палатку. Чупров с остервенением топчет тяжелыми сапогами гербарии. По щекам размазаны слезы. Заметив нас, плюхается на кровать и ревет в голос. От него густо несет водкой. Тут же, на полу, улика: пустая бутылка с отбитым горлышком. Чупров порезал пальцы. Кровью измазана подушка. Должно быть, взял и отломил горлышко. Сила у него медвежья.

— Видишь, что он тут вытворяет! — горячится Яшагин. — Меня по-всячески обложил.

Угрюмов отстраняет его рукой, склоняется над Чупровым.

— Андрюша, что с тобой?

Чупров трясет лохматой головой и зарывается посом в подушку.

Рядом с пустой бутылкой листок бумаги. Наверное, письмо. Родион поднимает листочек, пробегает глазами.

— Пошли, ребята, отсюда...

— Что случилось?

— У него учитель умер. Герасим Акимович...

— Это еще не значит, что нужно на всех бросаться, как полоумный, — все еще ярится Яшагин. — Нашел вре-

меня эмоции разводить. Слизняком обозвал... Вздрычить бы по комсомольской...

Лицо Родиона темнеет, рот кривится.

— Эх ты, благовонный тополь!..

...Приходят девчата из котловины.

Первым замечает их Ломакин.

— Полундра! Оловянная чума катится.

Обитателей котловины мы прозвали оловянной чумой; они нас — огнеземельцами, печенегам, бычками в томате. Последнее из-за пристрастия Чупрова к бычкам в томате. Каждый раз приносит из фактории грудку консервных банок, щедро делится.

Конечно же, девчата пришли не за тем, чтобы полюбоваться на нас. В котловине своих парней хоть отбавляй. Нужно кое о чем договориться. На той неделе с вертолетом прибывают артисты Читинской филармонии. Милости просим. Кроме того, девушки решили обратиться ко всем комсомольским организациям Бурятии и области с призывом. Пусть молодежь приезжает на стройку! Ведь тут возникнет целый город.

— Как он решит, так и будет, — указывает злобредный Ломакин на меня. — Устами младенца глаголет истина.

— Огнеземельцы — «за»! Отсылайте в газету.

Кузнец, он же санитар Кучумов, щерится, просит:

— Дай пальчик.

Доверчиво протягиваю руку. Щелчок, боль — и на указательном пальце вздувается темная капля крови.

— Расписывайся кровью!

И это серьезный человек, который передушил всех комаров в своем селе!..

Петя Ломакин бережно кладет аккордеон на колени. Выползает из пещеры даже Афоня Кублаков. Под мышкой зажата скрипка.

— Вы не из Прибалтики? — спрашивает у него Элеонора.

— Нет. Просто у меня лицо фотогеничное.

— А я о вас вспоминала, — говорит мне Муся мечтательно. — Хотите конфетку? У нас в ларьке дают.

— Сладкое — моя слабость... В детстве узелок с тертой морковкой сосал.

Остальных девушек зовут Тося, Нюся и Ася. Они не жеманничают. Танцуют с парнями, угощают конфетами,

позволяют за собой ухаживать. Я думал, что Чупров так и прилипнет к своей Элеоноре. Но Андрюха сидит с опухшим лицом, хмурый, задумчивый. Ему в высшей степени наплевать, с кем танцует Элеонора. Все не может поверить в смерть учителя Герасима Акимовича. Отсвет малинового пламени дрожит на лицах, мечутся ходульные тени, с натугой вякает охрипший от холодов и сырой погоды аккордеон.

Афоня исполняет только сольные номера. Всякие там интермеццо и адажио. Ему хлопают, как настоящему артисту. И в такие мгновения лицо Кублакова становится непривычным, застенчиво-детским. Талант всегда исполняет сольный номер, если даже он дирижирует целым оркестром или же такой стройкой, как наша. Кузя с чувством читает стихи про некрасовскую лошадку, которая стоя спит; и я невольно вспоминаю антиповского мерина, пострадавшего от инфаркта; потом исполняет скерцо: «А грязные пальчики в дырочки, как божьи птички, глядят...» Элеонора неожиданно низким голосом поет песню на незнакомом языке.

— Подсыпь парочку теорем с ультраэллиптическими, — упрасиваю Родиона, — вот смеху будет!

Но вместо этого Угрюмов выпускает в круг Маргаритку. Собачка по команде и под песенку Родиона «Я моськой быть желаю, чтобы весь день храпеть. И нет нужды, что я залаю и что не буду петь...» проделывает невероятные фокусы: угадывает написанную палкой на земле цифру, приносит из палатки названную вещь — носок, ремень, рубашку, «Мезонные поля» и «Пространственно-временные представления». Начинается перепляс. Тут уж и я могу показать товар лицом. Хожу колесом, подкидывая ноги до ушей. Свист, гиканье.

В отдалении на камне сидит Яшагин. Вид у него скачущий, неприступный. Охота потанцевать, подурачиться с девушками, но нельзя — воля! На него никто не обращает внимания — может, у человека зубы болят! И это самое мучительное.

Ромка выдерживает характер недолго. Входит в круг, обращается почему-то к Элеоноре:

— Я могу стоять на бровях. Хотите, покажу?

Девчата окружают Яшагина.

— Просим, просим!

И Яшагин стоит на голове. Пять минут, десять, пятнадцать. Он готов стоять весь вечер. Но девчата хотят танцевать.

— А теперь покажите, умеете ли вы стоять на ногах, — говорит Элеонора. Говорит с милой улыбкой.

Но Ромка уже сел на любимого конька «исключительной личности».

— Я хочу показать вам девушку, которая меня любит...

Он идет в палатку и возвращается с гипсовой маской. Маска с лица девушки. Мы заинтригованы. Маска с живого лица... По маске трудно судить, красива девушка или нет. Наверное, красивая. Толстоватые, припухлые губы. Улыбка. В свете костра маска производит жуткое впечатление.

— Она скульптор, — поясняет Яшагин, — в Ульяновске. Дочь профессора Мальчевского.

Тося, Нюся, Ася и Муся смущены. Они ведь работают лаборантками, поварами, арматурщицами. Их в шутку называют «тяжеловозами». И вдруг — скульптор, дочь профессора...

— Ну, нам пора... — тихо произносит Элеонора. Пристально вглядывается в Яшагина, спрашивает: — Вы, случайно, не из Прибалтики?

— Черт вывернутый! — ворчит Ломакин. Он явно раздосадован выходками Яшагина.

Мы провожаем девчат через перевал. Всем палаточным городком. Тут уж на первый план выступает Андрей Чупров. Берет Элеонору под руку, и она шепчется только с ним.

Внизу в полном одиночестве стоит Скоробогатов. По-видимому, недоумевает, чего это варьвинки и бурильщики карабкаются на вершину гольца на ночь глядя?..

Когда я буду стареньким и начну перетряхивать память, обязательно подумаю: у меня были хорошие, крепкие зубы (неважно, что слегка желтоватые от табака), и моя улыбка нравилась девушкам. В наш палаточный городок однажды пришли молодые красивые девчата, смуглые, веселые, с круглыми руками и свежим румянцем. Одна из них даже хотела познакомиться со мной ближе, весь вечер вращала блестящими, как у бурундука, глазами, подмигивала, ставила на меня кулек конфет. Но я остался равнодушен и думал о другой.

Утром народ толпится возле доски объявлений. Новый приказ Скоробогатова: «С сего дня посещение объекта лицами женского пола категорически воспрещается. За организацию вечеринок без разрешения администрации объявляю выговор Ломакину, Чупрову, Кублакову, Зуеву, Угрюмову».

— Тишайший переходит в наступление! — комментирует Яшагин.

7

Наконец мы начинаем понимать силу приказа. Каждое утро на доске свеженький приказ. Наверное, Скоробогатов готовит их глубокой ночью. За трехминутное опоздание — выговор; за разговоры в рабочее время — выговор; за отлучку из лагеря без разрешения — выговор; за невыполнение дневной нормы — выговор; за хранение и употребление спиртных напитков — выговор; за подрыв авторитета начальника — выговор; за...

Ходим притихшие, напуганные. Скоробогатов нигде не показывается, и мы начинаем думать, что никакого Скоробогатова никогда не было и нет. Есть карающий идол, издающий приказы. И в нашем воображении тщедушная фигурка вырастает в гиганта, в некое немилосердное божество, запрещающее нам все. За купание в реке — выговор; за критику повара и снабженцев — выговор; за громкий смех после отбоя — выговор.

Даже глупость, если она последовательна, вызывает уважение. Есть некий ритм во всей деятельности Скоробогатова. Все мы кажемся Тишайшему разболтанными, непочтительными. Пора привести нас в чувство. Работаем с озлоблением, с ожесточением. Но темпы почему-то не повышаются. Даже Кузя Зуев захандрил. Он нахватал выговоров больше всех.

— Что же он, аспид, вытворяет! — возмущается Кузя. — Ведь я на доске висю... Нельзя так авторитет подрывать.

— Поговори еще! Вкалывай... — подзуживает Яшагин. — Знаешь, что за разговорчики бывает?

Тишайший свирепеет с каждым днем. Он уже заслонил приказами и небо и солнце. Не загорать! На скрипке не играть! Курить в установленном месте! В тайгу не углубляться!

И под все подводится на первый взгляд разумный довод: играющий на скрипке мешает другим отдыхать; в реке можно утонуть; в тайге легко заблудиться.

— Так своих деток воспитывал, — догадывается Яшагин. — Знаете, что под всем этим кроется? Страх! Боятся ответственности. Свирепая власть — власть всегда непрочная, покоится на страхе за себя.

Теперь и мы начинаем кое-что соображать. Боязнь не за нас, боязнь ответственности.

— Вот что, салажата, — говорит Родион, — покуражились над Тишайшим — пора шабашить! Скоро Григорий Иванович должен нагрянуть. Выговорами не отделаемся, да и стыдно будет.

— А как же с котловыми шпурами? Ведь приказ?

— Приказ есть, а разрешения на производство взрывов нет. Представитель горного надзора парень не дурак. Он будет «изучать» приказ до возвращения Перегудова. А Скоробогатову только того и надо. Ему ведь хочется показать, что не сидел сложа руки, трудился в поте лица. Он-то знает: горнотехническая инспекция все равно не допустит нарушения «Единых правил безопасности». Огражден... Ему важно как-никак продержаться до Перегудова.

Все это кажется чудовищной махинацией. Никак не могу раскусить Скоробогатова. Еще совсем недавно Тишайший был мне глубоко безразличен. Да и никто не принимал его всерьез. А теперь вдруг захотелось понять его, понять до конца.

— Напрасно голову ломаешь, — смеется Родион, — Скоробогатов — тип в прямом и переносном смысле. Наподобие Ильи Обломова, только в несколько ином качестве. На нем вот уже полгода великий психолог Северипов тренируется. Гадает — будто астролог на своих «звездах» и матрицах. Приходилось тебе встречать людей наподобие Скоробогатова?

— Приходилось. И не раз. Был у нас на солепромыслах Филимонов. Лицо как ржаной сухарь, глазки голубиные, оранжевые. В главных ходил. Этаким горьковский Лука. Жил на противоречиях. Люди дерутся, а он их будто примирить хочет. Дело знал плохо, но все равно и те и другие шли к нему, как к третьей стороне. Рассуди, мол, нас. Прямо удивительно, как умел сглаживать противоречия!

— А дело выигрывало?

— Да нет. Все равно каждый оставался при своих. А все-таки приятно. Вроде высшая справедливость. Скажем, жалуется рабочий на то, что мастер заначку берет. Филимонов мечет громы: «Да мы его такого-разэтакого!» А мастеру говорит: «Ты, братец, действуешь не по закону. В каталажку можешь угодить. И я тебя защищать не стану. Бросил бы». — «Поклеп, — говорит мастер. — Где вещественные доказательства? Этот лодырь всегда воду мутит. Вот график выработки...» — «Ну, иди, братец, с миром! Мое дело предупредить». Ну, мастер того строительного рабочего, по фамилии Шкваркин, берет на заметку. Через полмесяца как ни в чем не бывало опять требует заначку. Рабочий снова бежит к Филимонову. «Надоел ты мне, братец, со своими кляузами, — говорит Филимонов. — Другие не жалуются. Опрашивал. Мастер — человек честный, проверенный. Тебе не следовало бы с ним ссориться. В твоих же интересах. Однако, если настаиваешь, устроим официальное расследование». — «Настаиваю! Этот паук никому житья не дает. С какой стати я должен ни за что ни про что делиться с ним зарплатой? У меня семья». — «Хорошо, братец, расследуем». Узнав про такое дело, и другие молодые рабочие становятся смелее, разоблачают мастера. «Сговорились, выжить хотят, скомпрометировать! — обороняется мастер, почувствовав, что его выведут-таки на чистую воду. — Где вещественные доказательства? Всем известно, что эти четверо систематически не выполняют плана, плетутся в хвосте, пьянствуют. Бурмаков неустойчив в быту — жена жаловалась. Ведет себя недостойно, хулиган. Меня публично оскорбил, хотел по лицу ударить». И вот заводится дело. Только не на мастера, а против Бурмакова. Бурмаков в выговорах, как в шелках. Ему устраивают товарищеский суд. Напрасно Бурмаков доказывает, что выпил всего один раз и то после ссоры с мастером. Мастер потребовал заначку, Бурмаков обозвал его мерзавцем, чуть не съездил по уху, а получив первый в жизни выговор не по справедливости, напился и поругался с женой. Ничего не помогает. Шкваркин уже давно забыт, а Бурмакову выносят общественный выговор. Не так давно Бурмаков числился в передовиках, теперь его обходят стороной. Парень с отчаяния начинает ходить по инстанциям. Но «вещественных» доказательств у него нет. «Ты, братец,

портишь мне рабочий коллектив, — укоряет Филимонов. — Ведь мастер тебя даже пальчиком не тронул, а ты набузил целое корыто. И на Шкваркина дурно влияешь. А в результате — на всех нас тень кладешь. Вот опять выговорок схватил. На этот раз строгий. Придется тебя, братец, отстранить от работы и перевести в другое место. Глупая писанина до добра не доводит. В твоём положении лучше всего уйти. Чтобы разрядить атмосферу в коллективе...» Филимонов любил говорить, что есть вещи педоказуемые. И ведь ни одна инспекция не смогла доказать, что специалист он и организатор никудышный. Умел держаться. Другие, более грамотные, знающие, вылетали, засыпались на каких-то бытовых пустяках, а Филимонов держался. Уму непостижимо. Психологическая загадка.

— Правильно. Твой Филимонов в чём-то главном сродни Скоробогатову. Фигура очень распространенная, а психологами не изученная. Выпала из поля зрения. Ведь ежели, к примеру, рвач, подхалим, карьерист, сутяга, взяточник — он весь на виду, осмыслен всеми. А как называть «ничто», принявшее человеческий облик?

— А Северинов разгадал?

— Будто бы. Человек с ограниченными способностями и глупый человек — это не одно и то же. Скоробогатов по своему умный, вернее — хитрый. Он «тихий победитель».

— Победитель? Скорее, похож на бедного родственника: дорожит местом, очень скромен, всего боится. Ведь приказы Тишайшего порождены страхом, как бы чего не вышло. А характер-то у него на самом деле мягкий. Комара не обидит.

— Бесхарактерность, а не характер. Насчет страха в общем-то правильно: всех приспособленцев объединяет страх перед жизнью. И это их грозное оружие. Нам с тобой бояться нечего. Мы позволяем себе роскошь иметь характер, правду матку резать в глаза. Нас, видишь ли, в первую очередь интересует торжество идеи, правды. У Скоробогатовых игра проще, но разжевать ее не так-то легко. Скоробогатов раз и навсегда отрезвился от всех иллюзий на свой счет: способностей никаких. А жить нужно. И не просто жить, а процветать, отламывать самые жирные куски.

В самом деле, когда смотришь на Скоробогатова, его всегда почему-то немного жалко, он кажется каким-то

бедным. А почему? Зарплату получает такую же, как Перегудов. Благодарностей и поощрений даже больше, чем у Перегудова. Над проектами голову никогда не ломал, ни за что практически не несет ответственности. Квартира в Чите роскошнее, чем у нескладного Григория Ивановича. Сыновья окончили институт и хорошо построены. На книжке наверняка не одна тысяча рублей! Основа основ — служебное место. Не работа, а служебное место. Тишайший никогда не путает эти два понятия. Они далеки друг от друга, как Луна от Большой Медведицы. Служебное место — «дырка» с громким названием. Даже самый ничтожный шарик, закатившись в «дырку», вдруг начинает именоваться не просто шариком, а главначпупсом. И люди со стороны уже не видят Скоробогатова, человека умственно убогого; перед ними — замполтех!

«Дорожи служебным местом, а не работой! — сказал себе Скоробогатов. — От работы лошади дохнут, а люди преждевременно изнашиваются».

Он только кажется тихоньким, скромным, человеком без претензий. На самом же деле это страшная фигура. Ведь болезнетворный микроб на вид тоже безобиден. Людей Скоробогатов разделяет не по деловым качествам, а по номенклатуре. Будь ты хоть трижды гений, по, если не занимаешь приличной должности, для Тишайшего ты — курица. Тишайший не верит ни в великих изобретателей, ни в талантливых проектировщиков. Он верит в администрацию. Думаешь, он уважает Перегудова? Как бы не так. Он блаженно жмурится и про себя посмеивается: «Трудись, трудись, коняга! Бди. Нервничай, страдай бессонницей от перенапряжения. Славу все равно разделим пополам». Коняги нужны. Иначе на ком же выезжать? Чем сильнее конь, тем больше потянет. Интригами Тишайший заниматься не станет. Это опасно да, кроме того, требует сноровки. Он не любит кипения, бурления, не строит из себя незаурядную личность. Он слишком дорожит местом, чтобы соваться с жалобами, предложениями. Хорошее предложение поддержать может только в том случае, когда за это предложение начальство. Он верит в одно-единственное чудо: в то, которое подготовлено начальством. Других чудес не существует. Да и не нужны они. Зачем? Лишнее беспокойство. На людей, предающихся мечтам о полетах на Луну, Скоробогатов смотрит как

на закоренелых дураков. Да ему и нечего делать на Луне. Но вслух Тишайший никогда не осудит мечтателей. Он знает: существует официальное выражение — «дерзновенные мечты». Раз это исходит от начальства, значит, нужно уважать, хочешь ты этого или не хочешь. Даже «дерзновенные мечты» можно заставить работать на себя. И он насыщает свои официальные речи этими удобными воображаемому начальству «дерзновенными мечтами», «свершениями», не вкладывая в слова ровно никакого смысла. Гремит погремушка — и ладно. Скоробогатов первый оценил силу слова. Самое страшное для Тишайшего — слово. Он не любит препираться, но если иногда и спорит, то не по существу дела, а из-за терминологии. Слова нужно произносить осмотрительно. Ведь по слову судят о симпатиях и антипатиях. Можешь облагодетельствовать человечество, поднять на воздух Гималаи, но стоит тебе в пылу полемики назвать какого-нибудь высокопоставленного чиновника ослом — и все твои заслуги сразу же будут сведены на нет. Иди тогда бейся лбом, доказывая, что ты гений взрывного дела. В этом отношении у Тишайшего все «отработано». Он не помнит формул из учебника по буровзрывному делу, не помнит шкалу твердости пород. И не потому, что у него плохая память. Нет. Память у него прекрасная. Зачем ему знать формулы? Это обязанность многочисленных подчиненных. За что же они получают зарплату? Память Скоробогатова кристально чиста, изумительна: он единственный, кто знает всю историю назначений и смещений, наград и взысканий по тресту и выше, он знает по имени-отчеству всех мало-мальски заметных начальников. У Тишайшего подлинный талант на такие штуки. Он знает все «подводные камни и течения». Нужно быть искусным лодчманом, чтобы волны житейского моря не забросили твою лодочку на острые рифы.

Спокойствие Скоробогатова — это не спокойствие командира перед атакой; это равнодушие. Равнодушие хладнокровного предателя. Он лишен совести и потому претендует на самое большое место в жизни. Глубоко презирая людей, он считает, что все ему достается по праву. Особенно страшен Скоробогатов на большом посту. Там, где нужно немедленно принять решение, воздействовать своим авторитетом, он уходит в сторону, ждет подсказки сверху, чтобы в случае чего быть правым на

сто процентов. Пусть делу будет нанесен урон, непоправимый вред. Так ли уж это важно? Всегда можно сослаться, привести доказательства. В худшем случае пожурят. Скоробогатов страшен не тем, что он скрытый тунеядец, а тем, что он порождает равнодушие в других, делает всю пашу борьбу бессмысленной, обесценивает ее, своей философией непротivления уводит от цели. Да ему и нет никакого дела до нас. Мы для него «непоменклатурные коняшки», которых и в расчет-то не стоит принимать, строительный материал для его благополучия. Пусть хихикают, что Скоробогатов выступает по бумажке, хоть это и не модно сейчас. Не модно, зато безопасно. Бумажку можно приколоть к протоколу. Есть еще тугая тетрадка, куда заносится все. Это не дневник. Тишайший лишен романтических глупостей. Это оправдательный документ на все случаи жизни. Тогда-то я сказал то-то, Перегудов сказал то-то. Всего-навсего «памятная книжка». Необходимость. Памяти других нельзя доверять, люди слишком субъективны. «Памятной книжкой» пользуется без стеснения. Справочный материал. На такие штуки не следует жалеть времени, записывать, записывать. И через десять лет может пригодиться.

И вот он ходит среди нас, неуязвимый, ласково улыбающийся, с виду застенчивый. Человек, который за свою жизнь не обстрогал ни одной доски для чужого дома, не посадил ни одного дерева, не принес даже крупницы пользы никому, кроме своих домашних. Он не осквернил свои руки трудом физическим, а голову — умственным. «Удобный» человек, шарик, готовый заполнить любую служебную «дырку». Можно понимать его, можно яриться, а разоблачить никто не в силах: нет вещественных доказательств. Даже сам закон поставил себе на службу. Тихий победитель!

Вот как мне представляются подобные люди. Я, разумеется, могу ошибаться в чем-то по отношению конкретно к Скоробогатову, но что такие фигуры есть, не сомневаюсь. Будем считать, что это психологическая фантазия, навеянная разговорами с фельдшером Севериновым.

Я понимаю: Родион старается выработать во мне отношение ко всему более точное, чем мое собственное. В детстве, как и все мальчишки, я увлекался радиотехникой. Угрюмов — наподобие генератора, наводящего электродвижущую силу в каждом штыве, в каждой про-

волочке, как бы мала они ни была. По-видимому, он привык считать свое мнение неким эталоном для других, и это иногда сердит не только Яшагина, но и меня. Излишняя самоуверенность всегда вызывает внутренний отпор, если даже человек произносит железные истины.

— Правильный, как логарифмическая линейка, — ворчит Ромка. — Идеальный герой современности. А собачек держит. Не положено Магомету собак разводить. А то и меня потянет к частной собственности.

Так-то оно так, но стоило мне отступить на полшага от этого эталопа — и сразу же влип в историю. Даже для единиц измерения существуют эталоны. Для людей они необходимы тем более. На платиновый метр не действует никакая погода и температура, а деревянную линейку корежит от малейшей сырости.

...После собрания, на котором Родиоп назвал меня легкомысленным дурнем, хожу таким потерпевшим. Потерпевшему заботливое внимание и участие. Яшагин даже перекладывает из своей миски в мою наиболее увесистые мослы: «Выбей мозги и съешь. Может, прибавится». Он до смерти рад, что меня разжаловали из новаторов. Ходит с кепкой, гнусавит: «Потерпевшему, бывшему последователю на опохмелку...»

За отлучку в котловину Цаган-ама мы с Чупровым получили по очередному выговору. Приказы Скоробогатова называем «керепками».

...В штольню вбегает Петя Ломакин. На глазах слезы.

— Перегудов прилетел!

Не верим. Неужели скоробогатовской деспотии конец?

Да, красный вертолет стоит на дощатом настиле.

Григорий Иванович веселый, возбужденный. Видно, тоже соскучился.

— Ну, коблы, забирайте новые кинокартины! Сплошная современность: о том, как Каин убил Авеля — «Грешница» и «Грешный ангел». И еще: «Я купил папу и продал маму». Помидоры везут, огурцы везут. Молочнишко для манной каши будет.

— Аб ово усква ад маля; бис дат, кли цито дат, экке хомо! — произносит Северинов загадочную фразу.

Кублаков выполз из динамитов и нитропроизводных и на дневной поверхности исполняет марш из «Фауста» и «Блоху» — любимые перегудовские мелодии.

Зачем вызывали Григория Ивановича в Читу? Не за помидорами же...

На другой день Родион сообщает по секрету:

— Сватали за границу. Оформлялся.

— Во Вьетнам?

— Бери дальше.

— На Кубу?

— Не знаю. Не хочет разглашать.

— Значит, скоро распрощаемся с ГИ?

— Выходит, так.

— А вместо него кто?

— Покрыто мраком. Может, тот же Скоробогатов.

— Да какой же из него главный?

— А какой из него зампотех? Дадут добротного зама.

— Тоже верно. Этого Кузя Зуев не переживет.

— А ты поехал бы с Григорием Иваповичем?

— Пока еще не обзавелся пледом и тростью. Одна дама любила говорить: куда конь с копытом, туда и рак с клешней. Получу кандидатскую степень — обязательно попрошусь в Гваделупу или в Буэнос-Айрес; небось к тому времени въезд туда будет свободный. Яшагина прихватчу.

Мы сидим с зажмуренными глазами и мечтаем о вещах несбыточных, о таких же далеких, как полет в космос. Григорий Иванович увидит какие-то неведомые страны, будет там работать, а потом вернется немного отчужденный заграничной жизнью и станет рассказывать: «В Сараваке были проездом. Есть там такое бунгало возле Гранд-Титикака или Лампедуза, это неподалеку от Эль-Карабас-Барабаса...» И от этих слов дохнет яшагинской романтикой и экзотикой. Привет от анаконды!

Конечно, подобные вещи случаются с людьми необыкновенными, которые сплош взрывчатка могут поднять на воздух Гималаи, Анды и Кордильеры, вместе взятые. А что, к примеру, делать за границей нам с Угрюмовым?

— Родион, что такое жабо?

— А на кой черт оно тебе?

— Да так.

— Жабо? — Он задумывается. — Это что-то из «Трех мушкетеров».

— Значит, не в тот век попал. Мне почему-то всегда казалось, что там все носят это самое жабо.

— Может, и носят. Откуда мне знать? Лучше скажи, с какого боку нужно вилку класть и с какого ножик.

— Разве это не все равно?

— Пожалуй, все равно.

— А с чем едят гуайявы и гуанако?

— Был бы иностранцем, приехал бы в Москву учиться, — мечтает Родион. — На экзаменах не стали бы допытываться, сколько часов в сутки спал Илья Обломов. Это специально выдуманно для своих.

...Мощная уверенная рука сразу же сдвинула пашу каравеллу с места. Паруса наполнились бурей, забегали бодманы-лодманы. Тишайший мгновенно скукожился, ушел под лед. Ветер носит над головами его пустопорожние приказы. Кровяное давление коллектива приходит в норму.

Перегудов решает из лучших взрывников и бурильщиков сколотить бригаду, которая вела бы проходку котловыми шпурами. Принято также предложение Пети Ломакина — переходим на более мощные ВМ. Высвободившаяся бригада идет в котловину Цаган-ама, на северный склон гольца, где предполагалось после того, как будет сооружена полка, вести работы второй очереди. Теперь все работы мы закончим к подходу мехотрядов.

Чупров прямо-таки рванулся в «северную» бригаду. Каждый день встречаться с Элеонорой!.. Адская прощательность или научное предвидение?

Кузя Зуев посмеивается:

— А че я забыл в той котловине? Там же фактория! Сплошные траты. Деньги — голуби. Мне и тут неплохо. Все увидите, один останусь.

— Оставайся, жмот! Я-то даже на секунду не задержусь. Всю субстанцию ветром выдуло. Котловые шпуры можно применять и на северном скате.

Однако Перегудов мало считается с желаниями. Понизитель твердости хорош для гранита, но не для человека.

— Вас, Кузьма Савельевич, пошлем на северный склон. Назначаю старшим. Вы, товарищ Чупров, оставайтесь здесь. Слышал, интересуетесь методом котловых зарядов. Отлично. Поможете Угрюмову.

У Андриухи даже голос пропал.

— Мне обязательно в котловину... — сипит он.

— Чупров ботаникой увлекается, — поддерживаю я. — Там одуванчики и губоцветные.

— Остаетесь здесь, Чупров. И никаких одуванчиков. А вас куда?

В углах рта зажата жирная улыбка. Перегудов-то понимает, что я ни туда ни сюда. Без Родиона — канут. Видит насквозь.

— В Читу, за хлористым магнием. Ежели котловые шпурь да совместить с промывкой магнием...

— Если бы Волгу-матушку да на Швейцарские Альпы... Понизители уже везут.

Был бы рядом фельдшер Северинов, он непременно сказал бы: «Будь здоров, Капусткин!» — и приложил бы растопыренные пальцы к носу. Знал бы Родион, как я сам себя высек, позлорадствовал бы немало. Тани не увижу до отпуска, то есть до самой зимы.

А тут еще приезжает Поликарпочкин с попутным везухом.

Появляется в палаточном городке паренек в кепке из пельветона; блестящая пряжка на лбу. Улыбается. Рад. Лицо вроде знакомое. Не могу только припомнить, где встречались раньше.

— Да я же Поликарпочкин!

— Не может быть! Сын Героя Социалистического Труда?

— Да нет! Разве есть Герой с такой фамилией?

— И в самом деле нет. Так откуда же ты, курносый? Поликарпочкин. Полимер. Твоя дети будут Полиполикарпочкины, а внуки — Поли в кубе. Ты когда родился?

— До полета человека в космос.

— А в сад когда вступил?

— В какой еще сад?

— В детский.

Поликарпочкин сердится.

— Вы зря смеетесь! Я посылку вам привез.

— Посылку?

— А вот.

Он распаковывает корзину, вынимает два горшка: в одном свежее масло, в другом топленое.

— Со сметаной опрокинул. Пришлось выбросить.

— Эх ты, аккуратист! Я-то именно сметаны и ждал. Парень смущен.

— Зато рушник довез в сохранности. А мог бы потерять.

Беру пестро вышитое полотенце: красные дерущиеся петухи. Под петухами лозунг, из-за которого в свое время произошла Троянская война: «Мой руки перед едой! Чистота — залог здоровья».

— Ты, Поликарпочкин, иллюзионист. Кто же это таких воинственных петухов вышил? Мастерство! Из какого кургана это? А изречения я навеки запомню и буду руководствоваться ими до гробовой доски. «Чистота — залог здоровья». Родион, ты только взгляни! Я ведь по наивности думал, что руки перед едой мыть не обязательно. Пусть моют эстеты и интеллектуалы.

Родион заинтересованно разглядывает рушник на свет, пробует на прочность.

— Капрон эпохи палеолита. Утирайся, твоя эпидерма выдержит.

Поликарпочкин розовеет, даже уши просвечивают, как лепестки шиповника.

— Танька навязала. Памлуля чертова! Говорил, неприлично утираться культурному человеку таким рядом. Так нет же...

Народ безмолвствует. Немая сцена, как в «Ревизоре». Родион глядит на меня суженными глазками, дрожит в усмешке верхняя губа.

— Идемте, люди, отсюда, — наконец произносит он. — Горшки прибыли по назначению.

Кузя Зуев легонько подбрасывает на ладони глянцевито-серый горшок с маслом, похожий на расклеванное яйцо, ест меня голодным взором.

— Давай пускай по кругу, — говорю я.

Хватаю Поликарпочкина за грудки.

— А где письмо?

— Какое письмо?

— От Тани.

— Письмо? Да вроде письма не было. А может, и было, да потерял. Все совали, совали, будто в космос собрался лететь. Иван Кононович сперва не хотел отпускать: самим, мол, работники нужны. Обойдутся без тебя. А комсомольская организация на него нажала. Отпустил. Вам тысяча приветов. И от хромого Степана.

— Письмо, прод!

Поликарпочкин шарит по всем карманам.

— Зря кричите. Вот оно, письмо. А касситерит покажете?

Развертываю треугольный конвертик. Всего несколько слов: «Жду на условленном месте. Т.», и все.

— За Чайку она не выпла?

— А зачем ей Чайка? Других парней мало, что ли? Чайка ей в дядья годится.

— Она еще ничего не говорила?

— Кто ее знает, может, и говорила. Разве все упомянешь? Все галдели, как сороки. Мать — в слезы. Батяка с назиданиями лезет. Иван Кононович на политическую сторону насчет смычки палегал. По-человечески уехать не дадут. А что такое смычка?

— Ты скажи: что Таня наказывала мне передать?

Он задумывается.

— Да ничего особенного. «Передай, — говорит, — тому геологу, пусть ни в чем не сомневается». Больше ничего не сказала. «Горшки, — говорит, — не побей, держи корзину на коленях». Хромой Степан хотел па стройку, да на кого же трактор оставишь?

— Развивайся, Поликарпочкин. Стремись попасть на Доску отличников производства. Остерегайся развращающего влияния Антипа. У него неправильное представление о прогрессе. А если кто обижать станет, приходи. Пощупай мускулы!

Поликарпочкин щупает мускулы, вздыхает.

— Мне бы такие.

— А Таня не просилась па стройку?

— Может, и просилась, откуда мне знать? Танька, она скрытная. Настоящая змеюка, хоть на вид вроде и добрая.

...Итак, Кузю Зуева назначили бригадиром. Просто в голове не укладывается. За какие такие заслуги? Даже общественную работу игнорирует...

Угрюмов нисколько не удивлен.

— Правильно, Кузьма справится. У него своя общественная работа: передает опыт молодым. И пикто не поуждает. Сам. А склонности к культурно-массовой у Кузи в самом деле не имеется. Долбать — тут ему равных нет.

— Так ведь болтает всякий вздор о приусадебном участке, развращает молодежь.

— Пока еще никого не развратил. У Зуева силикоз первой стадии. Может кончиться легочно-сердечной педо-

статочпостью, эмфиземой и туберкулезом. Еще пикто от силикоза не выздоравливал. Бич бурильщиков. Вот почему я все время и деру глотку за всякие понизители твердости и промывку. Он-то все это знает, хоть и приговаривается здоровяком. Черноморское побережье требуется. Вот Кузя и торопится деньжишек подработать. Было время, когда любители изящной подхалимской словесности в королях ходили, а простак наподобие Кузи, наворочавшись за день, чуть погладил своим шершавым языком протпв шерсти — и поминай как звали! А почему, собственно, другие могут иметь загородные виллы, а Кузе даже мечтать грех о хибаре в два окна? Ведь у папы Пилюгина в самом деле роскошная дача в Молоковке. Насчет наемной силы ничего не скажу. Вроде бы бедные родственники газоны обстригают.

Тут и задумаешься: трудно судить о людях только со своей точки зрения. Был бы такой справочник, наподобие «Единых правил безопасности», заглянул в него — и сразу все ясно: Кузя — герой, Яшагин — индивидуалист, Антип — старая перечница. Величины посложнее наподобие Перегудова вычисляются по формулам. Какой бы ни был человек, он всегда намного сложнее и умнее, чем это кажется. Хочешь не хочешь, а непроизвольно ставишь себя в центр всего, поглядываешь, оцениваешь со своей каланчи. А какова истинная высота той каланчи, другим со стороны всегда виднее. Ведь у каждого за плечами своя жизнь, и в ней — неповторимый опыт. Имей мужество признаться: ты не самый умный, не самый опытный, а может быть, пока еще самый неумелый, и мир крутится не только для тебя одного.

8

Каждая штольня ведет в две-три минные камеры. Камера — просторное помещение. Антип, как-то заглянувший сюда, остался доволен.

— В такой камере жить можно. Сиживал и в карцерах. Крысов-мышов нет — и ладно.

Стоишь во весь рост. Сухо. Пол устлан толем. На степях поблескивают вкрапления минералов. Мы в самом сердце горного массива; и весь голец наподобие гигантского муравейника зарыт ходами. Если породы осадут и штольню завалит, отсюда уже не выберешься. Особенно жутковато, когда остаешься один. Бензиновая предохра-

нительная лампа горит ровно; что-то мертвое в ее неподвижном пламени. Ни ветерка, ни звука. Не знаю, что такое могильная тишина (да, признаться, и не горю желанием знать), но тут, внутри горы, так смутно, так густо тихо, что боишься даже кашлянуть. Остаешься лицом к лицу с тем таинственным, что скрыто от большинства людей. Побывать внутри застывшего миллионы лет назад вулкана, щупать руками рудные жилы, любоваться турмалиновыми солнцами, которые вдруг вспыхивают за куском отвалившейся породы... И слушать, слушать, как сочится со всех сторон черная тишина... Здесь мир тектонических сил, здесь своя красота. Все это производит сильное впечатление. Каждую ночь снится, будто засыпало в камере; лампа от недостатка воздуха меркнет, я задыхаюсь, сдирая ногти, ворочаю глыбы, пытаюсь раскопать выход; а потом до рассвета блуждаю по бесконечным штольням и штрекам, не могу выбраться на воздух, ору заячьим криком. Просыпаешься в холодном поту. Мы почти все разговариваем и кричим во сне. Раньше этого не замечалось. Только Угрюмов спит как убитый, даже не повернется за всю ночь. Ему, разумеется, снится бесконечная вселенная и веселые собачки с обрубленными хвостиками. Мне же чаще всего представляется Таня. Сны яркие, осязаемые. Или она появляется в нашем лагере, или танцует свой бесконечный индийский танец, в плавности которого есть что-то навязчивое, бредовое. Содержание наших сновидений очень интересует фельдшера Северинова. Но ведь не все расскажешь: например, про Таню или же о темном животном страхе, который по ночам поднимается из глубин сознания и водит, водит по подземному городу.

Камера на первый взгляд нехитрое сооружение — искусственная пещера. Но так как объем камер во всех случаях должен точно соответствовать величине заряда, то возни с ними достаточно. После проходки штолен и камер производят каждый раз инструментальную съемку. Потом начинается пересчет величин зарядов. Объем некоторых камер увеличивают.

Работал я в последнее время ретиво и даже заслужил несколько благодарностей. «Перевоспитался!» Даже котловые шпурсы научился делать. Теперь бы и выбиться в новаторы...

Но все подходит к концу. Остается немного: зарядить камеры и взорвать весь этот подземный город. Идем с

опережением графика. Механизированные отряды больше не пугают: чем скорее пробьются к нам, тем лучше. Если все обойдется благополучно, Перегудов обещает полцарства: отпуска, награды, премиальные и, конечно же, роскошный бал-маскарад с участием читинских артистов на развалинах гольца Бусугуй.

Молчат отбойные молотки. Бурильщики сделали свое дело. Если раньше мы помогали им, теперь роли переменялись. Для взрывников паступает последний парад.

— Нас мало, но мы в тельняшках! — говорит Родион.

Теперь мы хозяева и командующие. Ведь начинается зарядка камер!.. Об этом торжественном акте объявили по трансляции. Повсюду заалели оградительные флажки, прибавилось постов охраны, пикетов. Жизнь приобрела очень строгий ритм. Мы в опасной зоне. Палаточный городок будто ветром сдуло — он перекочевал вниз, на опушку леса. Без пропуска на рабочую площадку не попадешь.

Инженер Пилюгин ходит важно, по-пингвиньи — его назначили начальником минной станции. Это на него возложена почетная обязанность в самый последний момент включить общий рубильник взрывной сети. Может быть, я неудачно сравнил Пилюгина с пингвином, так как пингвинов никогда не видел, разве что на картинках и в кино, и все же, думается, есть что-то пингвинье в походке Пилюгина. Такой молодой, и уже начальник минной станции! У него толстое, брускообразное лицо, шея незаметно переходит в туловище. А сколько благоговейной важности в щелках глаз! Он парень незлой, даже добрый, но очень уж важный. Ребята промеж собой называют его сусликом. Рабочий для Пилюгина всего лишь исполнитель. Высокое слово «творчество» к рабочему неприменимо. Даже с Родионом он высокомерен. Угрюмов относится к нему, как к Наполеону из желтого дома: внимательно выслушивает, поддакивает, но делает все по-своему. Ведь Пилюгин — лицо технадзора, и от него не отмахнешься. Такое взаимоотношение устраивает обе стороны. У Пилюгина — мощный папа где-то в управлении или в тресте, и с этим вынужден считаться даже Григорий Иванович, тот самый Григорий Иванович, который может поднять па воздух Гималаи. Заботливая родительская рука готовит Пилюгина к более блистательной и широкой карьере, чем презыбание в котловине Цагап-ама. Он, как скаковой

конь, проходит здесь тренировку. Он среди нас, но не с нами. Из него вырастет брускообразный главзав, и он всегда будет включать основной рубильник и принимать с трех до пяти.

Я бы рубильник отдал Родиону.

— Да разве в том дело, кто включит рубильник? — посмеивается Угрюмов. — Лишь бы подал его вперед, а не назад. Все это обрядность, мелкое тщеславие. А всякая обрядность сродни культу, богослужению. Что такое рубильник без сети и взрывчатки? Игрушка!

Так-то оно так, а все-таки... Папа Яшагина — ангел в сравнении с папой Пилюгина. Собственно говоря, нам в высшей степени наплевать, где работает папа Пилюгина. Возможно, он заслуженный человек, знающий свое дело. Но вот Пилюгин-младший, видно, учился в институте на тройки и в технике ничего не смыслит. Он может лишь осуществлять «общее руководство». Указания его всегда нелепы, но мы не улыбаемся. В конце-то концов свои обязанности знаем и каждый раз делаем поправку на невежество инженера: должен же человек хоть какими-нибудь указаниями оправдывать свою зарплату! Только бы не докучал по мелочам, не досаждал моралью. Кузн Зуева Пилюгин откровенно побаивается, и я подозреваю, что Кузя не зря попал на северный склон. Кузя с неприличной простотой режет все напрямик:

— А инженериска-то паш, видать, и молоточек никогда в своих мякеньких ручках не держал! Пирамидальный вруб не может отличить от вертикального клинового. Вот он рвач и есть, а не я.

— Научится, — защищает инженера Угрюмов, — в этих врубах сам черт голову сломит: Гушлевского, Татарникова, Пазенко... Ты небось тоже не сразу одолел?

— Я и зарплату не сразу большую одолел. Инженер! Для меня это вроде президента наук, а приходится глушность выслушивать. Хотя бы молчанием маскировался. Бесстыжие буркалы!..

— Не делай волну, Зуев, а то захлебнемся, — советует Родион. — Начальство как-нибудь разберется. Сейчас заботы поважнее всяких мелких интриг.

— А почему это так? — допытываюсь я. — Все видят, что Пилюгин инженер никакой. И Перегудов знает. Почему Пилюгин занимает большую должность, хотя по всем правилам его следовало бы откомандировать, как

не справляющегося с обязанностями? Зарплата-то всерьез большая! Перегудов — коммунист. Что, он боится папы Пилюгина?

— Ничего он не боится. Только попробуй доказать, что Пилюгин балда. Это же нужно затевать разбирательство, создавать комиссию, вести настоящую войну с папой. А папа-то корнями врос, окопался. Биологическая защита. Он как гранитная скала. Для войны с ним нужно забросить все дела, прекратить проходку штолен, камер, поставить под удар все. Это уже почти криминалистика. Перегудова обвинят в том, что он зажимает молодых специалистов, не учит их, занимается кляузами. Даже собственная жена, мол, от него сбежала. Невыносимый характер...

— И нет никакой управы на Пилюгиных?

— Есть, конечно. Дай срок! Григорий Иванович очень недоволен, что ему подсунули Пилюгина. Он мог бы его выжить, создать, так сказать, невыносимую обстановку. Но Перегудов интригами не занимается. Другое дело — служебная характеристика. Тут уж тупицам и разгильдяям пощады не дает, будь ты чей угодно сынок.

— И все-таки досадно, что такой типус включит рубильник...

— Переживем!

Мешки со взрывчаткой навалены у входа в штольню. Мы укладываем эти мешки в камеры на толь или же на дощатый пол. Пилюгин путается в ногах, мешает. Ведь ему поручено следить, правильно ли производится укладка.

— Этот мешок нужно положить вдоль, а не поперек, — говорит он, хотя всем ясно, что, как ни положи мешок, ничего не изменится. Но молодому инженеру хочется показать власть, и мы молча переваливаем мешок.

Ярится только Ромка Яшагин. Он человек первый и реагирует на малейший пустяк.

— Да ведь взрывчатку даже не обязательно укладывать в мешках! Можно просто россыпью, без тары, — доказывает он инженеру.

Пилюгин даже не удостоивает его взглядом, а приказывает рабочим:

— Поверните-ка тот мешочек. Так. Кладите крест-накрест. Эх, растяпы!..

Посторонний человек может подумать, что Пилюгин

командует нами, а мы неумело выполняем приказания. На самом же деле все это глупая возня. Угрюмов только ухмыляется. Его не так-то легко вывести из равновесия.

— Эй, Яшагин, пособи-ка, — говорит он с самым серьезным видом, — положим мешочек так...

Пилюгин доволен. Он говорит Угрюмову:

— За ЦУ на завтрашний день зайдите вечером в контору.

ЦУ на языке Пилюгина означает «целевые указания». У него вообще страсть к таким словечкам, от которых пахнет за сто шагов департаментом: наверное, от папеньки набрался!

— Из Союзварывпрома получены ЦУ по ЕВН и Р.

На человеческий язык переводится так: из треста выслали «Единые нормы выработки и расценки». Речь, пересыпанная такими вот ЦУ, звучит внушительно, солидно. Вечером Яшагин спрашивает у Родиона:

— Получил БСК?

— БСК? Что-то не припомню.

Яшагину того только и нужно.

— БСК — значит бред сивой кобылы.

Мы покатываемся со смеху.

С Перегудовым Пилюгин разговаривает так:

— Григорий Иванович, людишки в третьем блоке подобрались слабенькие. Бестолковщина какая-то! Нужно провести собеседование по «Единым правилам». Я уже наметил для этой цели Угрюмова. Пусть подучит. Я берусь ему помочь. Из Угрюмова со временем толк будет. Грамотешка, правда, хромает. Но это дело наживное. Не знает, что такое ПЭУ.

— А что такое ПЭУ?

Я представляю, как там, в «верхах», Пилюгин пренебрежительно скажет: «Перегудов даже не знает, что такое ПЭУ. И такому человеку доверили руководство буровзрывными работами! Мои предложения он всячески игнорировал. Я с ним не смог сработаться. Вот и настроил характеристику. Пасквилянт...» — «Ничего, мы ему сделаем комбинированный плантаж. А тебя направим в ПЭУ», — ответит папа на том же загадочном языке.

Наше «непротивление злу» Пилюгин принимает за должное: ведь рабочие обязаны уважать начальника! Себя Пилюгин любит называть «командиром производства». Из

всех проходчиков выделяет мою персону, похлопывает по плечу, с пафосом восклицает:

— Мы еще повоюем за метод котловых зарядов! Не вешай носа.

Ребята, разумеется, хихикают в кулак. Все понятно, а вслух не скажешь. На потеху всем солидно отвечаю:

— Зажимщики! На собрании в собственном невежестве заставили признаться. Я в НДК напишу...

Пилюгин не знает, что такое НДК, но делает вид, что в НДК обязательно нужно написать. Уж там-то разберутся...

— А что такое НДК? — шепотом спрашивает Ломакин.

— Новодевичье кладбище в Москве. Ходили на экскурсию. Страшно интересно. Живые попы, монахи. Будто и не было полетов в космос.

Пилюгин теряет самообладание только тогда, когда наблюдает за Ломакиным. Петя умеет изводить. Нарочно почесывается, непримчиво сморкается чуть ли не на ботинки инженеру, еле-еле переставляет ноги. Мечтательно говорит хриплым, как у застарелого алкоголика, голосом:

— Я знаю рецепт, как из касторового масла гнать саомон. Сила! Сразу два действия. Теперь бы СПГ и холзак...

— А что такое СПГ и холзак? — заинтересованно спрашивает Пилюгин.

— Сто пятьдесят граммов и холодная закуска.

— Ну и мировоззрение у тебя, Ломакин! — возмущается «дешевло купленный» Пилюгин. — С таким мировоззрением не скоро коммунизм построишь.

Петя окидывает инженера бычьим взглядом.

— Вся беда в том, что мне, с моим мировоззрением, придется тебя на своих плечах в коммунизм втаскивать...

У Пети Ломакина особые счеты с Пилюгиным. После смены бурильщики выползают из штолен, пропитавшись на вершок пылью и грязью. Хочется искупаться, но вода в речко ледяная, заходятся зубы. Ломакин с санитаром Кучумовым соорудили душ в защищенном от ветра месте, поставили бочку. Попеременно в свободные минуты паполняем бочку водой, таскаем по ведерку из речки. За день вода прогревается; любо посмотреть, как после

смены ребята бегут в душ, обгоняя друг друга, делая подожжки. Однажды произошло нечто труднообъяснимое: вода из бочки исчезла! Еще час назад была, а тут вдруг к концу смены будто испарилась. Подобная история повторилась и на другой день.

— Что за черт! — удивлялся Ломакин. — Бочка-то без щелей...

Яшагин с видом Шерлока Холмса принялся обследовать «близлежащую территорию».

— Братва! — закричал он. — Вижу следы мелкого грызуна: это же рубчатые подошвы ботинок Пилюгина...

Оказалось, следующее: случайно наткнувшись на душ, Пилюгин, любитель поплескаться, израсходовал всю воду на себя. Он сделал открытие — тепленькая водичка, лей, сколько хочешь! Однажды мы застали Пилюгина. Он крихтел от удовольствия, растирал руками белое крупитчатое тело. Заметив нас, разозлился, раскричался. Не дадут спокойно помыться! Так и до сих пор: мы таскаем воду, Пилюгин каждый день полощется, покрикивает. Его с детства приучили к чистоте. Ломакин прямо-таки из себя выходит. Но не скажешь же инженеру: «Пользоваться душем вам запрещается. Извольте сами таскать воду». Мелочность в любых ее формах считается позором.

Через наши руки проходят тысячи килограммов взрывчатки в мешках, в ящиках, в бумажных кулях с белыми и синими полосами. Ладони желтые, щеки желтые и даже волосы желтые. Издали мы похожи на цыплят. Набиваем камеры взрывчаткой до отказа. В камеру заходить с лампой запрещено. Свет сюда проникает из штрека.

На очереди — опасное дело: изготовление боевиков. Боевик — деревянный просмоленный ящик с очень сильной взрывчаткой. В ящик помещают один или два электродетонатора. К каждому электродетонатору прикреплены изоляционной лентой пять-шесть обыкновенных капсулей-детонаторов. Этакий гремучий «торт» готовится на почтительном расстоянии от камер. Вносят его сюда почти не дыша, ступая осторожно, не делая резких движений. Родион берет ящик и самолично устанавливает в центре всего заряда. Не работа — священнодействие!

А Пилюгин все путается под ногами, дает ЦУ. Нет, боевик следует установить на два сантиметра правее.

Кули мешают? Переложить кули! Мешки неправильно пронумерованы!..

В тесные камеры он не суется. Но сейчас заряжаем самую большую, пять метров высоты, и Пилюгин весь в действии. Когда рабочие тащат мешок, инженер помогает им криканием, натужным «Ну, взяли!..».

Яшагин несет боевик. Он несет ящик почти на вытянутых руках. В лице ни кровинки, губа закушена, белые ресницы дрожат. Судорожно пульсирует живчик на щеке, стучат зубы. Ромка сейчас напоминает лунатика. Он, наверное, ничего не видит перед собой, а идет лишь потому, что нужно идти. Он, конечно, не замечает ни меня, ни Родиона, ни Пилюгина, не соображает, где он и зачем. На руках смерти!.. Чуть оступишься — и все... Потому-то походка Яшагина приобретает такую плавность, почти воздушность. Он весь — комок сжатых до предела нервов, нечто судорожно окаменевшее. Его нельзя окликать: вздрогнет — выронит ящик. И мы это угадываем внутренним чутьем, осторожно отступаем перед ним, не произносим ни слова. После яркого солнца здесь, в камере, глаза не сразу начинают различать предметы. Потому Яшагин продвигается, как слепой, больше полагаясь на слух и привычку. Вот он слегка покачнулся, пошевелил занемевшими пальцами. Мы затаиваем дыхание.

— Осторожно, не уроните! — подсказывает Пилюгин.

— Не уроню! — кричит Ромка, спотыкается и выпускает из рук ящик. Боевик с глухим стуком падает на деревянный пол.

Инженер Пилюгин бросается вон из камеры. Спешные шаги гулко отдаются в штольне. Повисает тугая духота. Черный ящик словно вырастает в размерах. Мы стоим ни живы ни мертвы.

— Ты это что ж, бес сухорукий! — набрасывается Родион на Ромку. — С тобой и до полочки не доживешь. Центральная камера! Полгоры разнесет...

Он распекает Ромку минут двадцать. Тот переминается с ноги на ногу, моргает белыми ресницами. Наконец спокойно говорит:

— Ящик-то пустой. Суслика захотелось попугать.

Я валюсь на пол, корчусь в судорогах, в горле сиплое клокотание. Родион вытирает рукой взбугренный потный лоб.

— Ну и ну... Да ты что, сдурел? Все-таки придется устроить тебе «значимую ситуацию» на комсомольском собрании.

Я роюсь в карманах и сую Ромке трехкопеечную монету.

— Зачем? — недоумевает он.

— Возьми на память.

С этого дня отношение Родиона к Яшагину резко меняется.

— Что такое подрост, знаешь? — спрашивает меня Родион.

— Ну как же! Молодая недоросль. Бывало, сядем под подростом...

— Не сядешь. Подрост — елка годков двадцати, а то и более, угнетенная родителями. Под материнским роскошным пологом такая елочка перестает развиваться, свежего воздуха и солнца ей не хватает. Стоит освободить ее из-под опеки — и сразу начинает не по дням, а по часам лезть вверх, становится нормальной елью.

Угрюмов утомляет Ромку даже разговора о вечности — млечности — бесконечности.

— По-моему, вселенная все-таки конечна, — философствует Ромка. — Как у Эйнштейна и Фридмана... Иначе все ночное небо было бы залито светом.

— Старо, — глубокомысленно возражает медвежатник. — Что мы можем сказать о всей вселенной? Любая необоснованная экстраполяция...

Экстраполяция! Мы сидим вокруг спорщиков, глотаем дым от костра и только переглядываемся. Оказывается, и Яшагин кое-что соображает!.. А мы — почти ничего. Обычный «умственный» разговор у костра, от которого как-то тоскливо становится на душе.

— Пойду-ка я лучше Элеонору проведу, — говорит Чупров откровенно, — с вашими философствованиями сухотку спинного мозга пажить можно. Экстраполяция, фрустрация, пертурбация, досвишвеция... Веселитесь, малыши! Гуд бай...

— Иди, иди к своей страусыне, — поддразнивает Ломакин (фамилия Элеоноры — Страутиня).

Пилюгин больше носа не кажет в минные камеры. Мы дышим полной грудью. Санитар Кучумов сообщил, что Пилюгин приболел, и фельдшер Северинов официально дал ему освобождение на неделю. Подумать только! Пи-

люгин явно симулирует, а Северинов, неподкупный, как Марат, потакает ему. Если медвежью болезнь принимать за болезнь, то...

Все прояснил Кучумов.

— Северинов не хотел освобождать. Посоветовался с Григорием Ивановичем, а тот говорит: «Дайте освобождение!» И сам диагноз поставил: «Нервное истощение. На воды нужно». Культурненько...

О случае в центральной камере мы, разумеется, помалкиваем, чтобы не подводить Ромку, но понимаем, в чем дело: Плюгин перепугался. Ведь любой из нас может в присутствии лица технического надзора уронить ящик-боевик. Такое беззастенчиво открытое проявление страха кажется мне прямо-таки неестественным. Что может быть позорнее трусости? Дал бы изрубить себя на куски, только бы товарищи не догадались, что иногда и мной овладевает липкая боязливость. Даже неврастеник Яшагин старается как-то придавить свой страх, перешагнуть через него.

Таскаем и таскаем боевики, сами мастерим их, монтируем взрывные сети. От боевиков тянутся провода. Начальник нашей секции Угрюмов придирчиво следит за каждой пустяковиной: по малейшему недосмотру целая камера, набитая взрывчаткой, может не сработать или же взорваться раньше времени. Подобное дело родному брату не доверишь. Нудное, путаное занятие — монтаж взрывных и дублирующих сетей. Несложная работа — забойка камер и штолен породой — превращается в сплошное мучение, испытание выдержки. Забойку выработок поручают самым опытным проходчикам. Минные камеры прикрыты деревянными щитами, концы взрывных сетей выведены на поверхность, помещены в особый ящик, возле которого стоит часовой. Теперь бы только не повредить сети, только бы не повредить!.. Сейчас в этом смысл всего.

...В камере появляется Ломакин.

— Еще машину позинителя твердости привезли. Иди приймай.

Родион глядит на Петю с подозрением: опять какой-нибудь подвох?

Выскакиваем на ветер. Не автомашина — вертолет. Рядом женщина. Сразу узнаю ее, хотя и не такая, как на фотографии: жена Перегудова, Ия Сергеевна! Лицо помятое, потухшие глаза, медно-красные кудлатые волосы

придают ей какой-то растрепанный вид. Бросается к Григорию Ивановичу, не стесняясь нас, хочет что-то сказать. Перегудов стоит с окаменевшим лицом.

— Потом. Иди в палатку...

И Кучумов ее уводит, словно дезертира, вернувшегося все-таки в свои окопы. Теперь бы допрос с пристрастием! Я бы все-таки прогнал... А он — ничего. Приехала — и все.

— Вот так понизитель твердости! — в замешательстве произносит Родион. — Прикатила. Не могла подождать до окончания работ! Перегудову сейчас самый раз заниматься выяснением семейных отношений.

А я размышляю о сложности человеческих отношений. Если бы Лариса бросила Пеку Рыжего и пришла ко мне... Простил бы? До Тасея, может быть, и простил. А теперь — нет! Да и не нужно, чтобы она возвращалась.

— И к нам начинают по одной просачиваться, — замогильным голосом похрипывает Ломакин. — Не к добру. Наводнения бы не было...

Вечером случайно встречаю Григория Ивановича. Ни радостен, ни печален. Как всегда: все прячет за непроницаемой кожей. Говорит:

— Зайдите в контору. Вам повестка из военкомата: через месяц на действительную!..

9

Голец Бусугуй начинен взрывчаткой. К нему теперь не подойти: оцеплен — заяц не проскочит. Все опасные зоны рассчитаны по формулам. Главный рубильник миной станции закрыт специальной крышкой, запирающейся на замок, ключ хранится в железном сейфе у Перегудова. Откуда только взялось так много охранников! Антип просился «по старой специальности», но его не взяли. Старик обижен. Не подпускают даже к караульному помещению.

По утрам он надевает непромокаемые бродни и шляется по распадкам, наполняет ягодами плетушки и сколотит из бересты. Тут сплошные ковры голубики, черники, смородины. Старик насквозь пропах, как моченое яблоко в кадушке, терпким смородиновым листом.

— Дед, а голец-то взлетит! Тю-тю...

Он поглядывает с угрюмым безразличием.

— Пущай летит. То меня некасаемо. Такого добра не жалко. Краматорий! С вами, заполошными, рехнуться можно. Держи подол!..

Антип ягод не ест. Он собирает их в силу какой-то привычки, чуть ли не инстинкта, бродит целыми днями по росной траве, кланяется каждой ягодке, а потом складывает у костра плетушки и сколотни, похожие на березовые поленья.

— Жрите, варнаки! Тут тебе и витамин, и пурген...

Костисто-желтая морошка тает во рту. Сок голубики приспособили вместо чернил. Кое-кто пишет письма, остальные валяются возле палаток. Выводки куропаток пасутся у самого носа. Лень спугнуть. Пахнет листьями березы. Ребристые бока массива покрыты радужно сияющим инеем. А пластинчатые папоротники между стволов лиственниц все такие же свежие, как и вчера и позавчера. Они как замысловатое зеленое кружево или как морозные узоры неведомого зеленого мира, где и снег и солнце зеленые. Папоротник-орляк живет сам по себе. Он уцелел от каких-то жарких эпох и теперь притворяется северянином. Преодолеет температурный барьер. Воля к жизни... А вот одиноко качается цветок в огнисто-пестрой рубашонке. Пахнет горьким лекарством. Другие цветы уже завязали тугие коробочки с семенами, а этот рдеет, на осень глядя. Чупров как-то рассказывал, что неопыленный цветок очень долго не увядает — все ждет свою пчелу или своего шмеля. И мне кажется, что каждая травинка знает свою хитрость, выставляет напоказ какую-нибудь приманку. Только у больших деревьев не приманка, а уверенная красота; не для себя, а как пример маленьким сосенкам и лиственницам, ворсисто-пушистым, как котята. Гордо несут свои колючие зеленые звезды!.. У деревьев ведь тоже есть характер: веселые березы, плакучие ивы, хмурые, но щедрые кедры, уверенно-спокойные лиственницы, хозяйева положения, ровесники Ермака. Возле рябины всегда птичий базар. Кропинки-ягоды рассыпаны даже на зыбкий мох и валежник. Рябина не только добрая, но и самая отважная: по склонам гор она поднимается выше остальных деревьев.

Если бы я мог, как раньше, на Тасее, спокойно любоваться каждым листиком, проявлять интерес к каждой козявке! Это прищуренное созерцание нужно было жите-

лю степных равнин, чтобы понять ту обстановку, в которой придется жить. Теперь я такой, как все, почти сибирик.

Казалось бы, работы закончены — отдыхай с легким сердцем! Но мы все будто больные. Притихшие, оцепенелые. С боязливым любопытством поглядываем на голец, ждем... Каждый оставил частичку самого себя в сердце горы. И не скажешь: то меня некасаемо. Творилось большое дело, день за днем, складывалось из шпурометров, патронов-боевиков, руготни, тупого страха, глубоко запрятанного внутри, и страха откровенного, из жарких собраний, мелких и крупных неприятностей, из радости победы над самим собой — это и есть та взрывчатая сила, которой набит до отказа голец Бусугуй.

Целое лето копались мы тут. И вроде бы ничего особенного за это время не случилось, если не считать «значимых ситуаций». Как всюду. Жизнь одного человека складывается из событий исключительных — путешественник, экспериментатор, космонавт, покоритель подводных глубин, солдат на войне. Здесь, как говорится, подвиг на виду. Это жизнь, сотканная из необыкновенных приключений. В каждом живет жажда необычного. Жизнь другого... Если оглянуться назад, то и я пустился в необыкновенное путешествие. Оно, правда, не было обставлено соответствующим образом. Кинооператоры поленились запечатлеть на пленку момент моего отъезда, научные учреждения не докучали поручениями и заданиями. Я ехал открывать для себя. Все было буднично просто. Мы долбили, долбили неподатливую породу, и я очутился в недрах горы. Мы построили целый подземный город, обжили его. И лишь для того, чтобы тут же его уничтожить, не оставить следов своего труда.

И ничего такого выходящего за рамки обычного так и не произошло. Мы можем служить образцом терпения. Однообразное существование ничем не было скрашено. Мы ведь сооружали полку, делали рядовое дело, были всего лишь частичкой какого-то большого целого, отдаленным строительным участком, по официальным документам, — «объектом № 17, ведущим сосредоточенные работы». А таких объектов по всей стране миллионы. Даже Читинская филармония обошла нас стороной, застряла где-то на Удокане. Наша жизнь не складывалась из интересных моментов, она была наполнена не значительными

событиями, а «значимыми ситуациями», состояла сплошь из них. И самым большим событием, пожалуй, можно считать посещение палаточного городка девушками из котловины Цаган-ама. Удалось избежать человеческих жертв. А жертвой мог стать и я. Ведь оказавшийся жертвой никогда не готовит себя заранее к этой роли. Жертвами не рождаются, а становятся, говорит Перегудов. Потому-то и оберегал каждого со скрежетом зубным. Он вышел победителем в стычке со слепой случайностью. К финишу идем без ЧП. Об остальном даже нечего сказать: изо дня в день одно и то же, производственные мелочи. А в итоге — вот он, голец! В нем что-то хрустальное, звонкое. Он, как те огнистые друзья, какие находили в породе. Он очень красивый, этот голец Бусугуй. Я его люблю, как любишь доброго конягу.

И все мы за это лето будто поднялись на невидимую ступеньку, стали увереннее глядеть на все. Мы сдружились, стали резче, прямее разговаривать друг с другом. Каждый у всех на виду. Дружба дает право на прямой, резкий разговор без обид, без затаенного зла. Возможно, в некоторых случаях мы были даже чересчур придирчивы друг к другу; стремясь к некоему идеалу, принимали мелкие слабости за большие грехи (ведь к чужим слабостям всегда относишься строже, чем к своим собственным!). Но в нас неизменно рвалась наружу жажда правды, боязнь фальши. Хотелось быть лучше, красивее самого себя. На собраниях иногда доходило до грубых оскорблений, провинившегося «раздевали» до самых нижних покровов, били со вкусом, так как никто из нас не верил, что критикой можно убить человека. Топ всегда задавали Петя Ломакин, Угрюмов или же Перегудов. Они обладают способностью вывертывать тебя, как пустой карман; стоишь голенький. Зато, освободившись от коросты, выходишь с собрания радостно-возбужденный, словно из парной бани с березовыми вениками. Не бояться правды — вот чему научились мы за это лето. Теперь подошли к финишу. Взрыв гольца подведет гремящий итог всем нашим делам.

Что же касается меня, то я, может быть, не так уж продвинулся вперед, как бы того хотелось, и не овладел удивительным искусством думать. Зато от Угрюмова и других узнал много нового, даже научился иногда красиво выражаться. «Умственные» разговоры не прошли бес-

следно, кое-что запало в ухо. Ведь когда каждый день обращаешься со взрывчаткой, невольно начинаешь по-особому интересоваться жизнью, и вдруг ясно понимаешь, что она, жизнь, — это не только длинный рубль, еда и красивая одежда, не только свое домашнее счастье. Перегудов рассказывал о фронте. Там даже самые заядлые скупердяи и единоличники становились добряками и не откладывали на черный день. Там мелкие жизненные блага как бы утрачивали цену. Людьми владела общая мысль: добить, доконать, а потом вздохнуть мирной тишиной, какой бы она ни была — устроенной или неустроенной.

Петя Ломакин с надрывной грустью склоняется над аккордеоном:

Вслед за огнепными лосями,
В сновиденье ль, наяву ль,
Золотые стрелы осени
Просвистели в сипеву...

Слоняется и слоняется с безучастным видом Перегудов. Задирает голову, часами гипнотизирует тугой в своей округлости голец. Там радужно зажигаются и гаснут крошечные огоньки. Туда сейчас нет доступа даже Перегудову. Весь подземный минный город уместается в голове инженера в виде формул и расчетов. Все ли он учел? Мало ли нелепых случайностей...

Ии Сергеевны не видно: отсиживается в шатре. Лучше бы уж она в самом деле и не приезжала. Скучно, неуютно от одного вида Григория Ивановича. И у всех такое ощущение, точно голец там, изнутри, напряжен до крайности, может лопнуть даже от громкого разговора. И эта напряженность, воображаемая и в то же время реальная, как напряженность пружины, передается нам. Ожидание растет и растет. И от него не уйти, оно в нас, в каждом взгляде, в приглушенном голосе, в мучительной развешенности.

Каждый из нас — гремучая ртуть: готов взорваться от малейшего прикосновения. Даже Родион утратил добродушие. Потерял интерес к гравитации и вселенной. Беспокойное, тоскливое чувство гнетет, ему нет выхода. Кузя Зуев припелся из-за перевала, с сумасшедшеньким видом пристает к Угрюмову:

— А когда его гу-у-у?!

Он трясется от нетерпения, и надломленные кисти мотаются, как плавники.

...Просвистели, и рассветная
Вновь струится тишина...

Ломакин кидает аккордеон на сухой трескучий ягель.

— В Крым поеду, ей-богу, в Крым! — с гневным видом произносит он. — Что, не верите? На Ту-114. В стратосферу, к чертям!..

Ему никто не перечит. Но Ломакин распаляется все больше и больше.

— Там же бархатный сезон в разгаре! — почти кричит он. — Бархатный... Какая-то толстомясая барынька придумала название, не иначе. Персигов наемся до отвала. Килограммов десять сразу. Белый костюм куплю. Не поварской, а с кокеткой спереди. Слышите? С кокеткой, черт бы вас побрал!

— Каждый год в Крыму отдыхаешь? — осторожноенько осведомляется Яшагин.

Петя взрывается:

— Ты, вскормленный волками ворованной говядиной и встчиной с зеленым горошком, знаешь, кто ты?

— Кто?

— Диплоархиптеробурбон!

— Что за зверь?

Но Петя Ломакин и сам не знает, что это за зверь. Ему не хватает обыкновенных слов, чтобы выразить клочущую злость на весь мир.

— А ты просто балбес с гармозой.

— Ну, хватит вам, — вмешивается Родион.

— Гу-у-у... — воет Кузя от восторга. — Кто хочет со мной драться?

Ломакин и Яшагин, внезапно объединившись, валят Кузю лицом в мох и дубасят кулаками по костлявой спине. Кузя хохочет, легко, словно щенят, разбрасывает их в стороны.

— Слабаки!..

Я взволнован и озабочен предстоящим отъездом на действительную. Как оно там будет?.. Попрошусь в минеры, или же в ракетчики, или же в радиолокаторщики, или же...

— Я всегда мечтал стать водолазом, — говорит Ро-

дион. — Подводный мир, тишина. Никто думать не мешает. А попал в минеры и не жалею.

И я пытаюсь представить себя в военной форме. Матросский воротник кажется верхом изящества. Бескозырка с лентами, а на ней золотом — «Тихоокеанский флот». А кругом самые настоящие корабли — крейсера, эсминцы, подводные лодки. А какие слова: пирс, приморский бульвар, фавватер, кильватер...

Стоило заговорить об армии, как на меня набрасываются с яростью голодных волков.

— В строители иди, в строители! — старается перекричать всех Кузя Зуев. — Строитель — бесценный человек. И денежки... Я лично, когда прибываю на новое место, всегда спрашиваю: нет ли у вас заборчика починить? Люблю щепки, стружки. Берешь сосновую дощечку, а она вся светится, звенит... А то еще кладка. Кирпичик к кирпичику. Дом как сахарный...

— Завидую, старик, — подает голос Яшагин. — Мужчина должен быть мужчиной. Так сказать, волевое начало. Меня не возьмут: плоскостопие. Во взрывники и то по благу... Стоять на палубе, на носу. А над головой южные созвездия: всякие Летучие Рыбы и Центавры.

— Палубу драить и галлюн чистить тоже ничего, — все еще злобствует Ломакин. — Как у людей мозги странно устроены: подай обязательно романтику. И чтобы с вывертом. Иди в мотопехоту. Спасибо потом скажешь. Дело не в форме, а в содержании. Военный человек должен уметь стрелять. Это главное. А где еще, как не в мотопехоте?.. Или в десантники... За десанниками будущее. Прыжок из стратосферы... Вот Яшагин выдумывает самого себя. А я так рассуждаю: пройди по программе все, что положено, — и человеком станешь. Не бойся грязной работы. Человек, который ничего не боится, неуязвим. У романтика, обожающего только красивые стороны жизни, бараньи глаза. Я с таким бы в разведку не пошел. И еще должна быть непримиримость ко злу. Ко злу!.. — орет он и вызывающе поглядывает на Ромку.

Но тот о чем-то шепчется с санитаром Кучумовым и не обращает внимания на вопли Ломакина. Когда санитар уходит, Яшагин поднимает руку.

— Братва! Хан Кучум передал по строжайшему...

Кучумов трется возле начальства, и от него всегда услышишь что-нибудь интересненькое. Ломакин умолкает.

— Северинов учинил диверсию против Пилюгина. Удар томагавком наотмашь...

Кузя Зуев вытягивает красную пружинистую шею, кладет большие пальцы рук на ушные раковины.

— Говори, говори!

— Пилюгин пришел к Перегудову и заявляет: «Я здоров. Могу отправляться на минную станцию». К рубильнику, подлец, рвется. Чтобы в газетах написали: в поль-поль главный рубильник включил молодой, но весьма опытный инженер, сын известного управленца... А Северинов говорит: «Покажите язык!» — «Зачем еще?» — возмущился Пилюгин. «А затем, чтобы вы его нам больше не показывали. Вы симулянт и трус». — «Вы не имеете права! Я вас поставлю на место...» — «Имею. Вот мое право. Вы прикинулись чуть ли не сумасшедшим. Галлюцинации, головные боли, плохой сон... Сумасшедших мы к рубильникам не подпускаем».

— Хорошо грызуна отделал.

— А кому поручено включить рубильник?

— Инженеру Скоробогатову.

Справедливость восторжествовала! Чупров возлагает на голову Яшагина венок из лопухов. Афоня Кублаков исполняет «Танец маленьких лебедей». Мы как одурелые скачем по поляне, сшибаем друг друга с ног. И вот уже все сбились в кряхтящий, вопящий мускулистый клубок. Кто-то прямо в сапогах плюхнулся сверху, подпрыгивает, словно на пружинном матрасе.

— Ухо оторвете, ухо! — визжит откуда-то из-под груди разгоряченных тел Кузя Зуев.

Мы радуемся, что рубильник включит Скоробогатов, а не Пилюгин. А чему, собственно, радоваться? Этого никто не сможет объяснить. За какие такие заслуги высокая честь оказана Скоробогатову? Думаю, на этот вопрос не ответит и сам Перегудов. Оказана — и все!

Проделки тихого победителя давно забыты. За хорошую работу выговоры с каждого сняты и еще объявлены благодарности. В свою пользу Скоробогатов, несомненно, привел разумные доводы: дескать, пользуясь отсутствием главного, ребятки разболтались — пришлось наказывать. Были даже случаи пьянства. Куда смотрела партийная организация, чем занимался комсомол? Прогрессивный метод, хоть и в подправленном варианте, все же принят на вооружение. Невразумительный доклад на собрании?

А он, Скоробогатов, не оратор. Нам нужны деловые люди, а не краснобаи. В конечном счете каждый коммунист несет ответственность за производство. Где же были коммунисты?

— Каждый коммунист отвечает прежде всего за свой участок работы, а потом уже за все остальное, — возражает Перегудов. — Зачем перекладывать свои обязанности, свою ответственность на плечи других? Именно по тому, как коммунист трудится на своем участке, и судят о его деловых качествах. Свою техническую немощь никакими красивыми фразами не прикроешь.

— А я и не прикрываю. Один в поле не воин. Я не обладаю вашими талантами. Но даже вы без поддержки коллектива ничего не в состоянии сделать.

— В том-то и фокус всех успехов: нужно уметь руководить. Руководить — самое великое искусство из всех искусств.

— Легко так говорить. Вы пользуетесь авторитетом, знаете это. Меня демонстративно держите на расстоянии, открыто показываете свою неприязнь, вместо того чтобы создавать авторитет.

— Авторитет завоевывается, а не создается искусственно! А впрочем, ну вас к черту!

Как бы там ни было, но рубильник включит все тот же Тишайший.

Мы незлобивы и быстро забываем плохое. А забывать его, наверное, не нужно.

Кто-то наверху кучи малы истошно кричит:

— Перегудов!

Сразу же принимаем степенный вид: будто и не было свалки.

Главный инженер появляется не один. С ним командир горноспасательной службы. Что-то стряслось!

Григорий Иванович задирает голову и, сощурившись, опять поглядывает на вершину гольца. Теперь и мы понимаем, в чем дело. Там уже клубится зловещее облачко: надвигается очередная гроза. Облако прямо на глазах пухнет, обволакивает седой дымкой склон. Внутри тяжелой спящей массы беспрестанное движение; крутятся, завиваются водянистые космы. Шибануло в нос металлической озонной свежестью, холодом; покотился с вышины, хлестнул ветер. И вот уже не поймешь: то ли стая

птиц над головой, то ли сухие листья вперемешку с черными сучьями.

— Опять синоптики подкачали, — говорит Перегудов. — Нужно немедленно, сейчас же, отсоединить магистральные провода от участковых! Угрюмов! Бери пару хлопцев — и марш!..

Родион смотрит на меня, на Ромку.

— Захватите инструмент, изоляционную ленту, резиновые перчатки.

У Яшагина лицо восковой спелости, взгляд оторопелый, да и весь он какой-то сникший. Но рассуждать некогда. Задание ответственное, не терпящее мешкотни. Сейчас все будет зависеть от нашей проворности. Работа предстоит немалая: отсоединить все участковые провода от магистральных, закоротить взрывные сети, обмотать концы изоляцией. Высокие потенциалы, индукция и блуждающие токи могут натворить столько бед, что даже страшно вообразить: голец Бусугуй лопнет раньше времени, как мыльный пузырь, разлетится вдребезги, не дождавшись высокой приемочной комиссии, которая выехала сюда из Читы; все наши труды в течение лета будут сведены на нет.

Перегудов, наверное, все же надеялся, что гроза обойдет стороной. Но она не обошла. Гонец, как и все окрестные горы, напичкан рудами, хорошо притягивающими грозовые разряды. А сила такого разряда — двести тысяч ампер! Вот почему у Ромки Яшагина запрыгал дергунчик на щеке — Ромка в теории разбирается прекрасно, может даже лекцию прочесть о грозозащите и высоких потенциалах. Он знает, что молния даже камень растирает в порошок; аммонит воспламеняется и взрывается. А что останется от человека, если небесная искорка долбанет по голове?.. На нас резиновые сапоги, резиновые перчатки и плащ-палатки. Но надежная ли это защита, если собираешься окунуться в каленую спину, в самый центр грозы?

Мне, признаться, тоже невесело. Единственное утешение, что Петя Ломакин напишет-таки родным: погиб геройской смертью при выполнении боевого задания. Его светлый образ навсегда...

Один Угрюмов невозмутим. Ему столько раз приходилось разоружать мины, что какая-то там пустяковая гроза не в счет.

Стоим у подножия гольца, а нужно карабкаться по ослизному склону чуть ли не доверху.

А может быть, туча все же рассосется? Нет. Набухла, почернела наподобие нарыва. Вот-вот начнет швыряться амперами. Сколько миллионов их там припасено против четырех человек? Косогор серый, как отсыревшая соль.

Командир горноспасательной службы ползет впереди.

— Пошевеливайтесь, гиганты мысли! — подбадривает Родион. — Яшагин, не клони голову — не в отрезвиловку ведут, а на подвиг мирных будней. Воля — лучшая грозо-защита.

И охота болтать в такие минуты!.. На меня Угрюмов внимания не обращает. Ему кажется, что я ночей не спал, все ждал момента проявить героизм. Для всех все давным-давно кончилось, они стоят сейчас в палаточном городке и смотрят нам в спины: красиво ли ползем; гадают: зашибет молнией или нет? А мне злосчастная судьба обязательно в самую последнюю минуту что-нибудь подсуропит. Я должен делать веселое лицо и так, между прочим, лезть в самое пекло. Раз вписываешься в пейзаж заскорузлой тайги — полезай! Никому и в голову не придет, что ты элементарно трусишь. Да и сам себе не признаешься — стыдно. Яшагин — другое дело: он может откровенно праздновать труса, и все спишется за счет интеллигентного воспитания и неврастения. А победит свой страх — будет выглядеть героем. Командир горноспасательной службы рискует наравне с нами, но ведь это его обязанность, и никто даже не заподозрит, что ему-то меньше всего охота карабкаться до облаков, иметь дело с амперами и потенциалами. Его даже в расчет не принимают — он сопровождающее лицо. Сопровождающим лицам от славы героев обычно не достается ничего или же перепадают жалкие крохи.

От мишной станции, загороженной скалой, тянутся по склону магистральные провода. Они подвешены на небольшие столбики с изоляторами. В этих-то проводах и могут, скорее всего, зародиться блуждающие токи и потенциалы. Мы идем вдоль проводов, пригибаясь чуть ли не до земли. Тянутся и тянутся ноющие струны — провода, взлетают вверх к черной туче, хрящеватой синевой поблескивают изоляторы.

Где-то за гольцом глухо ворчит. Первая молния как звездчатая трещина на стекле. И звук тоже стеклянный, почти неслышимый.

Мы обливаемся потом, задыхаемся. Ноги хрустят в суставах от напряжения. Ветер бьет в грудь, отпихивает назад. А мы цепляемся за камни, подсаживаем друг друга на крутых подъемах.

Мы в опасной зоне. Тысячу раз искоженные, привычные тропки. Но сейчас мы отрезаны от всех людей двумя словами «опасная зона», и пространство вокруг в самом деле начинает казаться каким-то особенным, чуждо-незнакомым, настороженным. Здесь не хочется разговаривать. Во всем грозная торжественность. Так, должно быть, чувствует себя разведчик, пробравшийся во вражеский тыл.

Я шагаю, будто мну прилипчивое тесто. Из рта и раздутых ноздрей валит пар.

Ударили по лицу тяжелые капли дождя.

— Поднажмем! — кричит Родион.

— Не могу!.. — стонет Ромка. Бежать в гору в резиновых сапогах — занятие не из легких. У Яшагина вид загнанного лошака — того и гляди, рухнет на колени. Глаза белые, постекленевшие. Он в самом деле не может. Безразлично опускается на каменную плиту, покрытую лишайником, дышит с провзительным свистом, словно держит во рту пищик.

Родион хватается его за воротник брезентовой куртки, легко ставит на ноги.

— Ну, ты, идеологический дистрофик!.. Я сделаю из тебя героя современности, хочешь ты этого или не хочешь! Тащи его на подвиг!..

Мы берем Ромку под руки и тянем наверх. Он хрипит, но не отбивается.

— Разозлился ты, интеллектуал, безвольная тряпица, сибарит, свистун, фразер, — нежно шепчу ему на ухо.

— Я тебе в морду дам! — неожиданно воскресает Ромка. — Отпустите! Дойду...

И он гордо выпрямляется. И даже произнесит несколько ругательств в мой адрес.

Кажется, что по кособору бежит сизый дым. Иногда туман заволакивает все, и мы работаем в плотном сумраке. Под нами рудные тела, притягивающие молнию, тысячи килограммов взрывчатки. Над головой то и дело

вспыхивает красное полымя, охватывает полнеба — будто беспрестанно открывается и закрывается дверца топки. Я опередил ребят и отсоединяю от сетей магистральные провода. Наматываю и наматываю на оголенные концы изоляционную ленту. Родион и Яшагин, по-видимому, заняты взрывными сетями, участковыми проводами.

И вдруг прямо перед глазами вырастает белый огненный столб; затем над самым ухом небо выворачивается панзанку, рвется, рассыпается на куски. От неожиданности валюсь на камни. Все миллионы ампер пронизывают меня с головы до пят. Туда же, в пятки, уходит душа.

— Жив, чумак? — Родион трясет за плечо.

— А черт его знает! Может, и жив. Оглох малость. Звенит, как в кузне.

Теперь усаые молнии с гулом шмякаются почти у самых ног, ползут по земле, разбиваются с шипением и визгом зеленые и розовые змейки, сыплются с неба разноцветные раскаленные перья. В гремучем синем огне, в багровых всплесках ближние горы кажутся страшными, будто прозрачными насквозь. А потом снова все как в пыльном зеркале. Какой-нибудь ученый, изучающий грозу в кабинете, может нам позавидовать: мы находимся в самом ядре взбаламученной электрической стихии, трогаем потенциалы руками. От резкого озонного запаха ломит в мозг. И, как ни странно, мы все еще живы! Вибрирующий грохот не умолкает ни на минуту. Зыбко вздрагивает земля, перекаывая гул от камня к камню, басовито гудят скуластые валуны.

Дело сделано. Оглохшие, почти ослепшие, еле живые от усталости и нервной встряски, идем назад. Хочется кубарем скатиться вниз, поскорее выбраться из очага поражения. Но страх уже притупился, не хватает больше сил бояться, размышлять. Упасть бы на мох и лежать под проливным дождем. Теперь ведь все равно: взрывные сети и магистральные провода закорочены. Мы опередили и потенциалы и блуждающие токи. Голец обрушится в глубокую падь секунда в секунду, как это записано в плане и в приемном акте высокой комиссии, тогда, когда этого захочет Григорий Иванович. Все великие события планируются. В математической точности такой заданности своя красота.

Мы идем обнявшись, поддерживаем друг друга. Впереди сам по себе скачет командир спасательной службы.

Ему и не следовало бы ходить сюда. Но порядок есть порядок. Он напоминает проворного кузечика. Никаких героических поступков он не совершал, помогал нам закорачивать концы, следил за тем, чтобы с нами ничего не случилось, будто его присутствие могло оградить от молний, от сотен миллионов ампер. Молния не станет набрасываться на сопровождающее лицо. И он, конечно, доложит Перегудову: «Ребятки вели себя правильно». Ну а как еще мог вести себя он, командир?

Мы идем в сплошном белом сиянии. Гром все еще отбивает четку.

— Греми, греми, пустобрех, — говорит Роднон.

— Теперь бы темно-синих щей... — мечтает Ромка... — Воля в сочетании с фасолью... и витамином «Ша»...

...На поляне останавливается автомашина, залпанная грязью. Из радиатора, заткнутого тряпкой, валит пар. Водитель долго не может открыть кабину. Это прямо-таки «адский» водитель: он провел свою машину-«трясогузку» там, где не всегда пробиваются даже вздеходы. В кузове под брезентом что-то шевелится. Так это же девчонка! Она отбрасывает брезент, подает водителю, который уже выбрался из кабины, бесчисленные узлы и корзины.

Что-то бесконечно знакомое чудится мне во всем облике девчонки. Таня!.. А где же огненно-красная копна? Волосы черные с сиреневым отливом. Аккуратно заколотые. Платье городского покроя (со спущенным плечом!). Узнаю: мамина одежда. На шее шелковая косынка с черно-красными цветами.

— Здравствуй! Не ждал?..

Гляжу и все не пойму: взаправду приехала или мерещится? Ведь сколько раз во сне вот так приезжала: брал за руку, что-то говорил явственное и в то же время туманное. А потом просыпался и долго не верил, что все это — и ее теплая, но жесткая рука, и взбившиеся волосы, и запах пыли на ее щеках — лишь пригрезилось. Только что была тут — и нет...

Мы оба немного смущены. Таня совсем не такая, какой привык ее представлять: будто меньше ростом; и лицо совсем детское, непривычной нежной белизны (уловка всех деревенских девчат — обвязывают лицо платком, чтобы уберечься от загара). А пальцы коричневые.

— Насилу вырвалась. Не отпускали. А где Поликарпочкин?

— Да вот он. Пристроили. Горшки и рупник привез. Как же это ты так?..

— Как?

— Хотя бы письмо прислала, предупредила.

— Предупредила? Я не к тебе, а работать. По комсомольскому призыву.

— Да я не о том. Вот повестка. Через несколько дней уезжаю на действительную.

Таня растеряна. Лицо белеет еще больше, становится застывшим. Но она быстро справляется с собой, кричит:

— Поликарпочкин! Забери узлы пока. Тебе письмо от Нюрки Ермаковой.

— Нужна она мне очень!.. — с дрожью в голосе отвечает Поликарпочкин и пунцовеет. — Обязательно рьякать на всю Европу...

...Мы ходим и ходим по тайге. Все будто вернулось спова. Желтый, как жито, вейник по плечи. Он накатывается душными волнами на подножие кыгылляхов, печеночно-красных и фиолетовых с синеватыми и беловатыми отсветами скал. Мы стоим, взявшись за руки, возле каменных великанов, в самом деле напоминающих существа из фантастического мира. Добрые и злые уроды, всегда молчаливые. Они тоже сами по себе. Даже в самом их названии что-то первобытное, шаманское. Это целый каменный город с колоннами, ступенями, аллеями статуй, и весь этот город поднялся гладкими лиловыми стенами над тайгой. В его улицах и переулках можно запутаться.

Таня стоит с широко раскрытыми глазами, положив указательный палец в рот. По ее щеке ползет красная в крапинку козявка, но Таня ничего не замечает. У ног тяжелая зеленая таежная вода. Она пугает своей неподвижностью и обманчивой глубиной. Задранные к небу корневища, выскорь, снежно-белый ягель, похрустывающий под сапогами, черепично-чешуйчатые шишки на соснах... В широкие просветы видны дальние синие цепи гор и белое сияние над ними; ближние бурые вершины ступенями спускаются к нам.

Прижимаю загорелую руку Тани к своей щеке. На запястье самодельный браслетик из медной проволоки, начищенный до червонного блеска.

— Я ведь все равно к тебе приеду, — говорит Таня. — Пусть тебя хоть на край света пошлют. Устроюсь на работу. Думаешь, ничего не умею?

Лежим на траве, следим за паутиной облаков в светлой пустоте неба. Не верю, что через несколько дней оставлю ее здесь одну. Новая, еще непонятная жизнь не страшит, но как оставлю Таню одну?.. Не скажешь же Родиону: приглядывай тут за ней... И эта мысль засела штопором, сверлит и сверлит.

— И ты взаправду приедешь?

— А что мне тут без тебя?.. Определишься — папиши.

Мы не говорим о любви, не произносим тех слов, которые, по-видимому, положено произносить в таких случаях. Просто я вижу, как светится кожа на ее щеках. Есть один пункт, довольно-таки не романтичный и, может быть, не совсем красивый, но пунктик назойливый, надоедливый вроде мозоли. За лето у меня накопилась изрядная сумма денег, мне они ни при каких обстоятельствах не нужны; Тане могут пригодиться. Как, не обижая, всучить ей эти деньги?

И вот я лежу, заложив руки за голову, и, вместо того чтобы терзаться сердечными муками, думаю о проклятых деньгах.

В конце концов решаюсь, говорю хрипло:

— Мы ведь с тобой почти одно и то же. Я бы хотел тебе на первый случай, ну как товарищ... Ты только не сердись...

Вынимаю кожаный кошель, распухший от червонцев, и кладу на ее ладонь.

Таня долго не может взять в толк, чего я хочу, но, сообразив, сует кошель мне в карман. Она не вспыхнула, не вскочила. Смотрит запавшими глазами, гладит по волосам.

— Глупый... Да у меня скорее руки отсохнут...

Лезет за пазуху, вытаскивает узелок поувесистей моего кошелька.

— Вот приданое! Ты насчет этого не переживай. Я же понимаю... Ты от доброго сердца. Да только не надо. Не в них счастье.

Неожиданно приближает ко мне лицо со странно расширенными горячечными зрачками, придавливает острыми зубами темную губу, громко шепчет:

— Запомни: если заведешься с другой, и ей и тебе зенки серной кислотой выжгу! Так и знай.

Я хохочу, бью себя кулаком по животу.

— Это индивидуальный террор. Почему именно аш два эс о четыре?

— Потому. Ненавижу тебя...

Мне вспоминается глупейший случай, происшедший у нас на Баскунчаке. Ревнивая жена, застав Маркушу Фокина любезно болтающим с официанткой из рабочей столовой, плеснула ему в глаза из консервной банки. Маркуша завопил и ощупью добрался до медпункта. «Раскройте глаза!» — приказал врач. «Не могу, — выл Маркуша, — выжгла, хляка, выжгла! Давно грозилась». — «Не валяйте дурака, — рассердился врач, — это же клюквенный кисель, чуть тепленький кисель...» С тех пор Маркуша обходил девушек по сложной кривой.

Мы сидим в высокой разбой-траве и тирашим друг друга. Берем самые страшные клятвы, словно не верим в прочность счастья. Во всяком случае, добрые друзья не грозятся перерезать горло или выжечь глаза серной кислотой. Возле прыгает птичка по прозвищу глупая сивка.

От кыгылляхов идет прогретый воздух. В зеркальном мареве они кажутся зыбкими, непрочными. Тишина без единого комариного писка. Она глухо лежит на всем толстыми пластами. Таня прислушивается. Тишина начинает тоненько звенеть. Будто кто натянул струну от самого солнца. Из прозрачного звона постепенно рождается мелодия. Скрипка. Все громче и громче. И вот уже кажется, что и горы, и кыгылляхи, и высоченные лиственницы, как невиданные резонаторы, тоже начинают звенеть, включаются в тонкий канифольный голос скрипки.

— Радио? — спрашивает Таня.

— «Танец маленьких лебедей». Афоня Кублаков.

— Задушевно играет. По-настоящему.

— Поглядела бы на этого нетопыря! Не подстригался с прошлой осени. Под Бетховена маскируется.

— Все равно хорошо. Научиться бы на пуантах...

— А что такое пуанты?

Гремят кыгылляхи. Упругий удар. Подскочила земля, вздрогнули каменные скалы, даже показалось, что чуть наклонились. Новый тугой звук. Над кыгылляхами, над горами сиво-железного цвета поднимается золотисто-серая пелена. Она чем-то напоминает распластанные рога сохатого. Мгновенно наступает легкий прозрачный сумрак.

Так это же взрывают голец Бусугуй!

Мы уловили тоненький голос скрипки и не услышали предупредительные сигналы...

Взявшись за руки, бежим к палаточному городку. Трещит под ногами ягель, взлетает сухой пылью. Чернокрасная косынка Тани зацепилась за ветки.

Опоздали... Западный склон гольца точно ножом отхватили. Его просто нет. Гладкая пепельно-шоколадная стена в несколько десятков метров высоты. Даже отсюда видна широкая, утыканная острыми каменными зубьями полка. На высоте колеблется огромное облако. Из золотисто-серого оно постепенно превращается в кроваво-золотое. Оттуда, с неба, падают и падают листы бумаги, похожие на листовки. Забойка?.. Ветер подхватывает листы и несет их над верхушками матово-серебряных с черными пятнами берез, над лиственницами, над грядой скал.

Так мы же его взорвали! Взорвали!

Губы мои дрожат, пальцы подпрыгивают. Сжимаю руку Тани.

Ветер раскидал палатки, пустые бочки, берестяные сколотни с ягодой. Среди полнейшего разгрома стоит Перегудов и хохочет. Он снова хозяин положения, бог. Стоит, широко расставив ноги, положив руки на плечи Родиона и Кузи Зуева. Смеется Чупров, умиленно хихикает Кузя. Вокруг прыгает Маргаритка, заливается ласм. Антип смотрит на то, что осталось от гольца, покачивает головой.

— Вот так динамон!

А со стороны склада взрывчатых материалов все еще доносится балетная мелодия.

— Давай, давай, Афоня! — кричит Родион. — Пад-де-де...

Мелодию забивает пронзительный радостный звук горна. Отбой...

Желтый лист бумаги прилип к моим брюкам. Шершавый дореволюционный лист с ятем и фитой. У верхнего среза крупными буквами — «Эвристика». Опять шутки Яшагина: ухитрился вместе с забойкой заложить в штольню всю свою библиотеку.

Кстати, что такое эвристика?



иллюминатор видны сопки и море. Великий, или Тихий, сегодня не спокоен. Пружинистые валы врываются в бухту, и берег под их ударами глухо звенит. Небосизое, как чад, и, может быть, потому крыло чайки, вспарывающее волну, кажется особенно белоснежным. Даже у стенки наш корабль-спасатель покачивается. Подпрыгивают на воде буксиры, противопожарное судно с очень высокой башней, рейдовые ботики. Все это суда нашего аварийно-спасательного отряда.

Сопки отгораживают базу от остального мира. Слово «база» лишено романтики, и потому все, что вокруг, мы называем «бухтой Уединения». Уединение, конечно, относительное: база связана с городом прекрасной шоссе-ной дорогой, по которой то и дело проносятся грузовики и автобусы.

В такую погоду на камни выбрасывает великое множество медуз. Они бывают разные: огромные и совсем крошечные, не больше пуговицы. В ясную погоду море напоминает цветочную поляну, это на всем видимом пространстве медленно колышались здоровенные, как зонтики, фиолетово-розовые медузы. Их можно вылавливать даже руками, и они трясутся у вас на ладонях, будто желе или смородиновый кисель. Другое дело крошечные медузы-крестовики! (У них на студенистом куполе в самом деле хорошо виден коричневый крест.) Ожоги от их стрекательных пузырьков иногда даже смертельны — человек погибает от удушья. И невольно задумываешься: почему столь ничтожная тварь так ядовита? Ее по рассеянности можешь и не заметить...

Когда я смотрю на сопки, заросшие лесом, то всегда вспоминаю голец Бусугуй, затерянный среди хребтов Забайкалья. Там тоже — сосны с растопыренными, словно

литыми из бронзы, шишками, кедры, березы, покрытые изморозью, и лиственницы, и елочки, напоминающие девчонок в расклешенных зеленых платьицах. В то время я много думал о Тане, о нашей любви. Разумеется, если долго думаешь о таких вещах, как любовь, то даже деревья начинают походить на девушек в зеленых платьицах. Память как пыльное зеркало: из прошлого видишь только контуры событий. Мы подготавливали к взрыву голец Бусугуй, строили шоссеиную дорогу. По почам во сне до сих пор давят темные своды штолен и мипных камер, вижу малиново-свежий, только что обгаженный гранит с блестками слюды, мешки желтой и розовой взрывчатки, сердитое, измазанное грязью лицо нашего бригадира Родиона Угрюмова.

Стоит солнечному зайчику упасть на пыльное зеркало, и сразу многое проявляется, обретает краски. Любовь и есть солнечный зайчик. Я даже помню, какое было платье на Тане в тот последний день... По ее щеке ползла красная в крапинку козявка, но Таня ничего не замечала. Мы не говорили о любви. Просто лежали на траве и следили, как тают облака в каленой пустоте неба. Над нами сияла громада гольца Бусугуй.

— Я ведь все равно к тебе приеду, — сказала Таня. — Пусть тебя хоть на край света пошлют...

Таежная тишина тоненько позванивала. Будто кто натянул струну от самого солнца. Из прозрачного звона постепенно рождалась мелодия.

— Радио? — спросила Таня.

— Нет. «Танец маленьких лебедей». Наш кладовщик, скрипач-любитель Афоня Кублаков...

Потом земля дрогнула, качнулись скалы. Над горами взметнулась золотисто-серая пелена. Мы догадались: взрывают голец Бусугуй! Вскочили и, взявшись за руки, побежали к палаточному городку. Трещал под ногами ягель. Черно-красная косынка Тани зацепилась за сук...

Набегают и набегают дымящиеся валы. Пепельно-серые и розоватые кручи подступают к берегу почти вплотную. Камня тут хватает. Отдельные глыбы уселись прямо в воде, обросли зеленой бородой и мидиями величиной с кулак. На кекурах любят отдыхать черные баклацы. Березы здесь называются каменными. Кора у них красная. Есть еще похоронные сосны. Думал, окрестили так ради смеха. Оказывается, вполне официальное название. В ис-

кривленных темных деревьях с прозрачными, как сито, кропами и в самом деле есть что-то траурное.

В океане вспыхивает светлый клочок неба. «Там за далью непогоды есть блаженная страна...» Мне начинают мерещиться пальмы, качающиеся на ветру, коралловые острова и лазурные лагуны. Ветер с жестяным шелестом гонит по земле сухие пальмовые листья. На песчаном берегу — тонкая смуглая девушка с огромными глазами. Она стоит, протянув руки к синему океану, будто зовет кого. Я знаю: она зовет другого, не меня. Но мне понятна печаль, застывшая в глубине ее зрачков. Именно так и бывает: обширность океана рождает представление о дальних жарких странах. И чтобы обязательно — на пустынном берегу одинокая смуглая девушка с ярким цветком в черных волосах, широкие, как простыни, листья бананов и пальмы, наклоненные над ослепительной лазурью лагуны...

В уши надоедливо лезет костяная дробь: это мичман Оболенцев упражняется на ксилофоне. Оболенцев выбивает деревянными молоточками марши и даже романсы. Звук не особенно музыкальный: будто старый ревматик хрустит пальцами. Но это мало смущает мичмана.

— Музыка — в душе человека, — говорит он. — Я, например, вслух петь не умею, а про себя такие рулады закатываю — Шаляпин ахнул бы!

Не раз видел, как мичман работает кувалдой, — загляденье! С деревянными молоточками получается ламного хуже. Петь действительно не умеет.

— Насчет музыки в душе — верно, — откликаюсь я. — Со мной точно такая же история. Бывало, когда у себя на гольце Бусугуй пытался пробовать голосовые данпые, взрывники уши прикрывали — даром что все оглохшие. А наш скрипач-любитель Афоня Кублаков приходил в ярость. Чтобы заткнуть рот, даже стал обучать игре на скрипке.

— Ну и как?

— Понял, что талант — штука врожденная. И у медведя есть тяга к музыке: сам наблюдал, как косопалый устроил себе ксилофон из поваленной лиственницы. Дербанит орясиной, облизывается, глазки прикрывает от блаженства. Смех. Когда слушаю вашу игру, почему-то всегда этот эпизод вспоминаю.

— Намек непонятеи, — сердится Оболенцев.

— Без намеков. Мой бывший бригадир Угрюмов учил прощать начальнику его слабости. У каждого своя причуда: один стишки пишет, другой на ксилофоне упражняется. Вон матрос Шмаков занимается живописью и фотографией, а Тосунян кибернетическую черепаху мастерит, которая будет подавать сигнал «Полундра» при появлении боцмана.

Мичман топорщит густую бровь.

— А у вас есть причуда?

— Есть. Разрешите повесить в кубрике портрет Чебышева.

Он озадачен.

— Знаменитого математика?

— Да. Пафнутия Львовича.

— Вы увлекаетесь математикой?

— У меня с портретом связаны сильные переживания.

— Какие же, если не секрет?

— Ну как я завалился по алгебре при поступлении в энергетический институт. С тех пор и вожу портретик с собой повсюду.

— М...да...

Нашему мичману лет двадцать пять. Как и всякий человек, не получивший систематического образования, он жадно интересуется вещами, далекими от повседневной жизни: логикой, психологией, искусством, историей древнего мира и даже философией.

— Как, по-вашему, что такое прекрасное? — спрашивает он сейчас.

— Прекрасное есть жизнь, — отвечаю заученной еще в школе фразой.

— В принципе верно. Только очень уж общее определение. И в жизни случаются гадости.

— Бывает.

— Вы мне скажите: существует ли прекрасное объективно, или оно плод нашего воображения?

— Это мне не по зубам, товарищ мичман.

— То-то же. Вам в самом деле не стоит терять времени на увольнения в город, повышайте уровень. Оставляю за себя. А мне нужно к подшефным заглянуть.

И он показывает широкую спину, обтянутую кителем. Уходит, как догадываюсь, в хорошем настроении. Ксилофон — зеркало души мичмана. Когда он выколачивает деревянными молоточками «Прощайте, скалистые горы»,

значит, собирается в город. «Прощай, любимый город» — перед инспекторской проверкой. Тут уж не до театров! «На палубу вышел, сознания уж нет» — перед выходом в море. За последнее время в репертуаре мичмана появились новые вещи, что-то на мотив «Ах ты, сукин сын камаринский мужик!» К чему бы это?

В воскресный день можно было бы взять увольнительную, поехать в город, попытаться достать билеты в театр на московскую труппу. Можно было бы... А теперь сиди изображай из себя начальника. По укоренившейся привычке раскрываю учебник, пытаюсь разгадать сокровенный смысл бипома Ньютона. Но в ушах до сих пор навойливо звенит это костяное: «Ах ты, сукин сын камаринский мужик!» В конце концов не выдерживаю, произношу вслух:

— Ах ты, сукин сын камаринский мужик! Отвяжись, собака...

Матрос Тосунян поворачивает ко мне испуганное лицо, спрашивает:

— Вам дурно, товарищ старшина второй статьи? Может быть, врача?

— Обойдусь. Врач еще с утра в город укатил. Как вы думаете, Тосунян, зачем мичман отправился к подшефным?

— Поступки начальников не обсуждаются. Но, если вас интересует мое мнение... думаю, тут дела сердечные.

— У мичмана-то? У этого гиганта?..

— По-вашему, сердечными делами должны заниматься только рахитики, а гиганты — боевой и политической подготовкой? Вон у вас рост тоже — дай боже, а девушка, наверное, есть.

— Есть, Тосунян.

— Не трудно догадаться. Мне, как почтальону по совместительству, это хорошо известно. Даже посылочками балует.

— Может быть, я от матери получаю.

— Большое расхождение в адресах и фамилиях. Мать живет на Баскунчаке, а посылки идут из Читы от Тани Курепиной.

— Сестра... — цепляюсь я за последнюю возможность. — Замуж вышла...

— Все так думали, пока из конверта не вывалилась фотография с выразительной надписью: «Навек твоя».

Только объясните своей даме, что «навек» пишется вместе, а не раздельно.

Появляется лейтенант Панышев.

— Сидите, сидите, — говорит он предупредительно и останавливается позади Шмакова. Матрос увлечен художеством, кладет резкие мазки на полотно. Тосунян боком, на цыпочках выбирается из комнаты. У него лукавый вид.

— Что бы это могло быть? — любопытствует лейтенант, разглядывая произведение Шмакова. — Женщины или динозавры? Если женщины, то почему вместо животных ящики от комода?

У лейтенанта явно обескураженный вид. На аккуратный лоб легла складка, в голубых глазах некая оледенелость.

— Копия с картины Дали «Горящая жирафа», — поясняет Шмаков, не поворачивая головы.

— А тут что за мазня?

— Копия с картины Шагала «Солдат пьет».

— Солдату не положено пить.

— Так он же чай пьет.

— А откуда это видно?

— Абстрактная живопись.

Ошарашенный этими словами, лейтенант долго молчит. Наконец спрашивает:

— Скажите, Шмаков, вы из интеллигентов?

Матрос трясет головой:

— Да что вы, товарищ лейтенант! От плуга и от сохи. Я в детстве, бывало, к пороссячьему корыту подползал и вместе с поросятами ел.

— А потом, когда повзрослели?

— Тогда уж не ел. Обзавелся миской и ложкой.

— Я про работу спрашиваю.

— Был заведующим сельпо. Сняли.

— За хищения?

— Не. Опять же по пороссячьей части. Свинья сожрала сургучную печать вместе с биркой. Ну меня и сняли за притупление бдительности. На мою биографию почему-то всегда животные оказывали влияние. Совхоз-то, где я работал, был свиноводческий. На каждом шагу хряк. Несешь, к примеру, продукты домой, а за тобой целая свиньяча кавалькада несется, с визгом, хрюканьем. Дрыном отбиваться приходилось. Хлебнул я...

— А где рисовать научились?

— Это когда уже в куриной промышленности работал.

— Разве есть такая промышленность?

— Имеется в виду птицеводхоз. Деревенские бабы любят рушники петухами вышивать. Стал я рисовать с натуры и продавать. Петух — гривенник, петух — гривенник...

— Так и докатились до абстракционизма. Лучше бы рисовали портреты отличников. А «жирафу» сдайте в зоологический сад. Нельзя, чтобы на картине женщина была похожа на двигатель внутреннего сгорания. И вообще советскому матросу не к лицу...

Шмаков пожимает плечами:

— Я жертва недоразумения. Перерисовать картинки абстракционистов из книжки, увеличить то есть, попросила одна знакомая девушка из рыбного института.

— А вы растаяли, клюнули на эту удочку! Зачем им в рыбном институте копии с абстракционистов?

— Девушке поручили доклад на тему «О разложении буржуазного искусства». А чтобы продемонстрировать это разложение, нужны наглядные пособия. Что же касается отличников, то с кого прикажете начать?

— Да хотя бы с него, — кивает лейтенант в мою сторону. — С него барельеф лепить можно.

Я не страдаю ложной скромностью и готов позировать Шмакову. Но у лейтенанта совсем другое на уме. Озабоченным голосом спрашивает:

— Не знаете, куда девался мичман Оболенцев?

— Так точно, знаю, — выпаливаю я, стараясь блеснуть воинской выучкой. — Отлучился к подшефным.

Панышеву только того и надо. Он сразу преображается. Округлое лицо становится тугим, начальнически властным.

— Одна нога — здесь, другая — там! Мичмана немедленно ко мне! Шмаков, вы сделали фотографии?..

Вот так всегда. Где другой промолчит, прикинется несведущим, я сразу же брякаю и всегда попадаю впросак. Тосунян мгновенно сообразил, что лейтенант зашел не на мазню Шмакова полюбоваться. Потому-то и улизнул так проворно. Кибернетический ум... «Живо», «немедленно», «срочно», «мобильно» — любимые словечки лейтенанта. Я-то знаю, ничего особенного не случилось. Просто лейтенант достал два билета на постановку московской труппы и теперь хочет оставить за себя Оболенцева.

Шагаю по берегу. По-стеклянному похрустывают под ногами ракушки. Мечтательное настроение испорчено. Поддеваю ногой ослизлую ржавую водоросль, выброшенную волнами. На самой верхушке сопки раскачивается кривая похоронная сосна. Спилить бы ее да посадить какую-нибудь аралию, все веселее было бы...

Иду и размышляю о шефской работе. У меня от шефской работы пятый день ломит поясницу. О мичмане Оболенцеве и говорить не приходится: днюет и почует у подшефных. Извелся, осунулся. Чудак Тосунян! Сердечные дела... Поболтаешься под водой несколько часов, повозись с электрорезаком и дыропробивным пистолетом — всякая охота на девушек глядеть пропадает. Мичман всего себя в ремонт вкладывает. Подшефных не всегда ищут. Иногда они сваливаются вам на голову пекданпо-негаданно, в силу обстоятельств. Так было с нашими. Они даже не подозревали, что станут подшефными. Плавали себе по морям и океанам, изучали планктон, подводный рельеф и метеорологию, пока не напоролись во время тайфуна на устричный риф. Получили пробойну, погнули лопасти винтов и сразу же стали подшефными. Мы сняли их с мели и привели сюда. Но шефство на этом не кончилось. Командование великодушно выделило группу водолазов во главе с мичманом Оболенцевым для оказания помощи аварийному судну.

«Артемиды»!.. Вон она стоит у причала в западной части бухты. Когда смотришь на белые обводы «Артемиды», начинаешь понимать, что время морской романтики не прошло. Экспедиционное судно... Там и просторные каюты, и лаборатории, шезлонги на верхней палубе, установки для кондиционирования воздуха. Наш корабль-спасатель в сравнении с «Артемидой» кажется диковинным сооружением. Во-первых, он состоит не из одного, а из двух корпусов, соединенных высокими металлическими арками, или фермами. Издали можно подумать, что сцепились два судна, и не сразу убеждаешься в том, что это плавучее сооружение — единое целое. Во-вторых, у нас на палубах нет шезлонгов; пайдешь все что угодно: мешки с цементом, доски, деревянные и парусиновые пластыри, битый кирпич, бутылки с соляной кислотой, кессоны-ящики и много других интересных вещей. Шезлонгов нет.

В-третьих, нам бесполезно мечтать о длительных походах в полярные широты и в южные моря. Мы — что-то наподобие участкового врача, которого вызывают только в случае необходимости. Сделал дело — и снова дожидайся своего часа. Авось потребуется помощь. Мы — аварийно-спасательный отряд, АСО, суда особого назначения, черноробочие моря. Вот если у вас случился пожар или повело без руля и ветрил на банку — мы тут как тут. Даже при самых крупных повреждениях корабля или судна мы не дадим ему погибнуть. АСО — тяжелый будничный труд.

Не то «Артемиды»! Она как белокрылая чайка. Ее дом — все моря и океаны, ее несет по волнам романтика тропических лагун, коралловых атоллов и айсбергов арктических и антарктических морей.

Всю весну научные сотрудники «Артемиды» вели исследования в районе Курило-Камчатской впадины. В тех местах никому из нас бывать не доводилось и потому охотно слушаем рассказы о кольцевых туманах, когда вокруг туман, а в середине ясное небо, о десятикилометровых глубинах, о том, что у осьминога три сердца и голубая кровь, о безглазых рыбах, об особых животных погонифорах, у которых до сих пор не найдено ротовое отверстие. Любителю плотно поесть матросу Шмакову существование подобных животных кажется невозможным.

— А их самих употребляют в пищу? — допытывается он у лектора.

— Постыдился бы, обжора, — шепчет сзади матрос Тосунян. — Усиленного пайка тебе мало. Абстракцию рисуешь, а жуешь, как корова.

— Тосунян! — кричит через всю кают-компанию лейтенант Панышев. — Прекратить разговоры!

В двух километрах от АСО — база подводных лодок. Всякий раз, когда гляжу на строгие серовато-голубые корабли у пирса, на сплюснутые с боков рубки с закрытыми или открытыми сверху массивными стальными крышками, вспоминаю не фантастического капитана Немо, а своего приятеля и земляка Альку Пискунова. Он уже старшина 1-й статьи, заведует каким-то отсеком у себя на лодке. Чужое дело всегда кажется загадочным, более сложным и хитрым, чем свое собственное. Вот почему я преисполнен глубокого уважения к Пискунову. У них — и торпедные аппараты, и всякие цистерны и рули,

центральный пост и перископ. Безусловно, мой приятель разбирается во всей этой премудрости и, конечно же, не спутает горизонтальный руль с вертикальным. У них — и срочное погружение, и длительные походы без всплытий. Нужно обладать особой выдержкой...

— Все впиз! Стоп дизеля!

Нос к носу сталкиваюсь с Алькой. Видно, издали заметил меня и поджидал. Спрашиваю:

— Как живешь, Али-Баба?

— Катаюсь как сыр в машинном масле. Ем яки-хашш. Ты, случайно, не на «Артемиду»?

— Туда.

— Возьми меня с собой. На бентос хочется полюбоваться.

— А что это такое?

— Донная фауна. Червяки всякие, асцидии. Вам, водолазам, хорошо: ты у себя на дне этих червяков можешь килограммами брать. А каково мне? Зовусь подводником, а что под водой делается, ни разу не видел.

Признаться, я удивлен. В выходные дни Алька обычно с самого утра уезжает в город, вертится у цветочного киоска, где сидит и торгует глициниями и хризантемами знакомая девушка. Видел мельком: белобрысая, волосы колесом вокруг головы, лицо от заграничных питательных кремов красивого синеватого оттенка. Что это Альку вдруг потянуло на бентос?

— Ты же вроде собирался в город к той, из цветочного киоска, которая дедероновые чулки носит?

— Пройденный этап. С ростом благосостояния растут духовные запросы. А она глупа, как утка. Я, видишь ли, не в ее вкусе. Ей больше нравятся торговые моряки.

— Занялся бы перевоспитанием.

— Пробовал. Подсовывал Детскую энциклопедию. Говорит, не по зубам. Что-нибудь бы про любовь и с картинками. Кстати, слышал, что ты вчера получил фотографию от своей читинской пассии. Покажи.

— От кого слышал?

— Толпами собираются, обсуждают это событие.

Алька все такой же. На него сердиться просто невозможно.

— Откуда ты набрался паршивых словечек? Какая она пассия? Колхозная девчонка. Учится в техникуме на агронома.

— Ладно. Не обижайся. Язык мой — враг мой. Если бы не язык, давно главстаршину присвоили бы. Ввернешь ненароком словечко, а на тебя смотрят, как на какого-то «жорика». А то, что я затылок тру, соляркой пропитался, остается незамеченным. Я ведь свой картавый язык тренирую на замысловатых словах.

— Тренируй на словах, а не на словечках. Мало ли труднопроизносимых слов! Например: «Вынь лычко из-под кочедычка».

— Патриархальщина. Небось и сам не знаешь, что бы оно значило?

— Не знаю.

— То-то же. Прадеды на таком языке говорили. Мне нужно срочно избавиться от картавости. Вот посмотри, что в блокноте записано: предынфарктный, переквалифицированный, перерасходованный, разрекламированный. Главное — буква «р». Например: «Море играло, море смеялось». Классика! Смотрю на тебя и завидую: везет!

— Мне-то везет?

— Родился не картавым, такой молодой — и уже отличник боевой и политической подготовки, водолаз третьего разряда. А за плечами не менее героическая специальность — взрывник. Успел хлебнуть экзотики. Едва выпулся — на грудь медаль «За трудовую доблесть» повесили. Пришел на флот — перевоспитываться не нужно. Ты ее любишь, она тебя любит, шлет посылочки с чингисскими деликатесами: консервы из медвежьего уха в собственном соку. Женишься, пойдут детки. На этом фоне я выгляжу жалким неудачником. В любви — как утопленнику. Служба подходит к концу, а на Баскупчак вертаться неохота. Главное — непонимание окружающих...

— Кто же тебя на этот раз не понял?

— Есть одна. Глазищи — во! Коса — во! Сурбаран. «Святая Инеса». Увидел — поги, как у новорожденного козленка, подломились.

— Откуда она?

— Вон оттуда: С «Артемиды»!

— Я там всех девушек знаю.

— Зоя Петровна Нечаева из отряда бентоса. Только, старче, строго между нами. Клятва Гракхов.

Я поражен:

— Когда же ты успел с ней познакомиться?

— Успел. Любит по берегу прогуливаться. Ну я пришвартовался. Стал про подводную службу травить. А она только смеется. Вы, говорит, оригинал. На «Артемиду» так ни разу и не пригласила. Отремонтируете вы винты, и улетит белокрылая чайка в туманные дали.

— Улетит, да не скоро. И не в туманные дали. Целое лето будут крутиться в Японском море с заходом сюда. Сейчас ждут группу специалистов из Москвы и Хабаровска. Приборы проверяют, продукты грузят.

— Вот и говорю: счастливирик ты! Каждый день на «Артемиде» встречасься с ней. Герой-водолаз, романтик глубин. Как в высшем обществе: манжеты, манишку носишь.

— Манишка-то цельнометаллическая. А глядеть на Нечаеву каждый день... Мне это счастье, прямо скажем, ни к чему. Зоя Петровна — особа симпатичная, слов нет. Только не найдете вы общего языка.

— Почему же? Я ведь могу всерьез и бентосом заняться, если все эти червяки-подопки станут преградой между нами.

— Дело не в бентосе, как любил говорить мой друг Родион Угрюмов, который сейчас учится в инженерно-физическом институте в Москве, мышление ваше лежит в разных плоскостях.

— Перекантуюсь на любую плоскость. Тут я не уступлю. Ради такой жизнь можно отдать...

Что творится с моим другом Алькой? Как был, так и остался увлекающейся натурой. Влюбился в Зою Петровну. Увлеченье или настоящая любовь?..

На «Артемиду» пропускают беспрепятственно. Здесь меня уже признали. Пискунова тоже припимают за «своего». Раз в морской форме, значит свой. Света Суханова из отряда планктона здороваается со мной за руку, на Альку бросает любопытные взгляды: хороша военноморская форма! Зовет она меня «товарищ водолаз».

— Товарищ водолаз, приглашаю, приглашаю в лабораторию, а вы все отказываетесь. Планктон не кусается. Хотите, покажу бим-тралы и оттер-тралы? Могу угостить вареными кальмарами.

И она щурит веселые серые глаза, кокетливо поводит плечами.

В другое время Пискунов обязательно остановился бы и произнес что-нибудь вроде: «Хогарт. «Девушка с кро-

ветками». Но сейчас он даже не смотрит на густые ресницы Светы, которая, на мой взгляд, гораздо привлекательнее Зои Петровны. Алька рвется в лабораторию бентоса.

— Бентос-гумус... — бормочет он зачарованно. Даже меня начинает разбирать любопытство.

— Ладно. Бентос так бентос. Идем! Мичмана после разыщу. Наверное, готовит лебедки к завтрашнему дню.

— Лаборатория бентоса сразу же за нашей, — поясняет Света. — Впрочем, могу провести.

Она цепко берет меня за рукав и тащит по бесконечным трапам.

— Ваш приятель — подводник, да? — допытывается она. — Что это у него за красная вышивка на рукаве?

— Не вышивка, а парукавный знак. Моторист, значит.

— А он разговаривать умеет?

— Думаю, что да.

Заходим в лабораторию бентоса. Я меньше всего рассчитываю застать мичмана Оболенцева здесь. Но он сидит среди колб и пробирок напротив Зои Петровны, и они ведут непринужденный разговор. Русая коса Зои Петровны собрана в пышный вал. На полных, без малейшего признака косметики, розовых губах благожелательная улыбка. Лицо у нее простое, открытое и, я бы даже сказал, по-особому женственное. Такое выражение лица бывает у очень спокойных, ласковых людей. На ней белое узкое платье, и оттого она кажется особенно изящной. Пискунов глядит на ее загорелую гладкую шею с черной родинкой, глядит обалдело, не замечая ничего вокруг. Только я понимаю, что творится у него в душе.

— Стронгилоцентрогус интермеднус... — произносит Алька. Зоя Петровна бросает на него удивленный взгляд. Суханова откровенно хохочет.

— Откуда вы знаете? — изумляется она. — Это же научное название морского ежа!

— Нужда заставит есть калачи... — трагически бросает Алька. И, как заклинания, бормочет гнусавым голосом: — Астериас амуренсис, мактра сулькатария, гопионе-мус вертенс...

Света хлопает в ладоши. От восторга у нее по-глупому отвисает нижняя губа, в горле клокочет смех. Зоя Пет-

ровна улыбается нам приветливо и даже протягивает руку. Алька берет эту смуглую руку, задерживает на мгновение, и мне кажется, вот-вот поднесет к губам. От Пискунова всего можно ожидать. Но он сдерживается. Начинает оправдываться:

— Попал к вам случайно. Вот встретил приятеля...

— Очень рада, — тускловато отзывается Зоя Петровна, а сама все смотрит на рослого, чернобрового Оболенцева. Вот с кого барельефы лепить! Свет через иллюминатор падает на красивую, точенную из черного стекла голову мичмана; блестящие, подчеркнуто-строго подстриженные и причесанные волосы придают ему некий благородный вид, будто перед вами не старшина водолазов, а крупный инженер, мыслитель. Даже забываешь, что на нем китель.

Заметив меня, мичман поднимается и говорит без всяких околичностей:

— Служба. Нужно идти.

Зоя Петровна явно огорчена. Наверное, с нашим приходом прервался любопытный разговор. Что они могли здесь выяснять? Может быть, толковали о ремонте винтов, а возможно, выясняли эстетическое отношение искусства к действительности?..

— Разрешаю остаться здесь, — обращается ко мне мичман. — Много любопытного в познавательном смысле.

Мне-то все понятно: не хочет, чтобы Зоя Петровна была наедине с Пискуновым. Алька хоть и невидный из себя парень, но заговорить может кого угодно. Стропгилоцентрогус интермеднус...

— Мы вас проводим, Артем Степанович, — говорят Зоя Петровна и бросает на мичмана лучистый взгляд. «Мы» — это значит она. Нам с Алькой лучше всего было бы понимающе отстать, в познавательных целях покрутить лебедки, выяснить у Светы Сухановой, сколько тонн планктона съедает кит в один присест. Сообразительная Света сразу же уходит к себе. А мы, посапывая, плетемся за Нечаевой и мичманом. Догадываюсь, как у этих двоих клокочет все внутри. Мичман небось думает, что я — недоразвитая личность, и что правильно сделали, засыпав меня па экзаменах в институт, и что Пискунов — нахал, каких свет не видывал. Я вижу только побагровевшую шею Оболенцева. Когда он сердится, шея принимает пурпурную

окраску. Тут есть нечто сходное с кальмаром. Кальмар в гневе тоже краснеет.

— А как определяют возраст рыб? — обращается Пискунов к Нечаевой. Но она увлечена разговором с мичманом и не слышит вопроса.

У трапа на спасатель Оболенцев отводит Альку в сторону и говорит:

— Возраст рыб определяется по кольцам на чешуе. Запомните это раз навсегда!..

Он берет под козырек и легко взбегаёт по трапу на борт корабля. Мы, оставшись втроем, поворачиваем обратно к «Артемиде».

— А я и не знал, что возраст рыб определяют по кольцам на чешуе, — произносит Алька. — Мичман так вразумительно мне это объяснил. Голова! Откуда только у человека берется?..

— Очень любопытный человек ваш мичман, — задумчиво говорит Зоя Петровна. — Эрудиция настоящего ученого... Расскажите о нем.

— Эрудиция ученого? Первый раз слышу. Ничего такого за ним никогда не замечалось. Вот команды подавать умеет, это точно. Как гаркнет: «Водолаз на трап! Надеть груза, закрепить пижний брас!» Мощный голос. Наш врач-физиолог Прядкин запрещает ему кричать во всю силу легких: водолазы оглохнуть могут. А у водолаза главное — ухо. Если в четырех шагах шепот не слышит — списывают.

— Я от него, например, узнала много интересного о наркотическом действии азота на организм. Оказывается, плазма крови по составу схожа с морской водой. Мы носим в себе частицу океана.

— Если хотите знать точно: пять литров. Всю эту эрудицию мы черпаем из инструкции по водолазному делу. Наш мичман знаменит не эрудицией, а боевыми делами. Раньше на Черном море служил. Теперь сверхсрочник. Перевели сюда. Он почти полгода, то есть четыре тысячи часов, провел в морских и речных глубинах. Не так давно пришлось поднимать со дна боевые снаряды и обезвреживать на грунте мины. Там водолазы нашли затопленный склад, оставленный фашистами при отступлении. На грунте мичман Оболенцев обнаружил совершенно случайно ящик. Оторвал крышку, а внутри две мины. Грунт был илистый, а обследовать пришлось около тысячи квад-

ратных метров дна. Работенка, прямо скажем, не из легких. Главное — взрыватели мин оказались из пластмассы. Как повсенькие. Чуть притронулся — и в клочья! Да и погой можно задеть. Мин — сотни... Оболенцев восемь часов сидел на грунте, орудовал медным шупом, раскапывал руками ил. А когда грузили те ящики на баржу, один развалился, и мины прямо мичману на голову...

Зоя Петровна бледнеет. Алька больно толкает меня в бок:

— Стоп дизеля! Не набивай цену своему мичману.

Несожиданно появляется матрос Шмаков с фотоаппаратом через плечо.

— Я вас ждал, ждал, товарищ старшина второй статьи! — кричит он мне. — Вы же обещали позировать. Приказ лейтенанта. Пока освещение хорошее...

— Ты бы щелкнул нас на фоне моря и «Артемиды», — просит Пискунов.

— А почему я на тебя должен тратить казенную пленку? — грубо отвечает Шмаков. Его не смущает даже присутствие девушки. Красота Зои Петровны не производит на него никакого впечатления. Художнику, разумеется, стоило бы иметь более тонкое восприятие. Я даже не могу одернуть матроса: ведь Пискунов первым обратился к нему на «ты». Да и неловко перед Нечаевой.

Алька шарит в карманах, вынимает два театральших билета.

— Московская труппа. Ажиотаж. Пьеса «На дне». Из жизни водолазов. Начало через три часа. Щелкай, пока я в добром настроении.

Шмаков недоверчиво щурится, но билеты берет.

Он щелкает затвором фотоаппарата, ставит нас в естественные позы, просит не шевелиться.

— Эх, тебе бы, Шмаков, только жмуриков фотографировать! — в сердцах произносит Пискунов. — Знаешь, кто такие жмурики?

— Кто?

— Покойники.

— Если бы не товарищ старшина второй статьи, не стал бы фотографировать, — зло отвечает Шмаков. — Пленка-то казенная...

Он уходит, и мы вздыхаем с облегчением. Неизвестно, почему Шмаков у меня всегда вызывает неприятное чувство. Казалось бы, уважительный матрос, в пререканиях

никогда не вступает, но в нем какое-то скрытое ехидство и уважение к старшим слишком подчеркнутое, деланное.

— Экземпляр, — цедит сквозь зубы Пискунов. — Приживальщик... Видел, как в рыбном институте фотографировал всех подряд, не жалел казенной пленки.

Я даю понять, что в присутствии гражданского лица не стоит обсуждать подобный вопрос. Алька умолкает. Зоя Петровна снова заводит разговор об Оболенцеве. Ей хочется знать о нем все, все...

Но тут появляется новое действующее лицо — судовой врач с «Артемиды» Эгмонт Филатович Рубако, высокий, стройный мужчина с мощной седеющей шевелюрой. У него зоркий, пропигательный взгляд и недобрая складка у рта. Он грациозно встряхивает своей шевелюрой и, не устывая нас вниманием, обращается к Нечаевой:

— Кузовок! Живо в город. Только что привезли билеты на московскую труппу. Машина отходит через полчаса.

Он уверенно берет Зою Петровну под руку и уводит, даже не кивнув нам.

— Делакруа. «Резня на острове Хиосе», — произносит Алька. — С этим делом — бептос! Почему он пазвал со Кузовок?

— Кузовок — коралловая рыбка. Ласкательно, значит. Нашего лейтенанта его Манечка называет гамбузией, а он ее в отместку — скумбрией. У моря почему-то возлюбленным дают рыбы клички. Тебе, например, очень подходит название — бычок.

— Ситуация... Нельзя ли отобрать билеты у вашего Шмакова?

— Эх, спохватился! Его давно и след простыл.

— Да, стратегический просчет. И все равно я устремляюсь. Прощай!

Алька бежит к автобусной остановке.

3

Остаюсь один. Прислушиваюсь к гулу волп, размышляю о Пискунове, о своей морской службе. Помню, Алька как-то спросил:

— Как угораздило тебя стать водолазом? Шел бы уж в саперы или минеры, так сказать, по старому профилю.

Вот угораздило. Мой приятель Родион Угрюмов мечтал когда-то попасть в водолазы. Может быть, его всег-

дашняя тяга в морские глубины передалась мне? А возможно, самому захотелось почувствовать это самое: побывал кое-где, испытал всего понемножку, а под воду спускаться не приходилось. Все тот же Угрюмов любил говорить: «Нужно понять интерес жизни. Тогда повсюду интересно будет жить». И я напробился в водолазную школу. Конечно, другие, что были со мной в воевкомате, просились в ракетчики, радиолокаторщики. Всем казалось страшным в наш век атомной энергии и освоения космоса мечтать о водолазной школе. Древнейшая профессия... Но я мечтал и добился своего. Это не только древняя, но и вечная профессия. На планете, где суша составляет ничтожную часть, а точнее, двадцать девять процентов, водолаз всегда будет в почете.

Я думаю об Альке. Как меняются люди!.. Там, на Баскунчаке, на соляных промыслах, Пискунова и за человека-то не считали: любитель выпить, мелкий спекулянт, рвач. Давно ли Алька из-под полы торговал бритвенными лезвиями и сигаретами с фильтром, строил планы легкого обогащения! А когда потянулся в комсомол, ему отказали. Недостойн. Здесь я встретил другого Пискунова. Дело даже не в том, что его приняли в комсомол. И не звание старшины 1-й статьи украшает моего приятеля. Дело в том, что он нашел интерес в жизни. Полюбил море и с тоской думает о разлуке с ним. А разлучаться придется. На Баскунчаке живет мать, которая ждет не дождется единственного сына.

— Не могу я отсюда уехать, не могу! — говорит иногда Алька. — Прикипел. Если бы старуха была сговорчивее, прикатила бы сюда. Но ей, видишь ли, не тот климат. Всю жизнь лечится, а куль картошки поднимает запросто — грузчики завидуют. Любит лечиться, страдать. Отними у нее страдания, и жизнь покажется невкусной. Что прикажешь делать с подобным эгоизмом? Она же из меня чуть спекулянта не сделала...

В его словах и горечь и раздражение. Он вырвался на волю, расправил крылья, стал уважаемым, нужным, жизнь обрела интерес и смысл. Неужели от всего этого отказаться ради капризов матери?

— Я, старче, мать люблю, но потакать ей больше не буду. Хватит быть рыцарем легкой наживы!

Прошлое... Люди приходят на флот, в армию не новорожденными младенцами. Прошлое имеет над ними иног-

да такую власть, о какой даже не подозревают начальники. Мы связаны тысячами нитей с десятками и сотнями людей из той прошлой жизни. Родион Угрюмов, любитель пофилософствовать, в одном из писем выразился так: «Представь себе двухмерный мир, где ползают двухмерные существа. Как они могут догадаться о том, что в природе существует еще и третье измерение? По-видимому, по отклонениям в своей геометрии. Третье измерение обязательно будет оказывать влияние на геометрию двухмерного мира. Наше прошлое — это такое измерение, которое во многом определяет геометрию будущего. Вот я хожу по Москве, учусь в институте и оцепиваю этот факт через призму всего того, что с нами было. И то, что наш приятель Роман Яшагин поступил в горный институт, кажется мне вполне закономерным. Помнишь, как мы прелеп в каменном карьере, а Ромка чуть не умер от малярии? Если бы с нами не случилось всех тех злоключений, о которых ты, надеюсь, не забыл, мы не любили бы так сильно жизнь, не ценили бы все те маленькие радости, которыми сейчас легко пользуемся...»

Да, после того, что было с нами тогда, нынешняя жизнь кажется праздником. Правда, ее можно назвать несколько мопотонной. Она размечена по минутам. Врач-физиолог Прядкин с назойливостью мухи следит за тем, чтобы мы строго соблюдали режим питания и отдыха, не курили, не пили много воды перед спусками на грунт. Погружение разрешает производить не ранее как через два часа после приема пищи. На мёрдпункте висит устрашающий плакат: «Спорт — сила, спирт — могила». Тут же картинка: спортсмен-трезвенник Давид легко кладет на обе лопатки рохлю и выпивоху Голлафа. А внизу — фото поллитровки «Столичной» со скрещенными костями под смеющимся черепом. У пиратов средневековья такая эмблема называлась «веселым Роджером». Водолаз должен обладать крепкой первой системой, уравновешенностью. Всякое отклонение от нормы — уже заболевание. Так оберегают будущих чемпионов мира легкой и тяжелой атлетики.

Одному на берегу делать нечего. Возвращаюсь на корабль. Мичман выстукивает на ксилофоне «Чижик-пыжик». Некоторое время молча наблюдаю за ним. Оболенцев хмурится, ничего не замечает. Он весь во власти своих дум. Вот она, твоя служба, моряк... Служил на Черном

море под сенью платанов и кипарисов, перевели на Дальний Восток. Захотелось с красивой девушкой перекинуться словом, скачи немедленно к лейтенанту. Ни днем ни ночью нет покоя. Всегда как сжатая пружина. Докладаю:

— Уехала с Эгмонтом смотреть «На дне».

Он поднимает глаза, пытается вникнуть в смысл моих слов. Произносит рассеянно:

— А... Рубако. Кстати, ученый с мировым именем. Светило медицины.

— Он, случайно, не дантист?

— Почему именно дантист?

— У меня зуб мудрости прорезается. Вы не знаете, что такое янки-хашш?

У мичмана округляются глаза.

— Янки-хашш? Толченая картошка с кусочками солонины. Откуда это вы нелепые вопросыки выкапываете? — Мичман не расспрашивает о Зое Петровне. Он только говорит: — Завтра конец ремонту на «Артемиде»... — А звучит примерно так: конец всему! — Займемся отработкой задачи. Кстати, кто такая Артемида?

По всей видимости, этот вопрос мичман не считает нелепым.

— Он — Артем, она — Артемида. Я так думаю.

Оболенцев сердито хмыкает:

— Скажет тоже! Артемида — богиня охоты, сестра Апполона.

То-то и оно. Видно, прав Тосунян. Любовь, она так закрутит, что всех родственников Апполона будешь знать наперечет...

На пороге показывается матрос Шмаков. Говорю:

— А я думал, вы в городе.

— Все так думали. Заместитель по политической части капитан-лейтенант Зырянов задержал у выхода из ворот, отобрал увольнительную. Металлическая фурнитура, говорит, не вычищена до блеска. Бескозырка — на затылке, форменка — с заглаженными складками. Кудри — под машинку! Разрешил оставить короткую прическу. Совсем, говорит, от рук отбился, Шмаков. Учтите, говорит, таблицы декомпрессии. А у меня при взгляде на них сразу паступает депрессия. Пришлось уступить билеты за полцены Тосуняну. Пусть развлекается со своей Люсей из рыбного института. Скажите, где после этого справед-

ливость? Как оформлять стенды — Шмаков! Отличников фотографировать — опять же Шмаков...

— А у вас есть девушка, Шмаков?

Он передергивает плечами.

— Нужны они мне! С ними канители не оберешься. В кино, театры... Ваш дружок вон тропу вытоптал вокруг цветочного ларька, укатал до блеска. Пока освещение есть, присаживайтесь — портрет писать буду.

Покорно усаживаюсь возле иллюминатора.

— Давай, Шмаков! Только не рисуй ящик от комода вместо головы...

4

Всегда удивляюсь человеческой проницательности. Врожденное качество или опыт? Таким качеством, несомненно, обладает матрос Тосунян. Пока я раздумывал да прикидывал, зачем мичман отправился к подшефным в выходной день, Тосунян сразу же догадался: сердечные дела! Теперь и мне все понятно. Нужно быть слепым, чтобы не заметить этого, взглянув на мичмана хоть раз. На лице прямо-таки написано: люблю весь мир, а Нечаеву в особенности. Ради нее готов всю жизнь питаться асцидиями и ламинариями. Богиня охоты, сестра Апполона... Как бы Оболенцев не пустился стишки писать! Старший водолаз-инструктор и вдруг — стишки... Например: «Бентос, бентос, где ты был? Я на грунте воду пил».

Проницательность Тосуняна заходит гораздо дальше обычных житейских дел. Он обладает поистине чудесным даром, наподобие барометра, предугадывать бурю. Все последние дни он почему-то усиленно занимался такелажным делом и зубрил декомпрессионные таблицы. Носит в кармане линек и даже в столовой и кино вяжет узлы. И вдруг узнаем: на борт корабля прибыл командир аварийно-спасательного отряда капитан 1 ранга Иванский! Тут и мы хватаемся за таблицы, начинаем вязать узлы, да только поздно: Иванский направляется к водолазной рубке. Ай да хитрец Тосунян! Быть буре, штормам и тайфунам!..

С болезненным интересом допытываюсь у Тосуняна:

— Как это вы догадались?

— Догадался? Не то слово. Интуиция. Я ведь теорию информации и вероятностей изучаю. Научное предвидение.

Иванский питает слабость к водолазам. Он и сам в прошлом водолаз. Пробыл под водой полтора года, поднял тысячи магнитных, акустических и других мин, под огнем противника спасал затонувшие подводные корабли и эсминцы, восстанавливал Днепрогэс. Иванский — Герой Советского Союза. Это высокий плечистый мужчина лет сорока пяти. Мы между собой зовем его Дедом. Седые волосы как взбитая пена, а брови черные, и глаза черные, блестящие. Все это в совокупности производит странное впечатление. Снимет Иванский фуражку — дед, даже морщины замечаются; надеет — молодеет на четверть века. Наверное, фуражка эта волшебная. Когда на капитана 1 ранга вешают груза, они на его могучей груди кажутся елочными игрушками. А под воду он до сих пор ходит с удовольствием. Да, Иванский питает слабость к нам. Но любовь его жестокая, беспощадная: он требует безукоризненности. Население корабля-спасателя большое: тут и электрики, и машинисты, и пожарники, и такелажники, и плотники. У нас есть ремонтная мастерская, большая электростанция, компрессорные установки, мощные водоотливные средства, дизельные установки. Все это обслуживается людьми. Но стоит Иванскому оказаться на борту спасателя, сразу идет не к кому иному, а к нам. А водолазам и лестно и боязно. Еще ни разу капитан 1 ранга не уходил с миром. Угодить ему трудно. Всё не так. Вот если бы мы жили, как на войне... А мы, оказывается, живем, как на курорте. Из этого видно, что у каждого свои идеалы.

— Полундра! Дед на полуюте! — говорит негромко Тосунян.

— Прекратить разговоры! Встать! Смирно!..

И пока лейтенант Панышев докладывает, мы стоим вытянувшись, затаив дыхание. Иванского сопровождают командир корабля, пачальник штаба, заместитель по политической части капитан-лейтенант Зырянов и другие лица. Все торжественно, по уставу. Новенькие погоны, нарукавные знаки, эмблемы на фуражках, орнамент на лакированных козырьках... Дед в добродушном настроении. Он здоровается за руку с лейтенантом и мичманом Оболенцевым. С мичманом они старые приятели — вместе служили на Черном море. Поговаривают, что Дед и «перетянул» Оболенцева сюда, хотя мичман страшно унылся.

Между ними происходит такой душевный разговор:

— Ну как, Артем Степанович?

— Все в порядке, товарищ капитан первого ранга.

— Ну, ну. С Черного письма получаешь?

— Так точно.

— Бурлака на пенсию вышел, не пишут?

— Тянет помаленьку. Решил весь срок выбрать.

— Пора бы ему на пчеловодство.

У них общие знакомые, общие воспоминания.

— Занимайтесь, занимайтесь, — говорит Иванский. —

Не буду мешать.

Он и в самом деле не мешает. Усаживается на бухту пенькового троса, внимательно слушает объяснения лейтенанта. Щекатое лицо Деда непропичаемо. Только в глубине суженных глаз дремлет что-то непонятное, озорное. Присутствие командира отряда несколько не смущает лейтенанта Панышева. Он объясняет все так же толково, вразумительно. А мы волнуемся, слушаем плохо. Всегда немного странно, что такой вот человек, как Иванский, находится среди нас, запросто разговаривает, многих знает по фамилиям, имени и отчеству. Об Иванском написаны брошюры. Какой-то местный скульптор хотел сделать бюст Иванского, но капитан 1 ранга, внимательно выслушав его, спросил:

— Куда вы думаете потом деть бюст?

— Подарить вашему командованию.

— Я и так намозолил всем глаза. Не будем тратить гипс и время.

— Так нужно же увековечить...

— Увековечить?.. Чуждое слово. Увековечить — изувечить...

Скульптор обиделся, и сеанс не состоялся.

Лейтенант хочет объявить перерыв. Но Иванский неожиданно спрашивает:

— Хорошо ли водолазы знают такелажное дело?

Мы улыбаемся: подумаешь, наука! Даже Панышев иронически кривит губы.

— Так точно, товарищ капитан первого ранга! — подчеркнуто браво отзывается он. — Разрешите распускать?

— Погоди, лейтенант. Вот вы, товарищ матрос, — он протягивает линек Шмакову, — завяжите брамшкотовый узел.

Шмаков в полной растерянности. Вязать узлы он не мастак. До сих пор не усвоил, чем отличается брамшкото-

вый узел от обыкновенной удавки. Шмаков пыхтит, наливается кровью. Нам жаль его. Ведь Шмаков — паша надежда и опора. Шмаков оформляет все степды, рисует, фотографирует, составляет альбомы. У него в трюме целая фотолаборатория. Его то и дело вызывают в базовый клуб на торжественные собрания. Всем нужно сделать снимки, альбомы. «Шмаков, оформляй боевой листок», «Шмаков, приведи в порядок Доску показателей», «Шмаков, не забыл ли отпечатать фотографию моей жены?». Шмаков посылает во флотскую газету фотографии отличников, прославляет нелегкую службу АСО. В редакции у него масса знакомых, и, может быть, потому к нам так часто наведываются корреспонденты. Шмаков, не жалея ни сил, ни времени, запечатлевает для истории наши дела, а мы терпимо относимся к его недостаткам. Когда Шмакову памекают, что у него не все в порядке с боевой подготовкой, матрос сердито хлопает бесцветными ресницами, кадык его ходит вверх-вниз.

— А я не тот самый, который Фигаро здесь, Фигаро там. В лабораторию никого не затащишь: от цветной пленки экзема может быть. Рвите меня на части! С удовольствием все брошу.

Разве культурно-массовые заслуги Шмакова не перекрывают его недостатки? На грунте обойдемся и без него.

Капитан 1 ранга задумчиво смотрит на вспотевшего матроса и обращается теперь уж к Тосуняну:

— Покажите товарищу.

— Эх ты, «горящая жирафа», — ворчит Тосуняп. — Ходовой конец нужно дважды пропустить под корешной. Подложи клевант.

Тосуняп с проворством фокусника вяжет и развязывает узлы.

— Оказывается, не все хорошо умеют вязать узлы, товарищ лейтенант, — ровным голосом произносит Иванский. Панышев сконфуженно молчит. Нам хочется крикнуть: так это же Шмаков! Что с него спрашивать? Вы проверьте других. Шмакова вообще трудно заманить на занятия: то начальство вызывает, то над Доской корпит, то срочное задание из штаба что-нибудь оформить...

После перерыва грузимся на водолазный бот. В море, подальше от дотошного Иванского! Но не тут-то было. Капитан 1 ранга первым прыгает в бот.

— А погодка-то, погодка! От солнца ослепнуть можно! — восхищается он. Море лежит в тяжелом покое. Белеет взгромодившийся на сопки город. Отсюда он кажется многоступенчатой сахарной пирамидой. Мы стоим посреди бухты. Задача простая: обследовать грунт. Передвигаясь кругами, найти засосанный илом однолапый мертвый якорь. Панышев намерен послать меня: пусть капитан 1 ранга посмотрит, как умеют работать водолазы! Но Иванский настороже.

— Пошлите Шмакова.

Матрос ни жив ни мертв. Тут в фотолабораторию не убежишь, не сошлешься на срочный приказ вышестоящего начальства.

— Одеть водолаза! — командует мичман Оболенцев.

Растягивая фланец, рывком надеваем на Шмакова водолазную рубашу, сигнальный конец. Сейчас все это напоминает обряд одевания покойника. Может быть, потому Тосунян, пододвигая Шмакову двадцатикилограммовые калоши со свинцовой подошвой, говорит:

— Ножку! Надевай картонные тапочки...

— В случае чего, — шепчет Шмаков мне, — те фотографии для вашего дружка в правом ящике стола.

— Ладно. Найду, не беспокойся. Что в куроводческий совхоз написать-то?

— Любил море с берега. Кончил, как Верещагин.

Когда Шмаков спускается по трапу на четыре ступеньки, подвешиваем на грудь и спину свинцовые грузы, напоминающие по форме червонное сердце. Завернуты гайки. Качальщики стараются у помпы. Закрыт иллюминатор. Мичман легонько стучает ладонью по тускло поблескивающему плему из красной меди: «Пошел!»

Шмаков скрывается под водой. Теперь он связан с белым светом только резиновым плангом и сигнальным концом. Перебирая руками спусковой конец, все дальше и дальше уходит наш товарищ на глубину. Там его поджидают самые невероятные опасности. Сможет ли Шмаков удержать нужный объем воздуха в скафандре? Если он при спуске слишком вытравит воздух из рубашки, произойдет обжатие — шлем сразу же превратится в «крово-сосную банку». Происходит переполнение полостей сердца кровью, выжатой из нижних конечностей. Двигаться по грунту тоже большое искусство. Это только так кажется: спустился и разгуливай себе на здоровье. Опять же нуж-

но регулировать плавучесть, ходить боком в полусогнутом положении. Без тренировки накувыркаешься.

Наконец-то Шмаков на дне. Чувствует себя хорошо. Облегченно вздыхаем. Капитан 1 ранга хранит полное безразличие. Я представляю, как водолаз ищет якорь, кружит возле спускового конца.

— Куда вы смотрите?! — кричит лейтенант стоящему на сигнале Тосуняну. — Опять та же история. Запутал концы...

Так и есть. Там, на грунте, Шмаков закружился, запутал сигнальный конец за спусковой и теперь трепыхается, как муха в паутине: поднял со дна ил — вокруг ничего не видно.

На выручку посылают меня. Когда мы оба уже стоим на палубе, Иванский говорит:

— Группа не готова к выполнению ответственного задания. Любителям искусств следует запомнить: искусствам принадлежит личное время. Время, отпущенное на боевую подготовку, принадлежит боевой подготовке.

И больше никаких нотаций.

Тут же заместитель по политической части капитан-лейтенант Зырянов освобождает Шмакова от всех нагрузок, а фотолабораторию передает матросу Тосуняну.

Лейтенант Панышев даже не пытается доказывать, что группа готова к выполнению любого задания. Шмаков, мол, исключение. «А почему это вы вдруг обзавелись исключением?» — спросит капитан 1 ранга. Каждый должен в совершенстве знать свою специальность. И нет тебе никаких скидок — будь ты спортсменом, баянистом или фотографом.

Но не за тем же в конце концов прибыл к нам командир аварийно-спасательного отряда, чтобы уличить одиночного матроса в несостоятельности! Иванский-то знает, что не все такие, как Шмаков. Может быть, Шмакова выбрал даже умышленно.

— Всем пужно подтянуться, — говорит капитан 1 ранга на прощание. — Будем осваивать работу на больших глубинах. Трешируйтесь...

Тут и призадумасься. Загадки и тайны. Ответственное задание...

Тру лобную кость, обращаюсь к Тосуняну:

— Погадайте на своей кофейно-кибернетической гуще:

на какое ответственное задание намекал капитан первого ранга?

Тосунян тоже трет лоб, глядит на меня младенчески ясными глазами.

— А тут и гадать нечего. Будем поднимать затопившее судно. Если хотите точнее: транспорт водоизмещением свыше пяти тысяч тонн. Пошел на дно несколько лет назад во время тайфуна «Эльза» в районе острова Чичамар. Глубины: сорок — семьдесят метров.

Точнее не скажешь!

5

Жизнь состоит из событий больших и маленьких. У каждого свой масштаб измерения, если рассуждаешь о собственной персоне. Есть, конечно, события мирового значения. Они могут даже определять весь ход истории человечества. Потом все мельчится до бесконечности, и вот остается человек со своими маленькими радостями и невзгодами.

Я сегодня получил благодарность от командира аварийно-спасательного отряда капитана 1 ранга Иванского. На общем фоне всяких дел событие, может быть, не ахти какое выдающееся. Но все знают, что на благодарности Иванский скуп. И вдруг такое сваливается на меня. От самого! Лейтенант Панышев даже потирает руки от удовольствия. Честь группы водолазов спасена, и, как ни верти, мы готовы к выполнению специального задания. Ребята повеселели, поздравляют. Дед хоть и суров, по справедлив. Получить благодарность от Героя Советского Союза... И за что? За то, что вытащил из воды немощного Шмакова, распутал концы. Во время войны на такой «подвиг» и внимания никто не обратил бы. Но, как говорит великий кибернетик Тосунян, у всякой игры свои законы. Чувствую, будто шире стал в плечах и на лице, наверное, написано самодовольство: знай наших!

Однако вечером настроение портится. Захожу в кубрик и становлюсь свидетелем любопытного разговора.

— Ты зря сердишься, — говорит Тосунян Шмакову. — Приказали — что будешь делать?

— Был бы хорошим другом, сказал бы, что ничего не смыслишь в фотоделе.

— Все знают, что смыслю. Как можно врать?

— То-то же. Слабый характер. Чего мне на тебя сердиться? Не тебя, так другого назначили бы. Лучше уж ты. Друг все-таки. Недаром я накануне видал во сне здоровенную свинью. Моим вылазкам в город — крышка! Сам виноват — рано скинул со счета боевую подготовку. Ты думаешь, я на капитан-лейтенанта обижен? Нисколько. Каждый делает свое дело.

— Хочешь, я тебе буду помогать по таксалажному и по другим? — предлагает Тосунян.

Шмаков бросает на приятеля дикий взгляд, хохочет.

— Зачем?

— Как зачем? Стапешь классным специалистом. Профессию получишь. Например, доставать со дна рек мины, как мичман Оболенцев.

— Век мечтал. Вроде умный парень, а говоришь ерунду. Я, друг, — стальной понтон. Продержусь как-нибудь три года на плаву, а потом — приветик! Подамся в фотоателье или в рекламу. Идешь ты, предположим, по Москве, а на стене метровыми буквами:

Ешь молоко,
Пей молоко,
Будешь бегать далеко,
Будешь прыгать высоко.

Знай: моя работа!

— Неужели тебе в самом деле все это нравится? Вот у нас был Арутюнян художник! Настоящий. Нарисует ишака — как живой. И людей хорошо рисовал. А у тебя все портреты кривобокие. Почему лицо рисуешь вытянутое, как дыня? Некрасиво.

— Раньше художники специально вытягивали лица на портрете. Считалось: благородные черты. А как вас, отличников, облагородить, если у каждого ряшка с колесо? Я у тебя, Ашот, одно прошу: позволь иногда заходить в лабораторию. Скучно мне будет без любимого занятия.

— Только обрадуешь. Приходи. Помогать будешь.

Матросы замечают меня и обрывают разговор. Но я вовсе не намерен оставаться случайным свидетелем.

— Неправильно рассуждаете, — говорю Шмакову. — Понтоном быть легче всего. Понтоп, он держится на плаву благодаря воздуху. А выпусти из него воздух, на дно пойдет.

У Шмакова на лице появляется страдальчески-нахальное выражение:

— Я всего лишь матрос. Устав знаю. Но раз вы вмешались в наш пустой разговор, вызванный тем, что меня все-таки обидели, могу ответить. Кто меня сделал «поп-тоном»? Такие вот, как вы, товарищ старшина второй статьи. «Шмаков, фотографируй деток, бабушек, жен, компанию...» Что же вы меня не одернули, когда я трагил казенную пленку на вас и вашего приятеля с дамой? Мне за это даже взятку дали: билетик в театр. А я их отдал другому, потому что не пуждаюсь в подачках. Меня билетиками не купишь. Я из уважения к старшим. Вы, должно быть, думаете, что, распутав концы на грунте, спасли мне жизнь и я вам благодарен? А я не благодарен. Сам как-нибудь распутал бы. Конечно, вы действовали по приказу. Поощрение получили. А Шмакова, как разгильдяя, на камбуз. Потом в газете появится заметка: «Умелые действия отличника боевой и политической подготовки старшины второй статьи такого-то». Подводники встретят, спросят: «Ты все еще жив, Шмаков? А мы думали, тебя утопил старшина второй статьи».

Мне остается прикусить язык и выйти из кубрика. Я зол и на себя и на Шмакова. Оказывается, он не так прост, как думалось вначале. Мушкель от полумушкеля отличить не может, а голыми руками его не возьмешь. Потихоньку всех опутал своими услугами. И зачем только Пискунову потребовалось фотографироваться на фоне «Артемиды»! Мелочь. Материалов истрачено на копейку, но такому, как Шмаков, только дай повод для разговоров.

Так и получается: мне — благодарность, а Шмакова — картошку чистить. Я-то вроде и ни при чем — приказ, а у матроса целая трагедия. Кто сделал Шмакова «дутой величиной», «поп-тоном»? Один раз попросили сфотографировать в воскресенье семьи офицеров, а он целый год кричит, что по пикникам затаскали. Вот и сейчас я позволил ему, можно сказать, похлопать себя по плечу.

В итоге — впечатление такое, словно и не получил я благодарности. Смотрю на звезды и на воображаемые алые паруса, а вижу нахальную блестящую физиономию Шмакова.

Мы досрочно выполнили шефские обязательства: «Артемиды» завтра снимается с якоря. Нас приглашают на прощальный вечер. Прямо на сходнях встречаюсь со Светой Сухановой. Короткое платье из тафты переливается, как горло сизаря. Каждая ресничка покрашена, торчит сама по себе — зубья гребешка! Прическа а ля Нисфертти, с начесом — этаккий медно-красный купол. На губах слой фиолетовой помады. Острыми носами туфель можно было бы, как железной свайкой, вязать сваечные узлы.

— Товарищ водолаз! — шумно приветствует она меня. — Куда же вы запропастились? Рада до смерти. Новость: осенью отправляемся в южные моря. Пальмы, бананы, орангутанги. Привезу вам с Калимантана маленького носорога. На память, чтобы не забывали. Вырастет — будет большим носорогом. Пригодится в домашнем хозяйстве. Вы только подумайте: Ява, Суматра, Новая Гвинея! Роскошь... Выйду замуж за папуаса, раз свои парни не хотят глядеть.

Намек не из прозрачных!

Она припадает благоуханной щечкой к моему плечу, прямо-таки виснет на правой руке, тащит в самое большое помещение «Артемиды» — столовую. Здесь празднично. Мичман Оболенцев при параде. Галстук, рубашка холодной белизны, при каждом повороте скрипит, как кочан капусты. С него сейчас можно рисовать плакат: «Правила ношения флотской формы одежды». Он в возбужденном состоянии, настроен дурашливо. Заметив меня и Свету, громко говорит:

— Смотрите, старшина, как бы не отбила у вашей Татьяны!

Сразу видно, что мичман в заговоре со Светой: хотят вогнать меня в краску. И этот плоский примитив выдается за флотские шуточки! А Света заглядывает мне в глаза, виснет и виснет на рукаве, перемигивается с Оболенцевым. Он поощряет. Выведи, мол, этого бесчувственного истукана из равновесия! Они почти в открытую потешаются надо мной. А я от смущения обливаюсь потом, не знаю, в какой темный угол запрятать свое громоздкое тело.

— Товарищ водолаз! — почти кричит Света. — Вы меня только не забывайте. Ждите первое письмо с островов Фиджи.

На нас начинают обращать внимание, посмеиваются. Мичману того только и нужно. Доволен.

Среди гостей замечаю Альку Пискунова. Даже не задумываюсь, почему он здесь. Вот якорь спасения! Почти стряхиваю цепкие руки Светы. Бросаюсь к Пискупову. Но он занят. Сидит на диване и оживленно разговаривает не с кем-нибудь, а с самим капитаном «Артемиды» Геннадием Александровичем Золотовым. Капитан щурит от яркого электрического света глаза и говорит:

— На том и порешим. Вы сами не подозреваете, как порадовали меня. Со своей стороны обязуюсь создать условия. Зоя Петровна говорила о вас. Лучшую кандидатуру трудно подыскать.

Не верю собственным ушам. Когда Алька поднимается с дивана, ловлю за руку.

— О чем толковал с капитаном?

У него небрежно-рассеянный вид.

— Так, житейские дела. Сватал. А я сказал, что нужно все взвесить.

— За Нечаеву? И она не против?

— Само собой. Если я не подхожу, то кто же еще подходит? Подводник все-таки, классный специалист.

— А Оболенцев?

— Побоку.

— Не может быть! Чтобы Зоя Петровна так легко...

— Чужая душа потемки. Вот фотографию подарила.

Дрожащей рукой беру карточку. Фотография групповая: Зоя Петровна и Света Суханова держат на руках здорового осьминога. У осьминога глупые козьи глаза. Девушки улыбаются. Вот так бентос!

— Гуд бай, бабай! — небрежно бросает Алька. — Мне до начала нужно объясниться с Зоей Петровной, уточнить кое-что в смысле сроков.

И он усаживается на приготовленный стул рядом с Нечаевой, что-то шепчет ей на ухо, она согласно кивает головой. Они шушукуются до тех пор, пока Зою Петровну не приглашают в президиум.

В президиуме — капитан «Артемиды» Золотов, капитан 1 ранга Иванский, капитан-лейтенант Зырянов, мичман Оболенцев. Золотов благодарит нас за все. Секретарь комсомольской организации океанографического судна Зоя Петровна Нечаева говорит взволнованно:

— Наши друзья водолазы — люди особого мужества.

Мы видели их в деле, успели полюбить всех. — У Зои Петровны глаза, как стаканы — прозрачные. Она говорит, а сама смотрит на мичмана Оболенцева. — Среди наших друзей есть такие, чьи подвиги не могут не вызвать восхищения. Я хочу рассказать об одном из подлинных героев... — Мы-то смекаем: речь об Иванском! Но не тут-то было. — Этот товарищ почти полгода, то есть четыре тысячи часов, провел в морских и речных глубинах. Ему приходилось с риском для жизни поднимать со дна боевые снаряды и обезвреживать на грунте мины. Он за свои боевые дела удостоен высокой правительственной награды. Это и есть героические будни, пример для всех нас...

Все догадываются, о ком речь: на тужурке мичмана горит орден Красной Звезды. Комментарий, как говорится, излишни. Мичман багровеет на глазах у публики, бросает на меня яростный взгляд: понял, кто рассказал обо всем Зое Петровне! Я ухмыляюсь, ободряюще помахиваю ему ручкой. Аплодируют долго и горячо. Оболенцев вынужден подняться. Стоит насупившись. Уши словно красные ходовые огни. Его душит бессильный гнев.

После торжественной части сразу же самодеятельность. В бумажных скафандрах исполняем комический «Танец маленьких водолазов». Мичман прямо-таки наступит на меня, шипит:

— Кто вас уполномочивал болтать обо мне всякую чепуху?! Я это так не оставляю...

Не нравится. А изводить меня по уговору со Светой Сушаповой нравится. Уполномочивал... Оболенцева не раз видели с Нечаевой. Они даже поднимались на сопку и любовались оттуда морем. Теперь любой вправе спросить: а не сам ли ты нахвастал девушке о былых подвигах? Положение щекотливое. И получается, что оказал я своему командиру медвежью услугу.

Сквозь бумажное забрало слежу за Пискуновым. Они с Нечаевой опять шушукуются. Врач Эгмонт сидит за пианино и не может им помешать. Он только косит глазом, встряхивает седой гривой и вливается пальцами в клавиши.

...Утром «Артемиды» снимается с якоря. Снимается рано, когда мы еще спим. И вот она ушла, скрылась за чертой горизонта.

О том, что было в тот ранний час, узнаём от боцмана. Оказывается, не все спали. Бодрствовал мичман Оболен-

цев. Бодрствовал Пискунов. Они пришли к «Артемиде» и даже помогали убирать сходни. Потом вдвоем молча ходили по берегу и глядели вдаль. Глядели до тех пор, пока судно не растаяло в сизой дымке. Пискунов будто бы с грустью произнес:

— Уплыла большая рыба. Остались старики и море.

Затем выпросили две сигареты у проходившего в ту пору боцмана и закурили, хотя оба некурящие. Так общая беда объединяет людей с самыми различными взглядами. Говорят, будто бы Алька отдал мичману фотографию не ту, с осьминогом, а другую, где мы сняты вместе с Зоей Петровной на фоне «Артемиды». И теперь мичман вынужден созерцать мою физиономию не только при исполнении служебных обязанностей, но и в интимные минуты — оставшись один на один с фотографией. Представляю, сколько еще счастливых мгновений доставит ему это фото!..

Прощай, озорная, симпатичная Света Суханова! По меткому выражению Альки Пискунова, милые сотрудницы «Артемиды» увезли с собой бим-тралы и оттер-тралы — те самые сети, которыми некая мифическая Клеопатра в свое время изловила Антония. А Пискунов обзавелся трубкой и табаком «Золотое руно». Иногда по вечерам они встречаются у пирса с Оболенцевым и по очереди молча сосут эту трубку, как американские индейцы.

7

У моря свои секреты, свой язык. Сперва я часто думал: откуда берутся волны? Оказывается, волна волне рознь. Есть приливные. Тут астрономические причины. Цунами появляются во время землетрясений. Мне это представляется так: на дне пухнет гигантский шарыв. Лопается. От боли сотрясается весь океан. Рассказывают, несколько лет назад цунами навалились на Северо-Курильск и причинили городу ущерб. Будто бы высота их достигает пятидесяти метров. А кто ухитрился измерить — неизвестно. Главные хозяева в океане — ветровые волны. Они живут и работают по девятибалльной системе. Когда говорят о шторме, урагане, то имеют в виду прежде всего силу ветра. Ветер может быть и двенадцатибалльным, а степень волнения воды — не выше девяти. Так вот, когда наступает это самое волнение, на берег

выбрасывает много любопытного: деревянные обломки, раковины, буро-зеленые водоросли. Местные жители знают толк в таких вещах: засучив штаны, ходят в пустынном конце бухты, сгребают морскую капусту, сушат под навесами. Что получше — себе, похуже — скоту на корм, на удобрения. Однажды я подобрал хорошо отполированный деревянный брус. В нем было больше отверстий, чем древесины. Будто искусный мастер вытачивал замысловатое ажурное кружево.

Показал мичману. Он поморщился:

— Работа древоточца. По-научному — тередо. Заведется такая гадость, судно может в решето превратить.

— И ничего поделаться нельзя?

— Почему же?.. Химикаты всякие, защитные краски. Личинка древоточца боится солнца, воздуха и чистой воды.

Брусок я положил на камень. И теперь, когда прохожу мимо, вспоминается разговор с мичманом. Мне чудится сказочный корабль с алыми парусами. Никто из экипажа не догадывается, что внутри деревянного корпуса завелся древоточец, не приметный для глаза прозрачный червь. Из года в год ведет он свою разрушительную работу, пропуская сквозь себя тонны перемолотой древесины. Ему лишь бы точить, насыщать свой чудовищный аппетит. Не пужны ни солнце, ни воздух. Да и зачем они червю-индивидуалисту, размножающемуся бесполом путем?

Подобные формы жизни всегда приводят в удивление. А ведь они не так уж редко встречаются. Есть еще злые домоседы креветки-типтоны. Они не переносят вида себе подобных, сразу бросаются в драку, ломают клешни, калечат друг друга. Домоседами их зовут не зря. Молодой рачок-креветка поселяется внутри губки и живет тут на даровых хлебах, жиреет. Раздобревшему рачку уже не выбраться наружу: выходные отверстия капалов становятся узки; так и коротает он свой век в полной темноте, изолированный от всего мира. Жевать ведь можно и без дневного света! Иногда просто отказываешься понимать природу: есть ли в таких формах жизни хоть какой-то смысл? Скорее всего, нет.

Все последние дни мы живем одной мечтой: закончить тренировки и выйти в море к острову Чичамар, где затонул транспорт. Каждый понимает: дело нелегкое, громоздкое. На больших глубинах все может случиться.

Там не сошлешься на «объективные» причины. Придется под корпусом транспорта промывать топнели, заводить подъемные стропы, прикреплять стальные поптопы. Наши командиры уже сейчас не дают нам передышки. Тренируемся. Отрабатываем задачу. Все в боевой готовности. Тревогу могут объявить и сегодня и завтра. В город изредка отлучается только Тосунян — за почтой.

И в самый разгар тренировок мичман Оболенцев говорит мне:

— Вечером заседание бюро!

— План утверждать?

— Чепе. Тосунян со Шмаковым подрался. Будем разбирать.

Смысл слов Оболенцева не сразу доходит до сознания. Подрался? Зачем? Случай из ряда вон выходящий. Подрались закадычные друзья... Такого еще не бывало. На обоих не похоже. Скромные ребята, общественники. Чего не поделили? Якобы Тосунян вернулся из города в возбужденном состоянии, спустился в фотолабораторию и двинул локтем Шмакова в бок. Тот заорал благим матом, сбежались матросы. Отправили Тосуняна к врачу. Прядки «алкогольного отравления» не установил. Уходя из медпункта, Тосунян показал кукиш черепу со скрещенными костями. Может ли вести себя подобным образом здоровый человек?

Мы озадачены, смущены.

И вот они стоят перед нами, виновники чрезвычайного происшествия. Тосунян вращает огромными белками, облизывает воспаленные красные губы. Между растрепанными бровями злая складка, так не идущая к его круглому добродушному лицу. Смотрю на его сильные руки со сбитыми почерневшими ногтями, и делается неприятно. Такой двинет локтем, человек послабее Шмакова не сразу придет в себя. Я знаю, Шмаков ни при каких обстоятельствах драться или даже обороняться не станет — не таков характер. На его лице написано недоумение, кадык червно ходит вверх-вниз. Требуем, чтобы рассказали, как все случилось. Шмаков молчит. Тосунян упирается. Просто повздорили из-за взглядов на фотоискусство. Он, Тосунян, совершенно случайно задел локтем Шмакова, а тот взвыл.

— Если взгляды на фотоискусство расходятся, значит, нужно поднадавать товарищу в бок, чтобы он сразу поте-

рял дар речи? — язвит Оболенцев. — Изложите, в таком случае, ваши взгляды.

Но Тосунян, этот «кибернетический ум», явно не настроен пускаться в теоретические рассуждения. Он сопит и крутит головой.

— Кого вы пытаетесь обмануть, Тосунян? — говорю я. — Вас считают активистом, общественником. Классный специалист... Кладете пятно на весь коллектив. Ударили друга. Не совестно?..

— Он мне — друг? — взвизгивает Тосунян. На глазах проступают слезы. — Рубль ему друг, а не я.

— Не нуждаюсь в твоей дружбе, хулиган, — цедит сквозь зубы Шмаков.

— Я — хулиган? А ты, в таком случае, ворюга. Вот кто ты.

— Без оскорблений! — вмешивается Оболенцев. — Кто вам разрешил устраивать перебранку?! Извольте обращаться друг к другу на «вы». Попрошу, товарищ Тосунян, без иносказаний.

— Можно и без, — неожиданно успокаивается Тосунян. — Ударил печально: хотел встряхнуть из его карманов ворованные фотоматериалы, а он уперся. Замечал и раньше, что тащит, стеснялся сказать. Ведь он привык распоряжаться казенным добром как своим собственным.

Шмаков оживает:

— Мелочность — вот что это такое. Я фотолабораторию своими руками создал, а он пришел на готовенькое. Бесплатно никогда ничего не брал. Из-за катушки пленки дружбу растоптать, оплевать человека...

Мной овладевает злость. Поругались из-за какой-то паршивой катушки пленки, а тут сиди, копайся в мелочах, трать драгоценное время... Тосунян хорош, ничего не скажешь. Я-то воображал, что он парень с размахом! Другие члены бюро не показывают никакого раздражения. Они терпеливее меня. Для них мелочей не существует. Оба виновника должны быть наказаны, но не так-то легко определить меру наказания. Наказание даже не главное. Примирить, уладить мелочный инцидент, чтобы оба потом посмеялись над своей горячностью. Обоим «на вид» — и дело с концом, решаю я.

Однако Тосунян разошелся, и его теперь не так-то просто остановить.

— Создал фотолaborаторию! — произносит он с недобрыми нотками в голосе. — А для чего? Отличников фотографировать, стенды оформлять? Как бы не так! Нужны ему стенды!

Шмаков пожимает плечами. У него вид оскорбленной добродетели: на человека, мол, можно наговорить все что угодно.

— Что вы хотите сказать своими намеками, Тосунян? — спрашивает Оболенцев. — Следите за словами.

— Я слежу. Теперь слежу. А вчера совсем голову потерял. Шел, на людей натыкался. Зубами скрипел, кулаки сжимал. Говорил себе: какой ты глупый человек, Тосунян. Не человек, а счетно-решающее устройство, темный ящик с отверстиями.

— Нельзя ли покороче, без посыпания головы пеплом?

— Можно и без посыпания. Захожу вчера в институт рыбоведения, встречаю свою знакомую Люсю. Ты, говорит, Тосунян, больше ко мне не приходи, от подруг стыдно. Почему, спрашиваю, стыдно? Разве с моряками встречаться стыдно? С моряками, говорит, не стыдно, а с тобой и твоим дружкой Шмаковым стыдно. Одного, видать, поля ягоды: тоже фотоаппарат с собой носишь. А что ж тут плохого? — удивляюсь. А то плохое, отвечает, что мы вас за настоящих парней считали, а вы... Шмаков всех фотографировал, карточки на глянцевой бумаге отпечатал. По три экземпляра. Думали, по дружбе. А он цену заломил, как в фотоателье. Даже за «Горящую жирафу» наличными потребовал. Откуда у студентов деньги? Отказались платить. Тогда он фото и свою мазню порвал на глазах у всех и выбросил в урну. Решили, дурачиться. Потом узнали, по всем институтам промышляет, даже школьников не обошел. Два раза был на свадьбах, все шелкал, один раз на похоронах. Уходи, говорит, Тосунян. Нашей дружбе конец... В газету писать будут... От позора умереть хочется. На меня тень бросил...

Мы в оцепенении. Только Шмаков невозмутим. Кадык торчит вызывающе, на губах брезгливое выражение.

— Это правда, Шмаков? — тихо спрашивает мичман.

— Поклеп. По злобе она. Не захотел с ней дружить, а Тосунян ей не нравится. Никаких денег не требовал.

— А в других учебных заведениях? А свадьба, похороны? Мы все проверим. Зачем вам деньги?

В узких глазах Шмакова появляется хитринка.

— Можно подумать, что вы, товарищ мичман, остались на сверхсрочную из-за любви к морю... — произносит он игриво.

Самопишущая ручка в кулаке Оболенцева с хрустом разламывается. Все же он овладевает собой, говорит ровно:

— Очень сожалею, что так и не сумел привить вам любовь к морю, к воипской службе. Отвечайте на прямой вопрос!

— Мало ли для чего пужны деньги! — почти выкрикивает Шмаков. — Может быть, я после демобилизации жениться собираюсь. Казенные материалы не расходовал, все на свои. Кому какое дело? Я над рыбным институтом шефства не брал, чтобы за так на них работать. Нашли простака...

После заседания голова точно ватой набита. Вместо того чтобы мысленно уноситься к лазурным лагунам и качающимся пальмам, с тупой настойчивостью ищущ разгадки поведения Шмакова. Ослабили контроль, злоупотреблял доверием командиров, плохо присматривались, никто всерьез не интересовался, а чем он занимается в городе... Да так ли это? Все было: и контроль, и собеседования. Просто никому в голову не могло прийти, что и на флот может явиться человек с задатками лавочника. На первых порах Шмаков вел себя очень осмотрительно. А когда отстранили от фотолаборатории, решил: все равно печего терять! Мне рисуется облик не тихого, обходительного матроса, каким привыкли видеть Шмакова, а твердого как сталь, хитрого себялюбца. Он-то сразу понял, как с нами обходиться. Поощряем общественников, создаем условия, списходительно относимся к недостаткам — загружен человек, рисует, оформляет. И тут, как разгадка всего, приходит слово: «клетушка»! «Клетушку» можно найти всюду, даже в армии, на флоте. А если нет такой, ее нужно создать. Вот что уяснил Шмаков. И создал по собственному почину фотолабораторию. Обрадовались: пусть умелец обучает фотоделу любителей — под водой пригодится! Но Шмакову нужна была не фотолаборатория, а «клетушка». Он с таким же успехом мог бы напроститься в кладовщики, в писаря — лишь бы не быть под беспрестанным надзором командиров и коллектива. Мы боимся, что нас определяют в коки, писаря или кладовщики, а Шмаков не боится. Он даже из этих безобид-

ных специальностей сумеет извлечь для себя пользу. Наш кок Хапданов не может извлечь, а Шмаков сможет. Наш кладовщик Забелин просится на грунт, а Шмаков не стал бы проситься. Он сидел бы и жирел, как та креветка-типтон. Должно быть, у Шмакова глаз устроен по-особому: в непосильном он видит только непосильное...

Я рассуждаю о Шмакове, а сам вижу каменный карьер, сверкающие ножи бульдозеров. Огромные пространства вокруг залиты водой. Дорога, единственная непрочная ниточка, связывающая нас с внешним миром, исчезла. Продукты на исходе. На скорую выручку рассчитывать нечего — придется ждать, пока спадет вода. Наш начальник Николай Митрофанович Овсягин озабочен. Клубятся туманы. Кукует в чаще незнакомая птица, будто бьет клювом по медному тазу. Душат пропитанные ядовитыми испарениями непролазные дебри. У Ромки Яшагина бред, температура сорок. Малярия... Это уже четвертый случай. Трясет Зейнала и еще двух скреперистов. Родион Угрюмов обвис наподобие старого плаща на вешалке. Меня поражает выдержка людей. Никто не ноет, не требует еды. Медицинская сестра Иренг даже напевает, улыбается. Щеки запали, пожелтели, лицо кажется лишенным подбородка. Только лихорадочно сияют глаза. Мы решаемся на отчаянный шаг: сооружаем плот и пускаемся в опасное плавание — нужно раздобыть товарищам еду. Отталкиваемся шестами, и сразу же нас подхватывает лениво-могучее течение. А в ушах все еще звучат слова Овсягина: «О рабочей чести, поди, слышал?..»

И я начинаю еще лучше понимать Шмакова. Работал в сельпо. И сняли не за то, что свинья съела печать, а за то, что превратил сельпо в «клетушку», в «кормушку». Да и в совхозах, видать, не особенно утруждал себя: пока другие гнули спину, зашибал гривенники, искал, где полегче. А биографию рассказывает: «Мы в ископно-по-скопном» — не придерешься.

Вспоминаю волосатые руки Тосуняна с обломанными, почерневшими от ударов мушкетом ногтями, и эти руки кажутся мне добрыми, честными.

Присхала Таня. Даже не предупредила телеграммой. Села и приехала. Целует при всех. Ей-то ни до кого нет

дела. Существую только я, существуем только мы двое с нашим прошлым и настоящим.

— Рассчитала, чтобы прибыть в воскресенье: не хочу отрывать тебя от службы, ночью уеду обратно...

И конечно же, как всегда, привезла с собой баклаги, кульки, корзинки. Яблочки, сметанка, маслице, сальце и даже байкальский омуль.

— Это тебе кулек кедровых орехов от Аптипа, а шоколад от Чупровых. Столкнулась с ними в Чите, по какому-то рудническому делу приезжали. Приветов тебе — тьматьмущая!

Смотрю на горшочки с маслом, на корзинки.

— Ну, Татьяна, хоть бы развивала в себе чувство юмора. Куда я все эти баклаги дену? Корабль ведь...

— У тебя товарищей много, пайдут, куда деть. — И она кричит Тосуняну: — Эй, морячок! Пристрой имущество.

Тосунян бросает на меня лукаво-понимающий взгляд, молча забирает корзинки, горшки, кульки.

— Таня всех угощает, — говорю я.

— И то правда.

Вот такая она и есть. Смотрят с озорством синевато-фиолетовые глаза, качаются в ушах большие круглые серьги. Волосы черные, лицо темное от загара. Только сверкают зубы. Высокая, статная. За год похорошела до неузнаваемости.

— Ты стала похожа на цыганку.

— Какая уж там цыганка! Жарились два месяца на солнце в Ингодинском совхозе. Практика, называется. Вместо рабочих были.

По крутой каменистой тропе поднимаемся на сопку. Сверкающее море стоит дыбом. Кажется, что его край поднялся вровень с нами. От ветра захватывает дух. Я не раз до этого поднимался сюда один и всегда замирал на месте, любясь видом. Наша бухта, наверное, самая красивая на всем побережье. Особенно если смотришь с высоты. На розовато-белых скалах гнезятся птицы. Их не беспокоит соседство людей. Кайры, топорки и чайки иногда поднимаются с карнизов и заслоняют небо. Если при взгляде на медленно парящего орла всегда представляешь пыльную степь, то стремительный полет всех этих птиц словно исходит от вечно переменчивого моря.

Беру Таню за руку. Мне хочется, чтобы и она поплясала красоту моря, полюбила его.

— Нравится?

— Нет, не нравится. Большое очень, другого берега не видно. Страшно становится. Как подумаю, что ты туда, на дно, спускаешься, сердце замирает. Глупости говорю, да?

— Почти что.

— Тасей помнишь? Там вода как на блюдечке. А в куге гуси гогочут. Так и не удалось побывать в этом году... Девчата пишут из колхоза. Еще два трактора им дали. Нюрка Ермакова трактористкой стала. А Доценко вышла замуж за какого-то офицера. Откуда он там взялся, ума не приложу. Катька рыжая в Якутск укатила. Иван Кононович все председательствует... А тебе Родион и Яшагин пишут?

Тасей — озеро километрах в семидесяти от Читы, где мы несколько лет назад познакомились. Помню ли я Тасей? Очень часто, когда думаю о Тане, почему-то мысленно уношусь туда, к первой нашей встрече. Мне представляется гладь озера, по которой бегут золотые и красные круги. Туман клочьями висит на ветках лиственниц. Вдалеке — не плоская синяя туча, а Яблоновый хребет. Из-за камышей доносится неясный скрип уключин. Лодка! А в лодке девчонка в красном платье. Налегает на весла. Я вижу только ее спину. Девчонка встает в полный рост, поворачивается, прикладывает ладонь ко лбу. Потоки света бьют ей в глаза. Плывет по красному озеру лодка. Поднимаются в синеву гуси, розовеют их крылья. Девчонка стоит на носу лодки. Пузырится от ветра подол платья...

Я посмеиваюсь в кулак: когда был взрывником, Таля не боялась за меня, а сейчас боится. Спрашиваю:

— Когда же мы поженимся?

Она легонько отстраняется, заглядывает в лицо.

— Да я хоть сейчас! Сам знаешь. А чтобы потом не сомневался, не попрекал зазря, давай подождем, родной мой. Вернешься — и уж тогда будем вместе.

— Я тебе верю.

— Я тоже верю. Только ты со здешними девчонками не водись. Все равно тебя никто не полюбит так. Я ведь и учиться пошла ради любви нашей. Чтобы не считал, будто хуже других. Закончу техникум, а ты со службы

вернешься — подадимся к своим на рудник Цаган-ама. Думаешь, им агрономы не нужны? Еще как! Там ведь целый город будет и плантации. Муся рассказывала, как тебе глазки строила. Да только я на нее не сержусь. Она хорошая, добрая. У Чупровых сын родился. Элеопора-то по-своему назвала — Витасом, а Андрюшка по-своему — Витькой. Заморочили младенцу голову.

Всех новостей не переслушать. Это вести из той прошлой жизни. Тане кажется, что я до сих пор живу интересами оловянного рудника и остался все таким же. Мы, разумеется, оба изменились, у каждого появились свои друзья, свои дела, но охотно поддерживаем иллюзию того общего, что вначале сроднило нас. Ведь приятно сознавать, что у нас есть общее, будто бы основная линия жизни, а настоящее — лишь временное путешествие. Мы вернемся, и все будет так, как тогда...

Мне приходит в голову лукавая мысль.

— А что, если я и после службы захочу остаться водолазом? Будем жить у моря. Ты переучишься на подводного земледельца. Тут вон осваивают всякие водоросли, ламинарии. Поди, в книжках читала? Коров и свиней разводят. Да и люди в пищу морскую капусту употребляют. Будешь гидроагрономом.

Она бросает испытующий взгляд: не шучу ли? Но я серьезен. Таня прижимается щекой к моему лицу.

— Как, миленький, решишь, так и будет. Я ведь с тобой даже у моря согласна... Только у нас в тайге все же лучше, спокойнее. Я ведь для тебя одного живу, и с тобой мне повсюду хорошо...

Мне становится жалко Таню.

— Не будем сейчас загадывать. Может, все повернется по-твоему, — говорю я. — Только об одном прошу: не шли больше посылок. Лишнюю работу задаешь. У нас ведь специальное повышенное питание.

...Вечером спускаемся к морю. Еще издали замечаю Пискунова. Он машет рукой: не убегайте, мол! Мне вовсе не хочется встречаться с ним сейчас. Начнет кривляться, отпускать сомнительные комплименты, оригинальничать. Таня будет слушать с недоумением, ничего не поймет, а потом скажет:

— Ты, миленький, держись подальше от таких крученых-верченых. Несерьезные это люди, пустые.

Но все опасения напрасны. Алька непривычно серье-

зев. Он здороваётся, как всякий нормальный человек, становится неуклюже-застенчивым. Тане самой приходится втягивать его в разговор. Он расспрашивает о технике, о практике. Говорит, что скоро уходит в запас, а ещё не определил точно, куда податься. Возможно, даже останется здесь: специалисты всюду нужны. Стеснительный дельный разговор. Когда рассуждает о морской службе, в голосе проскальзывает неподдельное волнение.

— Вы уж извините, что помешал, — говорит он. — Хотелось познакомиться. Мы ведь с ним давние приятели, ещё по Баскупчаку. Пойду к себе...

Он не бросает на Таню многозначительных взглядов, не жмёт руку крепче, чем принято. Он искренне рад знакомству, и видно, что Таня ему понравилась. Таким стеснительным Альку я ещё не видел. Когда он уходит, Таня задумчиво произносит:

— Чем оно приковало вас, море? Неуютно, как в пустом мешке. Культурные у тебя товарищи, миленький. Держись таких...

А я поражаюсь умению Пискунова так тонко, с первого взгляда понимать натуру человека. Он сразу уловил, как держать себя с Таней.

Когда ночью поезд увозит Таню в Читу, я долго хожу по перрону и с грустью думаю, что жизнь в основном и состоит из коротких встреч и длительных разлук. Мелькнул день, полный сияния моря и неба, запаха желтеющих листьев, — и нет его... Теплые губы Тани, ее ласковые руки. Моя строгая, чистая любовь... И встречи, и разлуки, дела каждого в отдельности — все подчинено этой любви. Если бы я подался на Крайний Север или выбрал бы себе непосильное дело, от которого другой сразу зачих бы, если бы я голодал, мерз, гнил в болотах или задыхался от жажды в безводных песках, Таня и без слов поняла бы: все для нашей любви. Она не требует таких испытаний, она всем сердцем против них, но она понимает: все для любви. Они длинные, наши пути, но рано или поздно они сойдутся — ведь по-другому и не может быть.

Мы видели и хорошее и плохое. Всяко бывало. Но жизнь не испугала нас. Да нам и не приходило в голову бояться чего-нибудь. Мы давно догадались, что человек живет не только для того, чтобы плотнее набить живот едой. Мы просто работали, как все, остальное приходило само собой. Я не стал рассказывать Тане о Шмакове.

«А что нам, миленький, равняться на таких жмотиков... — сказала бы она. — Была у нас в колхозе Гапка Бабиченкова, до ста лет сундуки набивала. Так и умерла христовой невестой. А барахлишко-то пришлось выкинуть — истлело». Она прямо даже не осудила бы Шмакова. Встречаются, дескать, и такие люди...

Но я спрашиваю: зачем ты живешь, Шмаков? Неужели тебе нужно больше еды и одежды, чем мне? Или мы не в один день пришли с тобой на флот? Или у тебя в мозгах особая закавыка? Или твоей невесте потребуется больше нарядов, чем моей? Никак не пойму, куда ты метишь, удивительный Шмаков, чего ты хочешь от жизни? У тебя даже не укладывается в серых извилинах, что можно любить свою тяжелую профессию, море, людей, стремиться к чему-то высокому. Кто научил тебя все отпоения, подвиги перекладывать на рубли? Есть ли во всем этом хоть какой-то смысл? Имел ли ты когда-нибудь настоящих друзей, единомышленников? Чуть приоткрылся — и Тосунян с отворачиванием отвернулся от тебя...

Я думаю о своих друзьях. С друзьями встречаешься и расстаешься. Дороги уводят нас в разные стороны. Но разве от того гаснет чувство дружбы? Где Родион Угрюмов, где Яшагин, Чупров, где отец и сын Овсягины, где Иренг, Абат? Они рассеяны по всему свету. Да и сам я незаметно превратился в такого странника, кочующего по земле и морям. Но какие бы круги ни делал, как бы ни запосило меня в самые далекие углы, дружба всегда со мной. И это дороже всего.

Я не принадлежу к сложным, загадочным натурам, которые делают вид, что сами не знают, чего хотят. Я-то знаю, чего они хотят, эти загадочные натуры: поменьше работать и побольше получать.

9

Помню, когда я был еще маленький, мать клала на зиму между оконными рамами пронзительно синий стеклянный шар. У нас, на Баскунчаке, всегда кладут между рамами слой ваты и елочные игрушки или шары самых разных цветов. Для красоты. Сидя у окна, я смотрел сквозь купоросно-синий шар на сугробы, на людей и собак. А получалось, будто там внутри — свои крошечные дома, человечки и собаки с булавочную головку. Внутри,

наверное, было весело, не так холодно, и мне всегда хотелось каким-нибудь волшебством попасть в тот синий мир, покружиться там, поваляться в синих сугробах.

И вот словно исполнилась детская мечта: я опускаюсь в густую синеву, слышу, как позванивают золотниковые пузырьки над шлемом. Стеклянно-прозрачная вода увеличивает и водоросли с бисерной бахромой, и рыбок, сплывающих между ними. Да, здесь, как внутри стеклянного шара. Все теряет привычные очертания. Здесь торжественно, загадочно; дали расплываются в мутном сиянии. Над головой скользит гигантский скат. Я вижу его лунно-голубое эмалевое брюхо. Он рассекает изогнутыми кожистыми крыльями воду и скоро исчезает в радужных блесках.

Если бы можно было взять Таню сюда, в синее волнистое сияние, надеюсь, она поняла бы, почему я привязался к морю. Здесь нет ничего страшного. Осьминоги, акулы на водолаза никогда не нападают, скат с шестиметровым размахом крыльев безобиднее курицы — всегда спасается бегством. В глубинах не больше враждебности, чем на перекрестках улиц большого города, где мчатся автомашины: не зевай, будь осмотрительным!

Не розовые медузы, распустившие хвосты, не ярко-лиловые морские звезды, черные морские ежи и трепанги радуют сердце под водой. Все тут есть: причудливые водоросли, бородавчатые морские огурцы, собаки-рыбы и морские собачки, сабли-рыбы и морские лисички, бычки и петушки, необыкновенной закрутки и раскраски раковины, сумрачный желтоглазый осьминог в пещере и акула-молот. Они живут сами по себе, и им нет никакого дела до нас.

Тут, как в космосе, свои законы, отличные от земных. Может быть, потому космонавты и позаимствовали у нас кое-что: скафандр, например, барокамеру... Я не хочу сравнивать труд космонавта с работой водолаза. Но им и нам приходится иметь дело с необычной средой, стихией, с невесомостью, с перегрузками, или, по-нашему, — давлением. Где-то, в каких-то пунктах обе профессии соприкасаются. У нас свои корабли глубин — батисферы. Завоевывать глубины так же трудно, как и выйти на орбиту.

Мы рвемся в космос, мечтаем освоить Луну, а океан, который в миллионы раз богаче мертвой планеты, лежит нетронутый, смотрит в небо мудрым синим оком. Ему не так уж и важно, что люди оставляют его как бы «про за-

пас». Все равно он — добрый кормилец, колыбель всей жизни...

Двадцать метров... тридцать... пятьдесят... шестьдесят... В ушах попискивает. Топорщатся бородатые водоросли. Основание островка Чичамар круто уходит в сумеречную синеву. Из грота выплывает рыбина с пелепой, почти человеческой физиономией. У нее вислая нижняя губа, глубоко выпученные глазки. Становится смешно.

— Предыпфарктный! — говорю я вслух.

— Вас не понял. Повторите, — доносится по телефону голос лейтенанта Панышева. Он там, на палубе спасателя. Я знаю: любое мое слово слышно наверху в динамик. У динамика стоит настороженный врач-физиолог Прядкин. Кричу с беспричинным вызовом:

— Все в порядке!

А самого разбирает смех. Так и хочется повторять нелепое «предыпфарктный». Говорит что-то мичман Оболенцев. А мне кажется, будто стучат по ксилофону деревянные молоточки: «Чирик-пырик, где ты был?»

Только бы не потерять контроль над собой! Опять азот, мой мучитель... Вот всегда так на глубинах. Азот перестает быть нейтральным, пьянит. Я словно получаю второе зрение. Вижу, как гремящие, точно горох в жестяной кружке, молекулы азота лопаются, растворяются у меня в артериях; азотный горох начинает греметь в ушах, внутри мозга. Я превращаюсь как бы в огромную погремушку. И скалы и водоросли — все плавно скользит по большому кругу. Кажется, что я спустился с неба, повис на веревке в центре всего. Под ногами бездна. Но мне ничуть не страшно. Склоны обрыва усеяны бархатистыми синими и траурно-черными морскими звездами. И они мерцают, как настоящие звезды, срываются, падают, рассыпаясь колючими огненными брызгами.

— Выходите на нос! Выходите на нос... — Голос лейтенанта Панышева тоньше комариного писка. — Вы уклонились...

В самом деле, я оторвался от направляющего троса, опустился ниже, чем следовало, почти на корму затонувшего транспорта. Азотное безумие все еще клокочет в мозгу, но, повинувшись приказу, я почти неосознанно продвигаюсь вверх.

— Закон Артемиды... Архимеда... сифонофоры, ларингофоны...

Перед глазами встает видение: на песчаном откосе темная громада судна. Тут, на палубе, уже идет работа. На вздыбленном носу фигурки в скафандрах. Они копошатся и у левого борта. Вспыхивают ослепительные огни.

Стоило мне подняться на несколько метров, и азотное опьянение бесследно исчезает. Все предметы обретают привычные очертания. На глубине все окрашено в однообразный сине-зеленый тон. Даже ярко-багровые наверху водоросли кажутся здесь темными. Маленькие морские звезды ползают по надстройкам и палубе. Где-то вычитал, что если морскую звезду разрезать на несколько частей, то из каждого куска вырастет точно такая же звезда.

— Жаль, что с ишаками нельзя проводить подобную операцию, — сокрушается Тосунян.

Когда поднимусь на борт спасателя, врач-физиолог станет придирчиво расспрашивать о «субъективных ощущениях». Но я не скажу ни слова.

Тосунян стоит на полубаке и машет рукой. Сквозь стекло иллюминатора вижу его замученную улыбку. Матрос устал. Пора ему выходить наверх.

Спускаюсь на грунт, беру два толстых шланга: с медным наконечником и гофрированный с железной решеткой. Протискиваюсь в узкий тоннель, уходящий под киль судна. Зажигаю фонарь. Упираюсь в песчаную стену. Дальше пути нет.

Мы режем породу тугой водяной струей. Порода отваливается кусками, расползается у ног. И уже ничего не разглядеть вокруг. Тьма. Дрожит в руке шланг. Работать приходится скорчившись. Скоро пот заливает глаза. Становится душно. Трясутся поджилки. А твердый, слежавшийся песок поддается неохотно. Такое ощущение, будто все время топчусь на месте. Но я все-таки продвигаюсь, ввинчиваюсь в морское дно, как штопор в упругую пробку. Трудно идти вслепую. В проекте все рассчитано до сантиметра. Тоннель должен выйти по другую сторону транспорта на строго обозначенном участке. Чуть сбился с направления — и начинай все сначала. Таких тоннелей нужно промыть двенадцать.

Что случилось с транспортом вдали от берегов, почему он очутился у островка Чичамар, почему пошел на дно? Тайфун, пожар, взрыв, туман? Да мало ли что может случиться в открытом море! Гибель судов почти никогда не

имсет строгой логической основы. Принесет откуда-нибудь из Корейского пролива залежавшуюся с дней войны мину... Казалось бы, по хвальной теории вероятностей возможность столкновения с ней равна бесконечно малой величине. И все-таки судно напарывается на мину. Совсем недавно в Японском море столкнулись два теплохода. И это в век радиолокации!

Ноет поясница. Ни разогнуться, ни повернуться. Чувствую себя кулем с картошкой. Знакомые ощущения! Было, сколько раз было! Так же стоял скукожившись, от натуги трещали кости. Только в руках не шланг, а бурильный молоток. Осваивали смежную специальность. Толкались в тесной штольне.

— И как они, чертяки, целую смену выдерживают?! — восхищался Родион Угрюмов бурильщиками.

Но там хоть имелась возможность смахнуть пот, вылезти на минуту,дохнуть ветром.

Пытаюсь подсчитать, сколько за свою короткую биографию провертел дырок в земле, в металле. Куда бы ни подался, обязательно в руках что-нибудь пробивающее: или перфоратор, или шланг, или дыропробивной пистолет... Всегда приходится преодолевать сопротивление неподатливого материала, всегда заняты руки. Лом, лопата, кувалда, электрорезак... Даже на военной службе остаюсь рабочим. Кручу, верчу, пробиваю. Как любит говорить Тосупян: всякий образованный человек должен иметь свою кувалду...

Вымытый грунт уже по колесо. Я и забыл, что нужно следить, как бы не обвалились зыбучие своды тоннеля. Придавит воздушный шланг — конец! Я болтаюсь на непрочной гофрированной кишке. Мое горло, мои легкие как бы удлиннились на десятки метров, они выведены туда, к солнцу. Малейшая случайность — удушье. Даже обрезать воздушный шланг нельзя: выскочишь мгновенно на поверхность — сразу разрыв легочной ткани и кровеносных сосудов.

Здесь, в песчаной норе, согревает мысль: я не одинок. Наверху целая группа обеспечивающих. Следят за манометрами, за сигналами; моя телефонно-микрофонная гарнитура подключена к телефонной станции; для меня гудят мощные компрессоры, грунтососы, рсфулеры. Лейтенант Панышев, мичман Оболенцев и даже сам Иванский прислушиваются к каждому моему слову, а врач-физиолог не

находит себе места от беспокойства за мое драгоценное здоровье.

Капитан 1 ранга заприметил-таки меня. Когда он к кому-нибудь расположен, то обращается на «ты». Хотя и не по уставу, но приятно. Вот он, Герой Советского Союза, человек известный всей стране, обращается ко мне запросто, по-свойски. Лестно. Объявил перед строем благодарность. Потом отвел в сторонку, спрашивает:

— У кока добавку просишь?

— Случается.

— А со штангой балуешься?

— Зачем?

— На вопрос отвечать вопросом не полагается.

Я смутился. В самом деле, с чего это вздумал задавать вопросы? Начальство не любит вопросов. Любит четкие уставные ответы.

— Есть, заниматься со штангой!

— То-то же...

Теперь приходится катать эту штуку, надрывать жп-вотики. Думалось: забудет капитан 1 ранга. И без меня хлопот полон рот. Не забыл. Встречает, интересуется:

— Как штанга?

— Тренируюсь.

— Правильно делаешь. На соревнования пошлем. —

И уже обращаясь к Оболенцеву: — Подбери крепких хлопцев на промывку топнелей. Этот в самый раз...

А я, польщенный вниманием командира отряда, готов был немедленно броситься в воду и до изнеможения орудовать штангами. Вот и орудую. Кое-кому может показаться, что выслуживаюсь. А я просто привык добросовестно делать свое дело. Научился этому у своих давних друзей Родиона Угрюмова, Ломакина, Овсягинных. Теперь учусь у мичмана Оболенцева и капитана 1 ранга Иванского. Мне ли судья Шмаков и похожие на него?

Чмокает железными губами пульпопровод, сосет перенасыщенная утроба, гонит песчаную кашу наверх. Еле держусь на ногах. В глазах разноцветные круги. Это уже не зрительные галлюцинации, а от усталости.

Опять уползаю в тоннель. Если бы можно было провести ладонью по лицу, смахнуть едкий пот!.. Мысль не дает покоя. Трусь лбом о стекло иллюминатора, бессознательно провожу рукой по стеклу. Боль в груди усиливается, руки словно на шарнирах. Воздух в скафандре

плотный, хоть режь его на порции; влезает в легкие со свистом. А наверху компрессор качает и качает, нагнетает в меня, как в бездонную бочку, — только успевай глотать да нажимать затылком на золотник. Пискунова бы сюда! Перестал бы завидовать «романтикам глубин».

10

По вечерам все свободные от вахты собираются на верхней палубе. В центре внимания балагур Тосунян. Он уже оправился от недавнего потрясения, объяснился со своей Люсей из рыбного института, и она его поняла. Нет, Тосунян — исправный моряк и никакого отношения к спекулятивным проделкам Шмакова не имеет. А чтобы не было сомнений, Ашот преподнес в дар Люсе и ее подругам по три экземпляра фотографий, отпечатанных на глянцевой бумаге.

Ночь звездная, теплая. Неподалеку от спасателя покачивается буксир с аварийными огнями — красным и желтым. Плоский островок Чичамар совсем не виден в темноте. Днем он кажется покрытым хлопьями снега — так много здесь птиц. Островок ничтожный. Во время штормов его, должно быть, заливают целиком.

Тосунян оседлал любимого конька. Сидит, поджав ноги, и вещает наподобие древнего пророка. Мы хоть и умаялись за день, но слушаем с интересом. Ведь Ашот в большой дружбе с наукой, до флота был слесарем в научной лаборатории; он пропагандист «умственной гимнастики». Некый профессор Гарнакерян, сам в прошлом слесарь, будто бы сказал Ашоту: «Человек не стареет от двух гимнастик: от обычной и умственной». И хотя нам пока рано думать о старости, пользу «умственной гимнастики» признаем безоговорочно. Самому иногда лишь читать книжку, а Тосунян читает и охотно пересказывает содержание. Самый внимательный слушатель мичман Оболенцев. У него затаенная жажда научиться мыслить «по-интеллигентному». Однажды застал его за книжкой об архитектуре Древней Греции.

— Зачем это вам? Причуда?

Он побагровел от смущения, постарался прикрыть локтем заглавие.

— Далась вам эта причуда! Причуда — значит баловство. А я питаю интерес. Умели строить! Раз в Черно-

морской бухте на дне увидал этакие колонны и арки. Сказка под водой. Захотелось понять. Водолаз, к вашему сведению, должен разбираться и в архитектуре, и в прочих вещах. Скажем, Атлантида. Может быть, выдумка. Ну а если не выдумка? Слыхали о Пропилеях? Ну вот, не знаете даже к чему оно. А ведь были они, Пропилеи... — Он как-то странно усмехнулся и продолжал: — Не люблю дураков и разгильдяев, которые сами не знают, для чего они живут. Человек должен быть умным, все осмысливать. Иначе для чего жить?.. Знание — не причуда, не бабловство. Оно — все. Вот ты родился и крутишься в этаким водовороте, что-то делаешь, может быть, приносишь пользу. А самого себя раскусить до конца не умеешь. На что способен? Другие создают машины, искусственную клетку, получают плазму, пишут учебники. Все для тебя. А для кого же еще? Дурак от таких вещей отмахивается — не моего, мол, ума дело, я и лаптем щи хлебать могу. А я хочу знать, что для меня сделали другие и что я могу сделать для них. У меня свое знание и свое умение. Всякое дело важно, если на пользу людям. Возьмите, к примеру, доктора Рубако с «Артемиды». Мину поднять со дна не может, да и ни к чему ему это. У него своя область. Оживляет мертвых. После клинической смерти. О нем писали в газетах. Руководит лабораторией экспериментальной физиологии по оживлению организма. А теперь ему зачем-то потребовался океан. Приматы моря. Ищет. Возможно, ищет тайну жизни. Это гигант мышления, и не мне с ним равняться. А я все же хочу понять и его труд...

Еще никогда Оболенцев не говорил так много. Мне даже сделалось как-то неловко за него: многословие не в характере мичмана. Во всяком случае, даже под страхом мучительной смерти изучать архитектуру Древней Греции я бы не стал. Пропилеи... Знамо, для чего старается: надеется блеснуть эрудицией перед Нечаевой.

Сейчас мичман молчаливо слушает Тосуняна. Анют старается вовсю. Он фантазер выше всякой меры. Дескать, человечество вышло из океана и на высшем этапе развития вновь вернется сюда. Ведь и кит когда-то ходил по суше на четырех ногах, был хищником, а потом переселился в океан, перешел на планктонную диету. Излюбленная тема Тосуняна — кибернетика. У него даже представление о жизни и смерти кибернетическое. Что остается

от человека после смерти? Часть информации, присущей ему. Наследственная информация вплоть до внешнего облика проявляется в потомках; остальное — в тех материальных ценностях, какие произвел своими руками, в памяти людей. Чем больше доброй информации оставил после себя человек, тем осмысленней была его жизнь.

В сторонке притулился Шмаков. Голова опущена. После всего случившегося любой из нас на месте Шмакова стыдился бы показываться на глаза. А он — ничего. Усядется поодаль, обхватит колени руками и посапывает. На комсомольском собрании хотели исключить, попросить командование перевести «левака» в другую часть. Неожиданно вступился Оболенцев. Говорил о поступках и характере, о том, что неисправимых людей нет, а есть люди неисправные и что нечестно подсовывать такого, как Шмаков, другому подразделению. Для Шмакова перевод был бы самым удачным исходом: в новой части его никто не знает. Опять прикинется общественником, совет глздышко, станет хапать направо и налево. Не лучше ли оставить провинившегося под надзором комсомольцев? Шмакова не исключили. Но капитан 1 ранга на грунт его не пускает, определил в обслуживающий персонал. И теперь Шмаков должен надевать водолазную рубаху и галоши на своего недавнего друга Тосуняна.

— Тренируйся, прогоревшая жирафа, — подбадривает Ашот. — На гражданке поступишь в швейцары.

Шмаков не огрызается. Вокруг него плотное кольцо отчужденности. Никто не собирается его утешать: он нарушил закон морской службы, запятнал благородное звание матроса, и ему нет снисхождения.

Тосунян распаляется все больше и больше. Излагает теорию игр. С кибернетической точки зрения даже война — игра. Ничего себе игрушки! Крестики, нулики... Самое главное для живых систем — способность обучаться и воспроизводить самих себя. Обучаться и воспроизводить самих себя могут и созданные человеком машины. Человек — живая система, или же кибернетическая машина. Человек будущего вряд ли останется таким, каков он есть. Станет широко употреблять различные искусственные органы, и его организм в гораздо большей степени, чем сейчас, будет связан с новым искусственным окружением — высокотехнической, высокомеханизированной средой. Будущее в технике принадлежит самоорганизую-

щимся системам. Даже целый завод можно сделать единым думающим организмом с саморегулированием и самоконтролем.

— А целый город? — спрашивает кто-то.

Ашот хмыкает:

— А откуда вы знаете, что из себя представляет в совокупности город? Может быть, это уже и есть кибернетический мозг. Современный город в избытке насыщен всеми элементами, какие имеются в кибернетическом устройстве. Сюда может войти все: поток автомашин, трамваев, людской поток, подземные трубы, электропровода, телефонная сеть, радиостанции, телецентры, энергетические установки, поезда — все, все. Когда в наличии есть блоки, система имеет тенденцию к самоорганизации.

— Значит, город может думать?

— Допустим.

— А влюбляться в другой город, разговаривать с ним на своем, непонятном людям языке?

— Вполне вероятно. Скажем, Чита влюбилась в наш город, и наоборот.

(Палки в мои колеса!)

— А корабли, по-вашему, тоже высокоорганизованные системы? — спрашивает мичман Оболенцев.

— Не исключено. Ведь корабли — сгусток энергии.

Мичман больше ни о чем не спрашивает. Но я догадываюсь: думает об «Артемиде». Да и почему не пофантазировать под звездным небом? Наш корабль-спасатель влюбился в белоснежную «Артемиду». И вот, пока мы сидим на палубе, суда ведут над волнами немислимый, нечеловеческий разговор о любви. Как у поэта:

Я устал,
один по морю лазаю,
подойди сюда
и рядом стань...

Если у влюбленных есть инстинкт, то мичман Оболенцев несомненно им обладает. С утра в приподнятом настроении. Явно чего-то ждет. Прохаживается по палубе, поднимается на мостик и в бинокль смотрит на юг. Спустившись, спрашивает у Тосуняна:

— Верите в телепатию?

Ашот поглядывает на мичмана с подозрением: что имеет в виду командир? Не попасть бы впросак. Попадать

впросак Тосунян не любит. Он внимательно изучает лицо Оболенцева и неожиданно выпаливает:

— Сегодня мимо нас должна пройти «Артемид»!

Мичман отшатывается.

— А вам откуда известно?

— Могу взять слова обратно.

— Зачем же?..

Мичман снова поднимается на мостик, стоит там, широко расставив ноги, прилепив бинокль к глазам.

И происходит чудо. В туманной дали появляется точка. Растет, увеличивается с каждой минутой. Вскоре и без бинокля ясно: «Артемид»! Я почти с суеверным страхом поглядываю на Тосуняна. А он — как ни в чем не бывало.

Экспедиционное судно проходит кабельтовых в трех от Чичамара. Там, на «Артемиде», машут руками. У лееров Зоя Петровна, Света Суханова, врач Эгмонт Рубако. «Артемид» приветствует нас басовитым гудком. Света шлет воздушные поцелуи.

Нечаева, разумеется, узнает взбравшегося на мостик Оболенцева и машет косынкой только ему. А он готов закинуть мичманку выше облака.

— Как бы товарищ мичман в воду не свалился, — шепчет лукавый Ашот.

«Артемид» возвращается в знакомую бухту. Скоро судно отправится в южные моря, за экватор.

Отчего так: узнали людей на короткое время и словно породнились с ними?

Когда «Артемид» растворяется в дымке, допытываюсь у Тосуняна:

— А все-таки, как это делается? Может быть, и мне что-нибудь приятенькое предскажете?

— Не люблю пророчеств, — отмахивается Ашот. — Но если вы, товарищ старшина второй статьи, настаиваете, то могу сказать: ничего приятенького не предвидится. Все самое приятное с вами случилось не так давно, а по теории вероятностей... могу предсказать очередную благодарность. Но этим вас не удивить. В будущем возможен краткосрочный отпуск в Читу.

— А как вы предполагаете, чем сейчас занят мой приятель подводник Пискунов?

— Отдает концы!

— В каком смысле?

— Во всех смыслах.

Накуковала кибернетическая кукушка — сразу и не сообразишь, что имеет в виду Ашот.

11

Черная волна подбрасывает стальные понтоны. Они гулко гудят, как барабаны. Мичману Оболенцеву, наверное, кажется, что это океан играет на своем ксилофоне. Музыка тревожная, и она не нравится капитану 1 ранга Иванскому. На грунте работы подходят к концу. Промыты тоннели под корпусом транспорта. Через тоннели протянуты гибкие стальные полотенца, заменяющие подъемные стропы. Остается затопить понтоны и прикрепить их к полотенцам. Каждый понтон — металлический цилиндр грузоподъемностью в двести тонн. Длина его одиннадцать метров, диаметр — пять с половиной. Целое сооружение с отверстиями внизу для входа и выхода воды, с вентилями сверху, к которым присоединяются воздушные шланги, с просторными отсеками внутри. Я невольно вспоминаю нашу хатку на Баскунчаке: она гораздо меньше такого понтона.

По-видимому, надвигается шторм. Спасателю он не страшен. Но понтоны может раскидать. А их нужно уложить точно по сторонам затонувшего судна.

Иванский приказывает притопить понтоны на грунт. Открыты воздушные вентили. Огромные красные поплавки, болтавшиеся на бакштаве, начинают медленно погружаться в воду.

На мою долю, как всегда, выпадает самое тяжелое: острапливать кормовые понтоны. Наверное, и теперь капитан 1 ранга решил: «Этот в самый раз...» Вообще, почему-то он за последнее время приглядывается ко мне. Наравне с мичманом Оболенцевым при случае пожимает руку, отпускает шуточки в мой адрес. Одним словом, выделяет среди других. Мне и приятно и жутковато. Когда Герой Советского Союза командир отряда с веселым прищуром поглядывает на вас, преувеличенно восторгается вашими мускулами и ростом, то следует быть настороже: не иначе как подыскивает работенку потруднее да позаковыристее.

Однако ничего особенного не происходит. Лейтенант Панышев, как бы между прочим, посылает меня на

грунт. Да, я должен остропить кормовые понтоны. Приказ есть приказ.

Мне бы признаться в своей слабости врачу-физиологу Прядкину: я, мол, не в «самый раз», восприимчив к паркотическому действию азота — как бы не натворил чудес под водой... Но я молчу. Стыдно перед Иванским, не хочется обманывать его надежды на мою персону. Ведь азотное опьянение совершенно безвредно, не оставляет никаких следов. Просто там, на глубине, человек дуреет, теряет контроль над своими поступками, мелет чепуху, и все представляется ему словно в увеличивающем кривом зеркале. Совершенно утрачивается чувство опасности, осторожности.

Иду в запретную зону, на корму транспорта. Она лежит на глубине почти семидесяти метров. Здесь покой и полумрак. Перепрыгиваю с понтона на понтон. Их по двенадцать штук с каждого борта. Они наполнены водой и не могут греметь. Но азот делает свое дело. И уже — не понтоны, а клавиши рояля, какой стоит в базовом клубе. Они звенят, гудят от прикосновения свинцовых галош. До-ре-ми-фа... И весь океан начинает звенеть, подпевать, рассыпаться на хрустальные осколки.

Усилием воли стряхиваю бред.

«Пусть их кривляются, а ты не обращай...» — говорю себе и успокаиваюсь.

Рядом Тосунян, всегдашний мой напарник. На борту спасателя нас соединяют через коммутатор.

— Кибербузья... — произносит Ашот. — Они, как стальные чехепахы... чепепахы...

— Не болтайте чепухи! — прикрикиваю я.

Тосунян, наверное, и сам понимает, что сморозил ерунду, и умолкает. Меня все еще корчит потихоньку. Приходится крепиться, закусывать губу до крови.

Сверху тянутся, свешиваются наподобие лиан воздушные шланги. Их приходится ловить и присоединять к вентилям. Получается примечательная картина: судно от форштевня до кормы опутано резиновыми кишками. А мне мерещатся струны. Как-то видел в театре арфу.

— Буйволова арфа! — говорю Тосуняну. — Мичман сыграл бы...

— Эолова, — поправляет Ашот. — Как называется то, у которого панцирь и четыре ноги?..

— Пора выходить.

Мы сделали все, что зависело от нас. Сюда больше не вернемся. Все проверено, выверено. Как-то даже немного жаль расставаться с обжитым дном. И не верится, что самое трудное позади...

Но позади ли?..

Капитан 1 ранга Иванский думает несколько по-иному. Медленно расхаживает по палубе, хмурится. Сейчас он со всеми на «вы», даже с мичманом Оболенцевым. Признак не из приятных. Меня даже не замечает. Да и не такая уж я важная фигура, чтобы обращать на меня внимание. Справился с заданием — и ладно.

Пока компрессоры продувают притопленные и остропленные понтоны, мы, по сути, сидим без дела. Сидим и ждем, что вот-вот из пучины вынырнет обросший ракушками и опутанный тиной транспорт. Но он не выныривает, хотя прошли уже сутки с того момента, как мы с Тосуняном поднялись на палубу спасателя.

А компрессоры все качают и качают. Тугие валы накатываются из океанских просторов. Корабль переваливается с борта на борт. Пляшет на волнах буксир, прыгает, словно козавка, красный буй. Для взбунтовавшегося океана воздушные шланги, тянувшиеся к понтонам, тоньше волоса. Замирает сердце, когда видишь, как трепещет вся эта паутина из шлангов.

Проходят еще бессонные сутки.

Понтоны прямо-таки ненасытные: нагнетаем, нагнетаем воздух — и все безрезультатно!

Иванский с немым подозрением поглядывает на нас, водолазов: все ли подключили? Может быть, шланги под водой повреждены? Посылать водолаза на грунт сейчас опасно.

— Вот вам и кибербузия! — говорит Иванский сердито. Мы с Ашотом понимаем намек. А что, если мы и в самом деле?.. Когда притуплено сознание, когда не отдаешь себе ясного отчета в том, что делаешь... Я боюсь встречаться взглядом с капитаном 1 ранга, с Панышевым, Оболенцевым. Откровенно говоря, мне хочется сейчас умереть. Мучительно вспоминаю каждое свое движение под водой тогда, каждое слово. Остропил ли я понтоны? Подсоединил ли шланги к вентилям?.. Ведь, по сути, мы находились в горячечном бреду.

Ветер набирает силу. Волны все круче и круче, с них, словно кружевная скатерть, сползает шипящая пена.

Островок Чичамар почти совсем затопило. Птицы с резкими криками носятся над водой.

Транспорт будто припаян к грунту. Компрессоры прямо-таки задыхаются, а он ни с места!

Нервы больше не выдерживают. Обращаюсь к лейтенанту Панышеву:

— Разрешите на грунт! Проверить надо...

Капитан 1 ранга стоит в стороне, разговаривает с заместителем по политической части Зыряновым. Думалось, меня не услышит. Но у Иванского отличный слух.

— Это еще что за фокусы! — кричит он. — Отставитесь!

И опять я наедине со своей совестью. Правда, рядом Ашот.

— Не беспокойтесь, — утешает он. — Мы ведь три раза все проверили, да и сверху опробовали. Полный порядок. Ведь на носу работали другие. Прежде всего должны вынырнуть нос, а потом уж корма!

Тут и меня осеняет.

— Нос! — кричу я во всю силу легких. Шмаков шахрается в сторону, смотрит на меня, как на помешанного.

По правилам следует приостановить спасательные работы и уходить в базу. Не таков Иванский. Он ничего не бросает на полдороге. Железная выдержка.

— Продолжать продувку!

На исходе четвертые сутки. Тучи цепляются за ажурную арку корабля. Без спасательных бушлатов показываться на верхней палубе запрещено.

С наступлением темноты взволнованное море вспыхивает. Вся поверхность охвачена призрачным белесым сиянием. И от этого мертвого света становится еще бесприютнее. Вдруг вода возле буя взбурливается, встает куполом. Из светящихся волн выныривает какое-то чудовище. Может быть, легендарный кракен, спрут, атакующий корабли?

Это форштевень транспорта!

Мы что-то кричим, захлебываемся от радости. Ветер все заглушает. Теперь уж хорошо виден вздыбленный нос транспорта. Он словно ледяная глыба.

Море постепенно гаснет. Судно покачивается в ослепительном луче прожектора.

Нашему «катамарану», как мы называем спасатель, не страшны ни штормы, ни ураганы. Он как черный бу-ревестник. Может в течение месяца носиться по разъярен-ному океану. Спасать, помогать — эта идея воплощена в корабле с предельной четкостью. Благодаря мощным дизельным установкам к месту аварии выходим в самые короткие сроки.

Мы по-своему любим стальную громадину, все лебед-ки, гини, гаки, высоченные решетчатые фермы. Добрый выносливый трудяга. Трудяга до последней гайки, до по-следнего вентиля.

Сейчас мы отдыхаем. Впереди пыхтит буксир, тянет вырванный у моря плоский, как тарелка, транспорт. В до-ке его приведут в порядок. Мы хорошо поработали, и кое-кто, конечно, получит краткосрочный отпуск, благо-дарности, ценные подарки. Капитану 1 ранга Иванскому, возможно, дадут очередной орден или медаль. У него и так на груди — ряды орденских планок. Скоро уже негде будет вешать. Вспоминаю, что Золотую Звезду Ге-роя Иванский получил на фронте, когда ему было два-дцать лет. Каждый из нас сейчас старше. Могу ли я со своей одинокой медалью «За трудовую доблесть» идти в сравнение с тем юношей Иванским, который рисковал жизнью, совершал беспримерные подвиги? Да и медаль мне дали, откровенно говоря, не за доблесть, а, скорее, за компанию: награждали большую группу работников, прокладывавших в трудных условиях шоссейную доро-гу. Я был ни лучше, ни хуже других. Такие медали у моих друзей — Угрюмова, Яшагина. Вместе прели в ка-менном карьере, голодали, переносили болезни. Одним словом, мирные будни.

В базе нас тоже ждут мирные, невыразительные буд-ни: снова тренировки, погружения, таблицы, наставле-ния. Жизнь в основном и состоит из будней.

Дадут ли краткосрочный отпуск в Читу? Увижу ли Та-ню?.. Могут и не дать. Пути начальства непонятны. Ведь не только я промывал подводные тоннели и не только у меня ломит поясницу, как у столетнего деда, а при каждом повороте головы трещат шейные позво-нки. Даже ложку ко рту подношу с трудом.

— Вернемся в базу, назначу световые ванны, — обе-щает Прядкин.

Еле переставляем ноги от усталости. Все время дремотное состояние. Живешь будто в тумане. Один Оболенцев бодр и весел. Выколачивает на ксилофоне «Я помню чудное мгновенье», надеется на скорую встречу с Зоей Петровной.

— Что такое любовь с кибернетической точки зрения? — спрашивает он у Тосуняна.

— Это когда в мозгу конденсатор зацепился за трансформатор, — вяло отзывается Ашот.

— То-то же. Бездушная штука ваша кибернетика.

— Зато логичная. На счетных машинах можно подбить бабки: есть ли смысл влюбляться в даму, которая тю-тю — нынче здесь, завтра там?

Ответ не очень нравится мичману. Он бросает молоточки и раскрывает «Архитектуру аптического мира».

— В детстве я думал, что чаша терпения — это такой сосуд, — говорит Тосунян, — а теперь понял: всегонавсего водолазная служба. Уже стал забывать, что такое прямохождение.

— А как вы думаете, помогут нам световые ванны?

— Нужно иметь светочувствительную поясницу.

...Пронзительные призывные звонки. Боевая тревога! Наверное, как всегда, учебная. Командование стремится использовать на сто процентов выход в море. Можно было бы и пожалеть измученных людей.

Мешкотно выстраиваемся, покряхтываем.

— Тосунян! — кричит лейтенант Панышев. — Подравняйте носки.

Капитан 1 ранга Иванский сердито топорщит бровь. Чем-то недоволен. Выправка не нравится или собирались долго? Окинув строй взглядом, говорят:

— Получена радиограмма из штаба: во время учебного похода наша подводная лодка потерпела аварию. Командование приказывает немедленно...

Иванский понимает, до какой степени мы измотаны. Да и сам он не в «спортивной форме» — доконали бессонные ночи.

Корабль меняет курс. А мы никак не можем поверить, что это всерьез, не обычная военная игра, когда воюют вроде по-настоящему и в то же время условно.

Затонула лодка! Может быть, и в самом деле? Сколько служу, а такого еще не случалось. Что у них там

стряслось: какая-нибудь деталь не сработала? Был бы рядом Пискунов, объяснил все по-научному.

— Лодка-то капитан-лейтенанта Чапыгина! — говорит мичмап Оболенцев.

Холодею. Уж не слуховая ли галлюцинация?! Алькина лодка!.. Я хорошо знаю капитан-лейтенанта Чапыгина. Строгий, когда раздражается, подбородок ходуном ходит, а брови дергаются. Глаза черные, холодные, без блеска. От одного взгляда дрожь пробирает. Алька в него влюблен; морской волк, воля в сочетании с разумом! Железная хватка: из любого разгильдяя сделает человека...

Постепенно успокаиваюсь: конечно же, учебная тревога! Даже по хваленной теории вероятностей не может случиться такого: я должен спасти Альку... Подобное стечение обстоятельств может быть только в кино. Просто лодка легла на грунт, а мы в штормовых условиях показывай выучку, сноровку: опускайся на дно, опять промывай гидромониторами под корпусом лодки тоннели, заводи стальные полотенца, пристрапливай к подъемным блокам... Там, в штабе, действуют, как на войне: им нет дела, что ты устал; война не знает слова «подожди». Шторм ли, штиль — делай! И пока лодка не будет поднята, истины так и не узнаем. Лицо капитана 1 ранга Иванского непроницаемо.

...Корабли поисковой группы бороздят воды залива. Он огромен, этот залив. Лодка таки в самом деле затонула. Примерно известен квадрат, где с ней случилась беда. Но все ориентировочно.

Не нахожу места от нетерпения, вглядываюсь в тяжелый сумрак: не появятся ли белые проблески на воде. Вглядываюсь до ломоты в висках. Затонувшая подводная лодка всегда выбрасывает сигнальный буй — пустотелый поплавок с электрической лампочкой и телефоном. Буй связан с лодкой кабелем. Ну а если кабель оборвался?..

— Вижу белые проблески на воде! — кричит Шмаков. У него острое зрение. Мы пока ничего не можем разобрать, а Шмаков разглядел.

Подходим почти вплотную к танцующему на волнах буйку. Капитан 1 ранга прыгает в шлюпку. И тут-то мы совершенно отчетливо начинаем понимать: дело нешуточное, не военная игра, а по-настоящему... Шлюпку подбрасывает, она пляшет в лучах прожекторов. Сигнальный буй как порхающий светлячок. Подобраться к нему ни-

как не удастся. Шлюпка поднимается на лоснящийся черный гребень, и кажется, что ее вот-вот швырнет спова на ростры. И когда ее бросает на буй, Иванскому удается прямо руками поймать скользкий поплавок. Капитан 1 ранга отвертывает плафон, прикладывает телефонную трубку к уху.

Вскоре узнаем все: на подводной лодке затоплены два отсека. Она с большим дифферентом пошла ко дну, увязла винтами в иле.

Мне приходилось бывать на подводном корабле, и я представляю, что там сейчас происходит. Кабель сигнального буя вытравлен почти до предела. Глубина большая. Люди задыхаются от скопившейся углекислоты. Несколько моряков — в затопленных отсеках. Может быть, среди них и Пискунов. Они отрезаны от всего экипажа. А вода все подступает и подступает; она уже замкнула контакты распределительного щита. Пришлось его отключить. В отсеках непроглядная тьма. И капитан-лейтенант Чапыгин, суровый волевой офицер, стремясь спасти большую часть экипажа, приказывает: «Перекрыть магистраль воздуха высокого давления!» Это означает, что положение тех четверых, оставшихся в затопленных отсеках, намного ухудшится — воздух уже не будет сдерживать напор воды. Их ждет мучительная смерть...

И тут ко мне совсем неожиданно обращается матрос Шмаков:

— Их спасут?

Я взрываюсь:

— Не спасут, а спасем! Мы должны спасти. Больше никому... Вы должны спасти, барабан вы этакий!

— Товарищ старшина второй статьи! Почему грубо разговариваете с матросом?

Лейтенант Панышев... Уставными требованиями никогда не поступится, если даже все будет рушиться, идти вверх тормашками. Исполняй устав до последнего дыхания. Знаю, лейтенант так легко от меня не отступится, на очередном собрании продрait с песочком. Каков бы ни был матрос, изволь обращаться по уставу. Грубить не положено.

Спасатель ведет себя словно поровистый конь: не хочет стоять на месте, даже два якоря не могут удерживать. Корму все время сносит в сторону от сигнального буя. Прыгаем, точно бумажный мячик на резинке —

вверх, вниз. Подходят буксиры, пытаются зажать спасатель с двух сторон. Волны перебрасываются через палубу.

Чей-то истошный вопль:

— Буй погас!

В самом деле белые проблески пропали. Это значит: сигнальный буй оторвало. Потеряна ниточка, связывавшая нас с затонувшей лодкой. Мы еще не верим в несчастье. Прожекторы шарят по воде. Буй унесло. А ведь его могло оторвать и раньше, до подхода спасателя...

Там, на молчаливой глубине, в непроглядной тьме плавают в затопленном отсеке люди. Как еще долго смогут они продержаться?.. Да и удастся ли нам пайти лодку, зарывшуюся в ил?.. Мы пока топчемся на палубе, не знаем, что предпринять.

Кто-то кладет руку на плечо. Иванский!.. В свете прожектора лицо кажется синеватым, нездешним. Возле глаз резкие морщины.

— Иди!..

От мягкого прикосновения, от непривычно глуховатого голоса становится зябко. А волны все совершают свою дикую пляску. Вдали они как парные борозды.

Почему именно меня? Есть другие, более опытные. Мичман Оболенцев, например. А почему, собственно, тот же Шмаков, сильный, сытый парень, все время прячется за спины других? Или он ест меньше каши, чем я? Но я понимаю, что Шмакова не пошлют. Да это и бессмысленно. Раз самое трудное...

Под брезентовым чехлом стоит громоздкое сооружение каленой белизны, напоминающее издали робота, каким его рисуют в фантастических романах, — панцирный, или жесткий, скафандр. Мы его называем «дядя Ваня». У него стальные клещи вместо рук. К услугам «дяди Вани» прибегают в исключительных случаях. Обычно он стоит укутанный брезентом.

И вот полог сдернут. Тосунян и Шмаков свинчивают стальному великану голову. По трапу забираюсь внутрь скафандра, торопливо проверяю рычаги, краны для спуска и выпуска кислорода.

Крышка захлопывается. Меня подхватывает лебедка и несет над kloкочущим морем. Плюхаюсь в воду. В такой штуке могу погружаться до двухсот метров. Когда

полетят на Луну, то прихватят и мой жесткий скафандр.

Все происходит так быстро, что никак не могу прийти в себя. Лечу в темную бездну. Наверху беснуется шторм, а здесь тишина.

Догадываюсь: стал на грунт, загруз в вязком донном тесте. Вслед опускают глубинный фонарь. И я, словно некий марсианин, застыл в своем нелепом костюме, а в жирном, как масло, красном свете смутно проглядывается силуэт подводного корабля. Прижимаюсь лицом к скользкому стеклу иллюминатора. Стоит сделать несколько шагов, и пальцы-крючья коснутся корпуса лодки...

Я делаю эти несколько шагов, вздымая облако серого ила. Прикладываю стальную голову к обшивке. Безмолвие... Если бы Алька Пискунов знал, что нас разделяет всего лишь тонкая обшивка!.. Они там даже не догадываются...

Стучу. Молчание. Может быть, уже все кончено?.. Только слышен звон в ушах. Пространство вокруг залито багряным пламенем, и в этом пламени то и дело мелькают существа-уродцы.

И вдруг, как гром, отчетливый звук. Один удар — «держимся». Два резких удара — «дайте воздух».

«Вас понял». Сейчас нужно закрепить за корпус лодки стальной трос, который подали сверху. Трос — надежда на спасение. Лейтенант Панышев торопит: корму «катамарана» опять спосит в сторону. Я ненавижу металлические клешни за их ржавую неподвижность. Все берешь будто пинцетиком. Нужно спешить, спешить, а «дядя Ваня» еле шевелит клешнями. Все дело, конечно, в моей сноровке. Мало тренировался в свое время, думал: никогда не придется пользоваться жестким скафандром. Был бы в мягком трехболтовом — мигом закрепил бы трос... Но на таких глубинах в трехболтовом вентилируемом нельзя. Никто еще не спускался так далеко в обыкновенном снаряжении. В трехболтовом здесь — смерть, в лучшем случае — тяжелые травмы. Так записано в инструкции, составленной самим Иванским. А Иванский кое-что смыслит в подобных вещах... Не могу сдерживать kloкочущей ярости, глухого презрения к себе.

И, ослепленный этой яростью, думаю, что даже с риском для жизни опустил бы сюда в трехболтовом скафандре. Пусть меня раздавит вода, разорвет легкие, зато

я успею закрепить неподатливый трос. Да и что такое моя жалкая жизнь в сравнении с той трагедией, которая разыгрывается сейчас в отсеках мертвой лодки?!

Шторм паверху, должно быть, усиливается. Меня водит из стороны в сторону, как мотыля, насаженного на крючок. Но дело все же подвигается.

Помогает ярость.

13

С героизмом у меня никогда не клеилось. По-видимому, есть люди, специально предрасположенные к героизму. Такие, как Иванский, Оболенцев. Я не предрасположен.

Совсем недавно кипятился, готов был хоть зубами закрепить направляющий трос. Поднялся на палубу спасателя — пыл как-то пропал. Есть и кроме меня водолазы! Я свое дело сделал. Пусть другие попробуют. Измотался с неподатливым тросом — дышать не хочется. Подвиг, конечно, невелик. Спуститься в панцирном скафандре на глубину, это все равно что прокатиться в пустом автобусе: ни кессонная болезнь, ни баротравмы, ни обжатиe — ничто не угрожает. Потому-то лавровые венки надевают не на меня, а берегут для других. Я ведь привык тянуться за «предрасположенными», сам примера никому никогда не подавал. Меня всегда опережали более собранные, расторопные.

Стою перед капитаном 1 ранга Иванским, а он рассуждает:

— Так много не наработаем. Руки-крюки...

А что поделаешь? Не идти же туда в трехболтовом?.. Верная смерть.

— А кто-нибудь спускался на такие глубины в мягком скафандре? — спрашивает мичман Оболенцев у капитана 1 ранга.

— В водолазной практике подобных случаев не было.

Оба, и мичман и капитан 1 ранга, почему-то поглядывают на меня.

— Нет, никто не спускался, — подтверждает Иванский. — Да это и немыслимо.

— Отчего же? Все ведь еще зависит от приноровления организма к окружающей среде. Вот вы пишете в инструкции: потенциальные возможности любого организма значительно больше тех, которыми организм поль-

ауется в обыденной жизни. У нас уже есть навык, прино-
рвление. Почему нужно принимать за истину то, что
ником не проверено?

— Что вы предлагаете?

— Нужно опуститься в мягком снаряжении! Иного
выхода нет...

Оба смотрят на меня. Понимаю, к чему дело клонится.
Хотят «толкнуть на подвиг». Сейчас мичман скажет: «Во-
долаз на трап!» Холодею при одной мысли. Разумеется,
я потопая. Не скажешь же Герою Советского Союза:
боюсь, дрожу за свою жизнь. Ведь там, в отсеках, люди
погибают по-настоящему... Командир волен распоряжать-
ся даже моей жизнью, если того требуют обстоя-
тельства.

Начинает бить мелкая дрожь, лицо, наверное, стано-
вится блее маргарина.

— Вы уверены, что на таких глубинах?.. Давление
двести тонн... — допытывается Иванский, а сам все смо-
рит на меня. Дело явно пахнет табаком.

— Да, уверен, — отзывается мичман. — Разрешите
мне?..

Чувствую, как вспыхивают щеки. Такого поворота не
ожидал... Я растерян, сбит с толку.

Капитан 1 ранга Иванский, собственной рукой напи-
савший слова о пределе использования мягкого сна-
ряжения, даже не пытается отговаривать своего старого
приятеля Оболенцева от рискованной затей.

— Разрешаю, — говорит он самым будничным го-
лосом.

— А не опасно? — подаю я голос. Даже в горле
свербит.

Иванский шурится.

— Очень даже. Что вы предлагаете?

— Ничего.

— Тогда помогите мичману надеть рубаху и галоши.

И я помогаю. Теперь уже свербит не в горле, а где-
то внутри. Почему-то стыдно смотреть мичману в глаза.
Его взгляд чист, спокоен. Он вовсе и не собирался посы-
лать кого-нибудь из нас на грунт. Я просто был случай-
ным свидетелем разговора двух опытных водолазов, с
которыми не мне равняться. Да Иванский и не пустил
бы меня одного. Но все-таки кажется, что между мной
и Оболенцевым встала стена отчужденности. Мнитель-

ность. А может быть, даже хуже: самомнение. На грунте мичман должен закрепить еще один стальной конец — проводник для спуска сверху шлангов подачи и отсоса воздуха. Если бы я меньше смыслил в водолазном деле, то принял бы поступок мичмана за должное: кому же и рисковать, как не старшине водолазов, многоопытному и так далее! Но начинаю догадываться, что один мичман много не сделает. Чтобы закрепить трос, ему придется пробыть под водой два-три срока. А чем все это кончится для Оболенцева, не сможет предсказать не только «кибернетический ум» Тосунян, но даже врач-физиолог Прядкин.

И тут, не узнавая собственного голоса, говорю:

— Разрешите пойти вместе с товарищем мичманом?..

Иванский будто ждал этого.

— Правильно. Вдвоем сподручнее.

Еще бы!

Губы Деда расплываются в улыбке, ласкает взглядом. Наставлений не читает. Тосунян и Шмаков натягивают на меня рубаху. У Шмакова боязливо-почтительный вид: готов смахнуть пылинку со свинцовых галош. (А вдруг капитану 1 ранга ни с того ни с сего захочется послать с нами Шмакова! Иванский миндальничать не любит.) У врача-физиолога Прядкина горестная складка у рта. Наверное, считает меня и Оболенцева обреченными, заранее привел в боевую готовность свои рекомпресссионные камеры. Лица серьезные, никто не отнускает плоских шуточек. Да и не до шуток сейчас. Шутить разрешается только мне и мичману. Но мы не шутим.

...Сижу в выгородке буя подводной лодки, дрожу от сквозного озноба. Клонит ко сну. Я шел вслед за Оболенцевым, тащил шланги подачи и отсоса воздуха. Шланги для экипажа подводного корабля — самое важное, самое ценное. Воздух... Телефонная связь с капитан-лейтенантом Чапыгиным восстановлена. Те четверо из затопленных отсеков живы. Им удалось прекратить доступ забортной воды. В лодке давно все лежат неподвижно, окоченевшие, задыхающиеся. Вот в моих руках шланги, которые вольют жизнь... Стоит лишь подсоединить их, открыть клапан...

Но я почему-то не спешу подсоединять шланги. Я даже не думаю о том, что мой собственный воздушный шланг каждое мгновение может оборваться. Ведь на-

верху все еще гремит шторм, и корабль мотает из стороны в сторону.

Глубокое безразличие ко всему овладевает мной. Сладко сомкнуть веки, ни о чем не тревожиться... «Здесь хорошо, — думаю я. — Жизнь и есть медленное, но неуклонное погружение в небытие. Не все ли равно когда? Как любил говорить дед Антип: одни раньше, другие опосля...» И жизнь начинает казаться неразборчивым сном. Кто-то торгует горячими пирожками с мясом, молоком в бумажных пакетах, кричит не стеснясь: «Ешь молоко, пей молоко...» Человечество должно бегать, прыгать, строить жилища и реакторы, жить по инструкциям и наставлениям, составленным «предрасположенными». Иначе что-то сломается, остановится, обернется руинами, первобытным голодом и холодом. Вся история людей и есть беспрестанный рост дисциплины и самодисциплины...

В уши лезет что-то пазойливое, дребезжащее, страшно знакомое. Да это же голос Прядкина. Мигом представляется скорбный нервный рот с пучком усов над верхней губой, скрытые тяжелыми очками глаза цвета утиног яйца, большие красные раковины ушей.

Раздираю слипшиеся веки, вспоминаю, где я и зачем, отзываюсь:

— Привет от инфантильного субъекта!

— Прекратить ненужные разговоры!

Опять лейтенант Панышев. Он не очень-то ценит юмор, наш лейтенант. Для шуток есть личное время, а при исполнении служебных обязанностей...

Подходит мичман Оболенцев, берет шланг подачи воздуха. Я должен подсоединить оставшийся.

Работается плохо. Открываем лючки, отдаем заглушки над местами крепления шлангов... Уже пробыли два срока. Прядкин нервничает, инструктирует по телефону. В конце концов не выдерживает, приказывает:

— Выходите немедленно!

— Вас не понял, — откликается Оболенцев и больше не обращает внимания на вопли врача-физиолога. Совершаем свой медлительный танец возле тросов и шлангов. Выходить наверх еще рано, рано... Нас дергает, мотает, уносит в сторону. А мы словно набухшие поленья. Негнущиеся пальцы больше не чувствуют холода. В сознании — узкий пучок. Шланги, шланги...

Оболенцев открывает клапан. Воздух врывается в отсеки подводной лодки.

14

Вот так всегда. Кто-то должен идти первым. Страшно бывает самому первому. Перед ним бездна, неизвестное. А когда с первым ничего особенного не случилось, остальным гораздо легче. Пока сырые, как рыбы, отлеживаемся с мичманом Оболенцевым в тесной рекомпрессивной камере, другие по закрепленным нами тросам идут на грунт. Тосунян протянул еще один трос, три водолаза готовят к спуску трубопровод высокого давления, кто-то прикрепляет направляющий конец у торпедных аппаратов. Никого не раздавило тяжестью воды, никто не умер. Мичман Оболенцев пробыл под водой в два раза дольше меня. Припоровление организма... Даже под невозможное можно подвести научную основу. Придется капитану 1 ранга Иванскому переписывать инструкцию.

Распирает мелкое тщеславие: это мы с Оболенцевым указали дорогу! Теперь с чистой совестью можно отдыхать, обложившись грелками, дремотно слушать нотации Прядкина.

Выхожу из камеры. Привычная картина: Шмаков с напарником натягивают рубаху на Тосуняна.

— Сильнее рывок, Шмаков! — кричит Тосунян. — Это тебе не покойников фотографировать...

У Шмакова перекошенная физиономия: попробуй несколько суток подряд поиграй с грузами и галошами — перекосит, пожалуй!

Море все еще бесится, все превратилось в сплошной дым, но мир кажется прекрасным. Будто заново родился. А что было там, на глубине, — всего лишь сон.

Мне все нравится. Даже лицо Шмакова. В сущности, меня окружают очень хорошие ребята. Конечно, у каждого свои недостатки. А разве у меня их нет? Просто не существует такого заведения, где готовили бы безукоризненных ангелочков. Важно, чтобы человек сам стремился стать лучше. В этом, должно быть, фокус воспитания.

Поясницу ломит по-прежнему. Но даже боль кажется приятной, сладкой.

Капитан 1 ранга Иванский приветливо кивает, жмет руку.

— Отлежался?

— Так точно.

— Ну отдыхай, отдыхай. Лиха беда — начало.

Отдыхать не хочется. На грунт больше не пошлют. Остальное доделают другие. На палубе — медный трубопровод. С помощью этой штуки подводникам подают воздух высокого давления. Помогаю готовить к спуску трубопровод.

Мечется взъерошенный, одуревший от бессонницы врач-физиолог. На грунте старший матрос Кузовкин, любимец Прядкина. Кузовкин — тихий, задумчивый, невысокого роста. Сразу и не скажешь, что водолаз. А под водой уже час двадцать. Врач-физиолог всегда создает ему «щадающую обстановку». Кузовкин верит в медицину (не в пример нам), и врач прямо-таки боготворит его, как потенциального надежного пациента. Их даже высмеивают втихомолку: «Чтоб не измучилось дитя, всегда лечил его шутя». Нас лечит, как мамонтов: загоняет в рекомпрессионную камеру, ругается, зло сверкает очками, прописывает процедуры, от которых самый здоровый человек теряет интерес к жизни. Мы — инфантильные субъекты, не верящие ни в медицинский чох, ни в припарки. Особенно смущают световые ванны: неестественно, неощутимо.

Подводники получили воздух, одежду, еду, лекарства. И все же мы в самом начале пути: лодка по уши увязла в толще ила. Нужно как-то выдернуть ее.

Установка трубопровода высокого давления — дело тяжелое, ответственное. Не всякого пошлешь. Другие-то не особенно задерживаются под водой: побаиваются кессонной болезни.

Оболенцев совсем не по-уставному подмигивает мне.

— Пойдем?

— Опять туда?

Руки непроизвольно тянутся к пояснице. Смотрю с неприязнью на медную гадюку, с которой уже нанянчился здесь, на палубе. Неужели снова на глубину, снова безразличие ко всему, апатия?.. Отказаться как-то неловко. Мичман даже не сомневается в моей готовности по первому же зову кинуться в воду.

— Пойдем.

— С нами Тосунян.

Они уходят раньше меня. От одного вида взрытой

ветром черной поверхности залива как-то неуютно и не хочется идти на трап. Все же иду. Понуждали бы... А то сам. Не успел даже опомниться.

У медного трубопровода в самом деле повадки пресмыкающегося: извивается, выскальзывает из рук. Все сроки пребывания под водой прошли, а мы барахтаемся. Тросы, шланги, трубопроводы... Ни один паук не укреплял с таким старанием свою паутину. Тросы всякие — и стальные, и капроновые. На этот раз меня одолевает тошнота. С Оболенцевым тоже творится что-то непонятное. Все время прислоняется к корпусу лодки, замирает, безвольно опустив руки. Лицо фарфоровой белизны. Но Артем Степанович умеет подавлять слабость.

Если бы так: рванул вверх — и на палубе! Но так нельзя. Приходится бесконечно долго сидеть на выдержках. Через каждые три метра.

Пальцы сводит судорогой. Целых шесть часов предстоит нам подниматься наверх. Четверть суток медлительного восхождения к солнцу, к свету. За шесть часов многое может случиться. За шесть часов можно слетать в Читу, повидать Таню и вернуться обратно.

Подплывают скумбрии, упираются носами в стекло иллюминатора. Где-то рядом Тосунян. Мичман опять остался у затонувшего корабля. Наши силы истощены. Чувствую бесконечное одиночество. Кто я? Может быть, промерзшая насквозь сосулька, а может быть, капелька воды. Ведь человек почти на семьдесят процентов состоит из воды! Великолепный могучий мозг — на восемьдесят. Прочее — сухой остаток. Человечество в совокупности — вечно беспокойный клокочущий океан. И не в переносном смысле, а в прямом. Нужно только взглянуть особым взглядом... Люди — капли. Иногда они сливаются в поток, и тогда для них не существует преград.

Я растворился в синем покое, слился со всеми этими рыбами, кальмарами, стекловидными медузами. Капли. Только капли...

Полудремотное безвольное состояние. Грезится одно и то же. Меня накрывают широкие кроны пальм. Вижу лазурную лагуну, сухие листья на песке. Девушка с огромными печальными глазами поднимает руки, поправляет газовый шарф, поет на своем языке:

Оранг карам дилаут,
Сайя карам дидарат...

И я, не зная странного языка, все понимаю:

Люди тонут в море,
А я топу на суше...

...Электрическая лампочка, участливое лицо Прядкина — все будто сквозь волнистое стекло. У врача фиолетовые веки, увеличенные очками, пористый нос. Рядом на койке стопет мичман Оболенцев.

— Вам лучше? — спрашивает врач, повернувшись к мичману.

— Грудь... Ноги ничего не чувствуют... — хрипит Оболенцев.

Видеть Артема Степановича слабым, беспомощным непривычно. Мы в рекомпрессионной камере, сварном стальном цилиндре. В передней крышке — входная дверь, в задней — шлюз для передачи медикаментов. Внутри камеры — койки, столик, телефон, откидная скамейка, кислородные баллоны. Здесь под повышенным давлением отлеживаются после длительного пребывания на больших глубинах, лечат кессонную болезнь.

Постепенно прихожу в себя, говорю врачу:

— Сделайте же что-нибудь! Мучается ведь... Чего стоит ваша хваленая медицина?..

Пожалуй, не следовало бы так резко. Но Прядкин не сердится.

— Главное — активизировать деятельность сердца, — едва слышно отзывается он.

— Мичман будет жить?

— Не знаю... Будем надеяться.

Вылежав свой срок и очутившись под солнцем и ветром, продолжаю думать над словами врача. Не знает, будет ли жить Артем Степанович. Значит, плохо, очень плохо... Врач обычно успокаивает. Они остались там, под повышенным давлением. Я впервые проникаюсь неприговорным уважением к Прядкину, тихо совершающему свой неприметный подвиг. Я знаю, что происходит в рекомпрессионной камере. Прядкин, чтобы облегчить страдания Оболенцева, приказал повысить давление до десяти атмосфер. Он сам словно погрузился на страшную глубину, навалил на свои костлявые плечи глыбы и теперь много-много часов вынужден будет сидеть в стальном цилиндре с большим мичманом. Нет, никому не ска-

жу о сомнениях врача-физиолога... Ведь это был крик души человека, бессильного помочь умирающему.

Солнце и ветер больше не радуют, и пропало ощущение счастья оттого, что живу, дышу. Болезнь Артема Степановича произвела на всех тяжелое впечатление. Кто бы мог предполагать?..

Водолазы молчат. Но по глазам видно: боятся. До этого не особенно боялись, а теперь боятся почти откровенно. Кессонная болезнь — штука коварная: она может наступить мгновенно и через несколько суток. При закупорке сосудов сердца и мозга — смерти! В настоящее время Оболенцева нельзя даже отправить на буксире в госпиталь. Хочешь не хочешь, а поверишь в медицину.

Из телефонных разговоров капитана 1 ранга с Прядкиным узнаем, что Артем Степанович часто теряет сознание, начался паралич нижней части тела.

С болезненным интересом ищу следы подавленности на лице Иванского. Ведь это он разрешил мичману... А если Оболенцев умрет? Вся ответственность...

Но я, должно быть, еще не научился понимать таких людей, как капитан 1 ранга. Не подавленность, а досада, озабоченность. Он облачается в мягкий скафандр и сам идет на грунт, проводит там несколько сроков. Он торопится и торопит всех. В его возрасте все-таки не стоило бы рисковать...

Да, я никогда не пойму капитана 1 ранга. Во всяком случае, он меньше всего думает сейчас об ответственности за судьбу одного человека, даже если этот человек твой давний друг. Его волнует участь экипажа подводного корабля — и все подчиняется этому. АСО и существует для того, чтобы спасти. Не думает Иванский и о своей жизни, о своем здоровье. Его воля должна выйти победительницей в единоборстве со слепой стихией, и все мы — лишь бойцы. В таком деле могут быть и жертвы. Могут быть...

Я догадываюсь: перед нами не добродушный Дед, любящий подковырнуть, пошутить, а тот Иванский, каким он был двадцать с лишним лет назад, оттуда, из тех времен, которые овеяны для нас огненной романтикой, Иванский — Герой Советского Союза. Для него нет не-

возможного, и человеческая слабость, немощь не может вызвать у него сострадания. Да и сам он никогда не требовал сострадания к себе. Они с Оболенцевым слишком хорошо понимают друг друга, чтобы сожалеть о сделанном. Ведь иного выхода не было. Лишь один раз услышал от капитана 1 ранга:

— Перестарался Артем Степанович. Все равно поставим на ноги!.. Прядкин рано предался меланхолии. Медицину знать — мало; нужно еще знать людей.

В смерть в самом деле не верится. Неужели медицина бессильна? Где тот запас прочности организма, о котором говорил Оболенцев? Мы раздражены, шпыняем друг друга, как будто повинны в том, что случилось. Особенно старается Тосунян. Он прямо-таки не дает проходу Шмакову. У матроса слезы на глазах. Ищет сочувствия у меня, двигает острым кадыком.

— Товарищ старшина второй статьи! Разве я виноват, если с товарищем мичманом приключилось? Нельзя же человека всю жизнь казнить за один проступок. А Тосунян меня до иступления доведет. Добивается, чтобы руки на себя наложил. И наложу!

— Ты уже наложил. Только не руки.

— Прекратите! Как не стыдно, Тосунян!..

Направляюсь к лейтенанту Панышеву, полный злой решимости. Будь что будет!

— Разрешите на грунт?..

Панышев устал, охрип от непрерывных переговоров с водолазами. Нет обычного металла в голосе.

— Пойдете со Шмаковым на пару. Он просился у капитана первого ранга. Разрешил... — И равнодушно отворачивается.

Приятная новость! Должно быть, в самом деле заел Ашот. Чтобы хоть на несколько часов избавиться от приятеля, Шмаков надумал нырнуть под воду. А возможно, тут совсем другое. Совесть заела.

Ждем своей очереди. У Шмакова в лице ни кровинки, губы превратились в белую полосу, скулы окаменели. Но он не отступает. Неожиданно кричит:

— Смотрите, кто идет! «Артемиды». Честное слово, она... В южные моря направляется.

Ничего не скажешь, острое зрение у Шмакова. Мы пока видим лишь точку на горизонте. С удовольствием

помахал бы рукой, послал прощальный привет «Артемиде», но зовут на трап.

Прощай, белая мечта! Прощай, быть может, навсегда. Тебя ждут лазурные лагуны и качающиеся пальмы. Фут воды тебе под килем! Если бы Артем Степанович хоть краем глаза мог увидеть тебя... Зоя Петровна так и не узнает, что любимый человек лежит без сознания, мечется в бреду.

Прощай...

— Рубаху!

— Сигнал!

— Манишку! Груза!..

Должно быть, из меня никогда не получится хорошего водолаза. Вызвался на грунт, самонадеянно рассчитывал заменить мичмана Оболенцева. Другие, мол, больше срока на такой глубине не выдерживают, а ты можешь и два и три... Не героизм, а организм. Ведь на инфантильного субъекта, как на сказочного Ивашку, ничего не действует. Даже к наркотическому действию азота привык. На палубе всегда переоцениваешь свои возможности.

Но азот снова стучится в мозги, обернулся гигантским колесом, наподобие того, какое видел в Москве в парке культуры и отдыха. Колесо вращается медленно, очень медленно.

Шмаков держится молодцом. Никакие азоты на него не действуют. Природа с самого начала задумала его как водолаза. С крепёжным тросом буксира может справиться только физически сильный человек. И Шмаков справляется. На первом же комсомольском собрании расскажу, как он действовал...

Оттягиваем крепёжный конец, заводим двенадцатидюймовый трос. Вернее, все это делает Шмаков. Я едва шевелю руками. Запас жизненной энергии иссяк. Только бы не передалась моя вялость матросу... Иногда теряю сознание. Провалы в памяти все учащаются. Так было с Оболенцевым. Восприятие снова притуплено.

Мерещится исполинский осьминог с большими добрыми глазами в толстых морщинистых веках. Он оплел щупальцами подводную лодку, баюкает ее, напевает что-то басом.

— У вас есть папа? — обращаюсь я к нему. — У меня нет. Убили в Германии уже после войны...

— Ничего, ничего... — утешает осьминог. — Ты сам

взрослый. Жаль, что так и не увидел своего папу. А мой папа — океан... Теперь и у тебя папа — океан...

Спазмы сжимают горло. Я плачу.

— Вам пора выходить!

Бессменный Папышев. Сидит, осоловелый, на бухте пенькового троса, следит за каждым словом водолаза. Следы не следы — все давно едва держатся на ногах. В голове туман. И кажется, что война с тросами, шлангами никогда не кончится. Только ничем не объяснимое упрямство еще заставляет нас идти на грунт, не выисковывая положенного срока в рекомпрессионной камере, рисковать, висеть сутками на выдержках.

— Нас слишком долго заводили, и завод еще не кончился, — говорит Тосунян.

Глупая кибернетика! Нет, Ашот, человек — не машина, не счетно-решающее устройство. Пружина в самом сердце, и завод не кончится до последнего вдоха...

Лишь беспокойство за Оболенцева еще поддерживает во мне искорку жизни. С ужасом замечаю, что думаю о нем в прошедшем времени. Он ценил человеческую мысль, знание. Он говорил: подвиг — это труд. Полеты в космос воспринимаются с праздничной стороны. Ковровая дорожка, Красная площадь, тысячи тысяч людей... А основное, очень повседневное, тяжелое, неприятное до отвращения, скрыто от глаз. О таком говорят: предварительные тренировки, перегрузки. И все. Человек при любых обстоятельствах должен сохранять человеческое достоинство. Если бы люди жили только своим маленьким эгоизмом, если бы они, превыше всего цenia собственную жизнь, не приходили на выручку друг другу, во что превратилось бы человеческое общество?

В ушах до сих пор звучат слова, услышанные некогда от одного скверного старикашки: «Человек не смерти боится, а жизни. Смерти на войне положено бояться...» Оболенцев никогда не боялся жизни. Не боялся он и смерти, глубоко скрывая от всех и от себя глухой инстинкт самосохранения.

Если бы отогреть стынущие ноги! Если бы протянуть руки к таежному костру. «У нас в тайге все же лучше, спокойнее...» Возможно, и права Таия. Но откуда ей знать, где лучше?

Если бы человек заботился только о том, где лучше...

У нас на корабле в рамочке висит фотокопия с телеграммы Максима Горького. Великий писатель поздравляет группу водолазов по случаю спасения ими полярного ледокола «Малыгин», называет людьми сказочной эпегрии. То было время, когда фигура водолаза казалась чуть ли не эпической. На фоне героизма всего народа, полетов в космос, пебывалых открытий наше дело сейчас кажется обычным повседневным трудом. Да мы даже втайне высокие слова писателя никогда не осмеливаемся относить на свой счет. Не по скромности. Нет. Просто те, работавшие в необыкновенно трудных условиях, когда замерзали шланги, а шлемы покрывались кусками льда, стали для нас легендой. Станем ли мы легендой для других? Я говорю не о себе, а о таких, как мичман Оболенцев...

Шторм явно идет на убыль. Небо словно застеклено солнечным светом. Солнце каплет с мокрых скафандров. Промытые чистой водой рубахи сушатся на плечиках, водолазное белье пересыпают нафталином и укладывают на полки, свернуты в бухты сигпальные копцы.

На сердце легко, безоблачно. Артем Степанович будет жить и не останется инвалидом! Вот почему кажется, что над морем посится доброе, приветливое настроение.

«Кибернетический ум» Тосупия объясняет все стечением обстоятельств. Мол, если бы не счастливая случайность... Но что такое обстоятельства? Если бы мы жили изолированно от всего мира, тогда другое дело. Я убежден, что при любых обстоятельствах Оболенцеву не позволили бы умереть, не дали. Были посланы радиогаммы в штаб, и лучшие медицинские силы устремились к нам на эскадренном миноносце. Но их опередила «Артемида».

Она не старалась никого опережать, так как шла своим курсом в южные моря. Морские дороги, как и земные, пакатаны до блеска. Потому-то за короткие сроки мы дважды повстречались с экспедиционным судном.

Остается загадкой другое: почему «Артемида» застопорила ход неподалеку от спасателя? Мы со Шмаковым в это время находились на грунте, потом почти десять часов сидели на выдержках и всю историю узнали от Тосупина.

«Артемиде» вновь приветствовала спасатель гудком, потом запросила: «Не требуется ли помощь?» Им ответили: «Срочно нужна врачебная помощь!»

Тогда от экспедиционного судна отделилась шлюпка, и в ней помимо матросов находились два сотрудника: врач Эгмонт Рубако и Зо́я Петровна Нечаева. Потому-то невольно напрашивается вывод: Нечаева пользуется на «Артемиде» неограниченной властью. Ей, по всей видимости, захотелось перед походом в южные моря взглянуть напоследок на любимого Оболенцева, и вот огромное судно останавливается, вступает с нами в переговоры. Оказывается, нам нужна врачебная помощь. Судно делает специальную «станцию», то есть остановку с научными целями.

На борту спасателя Зою Петровну ждет удар: оказывается, помощь требуется не кому-нибудь, а мичману Оболенцеву! Она близка к обмороку, что-то говорит Эгмонту, и тот в конце концов капитулирует.

— Помогать будет она! — говорит Рубако Иванскому. У капитана 1 ранга возражений нет.

Я представляю, как она с помощью специального приспособления входит в рекомпрессионную камеру, склоняется над лицом Артема Степаповича. Рубако — светило медицины. Ему не нужно растолковывать что к чему. Прядкин вместо ассистента. Прядкин должен быть счастлив, что помогал всемирно известному ученому, этот день запомнится ему до конца дней, и даже правнуки будут вспоминать... Врачи колдуют, чуть ли не упершись лбами, совсем забыв о присутствии Нечаевой. С губ светила медицины срывается крепкое выражение в адрес Прядкина. Не следовало самому...

Оболенцев открывает глаза. Видит Зою Петровну. Что он думает при этом? Возможно, ему кажется, что бред еще не кончился. Он тихо улыбается и снова прикрывает веки.

Нечаева целует его в щеку.

— Теперь все... — говорит она.

— Вот именно, — откликается Рубако. — Через месяц будет исполнять «Танец маленьких водолазов».

Потом «Артемиде» снимается с якоря и уходит в южные моря, в страны вечного лета, где над лагунами склоняются пепельно-серые пальмы. Прибывшим на эскадренном миноносце медицинским силам ничего не остается

ся, как ждать, когда будет поднята затонувшая лодка: подводникам-то наверняка помощь потребуется!

Не нахожу себе места, смотрю повлажневшими глазами на темную поверхность моря. Да и другие нервничают, суетятся. Ведь наступает решающий момент! Буксиры пытаются выдернуть лодку из засосавшего ее ила. Капроновые тросы звенят, как струны, — вот-вот лопнут! Так же натягиваются до звона нервы, того и гляди, оборвутся. Тоненькие вибрирующие ниточки... Уцепился пальцами за леера мертвой хваткой, натужился, будто в самом деле в силах чем-то помочь захлебывающимся в сутолоке воды буксирам. Ну, милые, ну!..

В самый напряженный момент отвлекает заместитель по политической части капитан-лейтенант Зырянов:

— Рекомендации в партию собрали?

— Одной не хватает.

— Нужно срочно достать. Завтра партийное собрание.

— Где же ее взять?

— Советую обратиться к капитану первого ранга Иванскому. Думаю, не откажет.

Я смущен, даже испуган. Приводит в замешательство даже сама мысль о том, чтобы обратиться с какой-либо просьбой к командиру отряда. Ведь это личная просьба — так я понимаю. За какие такие заслуги Иванский станет рекомендовать меня? Зачем лезть именно на глаза к самому большому начальнику, Герою Советского Союза? Что подумают ребята, что скажет Иванский?

Легкая улыбка скользит по губам Зырянова. Он-то все понимает. Недаром Иванский называет его комиссаром.

— Капитан первого ранга интересовался, в партии ли вы. Он готов поручиться за вас. Обращайтесь!..

Мне почему-то становится душно.

— Показалась, родная!.. Ура, братцы!..

Подводный корабль появляется из волн в тот момент, когда один из капроновых тросов лопается. Нет, не сон. Открывается люк рубки, и на влажную палубу выходит капитан-лейтенант Чапыгин. За ним появляются другие, размахивают пилотками. Лодка совсем-совсем близко, можно различить лица. Кричим кто во что горазд. Забыты волнения, невероятная усталость. Живы, живы!..

Но где же Алька Пискунов? Почему не на палубе? Может быть, в тяжелом состоянии?..

Бодман спускает на воду шлюпку, приглашает меня. Нужно передать подводникам кое-что из продуктов, лекарства, доставить врачей.

Подводники обнимают, целуют нас. Оказывается, даже знают мое имя. Благодарят. Тут и у камня брызнут слезы...

— А где Пискунов? Что с ним?

На меня глядят с удивлением, хохочут.

— Другка потерял! Как же так? Месяц, как у него кончился срок службы. Устроился механиком на «Артемиду». Одним словом, отдал концы.

Не люблю драться, но сейчас с удовольствием надавал бы ему тумаков. Я ведь из кожи лез...

Опять Алькины фокусы. Пока мы поднимали затонувший транспорт, Пискунов успел уйти в запас.

Возвращаюсь на спасатель в глубокой задумчивости. Лейтенант Панышев смотрит как-то странно, хлопает себя по карманам.

— Совсем забыл. Девушка с «Артемиды» просила передать вам письмо.

— Света Суханова?

— Не помню. Та, что была с врачом.

Зоя Петровна?.. Держу в руках конвертик. Может быть, что-нибудь для Артема Степановича? Адресовано на мое имя. После недолгих колебаний вскрываю конверт. Алькины караули.

«Дорогой друг! Скажу тебе по-дружески: все обстоит отлично. Пользуюсь случаем, передаю писульку с Зоей Петровной. Извини, старче, за мелкий розыгрыш и не делай страшных глаз: я влюблен не в симпатичную Зою Петровну, а в море. Потому и подался на «Артемиду». Что же касается подруги жизни... то мало ли девчат! Возьми, к примеру, хотя бы хорошо тебе известную Свету Суханову. Мы быстро нашли общий язык и думаем в одной плоскости, хотя, как известно, мышление должно быть многогранным. Питаюсь в основном вареными кальмарами и ламинариями. Как говорил великий классик: море играло, море смеялось...»



**Таким был
Рихард Зорге**



Чиновники немецкого посольства в Токио переживали трудные дни: всего несколько месяцев назад президент Германии Гинденбург назначил рейхсканцлером Гитлера — «богемского ефрейтора», «маляра из Браунау», человека с весьма сомнительным прошлым, который до весны 1932 года не был даже немецким гражданином. Веймарская республика пала, к власти пришли наци.

В затхлый мирок посольства и всей немецкой колонии ворвалось что-то тревожащее, грозное. Вести приходили чудовищные: поджог рейхстага; в тюрьмы и концентрационные лагеря брошено почти семьдесят тысяч граждан; Гитлер наделен чрезвычайными полномочиями; все партии, кроме национал-социалистской, запрещены; на площади Оперы в Берлине сожжены сотни тысяч книг...

Отсюда, из Японии, казалось, что там, в Берлине, все сошли с ума. События развивались с ужасающей стремительностью. На приеме, организованном для аккредитованных в Германии американских и английских журналистов, Гитлер открыто заявил, что между коммунизмом и Германией не может быть компромисса и что Германия будет целиком занята поисками «жизненного пространства» на востоке Европы. Розенберг помчался в Лондон и на интимном обеде, устроенном в его честь консерваторами, изложил план «уничтожения большевиков с полного одобрения и по поручению Европы».

Но больше всего сотрудников посольства встревожили слова Геринга, заявившего не так давно в прусском ландтаге: «Кто завоевал должности, тот и будет ими владеть!» Сказано прямолинейно. Распространяется ли заявление на чиновников министерства иностранных дел? Каждый беспокоился лично за себя, за свое местечко. Над Токио

дрожит синее-синее небо, курортный сезон в разгаре; в воскресные дни почти вся немецкая колония выезжает на фешенебельный морской курорт Камакуру. И даже как-то не верится, что там, в фатерланде... Напрасно посол доктор Герберт фон Дирксен старался успокоить приунывших чиновников. Никто не чувствовал твердой почвы под ногами. Даже сам фон Дирксен.

Немецкая колония в Токио насчитывала около двух тысяч человек. Кроме посольских сюда входили представители различных германских фирм, например служащие фирмы «Иллиенс и К°», владельцы ресторанов и кабаре, дельцы, коммивояжеры, врачи, семьи офицеров, стажирующихся в японских войсках, работники торгпредства, сотрудники Германского информационного агентства — ДНБ.

Вся эта разношерстная публика разделилась на три лагеря: на скептиков и хулителей нового режима, на нейтральных и на откровенно фашиствующих. Последние превратили ранее безобидный немецкий клуб, какие создаются в любом иностранном государстве, где оказываются вместе хотя бы три немца, в центр идеологической обработки членов колонии, стали устраивать здесь собрания, вечера. Прежний уют в клубе, когда можно было, не задумываясь о политике, пить пиво, есть сосиски и неторопливо играть в скат, растворился в истерических выкриках наци, в шумных партийных сборищах.

Иногда из Нагои приезжал в Токио проводить жепу стажер германской армии в японских войсках некто подполковник Эйген Отт. Для всех он был загадочной фигурой. Говорили, якобы Отта прочат в помощники военного атташе, что было маловероятно, так как армейский офицер есть армейский офицер, и дипломат из него, разумеется, не получится. В Японию Эйген Отт приехал не так давно. Оставил молодую жепу под присмотром посольских дам, а сам помчался в Нагою в артиллерийский полк исполнять воинский долг. Когда в воскресные дни Отт делал пабеги на Токио, то сильно напивался, поносил «богемского ефрейтора» и старался вызвать на откровенность других. Его сторонились, не без основания считая абверовцем — военным разведчиком. Да и кем еще мог быть стажер в иностранных войсках? Он сам распустил о себе слух, что будто бы высокопоставленные покровители из генерального штаба постарались отправить его подальше от третьего рейха, спасая от возможных неприятностей.

Но в это мало кто верил. Каждый держал язык за зубами, не зная, как повернутся события. Информации английских, французских и американских газет и верили и не верили. Газеты третьего рейха изображали все события в радужных тонах. Всех приезжающих из Германии в посольстве встречали с болезненным интересом. Хотелось получить новости из первых рук, расспросить очевидца.

Вот почему, когда 6 сентября 1933 года в строгих залах посольского особняка появился прибывший «оттуда» аккредитованный в Японии корреспондент германских газет «Франкфуртер цейтунг», «Берзен курир» и голландской «Амстердам хандельсблат» Рихард Зорге, доктор государственно-правовых наук, все потеряли дипломатическую сдержанность. Всего несколько часов назад корреспондент сошел с океанского лайнера в Йокогамском порту, а очутившись в Токио, конечно же, первым делом направился в германское посольство, чтобы официально зарегистрироваться. Он вовсе и не ожидал, что к его скромной особе будет проявлен столь бурный интерес. Впрочем, он скоро сообразил, что сотрудников интересует не его особа, а события на родине. Посыпались вопросы. Некоторые носили явно провокационный характер. Зорге отвечал спокойно, обстоятельно. В фатерланде ничего особенного не произошло, все остается по-прежнему. Стоит ли придавать значение мелким беспорядкам, которые неизбежны в подобной ситуации?..

Он был высок, строен, красив, одет со вкусом, этот доктор Зорге. Все изобличало в нем человека утонченного, воспитанного. Он не старался произвести эффект, оглушить сенсацией. Но каждое слово его звучало весомо, угадывалась широкая осведомленность; даже неискушенный мог догадаться, что послан он сюда не случайно и, возможно, с особыми полномочиями. Не навязчиво, не прямолинейно, а своим рассудительным тоном, рассказами о пустячках из быта третьего рейха, мягким юмором, которым была окрашена его речь, он сумел внести успокоение в массу посольских чиновников.

Зорге сразу разгадал этих людей: они придавлены страхом. И теперь, после расспросов, каждый решил, что в Токио приехал очень обаятельный, милый человек. Голубые глаза его с прищуром смотрят весело, уверенно, движения неторопливы, скупы. Так может вести себя в незнакомой обстановке только сильный человек, хозяин

положения. Да он и был хозяином положения, так как знал, с кем имеет дело: все те же немецкие чиновники, зараженные великогерманской амбицией, реакционные, агрессивные, трусливые и аполитичные приспособленцы, соглашатели. А беспринципность, соглашательство, приспособленчество, как известно, синонимы слова «оппортунизм». Позже бывший германский дипломат В. Путлиц охарактеризует этих людей так: «Среди всего чиновничества Веймарской республики не было группы более далекой по своим взглядам от общественного развития и потому более подверженной оппортунизму, чем высшее чиновничество министерства иностранных дел».

Приглашенный послом Дирксеном в кабинет, корреспондент Зорге заговорил более откровенно. Он извлек из кармана рекомендательные письма в министерство иностранных дел Японии, визированные крупными чиновниками японского посольства в США. Среди документов были рекомендации к высокопоставленным японским дипломатам Тосио Сиратори и Кацудзи Дебути. Дирксену этого было больше чем достаточно. Зорге коротко изложил цель своего приезда в Японию: ему как журналисту надлежит установить самый тесный контакт с японским МИДом. Германскому правительству нужна обстоятельная информация о политических настроениях в Японии по всем каналам, и тут газетчикам принадлежит не последнее слово. Очень тонко, почти иносказательно, Зорге намекнул на возможность в ближайшее время более тесных отношений между третьим рейхом и страной восходящего солнца.

Когда посол стал расспрашивать о Берлине, Зорге попытался придать объективность своему рассказу, объясняя действия нацистов необходимостью. Потом показал еще один документ: справку, подтверждающую чистокровное арийское происхождение гражданина третьего рейха Рихарда Зорге. Вскользь заметил: готовится закон, устанавливающий, что заниматься журналистикой и вообще литературной деятельностью могут лишь лица арийского происхождения, имеющие немецкое гражданство. Да, об этом он слышал от начальника прессы имперского правительства Функа. Случилось так, что перед отъездом Зорге в Японию нацистский пресс-клуб в Берлине дал в честь его обед, на котором присутствовали Функ, Геббельс и начальник иностранного отдела нацистской партии Боле.

Нет, доктор Зорге не хвастал высокими знакомствами. Он упомянул о них лишь для того, чтобы лучше передать атмосферу в Берлине, и посол это понял. Он знал, что глава министерства пропаганды Геббельс благоволит к «Франкфуртер цейтунг», а Зорге был представителем этой газеты и тем самым как бы возвышался над другими немецкими борзописцами, входящими в ДНБ. Фон Дирксен понял, что имеет дело не с рядовым журналистом, а с человеком, которого считают своим в правительственных кругах, с человеком широко информированным. Как о чем-то общезвестном, Зорге говорил о поездке Розенберга в Лондон, о встрече Гитлера с американскими банкирами Олдричем и Манком, состоявшейся месяц назад.

На Дирксена Зорге произвел выгодное впечатление. Посол посоветовал ему наведываться иногда в посольство и к нему лично. Для начала Зорге получил приглашение на обед.

А впереди были визиты руководителю ДНБ, представителям служб информации различных министерств, знакомства с иностранными пресс-атташе, пресс-конференции...

Вернувшись в номер гостиницы «Мегуро», Зорге глубоко задумался. На размышления навел маленький обрывок газеты: в номере кто-то побывал, кто-то рылся в чемоданах немецкого журналиста. Старались не оставить следов. Но они, по-видимому, не догадывались, что имеют дело с человеком обостренной наблюдательности. Дорожный транк-чемодан вскрывали. Оторвался маленький кусочек газеты, которой были прикрыты вещи. Кто-то интересовался содержанием транка. Кто?..

За годы разведывательной службы Рихард привык наблюдать за собой как бы со стороны. Так было в Шанхае, так было в нацистской Германии. Теперь, стоя у открытого окна, он анализировал каждый свой шаг за сегодняшний день. Достаточно ли естественно вел он себя? Естественность и простоту Зорге считал пормой поведения разведчика. Он ненавидел всякую таинственность. Его можно было бы уподобить ученому-натуралисту, который во всеоружии современных знаний отправляется в дикие джунгли, где на каждом шагу подстерегает опасность. Он с полным правом мог сказать о себе: «Во мне проснулась страсть исследователя, страсть, которая уже больше никогда не покидала меня». Да он и был ученым,

исследователем. Только ему всегда приходилось пробираться через самые опасные джунгли — через джунгли запутанных человеческих отношений. Здесь каждый неверный шаг может привести к катастрофе. Нужна особая бдительность, мозг должен бодрствовать беспрестанно.

Да, сегодня корреспондент Зорге вел себя весьма естественно. С фон Дирксеном проявлял холодную, сдержанную откровенность. Он понял этого чопорного, суховатого чиновника. С таким следует вести себя осмотрительно, не павязчиво. Доктор Дирксен и доктор Зорге уже почти нашли общий язык, но до их сближения еще далеко. Инициатива должна всегда исходить от доктора Дирксена, доктору Зорге остается терпеливо ждать. Доктор Дирксен неизбежно придет к Рихарду Зорге, в противном случае советскому военному разведчику нечего делать в немецком посольстве. Но путь к черствому сердцу посла очень извилист, полон препятствий. Старый оппортунист не имеет прочных политических убеждений. Во имя карьеры и обеспеченной жизни он готов служить кому угодно, будь то Гинденбург или же наци. Наци оказались сильнее — и Дирксен целиком на их стороне. Япония ему подосла, он мечтает о Европе. Но час его еще не настал.

До приезда Рихарда Зорге в Японию Дирксен не имел о нем ни малейшего представления — и в этом была слабость посла. Советский разведчик заблаговременно изучил досье на Дирксена, знал, с кем придется иметь дело, — и в этом была сила Зорге. Он изучал посла, как изучают инфузорию под микроскопом.

Начало как будто неплохое. И все же ощущение неблагоприятности, тайной опасности не покидало Рихарда. Час назад он пережил сильное нервное потрясение: повстречался с женой стажера Отта. Лицо показалось знакомым. «Рихард Зорге! — воскликнула она. — Какими судьбами? Вы несколько не изменились...» Эту даму он в самом деле встречал раньше в Германии. Тогда она строила из себя «краспую», а теперь вышла замуж за абверовца. «Вы ошиблись, фрау Отт, я все-таки сильно изменился, — сказал Рихард сурово. — Мои старые добрые друзья Геббельс и Функ наконец-то нашли достойное применение моим способностям: я аккредитован здесь от «Франкфуртер цейтунг»! Она побледнела. По-видимому, решила, что раньше, в те смутные годы, Зорге был провокатором в рабочей организации. Теперь, очутившись здесь, он может

припомнить все, что она тщательно скрывала даже от мужа. Наконец она справилась с минутной растерянностью, протянула руку и произнесла кокетливо: «Надеюсь, мы останемся приятелями. Пусть прошлое останется прошлым. Стоит ли его ворошить?..» Он пожал эту маленькую холодную руку, улыбнулся, пообещал: «На меня можете положиться. Жизнь — сложная штука».

С фрау Отт все как будто улажено. Намечается еще одно знакомство. Как к нему отнестись?

Сегодня секретарь посольства фрейлейн Гааз что-то пристально вглядывалась в лицо Рихарда. Уж не встречались ли они раньше? Он посмотрел на нее открыто, без улыбки, и фрейлейн смутилась. Рихард тоже застеснялся, рассмеялся и уже доверительным тоном сказал, что новичку в этом азиатском городе на первых порах придется туго без хорошего гида. Неожиданно фрейлейн пожаловалась на скуку здешней жизни. Тогда он все понял и успокоился. Этот вариант следует обдумать. Легкий флирт не помешает. Нужно иметь своих людей в посольстве, где пузатые сейфы до отказа набиты государственными тайнами... Его жизнь была подчинена одной идее, и то, мимо чего в другой раз он прошел бы без внимания, приходилось брать на вооружение, использовать с максимальной пользой для этой идеи.

Ему припомнилась японская пословица: «Принимаясь за большое дело, помни о мелочах». О мелочах пужно заботиться беспрестанно: например, отдать белье в стирку, привести в порядок костюмы. Прежде всего — респектабельный вид... Шкатулка набита визитными карточками, отпечатанными еще в Германии. Дипломаты любят лоск. У каждого общественного круга своя обрядность, и если вы хотите казаться своим, то должны быть посвящены во все тонкости ритуала, знать заповеди элегантности, дабы своим видом не шокировать окружающих. От человека с дурными манерами сразу же отворачиваются, и тогда все его планы обречены на провал. Безукоризненный вкус — вот чем можно покорить этих пустых, самовлюбленных людей, считающих себя «особой породой». Необходимо сразу же вступить в токийскую ассоциацию иностранных корреспондентов... Проппикновение в общество — наука хоть и пустая, но сложная. Здесь Зорге был в своей стихии. Он обладал личным обаянием, чувством юмора, умел читать мысли других.

Однако Зорге понимал, что всего этого мало, чтобы держаться на поверхности. У каждого разведчика есть своя «легенда». Сюда включается и его прошлое. С точки зрения властей, прошлое должно быть «безупречным». Прошлое — та ниточка, дернув за которую можно легко разрушить с великими усилиями возводимое здание. Это как в пьесах Ибсена. Прошлое неумолимо стоит за вашей спиной. Достаточно какому-нибудь дотошному гестаповцу заинтересоваться прошлым Рихарда Зорге, извлечь из пыльных архивов его полицейское «Дело» — и все полетит к черту! Прошлое Рихарда Зорге там, в Германии.

И не только в Германии...

...Зорге стоял у раскрытого окна. Город утопал в вечернем золотистом мареве. Громоздились дома безликой архитектуры и дома в стиле «Азия пад Европой» — каменные коробки с колоннами, увенчанные прогнутыми крышами; под сенью гигантских криптомерий угадывались силуэты храмов и кумирен. Улицы были запружены пешеходами, дженерикшами, автомобилями. Сновали продавцы всякой снедью, доносились их резкие выкрики и звуки трещоток. Мужчины в пиджачных парах и котелках о чем-то оживленно разговаривали; постукивали по тротуару сандалиями-дзори женщины с высокими затейливыми прическами, одетые в кимоно с широким поясом — оби; сухощавый старик в грибовидной шляпе переносил в корзинах на коромысле весь свой домашний скarb и... детей.

Это была Япония — страна давней мечты Рихарда. Он знал ее не только по романам Пьера Лоти и по справочникам. Несколько лет посвятил он изучению ее экономики, истории, культуры, владел японским языком, разбирался в структуре хозяйства, мог рассуждать о концентрации производства; не были для него тайной и взаимоотношения монополий, а также все нюансы политики, проводимой правящими кругами. Важнейшими органами японской абсолютной монархии являлись совет старейшин — Генро, тайный совет и кабинет министров, состоящий из премьер-министра и тринадцати министров. Военного разведчика Зорге интересовала не экзотика, а политика. Так же хорошо знал он и Китай, владел несколькими диалектами китайского языка. В Японию приехал крупный востоковед. «Уровень моих познаний, необходимых для работы в Японии, — писал позднее Зорге, —

был несколько не ниже того, что давали германские университеты. Я разбирался в экономике, истории, политике европейских стран; в течение трех лет пребывания в Китае я изучил его древнюю и новую историю, его экономику и культуру, провел широкие исследования политики этого государства. Еще будучи в Китае, я взялся за написание нескольких статей о Японии, с тем чтобы составить о ней общее представление. Следует заметить, что, занимаясь этим предварительным изучением Японии, я рассматривал все вопросы с марксистской точки зрения. Может быть, мои читатели не согласятся со мной, но лично я убежден, что марксистский подход к изучению страны со всей необходимостью требует анализа ее основных проблем в области экономики, истории, социальных проблем, политики, идеологии и культуры...»

Он мог бы с успехом вести несколько курсов на кафедре, стать почтенным ученым, обрасти учениками и последователями. Мог бы... Если бы его активная натура не требовала немедленного действия на благо людей. А высшим благом были мир и безопасность социалистического государства. Ради этого стоило отказаться от кабинетной жизни ученого, рисковать собственной головой. «Если бы мне довелось жить в условиях мирного общества и в мирном политическом окружении, то я бы, по всей вероятности, стал ученым. По крайней мере, я знаю определенно — профессию разведчика я не избрал бы».

Он горячо любил и глубоко ненавидел.

Где-то среди шести миллионов токнйцев затеряны его радисты Эрн и Бернгард, журналист Бранко Вукелич. С Вукеличем они встретятся на первой же пресс-конференции. Бранко приехал в Токпо еще в феврале. Приехал с женой датчанкой Эдит и пятилетним сыном.

От сознания, что Бранко, Эрн, Бернгард где-то рядом, Рихард не испытывал больше гнетущего одиночества. Когда будет создано ядро организации, от него потянутся нити во все концы Японии, на континент, в Китай, в Маньчжурию. А пока нужно взрыхлять, готовить почву, легализоваться...

«Поспешайте не торопясь...» — так любил говорить «старик», Ян Карлович Берзин. Именно он советовал сперва прочно врасти в японскую почву, а уж потом развернуть широкую деятельность.

И сейчас, находясь среди незнакомого и враждебного мира, Зорге унесся мыслями в далекую Москву. Сказывалась привычка к методическому мышлению: очутившись на японской земле, он должен был еще раз уяснить все детали задания. В своих заданиях Берзин никогда не был категоричным. Он определял лишь общее направление работы, своего рода магистральную линию. «Ну а что касается остального, то действуй сообразно обстоятельствам».

Это была их последняя встреча перед поездкой Зорге сюда, в Японию.

Руководитель советской разведки не спешил говорить о главном. Рихард совсем недавно вернулся из Китая, и ему не терпелось узнать, почему его в срочном порядке отозвали в Москву. А Берзин прохаживался по кабинету, бросал лукавые взгляды на Зорге и говорил о вещах, далеких от работы.

Их связывала давняя сердечная дружба. Оба испытывали радость оттого, что снова встретились и могут просто так обменяться мнениями о прочитанных книгах, вспомнить прошлое. «Старик» был всего на пять лет старше Рихарда.

«Я часто вспоминаю афоризм какого-то древнеримского философа, кажется Сенеки: «Судьбы ведут того, кто хочет, и тащат того, кто не хочет», — проговорил Берзин с улыбкой. — У нас с тобой получается что-то вроде этого. Помню, когда я был слесарем, то мечтал стать инженером. Вот и засело в голову. Попал в учительскую семинарию, а мечтал удрать в техническое училище. Но человек, наверное, вынужден поступать по обстоятельствам, а мечта продолжает жить сама по себе. В двадцать втором занимал большую должность в армии, а в анкете написал: «Хочу получить техническое образование». В статистическом отделе ЦК за голову схватились: Берзин хочет стать инженером! Зачем ему это?..»

Рихард тогда слушал молча. Он-то знал Яна Карловича: обычный обходной маневр!

Легкое лукавство было в характере Берзина. И многие обманывались, принимая эту черту характера за простоту. Нет, перед Рихардом был очень сложный человек, человек незаурядной судьбы и высокой культуры.

Сын батрака-латыша, Ян Берзин с пятнадцати лет стал подпольщиком-революционером. В шестнадцать лет воен-

ный суд в Ревеле приговорил его к смертной казни. Казнь заменили тюрьмой. Потом — ссылка в Сибирь, участие в революции, в гражданской войне. Был заместителем народного комиссара внутренних дел Латвии, командиром боевого отряда, работал с Дзержинским. Посещал пролетарский университет и академию общественных наук. Великолепно владеет немецким языком...

Зорге всегда поражала проницательность Берзина в вопросах международной обстановки. Из вороха событий больших и малых Ян Карлович умел отобрать самое существенное. У него было чему поучиться. И Зорге учился.

Он знал, что разговор в конечном итоге перейдет в область международных отношений, ждал этого и не ошибся. Ведь оба жили не бытовыми мелочами, а событиями мировой значимости, подчиняли им всю свою жизнь. В таких маленьких диспутах они оттачивали мысль, тренировали политическое чутье. Тут скрещивались два сверкающих ума, а в результате этого рождалась холодная, отточенная истина, так необходимая обоим для ориентировки, для работы.

О чем говорил тогда Берзин Рихарду?

О том, что с приходом Гитлера к власти Германия превращается в потенциального противника номер один. На третий день после прихода к власти новоиспеченный рейхсканцлер призвал к восстановлению политической и военной мощи Германии, с тем чтобы использовать эту мощь для завоевания Советского государства. Правящие круги США, Англии и Франции почти открыто поддерживали гитлеровцев, надеясь их руками расправиться с Советским Союзом и стабилизировать положение мировой капиталистической системы. Над возрождением немецкой военной машины трудились шестьдесят американских предприятий, расположенных на территории Германии. В опасную игру включились финансово-промышленные группы Моргана, Рокфеллера, Дюпона, Форда, банк Англии. Не так давно примчавшийся в Берлин вице-президент американского концерна «Дюпон де Немур» договорился с руководителями «ИГ Фарбениндустри» о предоставлении рейху новейшей научно-исследовательской и военно-технической информации.

Рихард знал, что правящие круги США, Англии, Франции толкали и Японию на выступление против Советского

Союза. Обстановка на Дальнем Востоке обострилась до крайности. Япония отказалась подписать с Советским Союзом пакт о ненападении. Она превращалась в наиболее вероятного союзника третьего рейха.

Неожиданно Берзин спросил: «Тебе известно, что такое операция «Рамзай»?» Зорге промолчал. Вопрос не требовал ответа.

«Необходимо выяснить, каковы планы Германии и Японии, откуда Советскому Союзу грозит главная опасность, — проговорил Берзин. — Это и будет операция «Рамзай». Ее цель — защита Советского Союза!»

Рихард насторожился. Даже лучшим друзьям Берзин никогда не раскрывал свои замыслы.

«Операцию провести успешно возможно лишь на территории самой Японии, — продолжал Берзин. — Если нам удастся создать разведывательную организацию в Японии, а мы обязаны сейчас ее создать, то отпадет необходимость добывать информацию окольными путями».

Зорге поднялся. «Почему у операции такое странное название — «Рамзай»?» — спросил он.

Берзин взглянул на него в упор: «Рамзай» — значит «Р. З.», а «Р. З.» — это Рихард Зорге!»

Рихард вздрогнул.

«Такое важное дело, как создание организации в очень тяжелых условиях Японии, — сказал Берзин, — мы можем доверить человеку исключительных личных качеств. Я не хочу делать тебе комплиментов. В Китае ты успешно справился с заданием. Если хочешь, рассматривай это как стажировку. А теперь тебя ждут дела большого масштаба».

Рихард мог бы сказать, что продолжительная работа в Китае измучила его вконец, что он мечтал всерьез заняться научными исследованиями и что он только что женился на Кате Максимовой. Имеет человек право на личное счастье, на спокойную работу?.. Ведь он только-только вернулся.

Но он ничего не сказал, даже не нахмурился. Берзин и сам знал все это хорошо. Мягкий в обыденной жизни, он становился непреклонным, когда дело касалось интересов Советского государства. Тут все личное отодвигалось на второй план. Он требовал героических дел во имя Советского Союза. Это знал Зорге. Он сам был таким.

Берзин строил разведку на принципе добровольности, особенно если речь шла о выполнении таких замыслов, как операция «Рамзай». Если бы он уловил хотя бы тень сомнения на лице Зорге, то немедленно отстранил бы его от этого дела. Но он с самого начала не сомневался в Рихарде.

Рихард принял вызов. Это было его дело, его «операция»! Грандиозный замысел, который сравнить ни с чем нельзя... Оба понимали это. Взглянули друг на друга и рассмеялись.

«Вот и прекрасно! — сказал Ян Карлович. — Что касается остального, то действуй сообразно обстоятельствам. А вот «дела» и фотографии твоих помощников...»

Каждая деталь операции была строго продумана. Железная мысль Берзина уверенно вела Рихарда по опасным тропам разведчика.

О намерениях третьего рейха можно узнавать через германское посольство в Японии. Следовательно, необходимо утвердиться в посольстве.

Путь в Токио лежит через Германию.

И Рихард отправился в Германию.

Он шел на большой риск, но риск оправданный. Нацистам, занятым интригами и дележом власти, некогда было выяснять личность какого-то газетчика Зорге. Третий рейх еще только рождался из кровавого хаоса. А кроме того, Рихарда путали с довольно известным немецким журналистом Вольфгангом Зорге, который тоже бывал в Китае. И главное, в одно время с Рихардом.

Почти четыре года прошло с тех пор, как Рихард последний раз был в Берлине. Мать и сестры обрадовались возвращению Ики. Старший брат испугался. Он-то догадывался, откуда приехал Ика. Испугался главным образом за себя: успел разбогатеть, а тут такой сюрприз... Рихард успокоил: приехал ненадолго, мечтаю уехать куда-нибудь подальше, в Америку или Японию. Но старший брат должен помочь, ввести в деловые круги, познакомиться с влиятельными людьми. Ведь он, Рихард, давно отказался от всякой революционной деятельности, стал журналистом, побродил по Востоку, снова надумал вернуться туда...

Старший брат с рвением принялся за работу: только бы спровадить побыстрее куда-нибудь, хоть на край света...

Рихард легко вошел в деловые круги, заручился рекомендациями. 3 июля он уже мог сообщить Берзину: «Интерес к моей личности становится чересчур интесивным». Он жил, держался на нервах. Но успех ему сопутствовал. В журналистских кругах его сразу признали. Он не жалел денег на кутежи, цитировал наизусть тупые афоризмы из «Майн кампф» и прослыл ярким приверженцем нацистов.

Был резерв. На крайний случай: разыскать старых подпольщиков и через них устроиться в какую-нибудь влиятельную газету, от которой можно получить заграничную командировку. Но в Германии многое изменилось за десять лет. Этот путь Зорге сразу же отверг. Лучше действовать напрямик.

Газета «Франкфуртер цейтунг», узнав о намерении Зорге отправиться в Японию, охотно заключила с ним договор. Это была победа, так как к газете благоволил Геббельс. Удалось заключить соглашения и с другими периодическими изданиями.

Дерзкая вылазка в стан врага завершилась полной победой.

И вот он в Токио... «Старик» будет доволен. Операция «Рамзай» началась.

...Кто же все-таки рылся в его вещах? Это могли быть агенты токко кэйсацу — особой полиции министерства внутренних дел — или же агенты кемпетай — тайной полицейской организации с широкими полномочиями по охране японского образа жизни от влияния Запада. Японская гражданская полиция, жандармерия или же специальная тайная полиция — гадать было бессмысленно. За каждым иностранцем здесь установлен тщательный надзор с первого же часа его пребывания на японской земле. Зорге припомнил, с каким подозрением оглядывали его таможенные чиновники в Йокогамском порту.

Зорге редко улыбался, оставшись один на один со своими тревожными мыслями, но сейчас он криво усмехнулся: работа японской полиции, обыск «на всякий случай». Что ж, хорошее предупреждение, мина-сан (господа)! В будущем придется перебраться в отдельный особняк.

Как всякий сильный человек, Рихард Зорге не боялся за свою жизнь — она была подчинена высокой цели. Он страшился за дело. Он опасался, что тщательно продуманная операция...

мальная и разработанная операция «Рамзай», на которую Берзин возлагал так много надежд, может провалиться из-за какого-нибудь упущения, недосмотра, досадной мелочи.

Прошлое, прошлое... Оно как нацеленный револьвер: может выстрелить в любую минуту.

2. «ПРОФЕССИЯ — ИНТЕЛЛИГЕНТ.

«ПРИЗВАНИЕ — ПАРТИЙНАЯ РАБОТА»

Я сам себя обрек
На вечные скитанья.
Не нужен страпнику покой...

(Из юношеских стихов Р. Зорге)

Он часто размышлял о своем прошлом, так как все его прошлое, по сути, было лишь отправной точкой для того, что надлежало совершить теперь. Операция «Рамзай» подведет какой-то большой итог всей его жизни.

На подвиг не дается права свободного выбора. Это право вначале нужно завоевать, взять с боем примерами своей биографии. На подвиг посылают того, кто достоин подвига, ибо подвиг совершается во имя большой и благородной цели. Но способен ли Рихард Зорге на подвиги?..

...Его прошлое начинается на юге России, в Азербайджане, на Апшеронском полуострове.

Полоска земли, напоминающая по очертаниям клюв горного орла. Промысловые поселки, пропахшие нефтью, — Сабунчи, Балаханы; Сураханы. Тяжелый зной, который не смягчается даже ветром хазри. Ленивые, мутно-зеленые волны Каспия. Край нефти... Она сочится из-под ног, пропитала казармы и катухи — убогие жилища рабочих. Здесь много туберкулезных — нефтяные газы разъедают легкие. Руки людей покрыты незаживающими язвами. Черные вышки — как памятники тысячам загубленных жизней рабочих-нефтяников.

На одной из вышек трудится некто Адольф Зорге, рядовой техник по бурению скважин. Это крупный, благообразный немец лет сорока. Он немногословен, дело свое знает, аккуратен даже в мелочах. Адольф никогда не кричит на рабочих, не грозит штрафами, охотно принимает приглашения на свадьбы, крестины, не чурается черного

люда, и за это его уважают. Больше всего на свете он ценит покой. Но жизнь беспокойна...

Проклятая нефть всех свела с ума. Особенно не любит Адольф так называемые шайтан-базары. Стоит забить фонтану, как вокруг него начинается шайтан-базар: жадные предприниматели за баснословные деньги скупают соседние участки, бросают сюда партии буровых рабочих. Скорей, быстрей, без передышки!.. Тут мелкий предприниматель за несколько месяцев может превратиться в миллионера. Предприниматель сам, выпучив безумные глаза, день и ночь просиживает на вышке, поторапливает, подстегивает, сулит награды. Жадность отвратительна.

Адольф скуп, но не жаден. Рисковать, вкладывать капитал в сомнительные участки — не его занятие. Он честным трудом зарабатывает свои деньги. Одевается скромно, кроме пива, ничего не пьет, живет по пословице: «Рубль сэкономленный — все равно что рубль заработанный».

В Россию Адольф Зорге приехал в 1885 году. Сперва обосновался в Аджикенде, в немецкой колонии, а потом перебрался в Баку.

Вести о несметных нефтяных богатствах Апшеронского полуострова давно доходили в Германию. Все началось с небезызвестного Нобеля. Заручившись поддержкой немецких банкиров, он с чемоданами денег примчался в Баку, начал строить заводы для переработки нефти, выписал специалистов из Берлина. И вот за короткое время представители иностранных фирм сотнями устремились на Апшерон, оттеснив всяких там Мирзоевых, Монташевых, Тарумовых. Французский банкир Ротшильд завладел всей торговлей бакинской нефтью на международном рынке, основал «Каспийско-Черноморское товарищество».

Адольф Зорге тоже решил попытать счастья в России. У него была мечта обеспечить старость. Ему всегда казалось, что люди, не сумевшие обеспечить собственную старость и благополучие своей семьи, зря прожили жизнь.

Отец Адольфа, а также два брата отца не сумели обеспечить себе старость, и это наглядный урок. Все трое были активными революционерами до и после революции 1848 года. Революционная работа была смыслом их жизни. Особую известность на этом поприще завоевал дядя Фридрих. Участник Баденского восстания 1849 года,

близкий друг Маркса и Энгельса, он после подавления восстания вынужден был эмигрировать сначала в Швейцарию, а затем в Америку. Фридрих Зорге стал организатором американской секции Первого Интернационала, а на Гаагском конгрессе I Интернационала в 1872 году его избрали секретарем Генерального совета. Слава дяди, видного деятеля международного рабочего движения, ученика Маркса и Энгельса, автора многих социологических и политических трудов, страшила и угнетала обывателя Адольфа Зорге. Он вздрагивал, когда спрашивали: «Уж не родственник ли вы того самого Зорге?!» — «Нет, нет», — спешил заверить Адольф. Он не хотел иметь ничего общего со своими «красными» отцом и дядями. Он стремился обеспечить свою старость и ради этого трудился не покладая рук. Ему революция не нужна. Он доволен существующими порядками.

Иногда в воскресные дни Адольф надевал свой лучший костюм и отправлялся в Баку. Здесь, возле старинного дворца Ширван-шахов, фланировала избранная публика. Адольф смешивался с публикой и так бродил до вечера, снедаемый своими мечтами. Он представлял себе, как чинно идет под руку с фрау Зорге, все на них оглядываются, завидуют тихому, обеспеченному счастью. А рядом — дети... много детей. Это его дети, Адольфа Зорге! Мальчики, девочки — все равно. Много детей. И он придумывал имена этим воображаемым детям. Но не было фрау Зорге, не было детей...

Адольф старел, и за все три года жизни в России фрау Зорге так и не появилась. А ведь он был красив, обеспечен, мог считаться хорошей партией. Его сердце было открыто для любви.

И он наконец-то влюбился... И любовь оказалась сильнее классовых и расовых предрассудков.

Нине Кобелевой исполнилось двадцать два года, но она и не помышляла о замужестве. Были заботы поважнее, они иссушали душу. Умерла мать, потом — отец, Семен Кобелев, подрядный рабочий на железной дороге. На руках Нины остались шестеро сирот мал мала меньше. Всех нужно накормить, одеть, обуть. Беспросветная нужда... Какие уж тут женихи!..

Но он появился. Рослый красавец немец, техник с буровой вышки неподалеку от поселка Сабунчи. Нина и раньше видала его. При встрече всегда опускала глаза,

старалась пройти незаметно. А теперь он напрямик заявил, что уже давно любит ее и просит быть женой. Нина Семеновна даже растерялась. Как же так, выйти за немца? Он поживет-поживет да и укатит в свою Германию, бросив ее с детьми... Но сироты просили есть... И Нина согласилась стать женой Адольфа Зорге.

Поселились они в Сабунчи в двухэтажном доме. Здесь 4 октября 1895 года родился Рихард Зорге, будущий ученый и прославленный разведчик.

Брак оказался на редкость счастливым: Адольф любил жену, заботился о ее братьях и сестрах. В доме царила атмосфера довольства и взаимного уважения. Но теперь, когда все мечты Адольфа исполнились, появилась новая: вернуться во что бы то ни стало в Германию! России отдано тринадцать лет... А «Германия — превыше всего!»

И вот, когда Рихарду сравнялось три года, семья переехала в Германию. Адольф Зорге купил небольшой дом в Вильмерсдорфе, юго-западном пригороде Берлина, на Манизерштрассе, развел сад и стал наслаждаться обеспеченной старостью. Он достиг своего идеала. Теперь и умереть было не страшно.

А трехлетний Рихард? Оставила ли далекая Россия какой-нибудь след в его памяти? Позже он писал: «Во мне было нечто такое, что несколько отличало меня от других. Я родился на Южном Кавказе, и меня привезли в Берлин совсем маленьким. Этот факт из моей жизни я всегда помнил... Я, может быть, слишком русский, я русский до мозга костей...»

Первые слова, которым научился Рихард, были русские слова. До четырех лет он не знал немецкого языка. В глубинах сознания осталось неизгладимое ощущение просторов России, яркого кавказского неба и ласкового света Каспия. Неясные образы будут всплывать в памяти на протяжении всей последующей его жизни, манить, звать куда-то, дразнить, распалять воображение.

...В кругу семьи его ласкательно называли Ика. В школе — «премьер-министр». Почему «премьер-министр»? Он рос не по годам развитым. В реальное училище поступил, когда едва исполнилось шесть лет. В классе верховодил, прослыл трудным учеником, упрямым, своеправным и непослушным, первым нарушителем дисциплины, неисправимым драчуном. И наряду с этим поражал учителей глубокими познаниями в истории, ли-

тературе, философии и обществоведении. Тут ему равных не было.

Ика ненавидел зубрежку. Он любил рассуждать, давать собственную оценку прочитанному. У «премьер-министра» было свое государство, источник силы и мощи — книги. Они раздвигали границы мира в пространстве и во времени. Французская революция, облик «неподкупного» Робеспьера, наполеоновские войны, сражение на улице Сен-Антуан в дни июньского восстания 1848 года; Джузеппе Гарибальди дал клятву освободить свою родину Италию и дрался как лев. Гарибальди бывал в России. В Германии тоже была революция. О ней мало писали в учебниках, но Ика знал кое-что от своего отца. Адольф к старости сделался ворчливым. Особенно раздражали его левые социал-демократы. Прочитав за чашкой утреннего кофе газету, он начинал бранить «красных». Особенно доставалось двоюродному деду Рихарда, коммунисту Фридриху Зорге, который в то время жил в Америке и готовил к печати свою переписку с Марксом и Энгельсом. Не щадил Адольф и своего отца-революционера, которого давно уже не было в живых. Из порохового дыма выплывало железное лицо Отто фон Бисмарка. Этот кровавый человек — идеал Адольфа. Бисмарк — истинный пруссак; Адольф — тоже пруссак. Такие, как Бисмарк, создали великую Германскую империю, а «Германия — превыше всего!».

Но Ику почему-то не интересовали дела Бисмарка, ему хотелось знать все о деде и двух братьях деда. Это по-настоящему смелые, дерзкие люди. Их не поддерживали короли, как Бисмарка; они сами делали историю.

Адольф не знал того, что два его сына — самый старший и самый младший — причисляли себя к левым социал-демократам. Ика тайно от отца сделался постоянным членом социал-демократического спортивного общества. Старший сын состоял в революционной социал-демократической организации, призывал на митингах к свержению существующего строя, рассказывал о буржуазно-демократической революции 1905 года в России. Ика бывал на этих митингах, с замиранием сердца слушал старшего брата. Он начинал понимать: история — это не только то, что прошло; история творится и сейчас, у всех на глазах. Вот почему он набрасывался на газеты и знал о том, что делается в мире, лучше взрослых.

В пятнадцать лет Рихард прочитал сочинения Гёте, Шиллера, Лессинга, Клопштока, «Божественную комедию» Данте.

Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день за них идет на бой!..

Эти слова Гёте отпечатались в сердце юноши. Их повторяли сотни людей до Рихарда, их будут повторять вечно. В чем смысл бытия? Ика судорожно ищет ответа на этот роковой вопрос в книгах. Гегель, Кант, Шопенгауэр... Ика еще не в силах одолеть труды названных философов. Слишком все здесь мудрено, запутано, противоречиво. Оказывается, существует такое понятие, как диалектика! Целое открытие... Учитесь, «премьер-министр» Ика, мыслить диалектически.

В семью пришло несчастье: в 1907 году умер Адольф Зорге. Он узнал-таки, что два его сына записались в социал-демократы, и не перенес удара.

Снова Нина Семеновна осталась с кучей детей. Но на этот раз в чужой стране, к которой она так и не смогла привыкнуть по-настоящему. Своей тоской по родине она могла поделиться лишь с младшеньким, Икой. Остальные сыновья и дочери не понимали, как можно рваться в какой-то Сабунчи, где печем дышать от газов и нефти. Но Ика сочувствовал матери. Его тоже тянуло в далекие неизведанные края. Пресная берлинская жизнь опостылела. Хотелось бросить все и удрать на край света, подвергаться опасности, раз навсегда покончить со школярством.

Адольф оставил семье приличное состояние. У него были не только вклады, но, оказывается, и своя собственность за границей. Еще долго семья могла поминать его добрым словом. Пусть говорят, что жил он скучно, неинтересно. Зато умер как и подобает приличному немецкому бюргеру, верноподданному. А главное — не оставил семью мыкать горе и нужду. Он был образцовым мужем и отцом семерых детей.

Адольф ровно относился ко всем детям, но Рихард не любил отца. Даже много лет спустя Рихард не мог отделаться от неприязни к нему. Это осталось навсегда.

...О начале первой мировой войны Рихард узнал, возвращаясь на пароходе из Швеции, где проводил летние

каникулы. Он был тогда еще слишком юн, чтобы сразу разобраться в смысле этого кровавого события.

Он был заражен духом романтики, писал высокопарные философские стихи и мечтал о подвигах. Рихард считал, что человек должен быть оригинальным не только в мыслях, но и в поступках и что подвиг существует ради самого подвига. Долой сытенькое благополучие! Если война, значит, ты должен быть в первых рядах.

И восемнадцатилетний Рихард, так и не окончив реальное училище, бежит из дому, записывается добровольцем в действующую армию. Прочь, прочь от школярства, от прозябания...

Отрезвление наступило скоро. Рядового Зорге, служащего в легкой артиллерии, бросили в Бельгию, где уже развернулось ожесточенное сражение. Тысячи убитых, искалеченных, потоки крови. И тут он впервые подумал: «Во имя чего? Сколько раз до меня немецкие солдаты воевали здесь, в Бельгии, намереваясь вторгнуться во Францию!.. Знают ли люди, во имя чего велись и ведутся вот такие войны?..»

Три ранения — таков итог войны для Зорге. На фронте погибли два любимых брата.

Но не только это.

Война стала большой политической и гражданской школой. Здесь он нашел настоящих друзей, которые открыли глаза на многое. Одним из таких друзей был старый каменщик из Гамбурга, член профсоюза, первый человек, который прямо сказал Рихарду о том, что война выгодна лишь империалистам. В 1915 году в берлинском госпитале Зорге сдружился с двадцатилетним солдатом Эрихом Корренсом. По ночам молодые люди читали стихи, горячо обсуждали положение Германии, говорили о свободе, о месте человека в обществе, об отношении к жизни и о том, что нужно посвятить себя служению великой цели, которая могла бы захватить целиком, без остатка. Полгода лежали они в госпитале и за эти полгода успели навсегда привязаться друг к другу. Переписка между ними будет продолжаться многие годы. (Эриху Корренсу суждено стать видным государственным и общественным деятелем — президентом Национального совета Национального фронта демократической Германии, крупным ученым. Но об этом Зорге не узнает никогда.)

В другом госпитале он близко сошелся с сестрой милосердия и ее отцом-врачом, которые поддерживали самые тесные связи с независимыми социал-демократическими группами. Тут впервые Рихард услышал о Лепине, о международном революционном движении, о политических партиях в самой Германии. Дочь и отец охотно снабжали раненого солдата книгами и политическими брошюрами.

Получив отпуск по ранению, Зорге поступил на медицинский факультет Берлинского университета — на этот шаг его толкнуло сострадание к жертвам войны, он хотел не убивать, а возвращать жизнь, здоровье. И все-таки вскоре он убеждается, что медицина — не его область. Его интересует политика, и только политика. И еще — политэкономия. С медицинского он переходит на политико-экономический факультет. «Великая Германия» разваливалась на глазах. Все чаще и чаще солдаты называли имена Розы Люксембург и Карла Либкнехта. Теперь настольные книги Зорге — труды Маркса и Энгельса, переписка двоюродного деда Рихарда с ними, философские работы Гегеля. «За несколько месяцев я усвоил основы марксизма, уяснил суть диалектического метода, примененного на практике».

Теперь он сознательно готовит себя. К чему? К деятельности революционера-профессионала. Он предчувствует: взрыв близок!

...Великая Октябрьская социалистическая революция в России пробудила в Рихарде небывалую энергию. Выбор был сделан раз и навсегда: революционная работа! Звать к борьбе, к свержению существующего строя... Он вступает в независимую социал-демократическую партию.

В январе 1918 года двадцатидвухлетний Зорге едет в Киль.

Германия бурлила. В Берлине началась политическая стачка солидарности с русскими братьями по классу. Стачка перекинулась в Гамбург, Бремен, Рурскую область.

Революционный взрыв произошел не в столице Германии Берлине, куда были обращены взоры многих, а в небольшом городе моряков Киле. Этот взрыв тщательно подготавливался, и Зорге принял самое деятельное участие в подготовке восстания военных моряков.

И все-таки ему казалось, что революция — дело буду-

щего. Придется еще проделать большую работу по воспитанию масс. Для начала он поступает в Кильский университет, примыкает к левому крылу независимой социал-демократической партии, так как со спартаковской группой не смог связаться, создает в университете социалистическую студенческую организацию, руководит ее работой.

Он идет на боевые корабли кайзеровского флота, разъясняет политическое положение портовым рабочим. И здесь, в порту, на кораблях, его называют ласково — Ика. Голубоглазый юноша, испытавший на себе все ужасы войны. На груди — Железный крест 2-й степени. И когда Ика произносит: «Долой кайзера! Да здравствует Германская республика!» — это берет бывалых моряков за сердце. Они понимают: слова выстраданы, поняты в окопах.

Восстание вспыхнуло 3 ноября 1918 года. К морякам третьей эскадры присоединились портовые рабочие. На мачтах взвились красные вымпелы. Власть взяли солдатский и рабочий советы Киля. Командующий флотом бежал из города на автомобиле с красным флажком. К восставшим примкнули солдаты Любека, рабочие Гамбурга, Бремена. 8 ноября в Мюнхене была провозглашена республика. 9 ноября восставшие рабочие и солдаты свергли кайзера Вильгельма II. Кайзер бежал в Голландию. Буржуазное правительство запросило у Антанты перемирия. Война кончилась!

Зорге радовался: победа близка! В этом есть и его доля.

Но радость оказалась кратковременной. Революцию предали, задушили. Контрреволюционные заговорщики зверски расправились с вождями германского пролетариата Карлом Либкнехтом и Розой Люксембург.

Зорге в эти тяжелые дни не потерял веры в силы рабочего класса. В Киле оставаться больше нельзя. В начале 1919 года он переезжает в Гамбург. Здесь произошла встреча, которая определила многое в жизни Рихарда: он познакомился с секретарем Гамбургской коммунистической организации Эрнстом Тельманом. Помятая, замасленная кепчонка, веселая хитрилка в глазах... Его трудно отличить от сотен портовых рабочих. Рихарда потянуло к этому человеку: Оказывается, Тельман в самом деле портовый рабочий!..

В конце 1919 года Зорге вступил в КПГ. Он стал коммунистом. И с этого времени началась новая эра в его биографии, биографии революционера-профессионала.

Его назначают советником гамбургской коммунистической газеты, он руководит кружком самообразования при гамбургском отделении партии.

Чердачная компатенка, где он поселился, завалена книгами. Рихард мало ест, мало спит и много работает. В такой стране, как Германия, революционеру-профессионалу приходится жить двойной жизнью: обыватель хочет знать, на какие средства ты существуешь. Всякий не занятый по службе, не имеющий работы подозрителен. За таким увязываются ищейки. Приходится давать частные уроки, губить драгоценное время. Кроме того, он готовится к экзаменам. И тут же, в Гамбургском университете, ведет пропагандистскую работу, создает социалистическую студенческую организацию.

В день окончания университета в актовом зале набились студенты всех курсов. Профессорам это не нравится. Но ничего не поделаешь — такое время! Все вышли из повиновения. Не так давно Берлин снова покрылся баррикадами. Правительство бросило против бастующих танки, артиллерию и даже авиацию. Мюнхен провозгласил советскую власть, создал свою красную армию... С большим трудом удалось расправиться с восставшими.

Кому нужно сейчас образование, когда в Германии разруха, голод, смерть?!

Двадцатичетырехлетний Зорге выходит на кафедру. Он обрушивает на профессоров сверкающий каскад изречений древних, говорит о «гражданском обществе» Гегеля, о «естественном праве» и «общественном договоре». Затем переходит к современности с ее прозой — «имперские тарифы центрального союза немецкого объединения потребителей».

Давно уже в этих стенах не звучал столь вдохновенный голос. Рихарда поздравляют с окончанием университета. Зорге — доктор государственно-правовых наук и социологии.

Счастливые дни!

Известность Зорге росла. То была известность умного агитатора, партийного работника высокой квалификации. Рихарда знали, к нему шли студенты, грузчики.

А однажды пожаловал странный гость: Шейдеман!

Заклятый враг коммунистов, душитель революции, правый лидер социал-демократии. Это был тот самый Шейдеман, который по приглашению кайзера занял пост министра, открытый шовинист Шейдеман, не так давно заявлявший: «Теперь большевизм кажется мне большей опасностью, чем внешний враг». «Кровавая собака Шейдеман» — так называли рабочие устроителя «кровавого сочельника» в Берлине. Глава правительства «веймарской коалиции» Шейдеман...

Рихард не знал, что и подумать. Премьер-министр оглядел скромное жилище Рихарда, спросил: «Вы доктор Зорге, если не ошибаюсь?» — «Чем обязан?» — «Вы потомок знаменитого революционера Зорге, последователя Маркса. Я хочу предложить вам важный пост в моей партии. Нам очень нужны молодые, волевые люди, такие, как вы. Революционная слава ваших...». «Я спекуляцией никогда не занимался! — резко ответил Зорге. — Лучше подумайте, господин Шейдеман, нужны ли вы молодым людям...»

Премьер-министры не любят, когда им отказывают в такой форме. Кроме того, университетское начальство пронюхало о том, что Зорге руководит подпольной студенческой организацией. Пришлось срочно покинуть Гамбург.

Он решил устроиться преподавателем высшей технической школы в Аахене. Перед этим его вызвали в Берлин в ЦК партии. В Берлине Зорге сделал обстоятельный доклад о положении в Гамбурге. Новое задание: развернуть работу среди горняков Аахена, которые находятся под влиянием католиков, создать на шахтах коммунистические группы.

События, события... На первый взгляд кажется, что одно не связано с другим, а если вдуматься, все подчинено своей внутренней логике.

В Аахене Зорге назначают членом городского комитета партии. Он частый гость горняков, связывается с руководящими партийными органами Рейнской области. А наряду с этим — лекции в высшей технической школе. Зорге пишет Корренсу: «Люди хорошо слушают меня. Если бы они догадывались, сколько, собственно, мне лет! К счастью, мне почти всегда дают лет на пять больше, так что они мирятся с зеленым ученым мужем там, на кафедре».

Государственный чиновник Капп решил установить единоличную диктатуру в Германии. Опираясь на уголовников, военщину, всякого рода политических авантюристов, Капп устроил путч. Рихард — во главе стачечного комитета. Не допустить Каппа к власти!

И хотя путч был подавлен, реакционеры решили отомстить Зорге. Он вынужден скрываться. Но работа в Аахене еще не завершена. Пришлось уйти в глубокое подполье, переменить профессию. Рихард устраивается горнорабочим на шахту. Кто бы мог узнать в худом, запорошенном угольной пылью молодом человеке известного доктора, которого хотел залучить в свою партию сам Шейдеман!.. Ика орудует лопатой и киркой. Ноет поясница, ноют старые раны, кружится от усталости и постоянного недоедания голова. Но и здесь он не забывает свои обязанности революционера-профессионала: переходя с шахты на шахту, повсюду создает коммунистические группы. Его отслеживают. Приходится бежать в Голландию. В Голландии арестовывают и высылают обратно в Германию.

Начинаются переезды из города в город. В Ремшайде он пропагандист, инструктор. В Золингене в 1921 году неожиданно становится редактором коммунистической газеты «Бергше арбайтерштимме». Таково партийное задание. Редактора-предшественника власти бросили в тюрьму.

В Рихарде проявилась новая страсть: журналистика! Оказывается, он прирожденный журналист. Газета заполнена хлесткими политическими статьями. Кто их автор? Адомль, Хайпце, Петцольд. Их много. А на самом деле это все тот же доктор Зорге. Вот, оказывается, каково его призвание! Но журналистика сама по себе не имеет цены, она должна служить большому делу.

Всех редакторов коммунистических газет постигает одна участь: Зорге арестовали и отправили в тюрьму Эльбенфельда. Отсидев срок, он возвращается в Золинген полный прежнего энтузиазма.

В конце 1922 года его отзывают во Франкфурт-на-Майне: нужен квалифицированный пропагандист и преподаватель на партийных курсах.

А события все нанизываются и нанизываются. Журналистика не забыта: все чаще появляются в журналах и газетах политические статьи Зорге. В партийном изда-

тельстве вышла его брошюра «Роза Люксембург и накопление капитала». Брошюру напечатал не под псевдонимом, а под своим именем. Теперь на него уже начинают смотреть как на теоретика-исследователя. Первый опыт подобного рода — и сразу широкая известность. (Позже весь тираж этой брошюры был сожжен нацистами.)

Официально он числится младшим научным сотрудником, ассистентом на факультете социологии Франкфуртского университета, частным порядком читает лекции.

Но это была лишь внешняя сторона его деятельности. Главное состояло в другом: он отвечал за всю секретную переписку и партийный архив, был связным между Франкфуртской партийной организацией и Центральным Комитетом в Берлине. Ему доверили партийные денежные фонды. Он считался самым надежным и неподкупным человеком. Партийные деньги и пропагандистские материалы хранились в университетской комнате Рихарда или же в библиотеке факультета социологии.

Когда в Заксене в результате вооруженного восстания была провозглашена республика рабочих, Зорге поехал туда для оказания помощи восставшим.

Куда ведут тебя события, Рихард Зорге?

Он помнит то апрельское утро 1924 года. Рихарда срочно вызвали в бюро. Секретарь представил ему незнакомых товарищей. «Они прибыли из Советского Союза на съезд КППГ — сказал секретарь. — Будут жить у тебя на квартире. Ты отвечаешь за их жизни!..»

Это было не просто партийное задание. Это было высшее доверие. Именно ему, Зорге, доверили жизнь советских делегатов, прибывших в Германию, делегатов — выдающихся представителей Всесоюзной Коммунистической партии большевиков!.. Мануильский, Лозовский, Куусинен, Пятницкий... И хотя IX съезд проходил открыто (партия временно вышла из подполья), представители коммунистических партий других стран присутствовали на нем негласно: за ними охотились полицейские ищейки. Зорге ни на шаг не отходил от высоких гостей. Эти люди встречались с Лениным, разговаривали с ним... Ленин... Весь мир скорбел в этот год о его утрате.

Рихард оправдывает доверие партии.

Он — участник съезда КППГ. Встреча со старым другом Эрнстом Тельманом. Тельман был в Советской России; слышал, видел великого Ленина... Здесь много давних,

испытанных друзей... Ведь пройден большой путь — окопы, Киль, Гамбург, шахты Аахена, опыт журналистики. Учился в трех университетах... И Рихарду уже под тридцать.

По вечерам жадно расспрашивает советских товарищей о Советском Союзе. «Ведь там моя родина!..» — говорит он и рассказывает свою причудливую биографию. Мануильский задумчив. Для него ясно: Зорге беззаветно предан идеям коммунизма, глубоко разбирается в вопросах международного рабочего движения. Из такого со временем может выйти деятель крупного масштаба. Брошюра молодого теоретика произвела хорошее впечатление на Мануильского, хотя сам автор был недоволен ею. «А почему бы вам не вернуться на родину?» — спросил Мануильский. Рихард рассмеялся: разве это возможно?

Оказывается, не только возможно, но и необходимо. В Советском Союзе, где не нужно скрываться от ищеек, Зорге в спокойной обстановке займется теоретическими исследованиями, обобщит опыт германского рабочего движения. Товарищ Тельман высоко ценит Зорге.

И исполнилось то, о чем Зорге даже не смел мечтать: в конце декабря 1924 года он выехал в Москву.

...Здесь свой уклад жизни. О коммунизме можно говорить в полный голос. Здесь к вашим услугам лучшие библиотеки и фонды революционной литературы. Вы можете бродить по улицам не оглядываясь. Непривычное состояние. В это даже как-то не верится. Свобода!.. Сколько о ней было сказано прекрасных слов во время ночных бдений с Эрихом Коррепсом, сколько стихов посвятил ей Ика!.. Так вот ты какая, свобода! Сердце переполнено восторгом.

Рихард быстро шагает по бульварам Москвы: ему хочется увидеть все сразу, немедленно включиться в общий ритм, делать что-то большое, значительное. Он торопится, боится, что все это может вдруг рассеяться как сон. Советский паспорт... Зорге — гражданин Союза Советских Социалистических Республик! Да в самом ли деле все это наяву?..

В марте 1925 года Хамовнический районный комитет ВКП(б) принимает Зорге в Коммунистическую партию Советского Союза. Ему вручают партбилет. И прежде чем положить билет в нагрудный карман, Рихард украдкой целует его: «Если нужно, я умру за тебя, Партия, Родина!..»

Поселился Зорге в гостинице «Люкс» в комнате № 19. Но в гостиницу приходил только спать. Рано утром отправлялся в Институт марксизма-ленинизма. Он числился референтом, политическим и научным секретарем, и эта работа требовала не только эрудиции, но и большой усидчивости, отнимала много времени. А вечером — клуб немецких коммунистов, где Рихарда избрали первым председателем правления. И хотя в правление входят тринадцать человек, Зорге самый активный из них.

Тут тоже борьба. Иногда троцкисты навязывают провокационные дискуссии. Тогда Зорге, сверкая глазами, изобличает их в предательстве интересов рабочего класса. К врагам он беспощаден. Чего хотят троцкисты? Загубить пролетарскую революцию? Таким не место в коммунистическом движении! Чем эти людишки лучше Эберта, Шейдемана, Носке?..

Когда он успевает работать над своими статьями и брошюрами? Он их подписывает по-разному: Ика Зорге, Р. Зонтер. За два года в журналах напечатано семнадцать серьезных исследований: «Своеобразный характер возрождающегося германского империализма», «Позиция Второго Интернационала в отношении послевоенного империализма», «Материальное положение пролетариата в Германии», «Экономическая депрессия в Германии», «Национал-фашизм в Германии». И много, много других, всех не перечислишь. За эти же два года написаны объемные работы, которые нравятся самому автору (что бывает с ним редко): «Экономические статьи Версальского мирного договора», «Новый германский империализм», «План Дауэса и его последствия».

Из немецких газет он узнает, что его работы получили широкую известность в Германии. Друзья берут их на вооружение, враги всячески обливают автора грязью.

Да, это тоже борьба. И все-таки Зорге недоволен собой. Активная натура требует действия. Стоять с врагом лицом к лицу, принимать прямое участие в схватках с теми, кто посягает на Советское государство, — вот к чему он стремится.

Своими мыслями он делится с новым другом, частым гостем клуба немецких коммунистов Яном Карловичем Берзиным, которого русские товарищи называют Павлом Ивановичем (так уж повелось со времен гражданской войны!). Ян Карлович заходит в клуб послушать доклады

на международные темы. «Я ведь тоже в некоторой степени немец, — говорил он посмеиваясь. — По материнской линии».

Берзин согласен: если хочешь драться по-настоящему, нужно драться. Международная обстановка обострилась до крайности. Мировой экономический кризис. А выход из кризиса империалисты всегда ищут в войне против Советского Союза. Похоже на то, что в Германии правящие классы берут курс на передачу власти Гитлеру. Для Гитлера война — «освежающий ветер».

Гитлеру вторит японский генерал Танака. Он представил своему императору так называемый секретный «меморандум Танака», где намечена политика «крови и железа». Тут дан развернутый план внешней экспансии японского империализма: захватить Маньчжурию, Монголию, Китай, Юго-Восточную Азию, Индию, Центральную Азию, Малую Азию, Европу, сокрушить США. Войну с Советским Союзом Танака считает неизбежной и необходимой. Бредовые идеи о мировом господстве? Может быть. Но японцы уже действуют. Не так давно Танака вторично послал войска в Шаньдунь, зарится на Маньчжурию, подбирается к границам Советского Союза, жмет на Чан Кай-ши. Под этим давлением нанкинское правительство разорвало отношения с Советским Союзом, только что спровоцировало инцидент на Китайско-Восточной железной дороге, являющейся собственностью СССР. Революция 1925—1927 годов в Китае потерпела временное поражение. Только за два последних года погибло почти полмиллиона революционных рабочих и крестьян. Во главе нанкинского правительства и его армии стоит Чан Кай-ши. Ставленник буржуазии и помещиков, заклятый враг Советского Союза, Чан Кай-ши вполне устраивает империалистов всех стран, и они дружно призвали нанкинское правительство, оставив за собой «право открытых дверей», то есть право грабить эту страну, вмешиваться в ее внутренние дела.

От Чан Кай-ши и японских милитаристов можно ждать новых провокаций.

Мы должны быть хорошо информированы о том, что происходит в сопредельных с нами странах Дальнего Востока, и в частности в Китае и Японии. Такова логика вещей, продиктованная фактами последнего времени. Советское государство заботится о безопасности своих дальневосточных границ.

Если бы создать своего рода службу информации на территории Китая... Для подобной работы, разумеется, нужны волевые, умные люди, способные на месте разобраться в запутанной обстановке, своевременно сообщать о происках Японии в Китае. Да, да, мы, к сожалению, не всегда в срок получаем информацию. Впрочем...

«Могу поздравить!» — говорит Берзин и протягивает Рихарду книжечку, испещренную иероглифами. Зорге в недоумении. Что бы это могло быть? Вертит книжку и так и сяк. Должно быть, на китайском или японском...

«Р. Зонтер. «Новый германский империализм», — говорит Ян Карлович с улыбкой. — Только что вышла в Токио. Я попросил переслать экземпляр. Для тебя...»

Рихард поражен. Его брошюра на японском языке!

Он уходит от Берзина в глубокой задумчивости. А потом набрасывается на литературу о Дальнем Востоке. Ян Карлович сумел вселить в него жгучий интерес к дальневосточным проблемам. Китай... Япония... Таинственные страны. Что-то из сказок Андерсена... «В Китае, как известно, живут китайцы...»

Берзин... Откуда он знает о секретном «меморандуме Танака»? Ни в одном из источников Рихард не нашел упоминания о «меморандуме Танака».

И наконец Зорге понял.

При очередной встрече с Яном Карловичем он сказал: «Я заболел Дальним Востоком. Пошлите меня в Китай!» Рихард Зорге стал военным разведчиком. «Военный разведчик должен в совершенстве знать военное дело, — сказал Берзин. — Опыта прошлой войны теперь недостаточно». И Рихард занялся военным делом.

Оказывается, в Китае живут не только китайцы.

Во всяком случае, в деловой части Шанхая их почти совсем не видно. Недавно тут висели таблички: «Китайцам и собакам вход запрещен». Здесь хозяин — международный капитал.

Лучшее, что есть в Шанхае, — это, конечно, Банд — набережная. Каменные громады иностранных банков, офисов упираются в грязную Вампу, по которой снуют катера и джонки. Перегруженные океанские суда медленно уплывают из реки в море. На рейде — иностранные крейсера с развевающимися флагами. Моросит мелкий дождь. Поблескивают зеркальными стеклами автомобили дирек-

торов банков, менаджеров. Это «международный сеттлмент». Рядом — французская концессия.

Зорге неторопливо направляется к Гарден-бриджу. Шанхай... Он наводнен иностранцами. Дельцы-биржевики, русские белогвардейцы, немецкие, американские, английские, французские коммерсанты, советники, эксперты. Резиденты империалистических разведок почти в открытую занимаются сбором сведений. В Вэйхавэе англичане устроили военно-морскую базу. Китай остается децентрализованным. В каждой провинции засел китайский генеральчик, который чувствует себя полновластным хозяином.

Перед Зорге поставлена задача: создать разведывательную организацию, которая действовала бы на всей территории Северо-Восточного и Юго-Восточного Китая: Харбин, Мукден, Шанхай, Кантон.

Прибыли помощники. С одним из них — радистом Максом Клаузенем — Зорге сошелся особенно близко. Это был плотный человек с широким открытым лицом. От всей его фигуры исходило добродушие, в незнакомой обстановке чувствовал он себя свободно, и вообще создавалось впечатление, что за свои тридцать лет Макс повидал немало. Так оно и было на самом деле.

Макс Христиансен Клаузен вырос в семье мелкого немецкого торговца на острове Нордштральде. Он был учеником слесаря, когда его призвали в армию и послали на войну. Служил он в войсках связи радистом. Макс рос на море, и море всегда звало его. Потому-то после войны он стал моряком, устроился на торговое судно линии Гамбург — порты Балтийского моря. Весной 1922 года вступил в Союз моряков. Но не прошло и двух месяцев, как его арестовали и приговорили к трем месяцам тюрьмы за активное участие в забастовке моряков.

Впервые в Советском Союзе ему удалось побывать в 1927 году. Советское государство купило у Германии трехмачтовую шхуну, чтобы пополнить промысловый флот, охотившийся на тюленей. В составе экипажа шхуны был и матрос Макс Клаузен.

До этого он много слышал от товарищей о Советской стране, а теперь вот сам оказался в Мурманске. Он увидел новый мир и пришел к мысли, что только коммунизм может обеспечить людям счастье. В Мурманске у него завязалась тесная дружба с советскими моряками. Вернув-

шись в Гамбург, он вступил в члены Коммунистической партии Германии.

Макс часто рассказывал в Интерклубе морякам о том, что увидел в Советской стране, и жалел, что не довелось побывать в Москве. Он все время рвался в Советский Союз. И мечта в конце концов осуществилась: он увидел Москву.

В Москве Клаузен поступил на курсы радистов и после их окончания, в марте 1929 года, выехал через Сибирь в Китай. По документам он значился немецким коммерсантом.

Вскоре Зорге убедился, что имеет дело с талантливым специалистом в области радиотехники. Клаузен стал в группе Зорге экспертом по организации радиосвязи. Он смонтировал портативные радиостанции во многих городах Китая.

По совету Рихарда Макс поселился в небольшом доме в восточной части Шанхая. Мог ли тогда Зорге предполагать, что это приведет к значительным изменениям в жизни его друга Макса!

В самый разгар работы, когда им обоим нужно было выехать в Кантон, Макс заявил: «Я женюсь!» Безмерно удивленный Рихард сдержался, ибо знал: с любовью не шутят, если она обрушивается на вас даже в Шанхае. Так как разведчик в подобной обстановке, при выполнении боевого задания, не имеет права совершать подобные шаги без разрешения начальства, Макс поставил обо всем в известность Зорге и просил его совета. Рихард пожелал встретиться с Анни (так Клаузен называл свою невесту). Встретились в ресторане «Астория». После безобидной беседы Рихард пригласил Анни на танец.

Что было известно о ней? Русская. Анна Матвеевна Жданкова. Родилась 2 апреля 1899 года в Сибири. Когда ей исполнилось три года, овдовевший отец отдал ее «на воспитание» купцу Попову. У купца прожила четырнадцать лет. Жизнь была тяжелая. Аню превратили в домашнюю прислугу. Таскала дрова, расчищала в морозы двор, занесенный снегом.

Потом познакомилась с финским инженером Валениусом, который был в два раза старше ее. Чтобы избавиться от Поповых, вышла за него замуж, хоть и не любила. Во время революции Валениус бежал в Китай. Здесь занялся мошенническими операциями, пытался вовлечь в них

Анну. Она возмутилась. Развелась с Валениусом, устроилась в госпиталь сестрой милосердия. Вот и вся ее история.

Анна понравилась Зорге. Он был достаточно проницательным, чтобы сказать: Макс сделал удачный выбор, нашел настоящую подругу жизни.

Бытовая сторона жизни не заслоняла главного: работы. А она требовала большого напряжения, беспрестанных поездок по городам огромной страны. Установлена связь с Центром. Посланы первые радиограммы.

Но Зорге ясно сознавал: без помощи людей, хорошо знающих обстановку, успеха не добиться. Такими людьми были японские и китайские журналисты. Он быстро сдружился с иностранными журналистами, аккредитованными в Шанхае, свел знакомства с немецкими военными советниками в нанкинских войсках.

Все пристальнее следил он за деятельностью специального корреспондента газеты «Осака Асахи» японца Одзаки Ходаэуми. Недавно Одзаки поместил в своей газете статью, в которой писал: «Возмутительное объявление в шанхайском парке «Китайцам и собакам вход воспрещен» снято, но подлинными хозяевами здесь по-прежнему остаются англичане». Как удалось выяснить, Одзаки связан с одной из китайских студенческих групп, настроенной прогрессивно, печатает под псевдонимом статьи, разоблачающие захватническую политику иностранных держав в Китае.

Через знакомую журналистку Зорге выразил желание встретиться с Одзаки. Японец сказал, что будет рад встрече.

Позже Зорге даст оценку своему новому другу: «Одзаки был моим первым и наиболее ценным помощником... Наши отношения, как деловые, так и чисто личные, всегда оставались превосходными. Он добывал самую точную, полную и интересную информацию, которая когда-либо поступала ко мне из японских источников. Сразу же после знакомства я близко подружился с ним».

Обычно Рихард встречался с Одзаки на Гарден-бридж. Затем они усаживались в автомобиль и уезжали в какой-нибудь парк, подальше от японской полиции.

У них было о чем поговорить, что сообщить друг другу. Они рассуждали о внешней политике чанкайшистского правительства и о его армии, о перемещениях в вер-

ховном военном командовании, о том, какие слои и классы поддерживают нанкинский режим, о зависимости этого режима от Англии и Америки.

Догадывался ли Одзак, что имеет дело с разведчиком? По-видимому, да. Но он понимал: Зорге так же, как и сам Одзак, — друг китайского народа, он представляет некие силы, противостоящие империализму. Этого было достаточно.

В шанхайские вечера по просьбе Рихарда Одзак часто рассказывал о себе. Родился он в Токио 1 мая 1901 года, в семье журналиста. Когда Ходзуми исполнилось пять лет, его отца назначили редактором газеты «Тайван Ниди-Ниди Симбун». Семья переехала в город Тайхоку на остров Тайвань. Гористый остров, покрытый рощами камфарного лавра, стал колыбелью Японии в результате ожесточенной японо-китайской войны. Населяли его главным образом китайцы, которые ненавидели захватчиков и на каждом шагу оказывали им сопротивление. Тринадцать лет провел на этом острове Ходзуми. Завоеватели силой согнали китайских крестьян с земли, в принудительном порядке заставили работать на плантациях. Рис, чай, сахарный тростник, цитрусовые — все вывозилось в метрополию. Здесь царил неприкрытый произвол. «Притеснения и насилия со стороны японских властей по отношению к поработанному местному населению вызвали у меня первые сомнения...» — таково впечатление Одзак от тайваньского периода жизни.

Сомнения не рассеялись и тогда, когда Ходзуми, окончив среднюю школу в Тайхоку, отправился в метрополию. В Токио он выдержал конкурс в Первый колледж Итико, лучший в стране, куда принимали только наиболее способных; после колледжа, как правило, открывался путь в Токийский университет. В 1922 году по совету отца Ходзуми перешел на юридический факультет Токийского университета и в 1925 году получил степень доктора права.

Еще во время учебы в университете Одзак понял, что буржуазное право — это право сильного. Подтверждение этой мысли он находил в окружающей действительности. Так, когда в сентябре 1923 года в стране разразилось грандиозное землетрясение, правящие классы, опасаясь народных волнений, решили направить недовольство масс тяжелым экономическим положением и нераспорядитель-

ностью властей против коммунистов и «инородцев». Началась дикая расправа: четыре тысячи корейских рабочих было убито, тысячу триста японских революционно настроенных рабочих и крестьян загнали в тюрьмы. Особенно бесчеловечно расправились жандармы с девятью коммунистическими деятелями. Семью руководителя общества аграрного движения Морисаки Генкити бросили в застенки. Облавы на коммунистов и революционно настроенных студентов не прекращались.

Потрясенный этими событиями, Ходзуми оставил университет и уехал на Тайвань. Как-то, роясь в библиотеке отца, он нашел книгу о Фердинанде Лассале, одном из организаторов Всеобщего германского рабочего союза. Молодой человек еще мало был подготовлен, чтобы разобраться в путаных оппортунистических взглядах Лассала, но он открыл другое: сын купца, Лассаль участвовал в революции 1848 года, считался пламенным агитатором, возвеличивал рабочий класс. Одзакки впервые глубоко заинтересовался социальными проблемами.

Он возвращается в Токийский университет. Работает научным сотрудником, усиленно штудировать труды Маркса, Энгельса, Ленина, статьи Сэн Катаяма, вступает в профсоюз «Хёгикай», вечерами посещает «Токийский клуб социальных проблем», где ведутся жаркие споры о судьбах Японии, обсуждаются статьи, напечатанные в журнале «Марксизм». «Большую часть времени я отдавал изучению именно этих трудов...» Одзакки горячо симпатизировал молодому социалистическому государству.

Блестящий ум, доскональное знание истории и культуры стран Азии сделали Одзакки любимцем студентов. У него появилось много друзей. Ходзуми был слишком умен, чтобы поверять все свои мысли этим друзьям — ведь большинство из них происходило из имущих классов, каждый готовился стать влиятельным человеком в государственном аппарате. Друзья могли пригодиться в будущем, когда Одзакки окончательно изберет свой путь. А путь был ясен: Одзакки решил последовать примеру отца — стать журналистом; карьера государственного чиновника его не привлекала.

В 1926 году Одзакки устраивается на работу в токийскую газету «Асахи», активно сотрудничает в профсоюзной печати, где выступает под псевдонимом «Кусано Генкити» (в память о Генкити Морисаки, брошенном прави-

тельством вместе с семьей в тюрьму). Если отец Ходзуми служил газетно-издательскому концерну «Майници», то сам Ходзуми перешел в противоположный лагерь — в «Асахи», хотя мог бы, используя знакомства отца, получить высокую должность в «Майници». Через год Одзаки перевели с повышением в крупную газету «Осака Асахи», а вскоре он получил командировку в Китай. Там-то и состоялось его знакомство с Зорге...

Как понимал Рихард, Одзаки был последовательным антифашистом, патриотом своей родины. Он твердо считал, что путь внешней экспансии приведет Японию к гибели.

Таков был новый помощник Зорге. Имелись и китайские помощники в Мукдене, Кантоне, Шанхае и других городах.

Три года жизни в Китае... Чем они были наполнены? Организационной работой. Бесконечными поездками. Встречами. Изучением страны. Рихард вел научно-исследовательскую работу, писал. Изучал японский и китайский языки. Он словно предчувствовал, что все это может пригодиться в будущем. Его чемоданы были до отказа набиты научными материалами о Китае. В кругу китайских журналистов он цитировал стихи древнего поэта Ли Сяньюна: «Я исходил страну из края в край... Давно я не был дома, но, как встарь, не знают роздыха копье и щит...»

Это были научные занятия под свист пуль.

В Маньчжурии разворачивались события чрезвычайной международной важности.

«Мукденский инцидент», а другими словами — оккупация Японией Маньчжурии началась 18 сентября 1931 года. В ночь на 19 сентября были оккупированы Мукден и Чанчунь, 22 сентября — Гирин, 18 ноября — Цидикар. Японцам помогал китайский генерал Чжан Цзин-хой. К началу 1932 года почти все главные города и железнодорожные узлы Маньчжурии оказались в руках японцев.

Заняв Северную Маньчжурию, японские войска стали концентрироваться на дальневосточной границе Советского Союза.

От организации Зорге требовалась предельная оперативность. И радиogramмы беспрестанно летели в Центр. Японцы вербовали белогвардейцев для организации антисоветских банд, писали о неизбежности войны Японии против СССР — этими акциями, направленными против

Советского Союза, японский империализм рассчитывал приобрести союзников в реакционных кругах Европы и Америки. В январе 1932 года японцы предприняли наступление на Шанхай.

В это беспокойное время Зорге и его помощники находились на переднем крае событий. Поездки в Мукден, в Харбин, Чанчунь, Гирич. Зорге видел в Чапэе — китайской части Шанхая — ожесточенные бои городской бедноты против японских войск. Да, он видел баррикады, обжигаемые пламенем Чапэй. Японцы ввели в бой артиллерию, авиацию.

В январе 1933 года Зорге отозвали в Москву. Он выполнил свою задачу. Центр заблаговременно был информирован о разворачивающихся в Китае событиях. Несколько позже, в августе 1933 года, выехали в Советский Союз через Харбин Макс и Анна Клаузены.

И вот несколько месяцев спустя Зорге вновь на Дальнем Востоке. В Японии...

Как жаль, что рядом нет Макса Клаузена. Они славно потрудились тогда. Для прикрытия Макс весьма умело занимался коммерцией — торговал немецкими мотоциклами...

Одзакки вернулся в Японию еще в прошлом году. Он где-то здесь, в Осака, или, может быть, даже в Токио.

Зорге думал о прошлом. В нем есть яркие страницы. Страницы борьбы, подпольной работы. И на каждом шагу подстерегала опасность. Все было... В одной из анкет он почти с афористичной лаконичностью определил сущность своей деятельности: «Профессия — интеллигент. Призвание — партийная работа».

Но пора было подумать о будущем. Оно требовало действий.

3. ЗАПОВЕДИ РАЗВЕДЧИКА

За месяц пребывания в Токио Рихард успел не только ознакомиться с городом, изрезанным бесчисленными каналами и речками, но и нанести визиты представителям служб информации, иностранным пресс-атташе, побывать на всех пресс-конференциях и приемах, вступить в члены токийской ассоциации иностранных корреспондентов.

Начал знакомства он с пресс-атташе — руководителя Германского информационного агентства ДНБ Вайзе. Это

был типичный «коричневый таракан», приверженец фюрера. Видно, у Вайзе уже был разговор о Зорге с послом, так как пресс-атташе встретил нового корреспондента довольно приветливо. Вайзе с нескрываемым любопытством расспрашивал о нацистском пресс-клубе в Берлине, о знакомых журналистах, о здоровье Функа. Рихард вел себя очень скромно, не набивал себе цену, хвалил продукцию борзописцев ДНБ и самого Вайзе, поддакивал, прямо сказал, что ему будет трудно в незнакомой стране без помощи такого опытного журналиста, как Вайзе. Пресс-атташе легко клюнул на лесть, обещал помогать на первых порах. Потом они по случаю знакомства обедали в ресторане «Фледермаус».

Следовало также утвердиться в токийской ассоциации иностранных корреспондентов, в этом Вавилоне прессы.

Токийская ассоциация иностранных корреспондентов представляла собой своеобразный мирок со своими неписаными законами, своим укладом и обычаями. Здесь собрались представители «шестой державы», пронырливые, жадные до сенсаций, предельно оперативные, не брезгающие ничем, если пужно раздобыть интересный материал. Каждый из них мнил себя полномочным представителем той страны, которая аккредитовала его в Японии, каждый считал, что звезда корреспондента-международника должна сиять ослепительно, ибо карьера журналиста — это и политическая карьера. Они любили свою беспокойную работу, нахально ломились в двери японских министерств, проникали в любую щель, подкупали клерков и секретарш, околачивались в притонах и кабаре. Это был легальный шпионаж. И все ради того, чтобы добыть сенсационный материалчик для своей газетенки или журнальчика. Их держали, так как интерес читающей публики к экзотической стране хризантем и гейш никогда не угасал. Платили, правда, негусто.

Но даже самый ловкий журналист не может быть вездесущим. Потому-то в ассоциации образовался своеобразный рынок: обмен информацией. Когда назревали важные политические события, вся газетно-журнальная свора объединялась, распределялись обязанности, выбирался координирующий центр — и наставала эпоха великой солидарности и творческого содружества. И неважно, что в данный момент существовали политические трения между странами, представителями которых корреспонденты яв-

лялись, журнальной братии нет никакого дела до тренировок: все они патриоты одной державы — шестой!

Верховодил в ассоциации обычно корреспондент, в совершенстве владеющий языком того государства, где ассоциация находилась. В Токио задавал тон некто Бранко де Вукелич, фоторепортер парижского иллюстрированного журнала «Вю» и корреспондент белградской ежедневной газеты «Политика», мужчина лет тридцати, высокий, подтянутый, с широким добродушным лицом и хитроватыми пасмешливыми глазами. Одевался он просто, но изысканно, жил сначала в отеле «Империял», затем перебрался в дом «Банка» в районе Хонго-ку. В Токио он появился 11 февраля этого года, но быстро упрочил свое положение среди «топтателей земного шара», как называли в Японии газетчиков. Вукелич успешно овладевал японским разговорным языком. Безукоризненно знал он французский, английский, итальянский, немецкий, испанский. Настоящий газетный полк-международник! По национальности серб, по характеру француз, он был женат на датчанке и в своем лице как бы представлял многоязыкую Европу. Бранко слыл щедрым, охотно передавал менее удачливым собратьям редкие снимки, иногда предоставлял им для работы свою хорошо оборудованную фотолабораторию. Злые языки поговаривали, что Бранко по ночам фабрикует видовые открытки и сбывает спекулянтам, но добродушный фоторепортер только посмеивался в ответ и не опровергал слухов. Каждый делает деньги, как умеет. Да фоторепортера никто и не осуждал: все жили голодно-вато, и каждая иена была на счету. А у Бранко жепка, ребенок. Им даже восхищались: Бранко — пронира из прониры. Его ядовито-зеленую «карточку прессы» видели и в приемной премьер-министра Японии, и в министерстве иностранных дел, и в гостинной известного адмирала Х. Като, душителя Советской власти во Владивостоке в 1918 году, бывшего начальника морского генерального штаба. Ворчливый усатый адмирал щеголял знанием русского языка. Но Бранко, к сожалению, не владел этим языком.

Вступление Зорге в ассоциацию прошло без всякой помпы: просто по этому случаю он пригласил собратьев по перу в «Империял», угостил обедом и хорошим вином. Все решили, что он свой парень, не задавака, обычаи «шестой державы» блюдет. Вукелич хоть и присутствовал

в компании, но ни словом не обмолвился с Зорге. Время еще не наступило. Оба изучали друг друга: опасались, как бы иностранная контрразведка не подсунула подставное лицо — ведь до этого Бранко и Рихард никогда не встречались.

Особенно тщательно готовился Зорге к обеду в немецком посольстве. Он понимал, что ему просто-напросто повезло на первых порах. Обед в посольстве — это вам не какой-нибудь «а ля фуршет», когда пьют и закусывают стоя. На обед попадают избранные. В приглашении указана форма одежды — фрак. Через фрау Отт Зорге разыскал лучшего портного.

Дипломатический прием начался в восемь часов вечера. Присутствовали высокопоставленные чиновники японского министерства иностранных дел, японские журналисты, военные. Зорге усадили на далеко не почетное место. Он пока что был на запятках, и никто не обращал на него внимания.

И только приехавший из Нагои стажер-абверовец подполковник Эйген Отт, которого посольские упорно не хотели принимать за «своего», так как армейский офицер есть армейский офицер — и ничего больше, шумно приветствовал Рихарда. Наконец-то в Токио пожаловал приличный человек... Отт все время чувствовал себя отверженным и искренне обрадовался появлению корреспондента. Он сразу же распознал «родственную душу». Фрау Отт успела шепнуть мужу кое-что о высоких покровителях журналиста: Геббельс, Функ. Давно ли Отт издевался над «богемским ефрейтором»!.. Сейчас фрондерства как не бывало. Протягивая руку, Отт вскричал: «Я вас знаю! Мы встречались в «Бюргербрейкеллере»!» У подполковника Отта была хорошая память. Но сейчас он ошибался, а возможно, тоже путал Рихарда с Вольфгангом Зорге. Выгоднее было притвориться, что они в самом деле познакомились в Мюнхене, в пивном погребок «Бюргербрейкеллере». Этот погребок уже вошел в историю нацистской партии, стал своего рода Меккой закоренелых фашистов. Погребок был колыбелью знаменитого путча нацистов 8 ноября 1923 года. Гитлер в окружении «золотых фазанов» наведывался сюда каждый год. Рихард расплылся в счастливой улыбке и с чувством пожал руку подполковнику. Так встречаются старые друзья, единомышленники!..

Со стороны все это выглядело весьма правдоподобно. Ого, оказывается, доктор Зорге пользуется широкой известностью!.. Рихард не удержался от коварного комплимента Отту. Он сказал, что именно в «Бюргербрейкеллере» фюрер впервые назвал офицеров будущего вермахта «людьми первого сорта». Отт просиял и сразу же представил корреспондента японским военным. Зорге получил приглашение в гости к Оттам. Ведь корреспондент влиятельных газет одной меткой фразой поднял подполковника в глазах общества. Конец изоляции и косым взглядом!.. А так как от косых взглядов посольских дам больше всего страдала его жена, Отт был вдвойне счастлив.

На обеде фрейлэйв Гааз сидела напротив Зорге и не сводила с журналиста сияющих глаз. Над немецкой колонией в Токио висела тяжелая, безысходная скука. Надоевшие лица, однообразная жизнь. Все интересные мужчины женаты и предпочитают проводить досуг в семейном кругу — в увеселительные заведения Асакусу вход им наглухо закрыт. Она видела его жесткое, волевое лицо, мощный лоб с небольшими залысинами, волнистые темно-каштановые волосы. Даже когда он улыбался, пронизывающий взгляд его голубых глаз не становился теплее. По мнению фрейлейн, это и был идеал мужской красоты.

Она не любила ездить в воскресные дни в Камакуру, но, когда собралась небольшая компания, куда вошли супруги Отт и Зорге, фрейлейн присоединилась к этой компании.

В Камакуре купались в море, фотографировались на каменных ступенях шестнадцатиметровой бронзовой статуи Будды, побывали в синтоистском храме, где хранится зеркало богини солнца Аматерасу. Совсем осмелевшая фрейлейн пояснила, что в самой священной части синтоистских храмов обязательно хранятся зеркало и меч: зеркало символизирует женщину, которая должна всегда быть лишь отражением мужчины, меч — мужчину, самураю. Тут-то Зорге и взглянул впервые на фрейлейн с интересом: ведь он был новичком, и его занимало все, что связано с обычаями японцев. Он извлек блокнот и деловито записал притчу о мече и зеркале. Кстати, он сказал своим друзьям, что через несколько дней, 4 октября, собирается отметить свое тридцативосьмилетие. Все они долж-

ны быть и принять участие в составлении меню. Самый узкий круг...

Рихард отметил свой день рождения. Круг оказался не таким уж узким. Собрались почти все посольские, жена подполковника Отта (сам Отт усакал в Нагою в артиллерийский полк), присутствовали даже высокопоставленные японцы. Пили и танцевали в одном из залов «Империала». Об этом отеле японский поэт коммунист Накано сказал: «Здесь — Европа. И даже собаки здесь говорят по-английски. Здесь — этикет европейский».

Хозяин оказался щедрым и, выбирая вино, показал свой безукоризненный вкус. Все остались довольны. А как он танцевал! Случилось так, что именно в этот день фрейлейн Гааз оказалась нездоровой. Чаще всего Зорге танцевал с фрау Отт. Случилось также, что ему пришлось провожать ее домой. Разгоряченная вином и танцами, она болтала без умолку и сказала, что назначение подполковника Отта помощником атташе — дело решенное. Скоро ее супруг вернется в Токио... Последние слова были произнесены с грустью. Видно, фрау не любила своего мужа, и он был ей в тягость. А возможно, ей просто нравился приятный кавалер Зорге. Во всяком случае, они выяснили, что оба поклоняются Моцарту, и Рихард был приглашен в дом Оттов послушать игру хозяйки. Корреспондент с удовольствием принял очередное приглашение: помощник военного атташе — это уже кое-что!

...Зорге считался руководителем организации, которой пока еще не существовало. Прибыли в Японию отдельные лица. С ними следовало связаться. Организацию надлежало создать. Для начала — сколотить ядро. Ядро образует людьми. В ядро должны войти кроме Зорге Бранко Вукелич, неведомый художник Мяги, радисты Эрна и Бернгард. Разумеется, никто из них, кроме Рихарда, не имел четкого представления о предстоящей работе. Им ясна лишь общая задача: своей деятельностью защитить Советский Союз от прощесов империалистов. Во имя этой высокой цели они и вызвались поехать в Японию.

Рихард рассчитывал также разыскать и привлечь в группу своего старого друга Одзакки Ходазumi, вернувшегося из Шанхая в Японию и продолжавшего сотрудничать в газете «Осака Асахи».

Бернгард и Эрна приехали в Токио несколько раньше Зорге. Они уже успели установить контакт с Вукеличем

и должны были представить югослава Рихарду. Встреча состоялась. Зорге и Вукелич закрылись в кабинете, обменялись паролем.

Все наигранное, напускное сразу исчезло. Остались два коммуниста-подпольщика. Преобразилось и лицо Вукелича: сделалось твердым, одухотворенным, как в те времена, когда он выступал на студенческих митингах в Югославии, как в тот памятный день осени 1932 года, когда его приняли в члены коммунистической партии. Спрашивал Зорге. Вукелич отвечал. У него накопилось изрядное количество информации — разрозненные факты, все, что удалось добыть у словоохотливых корреспондентов Англии, Америки, Франции, в посольствах этих стран, в редакциях газет «Джэпэн таймс», «Джэпэн адвертайзер», издающихся в Токио, в телеграфных агентствах. Договорились, что и впредь Вукелич будет нести ответственность за сообщение о намерениях западных держав на Дальнем Востоке. Токийская ассоциация представляла благодатное поле для подобной деятельности, ее следовало использовать с наибольшим эффектом. Надлежало стать «своим человеком» во французском посольстве, сделаться сотрудником французского агентства Гавас.

Зорге радовался, что один из флангов организации — контроль за деятельностью посольств Англии, Франции, Америки — надежно обеспечен. Здесь Вукелич был на своем месте, его работа сулила немаловажные результаты. У него наметан глаз на все ценное, значительное. А обобщать, создавать цельную картину международных политических отношений, ставить прогнозы — это уж дело Рихарда. Фотолаборатория Бранко, не вызывая подозрений контрразведки, могла обеспечить организацию миниатюрными фотокопиями самых различных документов, которые следовало переправлять в Китай для передачи курьерам Центра.

До поездки в Японию им не доводилось встречаться. Но еще в Москве, когда решался вопрос о составе группы «Рамзай», Зорге остановил свой выбор именно на Вукеличе. Выбор не был случайностью или результатом спешки. Нет, Рихард основательно изучил все, что имело отношение к биографии Вукелича и его подпольной деятельности, и перед мысленным взором возник облик мужественного человека, не способного на компромиссы с собственной совестью.

Бранко Вукелич родился в 1904 году, в семье полковника. Юность его прошла в Хорватии, в городе Загребе. Здесь Бранко учился в реальной гимназии, здесь поступил в университет. В Загребе началась его революционная работа. Сперва Бранко мечтал стать архитектором. Слушал известных архитекторов Ковачича, Эрлиха, Шена. Загребская архитектурная школа в то время считалась лучшей в Югославии. Вукелич бредил архитектурными памятниками древней Эллады, увлекался живописью, музыкой. Его музыкальным образованием руководила мать, женщина мечтательная, романтическая.

Это была мрачная пора в истории Югославии. «В королевстве резко усилились репрессии, — писала либеральная газета «Слободна реч» 29 января 1922 года, — тюрьмы переполнены арестованными рабочими и крестьянами... Запрещена не только компартия, но и профсоюзы». В тюрьмы было брошено до сорока тысяч коммунистов и беспартийных рабочих. В такое время трудно было заниматься искусством. Перед университетом проходят студенческие демонстрации. Бранко в числе организаторов таких демонстраций, распространяет коммунистические газеты «Борба» и «Млади родник». В 1924 году он вступает в группу студентов-марксистов. В этом же году произошел инцидент, который повлиял и на участь Вукелича. 14 сентября открылся съезд Хорватской республиканской крестьянской партии в Загребе. Сюда приехало несколько десятков тысяч крестьян. Загреб целиком находился во власти крестьян. Газета «Слободен дом» в эти дни отмечала: «Каждое упоминание о Советском Союзе вызывало бурю восторга — непрерывно раздавались возгласы: «Да здравствует Советский Союз!» К крестьянам присоединились студенты Загребского университета. Среди них — Бранко Вукелич. Начались аресты. Вукелич угодил в тюрьму.

Но и после того как Бранко освободили из-под ареста, слежка за ним продолжалась. Он попал в «черный» полицейский список. Это не испугало юношу. Однако он должен был все-таки покинуть Югославию. Так советовали товарищи, так советовала мать. В Югославии начался разгул белого террора. Друзья Вукелича приглашали его бежать в Австрию. Бранко отказался. Он записал об этом периоде жизни в своей тетради: «К тому времени революция в Болгарии, Германии, Италии, Австрии и Венгрии,

то есть во всех странах, окружающих мою родину Югославию, была подавлена. Мне и моим товарищам в Югославии ничего не оставалось, как ждать того момента, когда полиция нас схватит. Но мы ждать не стали...»

В конце 1926 года он уезжает в Париж, поступает в Сорбоннский университет на юридический факультет. Несколько позже в Париж перебираются также мать Бранко и его младший брат Славомир, или Славко.

Во время каникул Вукелич совершает поездку в Данию, встречается здесь девушку Эдит, преподавательницу физкультуры, и женится на ней. Вскоре у них появляется сын. Незадолго до окончания университета Бранко устраивается в электрическую компанию одного из французских акционерных обществ.

Но Вукелич не может оставаться в стороне от политической жизни своей родины, от того, что творится в мире. Он устанавливает связь с ежедневной югославской газетой «Политика», шлет туда свои статьи, посвященные международному положению. Его тянет в Загреб. В Югославии в результате государственного переворота 6 января 1929 года установлена монархо-фашистская диктатура во главе с королем Александром I. Зверски убиты руководители коммунистической партии Джуро Джакович и Никола Хечимович, Марко Машанович и Брацан Брацанович. В Хорватии арестовано 1500 рабочих.

В это смутное, кровавое время, в августе 1931 года, Вукелич едет в Югославию, в родной Загреб.

Вукелич значится гражданином Югославии и должен отбывать воинскую повинность.

Пробыл он в казармах всего четыре месяца. Официально его отчислили из-за плохого зрения. А по существу, его заподозрили в организации выступления солдат загребского гарнизона. И хотя прямых улик против Бранко найти не удалось, от него решили побыстрее избавиться. Бранко по этому поводу записал: «Мы организовали большую демонстрацию в своей воинской части и в других частях». Демонстрация против диктатуры. В то время проходили выборы в скупщину, вся Югославия пришла в движение. В Белграде состоялись студенческие манифестации. Студенты провозглашали: «Долой диктатуру!», «Не отдадим ни одного голоса на выборах!». Солдаты им вторили: «Долой генерала Живковича, ставленника короля!»

В Париж Бранко вернулся в январе 1932 года. Он жаждал действий, настойчиво искал применения своим силам. И когда представилась возможность работать вместе с Зорге, Бранко не стал долго раздумывать.

Кем быть в Японии? В последнее время Вукелич увлекался фотоделом. И он решил: корреспондентом французского еженедельного иллюстрированного журнала «Вю». Подписать контракт удалось легко: редакция «Вю» задумала посвятить номер Дальнему Востоку. От президента электрической компании он взял несколько рекомендательных писем в Японию. Путем обмена рекомендательными письмами с югославской газетой «Политика» он добился права считаться представителем этой газеты в Токио.

Психолог по натуре, рационалист в своей области, Зорге обладал моральной интуицией, поистине граничащей с прозорливостью: он никогда не ошибался в людях. Любая ошибка могла стоить жизни, загубить все дело. У него ко всякому явлению выработался диалектический подход — будь то политическая ситуация или же поведение индивидуума. В работе он искал единомышленников и всякий раз находил их. Вукелич был таким единомышленником.

Бранко рассказал, как он с семьей пробирался в Йокогаму по туристскому маршруту из Марселя через Красное море, Сингапур и Шанхай. Он умолчал о том, в какое затруднительное положение попал, не рассчитав свои скромные средства: сперва поселился в самой лучшей гостинице, а затем в меблированной квартире «Банка». В Париже его уверяли, что жизнь в Японии баснословно дешева: на десять иен в день можно с семьей прожить роскошно. Увы, действительность оказалась намного жестче: десять иен в день комната и питание для двух человек стоили в Токио около десяти лет назад, до того как было введено эмбарго на золото.

Но Рихард уже знал от радиста о затруднениях Бранко и посоветовал ему подыскать более скромный и более уединенный дом, где можно было бы без опасений развернуть радиостанцию.

Вскоре Вукеличи перебрались на улицу Санайте, в квартал Усигомэ-ку. Здесь Беригард и Эрнэ занялись монтированием радиостанции. Рихарду не терпелось установить связь с Центром. Но радисты попались нерастороп-

ные. Они все не могли найти нужные детали, слонялись целыми днями по городу или же, закрывшись в комнате, что-то паяли, ругались и переделывали все заново.

Бернгард оказался человеком вспыльчивым, угрюмым, с большим самомнением, но недалеким. Теоретически свое дело он, может быть, и знал, но что касается практики... Кроме того, он часто пренебрегал правилами конспирации, по всякому поводу разыскивал Рихарда и доучал ему, делал многозначительный таинственный вид, изображая из себя заговорщика. За несколько месяцев он успел надоесть Рихарду до смерти, и Зорге дал себе слово при первой же возможности избавиться от этого человека. Но пока Бернгард действовал: он поднял на ноги всех продавцов радиомagasинов.

Зорге дал указание Вукеличу связаться с художником Мияги.

Мияги Ётоку вернулся из Америки на родину совсем недавно: в октябре. И с первого же дня стал следить за объявлениями в английской газете «Джэпен адвертайзер». Именно в этой газете должно было появиться объявление, условный сигнал: «Хочу приобрести гравюру укиаз».

Каким образом японец Мияги попал в Америку и почему он много лет спустя решил вернуться на родину, чтобы здесь заняться делом, далеким от изобразительного искусства, которому он мечтал посвятить всю свою жизнь? История Мияги заслуживает того, чтобы рассказать о ней подробно. Родился он 10 февраля 1903 года на острове Окинава, в семье разорившегося помещика. Нужда побудила отца Ётоку эмигрировать сначала на Филиппины, а затем в Калифорнию, где он устроился на ферму близ Лос-Анжелоса.

Мияги Ётоку в это время воспитывался в семье деда и бабушки со стороны матери. В 1917 году он окончил начальную школу и поступил в учительский институт. Учился Ётоку прилежно, но заболел туберкулезом. Институт пришлось оставить. Молодой человек вспомнил об отце, сел на пароход и в июне 1919 года ступил на американский берег. Втайне он надеялся в более сухом климате избавиться от туберкулеза. В те времена эмиграция считалась обычным делом, и на Тихоокеанском побережье США существовали огромные поселения японцев. В течение двух лет Ётоку занимался в школе английского языка.

ка, потом стал посещать школу художеств в Сан-Франциско, а затем в Сан-Диего. Но туберкулез привязался к молодому человеку накрепко. Мияги-старший мало чем мог поддержать сына, так как сам жил бедно; в конце концов, скопив небольшую сумму, он надумал вернуться на Окинаву. Ётоку остался совершенно один в чужой стране. Питался скверно, приходилось думать не об искусстве, а о куске хлеба. Кое-как окончив в 1925 году школу художеств, устроился рабочим на ферму близ Брули. Выбраться из нищеты помогли друзья Абе Кензен, Дзюи, Сипсей и Накамура Коки: они ваяли Ётоку в пай и открыли в «маленьком Токио» Лос-Анжелоса ресторан «Со-ва». К этому времени относится и расцвет таланта Мияги: он рисовал самозабвенно, не заботясь о том, купят ли его картины. Но картины покупали, появились деньги, можно было наконец обзавестись семьей. Летом 1927 года Мияги женился на Ямаки Чио, переехал жить в Лос-Анжелос, в дом японского фермера Китабаяси Ёсисабуро.

За год до этого Мияги под влиянием своих друзей организовал в ресторане «Сова» кружок по обсуждению социальных проблем. Что толкнуло его на подобный шаг? Сам он об этом говорил так: «Я не могу сказать, что не подвергался влиянию своих друзей и книг, которые я читал, но гораздо большее влияние на меня производило то, что я видел: неустойчивость американского капитализма, тирания правящих классов, и прежде всего бесчеловечная дискриминация в отношении азиатских народов. Я пришел к заключению, что лекарством от всех этих болезней является коммунизм».

Но пришел не сразу. Вначале были шумные собрания, споры. Кружок стали посещать коммунисты. Американский профессор русского языка Такахаси и другой коммунист, по фамилии Фистер, читали кружковцам лекции на политические темы, знакомили с трудами Маркса, Энгельса, Ленина, рассказывали о Великой Октябрьской социалистической революции в России. Постепенно марксистский кружок превратился в «Общество пробуждения», затем в «Рабочее общество» со своим журналом «Классовая борьба» и еженедельной «Рабочей газетой». Под влиянием «Рабочего общества» возникло «Общество пролетарского искусства», куда без колебаний вступили Мияги, его жена Чио, а также их многочисленные друзья — художники, журналисты. Начались аресты, по-

пал в тюрьму редактор «Рабочей газеты» друг Мияги — Кеммоцу. Семь человек было выслано вместо Японии в Гамбург под гарантию германского посла. Мияги даже как-то позавидовал этим семерым: ведь из Германии легче попасть в Советский Союз! Он мечтал о первой в мире стране социализма. В 1931 году он вступил в американскую компартию.

Мияги ненавидел не только американский империализм. То, что творилось на родине, в Японии, также новало его. «В детстве я был откровенным националистом, но даже тогда я возмущался тиранией японской бюрократии. Доктора, адвокаты, банкиры и чиновники в отставке имели обыкновение прибывать сюда из Кагосимы; они становились ростовщиками и эксплуатировали местных крестьян. Я ненавидел этих людей, потому что мой отец учил меня никогда не использовать чужую слабость. Точно так же он преподавал мне историю Окинавы, сравнивая прошлый славный период с теперешним полуколонизальным положением... Мне кажется, что критика этой бесчеловечной тирании и бедности народа Окинавы впервые обратила мой ум на политические вопросы». Такова история художника-искусствоведа коммуниста Мияги Ётоку, который добровольно пожелал работать в организации Зорге, бросил обеспеченную жизнь в Америке, все свое имущество, дом и устремился навстречу опасностям. Он не хотел подвергать риску любимую жену Чию, а потому оставил ее в Лос-Анжелосе, пообещав скоро вернуться, хотя и не был твердо уверен, что это удастся сделать. Увидеться им больше не довелось.

В середине декабря 1933 года Мияги наконец обнаружил в «Джэпен адвертайзер» нужное объявление. Он поспешил в Бюро объявлений Иссуяся и встретил здесь Вукелпча. «Это я ищу гравюру укиаэ», — сказал Бранко. Когда они остались одни, журналист протянул бумажный американский доллар. У Мияги в кармане хранился точно такой же, только с номером на единицу больше. Все сходилось. Но Мияги пока еще не числился членом организации. Это была строго добровольная организация, и вступить в нее художник мог только после знакомства с Зорге, после обстоятельной беседы с ним. В случае несогласия Мияги мог спокойно вернуться в Америку, дав слово хранить тайну.

Вскоре после этого в картинной галерее Уэно появи-

лись два иностранных журналиста — Зорге и всем известный Вукелич. Каждый из них собирался написать статью о японском искусстве в свои газеты. Но как может разобраться иностранец, не знающий японского языка, истории искусства Японии, в многочисленных макимono (картинах-свитках) в стиле Ямато-ё, в гравюрах Хисикава Моронобу, Хокусай, Хиросиге. Превосходно владеющий английским языком художник-искусствовед Мияги взял на себя нелегкую задачу рассказать иностранцам историю развития японской гравюры. Он говорил, а они записывали в блокноты. Художник был худ, с нездоровым румянцем на впалых щеках — его сжигал туберкулез. Большие карие глаза лихорадочно блестели. Говорил он интересно, и Зорге не на шутку увлекся. Вукелич вообще был человеком искусства, художником и отправился-то в Японию с тайной надеждой помимо основного дела всерьез изучить архитектуру древних храмов, школу живописи тушью Сессю и, конечно же, гравюру на дереве. Если раньше Рихард сомневался, что такое лицо, как художник, может принести пользу организации, то теперь, познакомившись с Мияги, понял, что имеет дело с натурой чистой, убежденной и непреклонной. В конце концов не так уж важно, что служит прикрытием члену организации, важны его принципы, готовность пожертвовать жизнью, если это потребуется. Сам Мияги считал себя неподготовленным для разведывательной деятельности, и такое чистосердечное признание понравилось Рихарду. Он не любил людей, которые быстро загораются и быстро гаснут. Но у Мияги был опыт нелегальной работы, и этот опыт теперь мог пригодиться. Зорге не торопил с окончательным ответом. Лишь после нескольких встреч Мияги твердо заявил, что вступает в организацию. «Я пришел к выводу о необходимости принять участие в работе, когда осознал историческую важность задания, поскольку мы помогали избежать войны между Японией и Россией... Итак, я остался, хотя хорошо знал, что... в военное время я буду повешен...» — скажет он позже.

Теперь следовало связаться с Одзаки, который находился в Осака. В данном случае трудно было обойтись без помощи Мияги.

О Ходзуми Одзаки Зорге думал еще в Москве, перед отправкой в Японию, думал в первые же часы своего появления в Токио, наводил о нем справки. И теперь, когда

он как журналист каждый день убеждался, что отношения между Германией и Японией укрепляются, Одзак стал прямо-таки необходим. Что замышляет правящая верхушка нации ямато? Давно ли генерал Танака призывал к войне с Советским Союзом?.. Правда, потерпев провал, Танака ушел в отставку еще в 1929 году. Но предали забвению знаменитый секретный «меморандум Танака»? То, что японцы вторглись за Великую китайскую стену, в провинцию Хэбэй, командуют в Маньчжурии, — уже реальность; то, что активизировалось «молодое офицерство», настроенное милитаристски, — тоже реальность. Все чаще японская военщина проповедует в печати необходимость захвата Советского Приморья, японо-маньчжурские отряды то и дело вторгаются на территорию СССР. Япония наотрез отказалась подписать с Советским Союзом пакт о ненападении. Подобная ситуация не может не насторожить. А главное: как будут развиваться взаимоотношения Японии и Германии дальше?..

Зорге хорошо понимал, что в правительственные круги Японии доступ иностранцу закрыт. Вы можете великолепно владеть японским языком, можете состоять в дружбе с высокопоставленными японцами, очаровывать их превосходным знанием японских обычаев, литературы, искусства, но вы никогда не проникнете в святая святых японской политики. Для этого нужно быть японцем.

Самый важный фланг может обеспечить только Одзак, известный в правительственных кругах как один из лучших специалистов по Китаю.

В Шанхае Одзак хорошо помогал группе Рихарда. Не переменялись ли его взгляды с тех пор, не отошел ли он от беспокойной политической жизни? Нет. То и дело в «Осака Асахи» появляются его статьи, направленные против экспансионистских устремлений японской военщины.

Рихард отправился в «Японскую Венецию» — город Осака. Тут, по дороге, он впервые с близкого расстояния увидел сверкающий конус знаменитой Фудзиямы. «Японская Венеция» встретила его чадом бесчисленных заводских и фабричных труб. Это был второй по населению город в стране, огромный тихоокеанский порт. Осака не зря называли «Японской Венецией»: по бесчисленным переkreпчивающимся каналам сновали катера, грузно плыли караваны барж, в город заходили даже океанские суда.

Всю Японию обслуживали два крупных конкурирую-

щих газетно-издательских концерна: «Майници», отражающий интересы промышленной буржуазии, и «Асахи» — собственность акционерного общества, половина акций которого принадлежала сотрудникам редакций и журналистам. Концерн «Асахи» считался носителем прогрессивных тенденций. В любом городе, в любой провинции каждый концерн имел свои газеты: к примеру, «Токио Асахи» и «Токио Ници-Ници», «Осака Асахи», «Осака Майници». Газетная война велась не на жизнь, а на смерть. Каждый стремился любыми способами залучить подписчика.

Ходзуми Одзаки находился в «Осака Асахи», он так же, как и другие сотрудники редакции, был держателем акций. Кроме того, он много зарабатывал: прожорливая газета с миллионным тиражом, выходящая два раза в день, беспрестанно требовала нового материала, обстоятельных политических статей. Одзаки трудился не покладая рук. Часто также его статьи появлялись в солидном политическом журнале «Тюо корон». Именно статьи Одзаки, содержащие глубокий анализ внутривнутриполитического положения в Китае, опубликованные этим журналом, считались наиболее авторитетными даже в правительственных кругах. Одзаки знали как крупного специалиста в вопросах японской и китайской истории и культуры, он считался ведущим экспертом по китайским делам, имел несколько научных трудов.

В конце весны 1934 года в редакцию «Осака Асахи» зашел худощавый человек в американском костюме, представившийся как Минами Рюити, — это был художник Мияги. Он намекнул Одзаки, что с ним желает встретиться старый друг по Шанхаю. Одзаки сразу же догадался, что в Японии появился Зорге, не стал ни о чем расспрашивать, а назначил художнику встречу вечером в китайском ресторане. Тут они могли потолковать без свидетелей. Решили, что встреча Зорге и Одзаки произойдет в ближайшее воскресенье в заповеднике Нара. На том и расстались. Не нужно, однако, думать, что Мияги, выполняя просьбу Зорге, мог составить четкое представление о роли Одзаки в организации. Он вообще не знал, зачем журналист из Осака потребовался Рихарду и имеет ли это все отношение к делам организации. А для Одзаки художник был лишь эпизодическим лицом, неким Минами Рюити.

Нара — провинциальный городок, притулившийся под самым носом у Осака — города-гиганта. Некогда в древности Нара была столицей, а сейчас превратилась в большой музей старины. Правда, не все музеи доступны здесь для широкой публики. Так, императорский дворец сокровищ, размещающийся в деревянном здании, всегда закрыт. Есть еще дворцовый музей, где сосредоточены коллекции ранней японской скульптуры.

Но искусство сейчас не занимало Рихарда. Он с волнением ожидал встречи с Ходзуми Одзаки. Согласится ли Одзаки вступить в организацию?..

Наконец в аллейке показался Одзаки, японец интеллигентного вида, с гладко зачесанными волосами, в больших очках. В руках он мял шляпу. В нагрудном кармане торчало несколько самопишущих ручек. Он неторопливо подошел к Зорге, и они, как бы обмениваясь впечатлениями, заговорили. Встреча обоих обрадовала. Проницательный Одзаки знал, о чем пойдет речь, он добродушно щурил темные глаза и ждал. Когда же Рихард без обиняков сказал, зачем пожаловал, эксперт протянул руку: он согласен сотрудничать, готов помогать Зорге и его друзьям. Одзаки только казался тихим, на самом деле он был тверд как железо. И последователен.

...Одзаки и Мияги Рихард дал полную самостоятельность, обстоятельно побеседовав с каждым в отдельности. Никто не должен знать, что Зорге причастен к организации. Вскоре Одзаки даже разработал своеобразную инструкцию, определявшую нормы поведения членов организации. «Никогда не нужно показывать, что вы хотите получить от собеседника интересующие вас сведения. Люди, особенно занимающие важные посты, просто откажутся разговаривать с вами, если у них возникнет хоть малейшее подозрение о вашем намерении добыть ту или иную информацию. Если же вам, напротив, удастся создать впечатление, что вы знаете гораздо больше, чем ваш потенциальный источник, он сам с улыбкой выложит все, что ему известно. Прекрасным местом для сбора информации являются неофициальные обеды.

Очень важно быть настоящим специалистом в какой-либо области. Что касается меня, то я являюсь экспертом по Китаю, и поэтому ко мне постоянно обращаются с самыми различными запросами из всех инстанций и учреждений. В итоге я получаю много интересных сведений от

тех, кто просит моей консультации. Не менее полезна связь с крупными организациями, занимающимися сбором той или иной информации...

Прежде всего следует добиться доверия и, конечно же, уметь сохранить его со стороны тех, кого вы используете в качестве источника информации. В этом случае вы можете вывести у них все что угодно, не возбуждая подозрений...

Нельзя быть хорошим разведчиком, если одновременно не являешься ценным источником информации для других. Этого можно достичь только непрерывным пополнением своих знаний и опыта».

Документ свидетельствует о хорошем знании Одзаки человеческой патуры. Он, как и Зорге, был прирожденным разведчиком. Он пользовался в своей деятельности мудрым законом джиу-джитсу: победить, временно подчинившись обстоятельствам. Японские пословицы были словно специально придуманы для разведчиков: «Оглядывайся на себя по три раза в день», «Кто осмотрителен, тот храбр вдвойне».

По совету Зорге Одзаки осенью 1934 года перебрался в Токио, где поступил в исследовательскую группу газеты «Асахи», занимающуюся изучением восточноазиатских проблем. Почти сразу же он занял здесь ведущее место как эксперт по китайским делам; его вклад в работу института Тихоокеанских отношений вызывал всеобщее восхищение; журнал, выходящий на английском языке, «Контемпорери Джэпен» охотно предоставляет Одзаки свои страницы.

Так постепенно создавалось ядро организации Зорге. Одзаки суждено было занять тут особое место, не предусмотренное никакими инструкциями.

Японские товарищи чисто по-человечески полюбили своего руководителя. Вспоминая эти дни, Зорге позже скажет: «Мое изучение Японии не ограничивалось изучением книг и журнальных статей. Прежде всего я должен упомянуть о моих встречах с Одзак и Мяги, которые состояли не только в передаче и обсуждении тех или иных сведений. Часто какая-нибудь реальная и непосредственная проблема, казавшаяся мне довольно трудной, представляла в совершенно ином свете в результате удачно подсказанной аналогии, сходного явления, развивающегося в другой стране, или же уводила русло беседы в глу-

бины японской истории. Мои встречи с Одзаки были просто бесценными в этом плане из-за его необычайно широкой эрудиции как в японской, так и во всеобщей истории и политике. В результате именно с его помощью я получил ясное представление об исключительной и своеобразной роли военной верхушки в управлении государством или природо Гепро — совета старейшин при императоре, который хотя и не был предусмотрен в конституции, но на деле являлся наиболее влиятельным политическим органом Японии... Никогда не смог бы я понять и японского искусства без Мияги. Наши встречи часто проходили на выставках и в музеях, и мы не видели ничего необычного в том, что обсуждение тех или иных вопросов нашей разведывательной работы или текущих политических событий отодвигалось на второй план экскурсами в область японского или китайского искусства...

Изучение страны имело немаловажное значение для моего положения как журналиста, так как без этих знаний мне было бы трудно подняться над уровнем среднего немецкого корреспондента, который считался не особенно высоким. Они позволили мне добиться того, что в Германии меня признали лучшим корреспондентом по Японии. Редакция «Франкфуртер цейтунг», в штате которой я числился, часто хвалила меня за то, что мои статьи поднимали ее международный престиж...

К заповедям Одзаки Рихард добавил свою: строжайшая конспирация во всех звеньях. Только он, как руководитель, мог знать, какое место занимает каждый в общей системе организации. Вукелич и Одзаки не подозревали о существовании друг друга. Мияги ни с кем, кроме Зорге, не общался. Он лишь смутно догадывался, что Браунке имеет какое-то отношение к организации, но какое, не знал. Все вместе никогда не собирались. Правила конспирации незыблемы: все члены организации в качестве прикрытия должны иметь не возбуждающее подозрений занятие; каждому члену организации дается псевдоним, так как подлинные фамилии не должны фигурировать ни в разговорах, ни в документах; названия советских городов также должны даваться в виде условного кода, например: Владивосток — «Висбаден»; Москва — «Мюнхен»; все документы уничтожаются сразу же, как только надобность в них отпадает; структура организации

виду ее нелегального положения должна быть известна лишь руководителю; принимать в организацию новых членов без предварительной и длительной проверки воспрещается; никто из членов организации не имеет права обсуждать свою деятельность со связными и курьерами; вся документация ведется на английском языке.

4. ЭЙГЕН ОТТ ДЕЛАЕТ КАРЬЕРУ

Главное направление — немецкое посольство — Зорге взял на себя. Для того чтобы получить доступ к государственным тайнам, запертым в посольские сейфы, необходимо было вначале стать здесь, в посольстве, человеком своим, незаменимым. Лезть в сейфы нет необходимости, пусть сейфы раскроются сами, пусть тайны сами лягут на стол Зорге.

Да, он должен был любой ценой подняться над уровнем среднего немецкого корреспондента, стать политическим оракулом, вознестись над всеми. Он руководствовался советами одного старинного дипломата: дипломат должен изучать историю и мемуарную литературу, знать порядки и обычаи за границей и разбираться в том, где находится действительный источник власти в той или иной стране. «Все это приводило к следующему естественному выводу: необходимо постоянно глубоко анализировать, изучать проблемы Японии. Окажись я не способен точно анализировать обстановку, я потерял бы всякое уважение своих японских помощников. Без должного авторитета и достаточной эрудиции я не смог бы занимать столь прочное положение в германском посольстве.

Именно по этим причинам, приехав в Японию, я занялся доскональным изучением японских проблем». Он работал как одержимый. Всем казалось, что у Зорге нездоровый вид от чрезмерного увлечения приемами, обедами, ужинами, возлияниями в узком кругу. А на самом деле он трудился день и ночь, задыхался от нехватки времени. Он организовал переводы различных книг по истории Японии, систематически заказывал выборочные переводы из ряда журналов, собирал в свою библиотеку все, что можно было достать из японских изданий на иностранных языках, лучшие труды о Дальнем Востоке, а также основные произведения японской классической литературы.

«Я вникал в подробности правления императрицы Дзингу, набегов японских пиратов, изучал эпоху сёгуна Хидэеси... Освоение проблем древней Японии помогло разобраться в экономических и политических проблемах современной Японии». Историю международных отношений он считал отправной точкой для прогнозов на целые периоды; не зная этих отношений, трудно судить о внешнеполитическом курсе того или иного государства в настоящее время и невозможно предсказать будущее.

Но никакие книги и статьи не могут заменить непосредственного восприятия. Зорге использовал любую возможность ближе познакомиться со страной и ее народом. Он любил Японию, и все здесь будило в нем жгучий интерес. Он оставался исследователем всегда: и во время воскресных прогулок с Оттами или же с фрейлейн Гааз в окрестности столицы, и тогда, когда разъезжал по городам разных префектур. Он знакомился с состоянием урожая риса в разные времена года и в разных местах, наблюдал за жизнью рабочих судостроительных верфей Кобе, отдавал должное искусству ткачей и гончаров Киото, колесил по побережью Японского моря. «Я стремился познакомиться со страной, узнать людей, развить в себе интуицию, без которой невозможно познать страну...» У него была система. Начав с подробного изучения земельного вопроса, он перешел к мелкой, затем к крупной промышленности, после чего рассчитывал заняться тяжелой индустрией. Особенно пристально исследовал он социальное положение трудящихся.

Былая история страны застыла в древних скульптурах, в коллекциях гравюр, в храмовых ансамблях Нары и Киото, в сборниках «описаний земель и обычаев», в повестях-моногатари, в героических эпосах-гунки, в эдоской прозе и драмах ёкёку. Перед Рихардом открылся целый мир, неизведанный, загадочный, овеянный легендами.

Иногда Зорге отправлялся в Киото — этот старинный исторический город, до сих пор сохранивший черты феодальной Японии. Здесь насчитывалось до тысячи древних буддийских и синтоистских храмов. Особенно привлекали огромные постройки из драгоценного темного дерева кейяки. Тут имелся свой «царь-колокол» высотой четырнадцать метров, своя «оружейная палата», где хранились кривые двуручные мечи самураев, алебарды, луки и колчаны со стрелами, латы, покрытые черным лаком.

Часами в глубокой задумчивости бродил Зорге по лесистым холмам Киото или же появлялся в Кашиваре, чтобы своими глазами увидеть могилу первого императора Японии Зимму-Тенно.

Рядом с новой Японией, Японией заводских труб, электричек, кинотеатров, цепко держалась старая Япония, Япония бумажных домиков с раздвижными стенами, с обогревательными горшками-хибати, Япония темных храмов, прячущихся в горах, Япония гейш с красивыми прическами, словно из черного лакированного дерева, в кимоно, оби и дзори — свой, не всегда понятный европейцу уклад, выработанный веками... У каждого почтенного японца рядом с телефоном и радиоприемником есть священный самурайский меч и белое кимоно с гербом рода; офицер, командующий танком, носит старый меч точно так же, как носили предки. Вот такой потомок самураев с восторгом расскажет вам, что в старину существовал обычай, по которому в вечер вручения меча воин отправлялся на окраину и «пробовал его остроту», отрубая голову первому встречному, а чтобы не пахло кровью, натирал свое оружие амброй.

Рихард обладал природным даром к перевоплощению. Теперь у него зародилось дерзкое желание перенять не только нравы и обычаи народа, но и его психологию, чтобы при случае, переодевшись в национальное платье, стать неотличимым от сотен других японцев. Упорно, методично совершенствовался он и в языке, стремясь улавливать тончайшие оттенки речи. Конечно же, он приобрел кимоно, веер, научился одним росчерком рисовать аистов, перенимал жесты, учился «почтительно шипеть». Обзавелся маленькой металлической трубочкой на три затяжки, курительным ящиком. Это не было забавой. Он стремился разрушить грань отчужденности, какая неизбежно возникает при общении аборигена с иностранцем. Ему именно хотелось походить во всем на японца, чтобы во время длительных поездок по стране легче завоевывать симпатии простого люда. «В какую бы страну я ни приезжал, я старался познать ее. Такова была моя цель, и осуществление ее доставляло мне радость. Особенно это касается Японии и Китая...»

Япония, Япония... Страна, некогда вынырнувшая из пучин океана. Страна дремлющих вулканов, криптомерий и кривых сосен. Страна, сочетающая в себе древнюю

мудрость Китая и индустриальный размах Европы и Америки. А там, у границы земель Кай и Соруги, Фудзияма вздымает к синему небу свою голову! Облака останавливаются в благоговейном изумлении, птицы не смеют взлететь на эту высоту, где снега тают от огня, а раскаленные лавы гаснут подо льдом... Богоравный по величию Фудзияма...

Если в токийской ассоциации Рихарда вначале встретили сдержанно (здесь не любили немецких корреспондентов, считая их всех нацистами), то постепенно лед растаял. Рихард в политические споры не ввязывался, не рассуждал о «прошлогоднем снеге», так как помнил, что каждый человек в день говорит пятнадцать тысяч слов и не всегда нужно выполнять норму, дабы не прослыть болтуном, не старался монополизировать беседу. Когда же просили высказать мнение, высказывал. Он обладал безошибочным политическим чутьем: всякий раз ставил смелые прогнозы, и прогнозы оказывались верными. Речь его отличалась лаконичностью, образностью. В нем было нечто располагающее на откровенность, вызывающее невольное уважение. К его негромкому голосу стали прислушиваться все чаще и чаще. Его статьи, до предела насыщенные познавательным материалом, размышлениями над судьбами Японии, содержащие четкие политические выводы, заметили сразу же не только в Германии, но и в других странах. Все поняли, что на журналистском небосводе вспыхнула новая звезда. Тогда-то к Зорге и потянулись, стремясь выудить у него что-нибудь для себя: ведь этот удивительный человек был прямо-таки напичкан ценнейшей информацией! Рихард с щедростью талантливого человека охотно делился своими познаниями. Пресс-атташе Вайзе мог с гордостью повсюду рассказывать, что только благодаря его, Вайзе, заботам Рихард смог так быстро подняться... Зорге охотно поддерживал эту версию.

Газеты, в том числе и «Франкфуртер цейтунг», читали также и в германском посольстве в Токио. Особенно внимательно перечитывал статьи Зорге посол Герберт фон Дирксен. Посол был достаточно умен, чтобы не завидовать таланту Зорге, но фон Дирксена поражали эрудиция журналиста, его осведомленность по всем вопросам, умение заглядывать вперед, обобщать и делать выводы.

По существующим взглядам, посол всегда должен быть главным источником информации, а также толкователем политической обстановки, тенденций и настроений общественного мнения в той стране, где он аккредитован. Отчеты посла учитываются правительством при определении своего политического курса; как говорил еще Демосфен, во власти посла воспользоваться удобными обстоятельствами, и, следовательно, в его руках отчасти власть над событиями.

Посол — главный канал связи между правительствами обеих стран. А средство связи — отчеты, донесения.

Немецкая аккуратность требует, чтобы документация была в идеальном порядке. До сих пор Дирксену казалось, что он занят серьезным делом, регулярно посылая отчеты в Берлин, — отчеты представляли образец аккуратности, все было разбито по пунктикам, по параграфам. Но вскоре Дирксен стал понимать, что там, в Берлине, о политическом состоянии Японии отныне судят не по отчетам и докладам посольства, а по статьям вездесущего доктора Рихарда Зорге. Властью над событиями фон Дирксен не обладал. Конечно, государственному человеку фон Дирксену не приходится так тесно общаться с иностранными газетчиками, забираться в японские министерства, как журналисту Зорге; Дирксен не может в такой степени быть информирован о местных интересах, настроениях, о тех подводных камнях, среди которых ему как послу приходится волей-неволей маневрировать. Дирксен близко знаком с государственными людьми Японии, но с японцами трудно разговаривать в доверительном тоне — никогда не знаешь, что у них на уме, даже иногда трудно оценить, каким влиянием пользуется каждый из них, и сложно быть посредником между ними и своим правительством. Дирксен причислял себя к старой школе дипломатов: он считал, что дипломатия — это искусство переговоров, и ничего более. Он отделял дипломатию от политики, говорил, что дипломат не должен заниматься политикой, он — инструмент своего правительства, и неважно, кто стоит у власти. Он слишком большое значение придавал связям, был уверен, что исход важных переговоров во многом зависит от того, какие связи имеет и поддерживает посол во время своего пребывания на посту, в какой степени ему доверяют в той стране, где он находится, то есть посол должен знать, с кем имеет дело, чтобы

заранее можно было оценить слабые и сильные стороны партнеров по переговорам, их надежность или же противоположные качества. Вот тут-то он и не мог сказать ничего определенного. Доверяют ли ему японцы? Связи носят строго официальный характер, душевного контакта нет и не может быть. За всеми сотрудниками посольства да и за самим послом неотступно следит японская полиция. И вообще находиться в этой стране — проклятие. Иногда Дирксена охватывало ощущение собственной ненужности, он начинал чувствовать себя незначительным, сосланным в эту нелепую Японию, где живешь, словно в парной бане, и из которой, по-видимому, никогда не выбраться. Если бы удалось обратить внимание рейхсканцлера или хотя бы министра иностранных дел Нейрата на свою особу, вот уж тогда...

И фон Дирксен неизбежно пришел к мысли, к которой с самого начала подводил его Зорге: при составлении отчетов в Берлин консультироваться с компетентным человеком! Таким компетентным человеком в вопросах внутреннего положения Японии был Зорге. И никто иной. Посол имеет право консультироваться с любыми осведомленными людьми — в этом нет ничего предосудительного. Хорошей сети осведомителей Дирксену так и не удалось создать. Нельзя же всерьез полагаться на информацию такого работника, как Эйген Отт!

В немецкой колонии, а также в посольстве неожиданно открыли, что у них под боком живет талантливый журналист; многие помнили, что «Франкфуртер цейтунг» пользуется особым покровительством Геббельса. Если на Рихарда вначале смотрели с любопытством, как на этакий газетный феномен, то потом прониклись к нему симпатией, стали зазывать на обеды и ужины, каждый искал дружбы с ним. В посольстве он появлялся редко, просто для того, чтобы засвидетельствовать свое почтение чиновникам и фрейлейн Гааз. И здесь он сделался желанным гостем. Ведь с ним никогда не было скучно. Он приносил с собой атмосферу большой жизни, и всем начинало казаться, что они, корпя в прокуренных комнатах, участвуют в событиях исторической важности. Так уж получалось всякий раз: стоило Рихарду заглянуть в рабочую комнату фрейлейн Гааз, как сюда устремлялись все, кому хотелось перебраться парой фраз с корреспондентом, узнать последние новости, а возможно, нечего греха таить,

и получить приглашение провести вечер в шумной журналистской компании. Подобные вечера, само собой, устраивались не в надоевшем немецком клубе, а на фоне японской экзотики, в «злачных» местах. Рихард приглашал охотно, ибо отлично знал: из всех категорий людей, проживающих за границей, наибольшей скупостью славились сотрудники посольств. Тут крылась некая загадка.

После долгих раздумий фон Дирксен, полагаясь на скромность Зорге, пригласил его в свой кабинет и наводящими вопросами сумел выудить ценную информацию. Корреспондент отвечал обстоятельно, с видимой охотой. Дирксен поблагодарил. Он намекнул, что и впредь станет прибегать к консультациям подобного рода. Корреспондент явно был польщен вниманием «государственного человека». Фон Дирксен в совершенстве знал науку делать человеку приятное, заставляя его работать на себя. Отчеты и доклады посла налились жизненными соками и наконец-то были замечены Нейратом.

В посольстве обосновался мелкий хищник — помощник военного атташе подполковник Эйген Отт. Ему страстно хотелось поскорее сделаться атташе. Он мечтал о продвижении, о блистательной карьере. Ему импонировали слова Гитлера, обращенные к дипломатам: «Я провожу политику насилия, используя все средства, не заботясь о правдивости и «кодексе чести». Умелый посол, когда нужно, не остановится перед подлогом или шулерством». Он строчил рапорты и донесения в Берлин. Но помощник военного атташе — мелкая сошка, и его рапорты, по-видимому, лишь бегло просматривали, не придавая им особого значения. Он мог еще десять лет просидеть в помощниках. Да и кому из начальства нужны малосодержательные донесения? Отт плохо владеет японским языком, вернее, совсем им не владеет; при составлении документов приходится довольствоваться тем, что дают сами японцы. А дают не щедро. Тут уж широко не размахнешься. Хитрый, изворотливый карьерист Отт решил выбиться в большие начальники любыми средствами. Все чаще Отт задерживал взгляд своих водянистых глаз на лице Зорге: вот кто может все!.. Если даже сам посол прибегает к его консультациям... Фрау Отт посоветовала: «А почему бы тебе не обратиться за помощью к твоему другу Рихарду? Если хочешь, я поговорю с ним». Но помощник атташе, хоть и восхищался умом своей жены, на этот раз решил

поговорить сам. За рюмкой шнапса он пожаловался на то, что теперь любой краснобай скорее может сделать карьеру, нежели честный служака, не умеющий красиво говорить. Рихард рассмеялся, а потом строго заметил, что всегда следует помнить слова Гесса о том, что, если ветераны партии даже не обладают способностями, это компенсируется их горячим стремлением к деятельности в интересах национал-социалистического государства. Отт надулся. Он был по-своему неглуп и понимал, что всепрощение Гесса относится к нацистским рыцарям плаща и кинжала, ко всем тем подонкам, с которыми Отт не хотел себя смешивать. Из «человека первого сорта» ему хотелось превратиться в добротного чиновника министерства иностранных дел. Перспектива возвращения в задавленную террором Германию его не прельщала. Прозябать на десятистепенных должностях?.. «На месте Дирксена я давно прогнал бы этого Вайзе и поставил на место пресс-атташе человека более достойного...» — сказал Отт. «А почему бы вам со временем не занять место Дирксена?» — отпарировал Рихард. Прямолинейный подполковник отвечал: «Потому что Дирксена консультируют, а меня нет».

Зорге видел Отта насквозь. Кроме того, фрау Отт все-таки рассказала кое-что.

«Ну если дело только за этим, то я к вашим услугам», — произнес Рихард и протянул помощнику атташе руку.

Сперва Зорге консультировал. Но то, что в устах корреспондента звучало весомо, в изложении подполковника выглядело бесцветно, он не умел обыденным идеям придавать резонанс. Тогда Отт вытащил из портфеля сводки, схемы, таблицы, те документы, какие имеют гриф: «Секретно», а на самом деле известны каждому мало-мальски искушенному в военном деле. Все это были пустячные тайны и никакого интереса для организации не представляли. Зорге отмел дотошное перечисление мелочей, которое в докладах помощника атташе занимало главное место и не столько проясняло, сколько запутывало общую картину; он наполнил донесение значимыми фактами: «молодое офицерство» и аракисты ведут себя беспокойно, партия сейюкай, связанная с военщиной, активизируется...

И произошло чудо: Отт получил первую благодарность из Берлина. Воодушевленный успехом, он прямо-таки на-сел на Зорге. И Рихард трудился. В адрес помощника

✱

атташе посыпались благодарности. А потом ему присвоили полковника. Рихард консультировал фон Дирксена, писал сводки и донесения за Отта, изучал историю и экономику Японии, собирал библиотеку. «Я взвалил на себя слишком много обязанностей. Мне приходилось одновременно заниматься деятельностью журналиста, работника германского посольства, вести исследовательскую работу и, наконец, продолжать свою секретную деятельность. Я страдал от хронического недостатка времени».

Зорге утверждал себя. И все-таки это были всего-навсего первые шаги. Он еще не пользовался полным доверием Дирксена, посол только слушал, но ничего не говорил. Опытный, прожженный дипломат, он умел хранить государственную тайну. Он смотрел на Зорге лишь как на источник информации, и только. Отт вообще знал мало, и разведчику приходилось работать на них, не получая ничего взамен.

Это было трудное время и для Зорге, и для всей организации — время упрочения. Рихард и Вукелич по-прежнему присутствовали на пресс-конференциях в министерстве иностранных дел Японии, в информационном бюро, их хорошо принимали в японских журналистских кругах. Бранко завязал близкие отношения с представителем агентства Рейтер Джемсом М. Коксом, имеющим свободный доступ в британское посольство. Информация накапливалась из месяца в месяц. Поступала она и от японских друзей. В апреле 1934 года представитель японского МИДа Амо заявил, что Япония считает себя единственно ответственной за поддержание порядка во всей Восточной Азии. Отныне Китай обязан обращаться за помощью только к Японии, и последняя категорически протестует против стремления третьих держав оказывать какую-либо помощь Китаю. Заявление вызвало приток информации. В Европе назревали события, связанные с активизацией Германии. Многое просачивалось в посольства, находящиеся в Токио. Фашисты сосредоточили всю полноту государственной власти и намеревались использовать ее в агрессивных целях; крупнейшие монополии непрерывно получали от гитлеровского правительства все возрастающие военные заказы. По сути, государственный аппарат уже перешел в подчинение военным концернам. «Ночь длинных ножей», убийство имперского министра Рема, массовые расстрелы без суда и следствия; Германия на-

рушила военные ограничения, установленные Версальским договором, и ввела всеобщую воинскую повинность.

Всякая информация из Японии представляла ценность для Центра. Но неожиданно Зорге столкнулся с непредвиденной трудностью: Бернгард и Эрна хоть и соорудили свой громоздкий передатчик на квартире Бранко, но установить связь с Центром долго не могли. Они оказались на редкость неумелыми специалистами. Они не вылезали из импровизированной рубки целыми сутками, по-видимому, нарушали все сроки пребывания в эфире, возможно, даже их засекли пеленгаторные станции, а связи не было. Потом они что-то переделывали, градуировали, ругались.

Рихард с горечью сожалел, что рядом нет Макса Клаузепе, и, махнув на все рукой, в октябре 1934 года отправился в Шанхай для встречи с курьером. Такая поездка не представляла бы собой ничего особенного, если бы не излишняя бдительность японской полиции: в любом иностранце она видела разведчика. Рихарда могли даже подвергнуть личному осмотру, а он вез материалы, которые не должны были попадать в руки полиции. Но все обошлось.

Благополучно сошел он с парохода и, пройдясь по рю дю Консуля и улице Эдуарда III, свернул на рю Чупаосан. Рю Чупаосан — значит «Кровавая аллея». От нее до гавани — два квартала. Здесь царство матросов. Улица короткая — в длину всего сто тридцать шагов, в ширину — шестнадцать. Два огромных серых дома, где размещаются бары, кафе, кабаре, ночные рестораны «Роз-Мари», «Монте-Карло», «Фантазио» и так далее. Вечером здесь происходят кровавые побоища, в них участвуют сотни матросов со всех иностранных кораблей. Когда полиция бессильна что-либо сделать, вызывают войска. Днем «Кровавая аллея» дремлет. Зорге заходит в отель, встречает здесь незнакомого человека с желтым портфелем. У Рихарда точно такой же портфель. Они заговаривают о погоде, обмениваются паролями, а затем портфелями. «Привет вам от товарищей и от Кати...» — произносит негромко незнакомец, будто бы спохватившись, кланяется и уходит.

Зорге дня два разъезжает по Шанхаю, достает материал для «Франкфуртер цейтунг», после чего возвращается в Токио с кучей новостей. Письмо жены хотелось бы

сохранить, перечитывать его всякий раз, когда становится тяжело, но это невозможно.

«Милая моя Катюша!.. Твои письма меня всегда радуют, ведь так тяжело жить здесь без тебя. Да еще почти в течение года не иметь от тебя весточки, это тем более тяжело... Это грустно и, быть может, жестоко, как вообще наша разлука...»

Он переносится мыслями в Москву, и все, что вокруг, кажется диким, иллюзорным: ухмыляющаяся физиономия Отта, японская полиция, хранитель нацистских тайн сухопарый Дирксен, игривая фрау Отт, званые обеды, приемы, фашистский угар в немецком клубе, так называемые «общие собрания», на которых Рихарда неизменно сажают в президиум. Стряхнуть бы этот бред, очутиться там, у Никитских ворот, бродить с Катей по вечерним московским улицам, а потом уснуть, уснуть спокойно, как все люди, дать отдых нервам, которые напряжены до предела вот уже почти два года...

Но это были только мечты. И разве мог он знать, что мечты скоро осуществляются...

5. ДОМОЙ, В МОСКВУ!

Зорге тяжело переносил японский климат. Почти в каждом письме к жене он жалуется на жару и влажность. «Здесь сейчас ужасно жарко, почти невыносимо. Временами я иду к морю и плаваю, но особенного отдыха здесь нет»; «Что делаю я? Описать трудно. Надо много работать, и я очень утомляюсь. Особенно при теперешней жаркой погоде... Жара здесь невыносимая, собственно, не так жарко, как душно вследствие влажного воздуха. Как будто ты сидишь в теплице и обливаешься потом с утра до ночи»; «Теперь там у вас начинается зима, а я знаю, что ты зиму так не любишь, и у тебя, верно, плохое настроение. Но у вас зима, по крайней мере, внешне красива, а здесь она выражается в дожде и влажном холоде, против чего плохо защищают и квартиры, ведь здесь живут почти под открытым небом...».

Теплые морские течения привносили сырую жаркую погоду. Костюмы, белье приходится держать в железных чемоданах и сундучках. Прошло уже почти два года с тех пор, как Зорге высадился в Йокогамском порту, но орга-

низм все не мог приспособиться к непривычным климатическим условиям. Рихард страдал, задыхался, постоянно ощущал расслабленность, вялость. И лишь волевым усилием ему удавалось казаться бодрым, веселым, деятельным.

В начале апреля цвела вишня, на Токио словно опускалось розовое облако. В парке Уэно начинался «танец цветения вишни» — мияко одори. Сюда стекались толпы горожан в праздничных кимоно, с зонтиками, разноцветными фонариками, на некоторых горожанах были травяные плащи.

Моросит дождь, но его никто не замечает. Улизнув от фрейлейн Гааз и всех своих посольских друзей, Зорге слоняется в толпе, прислушивается к говору, к печальным звукам сямисэнов, бормочет стихи Мотоори: «Если хочешь понять душу японца — взгляни на вишню, цветущую на солнце». Веселье здесь благопристойное, вежливое, и «танец цветения вишни» напоминает древнюю мистерию, а не шумное торжество, какое бывает на улицах и в парках Москвы. Заливаются бамбуковые флейты-сякухати, бренчат гитары, народ сгрудился у балаганов кукольников. Здешняя жизнь чужда Рихарду, но он хочет ее понять. И все же иногда наваливается безразличие, и Рихард ходит по аллеям, усаженным криптомериями, пальмами и вишневыми деревьями, просто так, чтобы обрести спокойствие духа. Он все чаще думает о Москве. Даже аккумулятору нужна периодическая подзарядка, а человеку тем более. Только бы очутиться каким угодно волшебством в Москве,дохнуть воздухом свободы, избавиться хоть на несколько дней от этого миража, кошмара, который приходится называть жизнью; а уж потом, получив зарядку, можно снова вести опасную игру...

Бернгард и Эрнэ наконец-то установили радиосвязь с Центром. Но связь какая-то неустойчивая. Сеансы очень часто срываются по неизвестным причинам. И эта нечеткость порождает уныние, ощущение неопределенности. В одной из шифровок Зорге попросил прислать квалифицированного радиста, хотя бы Макса Клаузена, а Бернгарда и Эрну отозвать.

Откровенно говоря, он не очень-то был уверен, что Центр пойдет навстречу — менять уже легализовавшихся работников очень сложное дело. Но видно, и радисты Центра намучились, так как пришла радиограмма —

Беригард и Эрна отзываются в Москву. Обрадованные сверх меры, они немедленно покинули Токио. Мрачный Бернгард на прощание даже поблагодарил Рихарда. Дальше в радиোগрамме говорилось, что сам Зорге должен также выехать в Москву для инструктажа.

Когда Рихард читал текст, он невольно поймал себя на том, что у него дрожат пальцы. Показалось, что повеяло свежим ветром. В Москву!..

Конечно, он не мог просто так бросить все и укатить. Отъезд следовало подготовить, чтобы временная отлучка ни у кого не вызвала подозрений. И в его отсутствие организация должна функционировать. Прежде чем уехать из Японии, ему пришлось связаться с Одзакки и Мияги, обстоятельно поговорить с Вукеличем.

Зорге стал распространять слух, что собирается в Европу, так как контракт с «Франкфуртер дейтунг» истекает. Теперь можно будет заключить новый контракт на более выгодных условиях.

Эйген Отт заволновался: как некстати Зорге собрался в Германию! Отта только что назначили военным атташе. И все это благодаря помощи Рихарда. Отт страшился на первых же порах оказаться без поддержки корреспондента. Зорге заверил атташе, что в фатерланде долго не задержится. Версия ни у кого не вызвала подозрений. Отт надавал кучу адресов и телефонов своих штабных друзей в Берлине: Зорге обязательно должен познакомиться с ними! Дирксен в свою очередь дал несколько поручений неофициального порядка. У посольских дам были свои поручения.

Зорге изнемогал от нетерпения, рвался в Йокогамский порт, но приходилось каждого внимательно выслушивать, улыбаться, помня завет де Кальера: дипломат должен иметь спокойный характер, быть способным добродушно переносить общество дураков. Отт, конечно же, затеял грандиозный цир, после чего выпудил Рихарда писать новое донесение. Друзья из токийской ассоциации решили в свою очередь устроить вечер в честь отъезда «любимца прессы». «Партай геноссен» из немецкого клуба последовали их примеру. Разумеется, целая орава провожала его на пароход. Фрау Отт даже прослезилась, а фрейлейн Гааз до тех пор стояла на причале, пока пароход, увозящий Рихарда, не скрылся за горизонтом.

Могучий океан поднял на свои плечи Рихарда. Синие прозрачные волны. Стаи летучих рыб неслись над водой. Рихард почти все время проводил на верхней палубе. Он знал здесь, в океане, каждый аттол, каждый островок — они были вехами на пути, который должен привести в конце концов в Москву. Вот высокая светлая четырехгранная башня с часами в Гонолулу. Прямо на причале гавайки с горячими глазами, в ожерельях из красных и белых цветов танцуют хулу. Но эта деланная экзотика не привлекает внимания Рихарда. Все надоело, все опротивело. Он больше не верит в экзотику. За внешним весельем, за всеми этими гирляндами и венками скрывается нищета. Он-то насмотрелся на «экзотику» в Японии! Его трудно обмануть. Экзотика повсюду покупается за доллары. В Москву! Очиститься от «экзотики», не видеть человеческого унижения...

В Нью-Йорке поджидал курьер Центра. Вручил Зорге паспорт с советской визой. Путь в Москву был открыт!

И он увидел Москву, которую всегда любил неизъяснимой любовью. Даже там, в Германии, когда он не знал еще этого великого города, он уже любил его. Он знал Москву по рассказам матери, которая хоть и бывала в Москве проездом, но сохранила о ней самые живые воспоминания. Мать так и не смогла освоиться в Берлине. Ее все время тянуло на родину, и эта тяга передалась Рихарду. Мать всегда имела на него огромное влияние. Советский Союз для молодого немецкого коммуниста рисовался обетованной землей. И когда он очутился впервые в Москве, то почувствовал, что вернулся домой.

Теперь он снова был в Москве, где сосредоточивался основной смысл его жизни, где жила его любимая, прекрасная Катя, где хранились его книги и рукописи, где от каждой улицы, от каждого сквера веяло чем-то волнующе знакомым, родным. Он представлял себя моряком, после долгих и опасных странствий вернувшимся к тихому очагу. Океанские бури позади. Люди... Их всех хочется обнять. Они свои, советские.

Москва... Всегда бурная, говорливая, зараженная энтузиазмом Москва. Знакомый бой курантов. И это рядом, вот здесь, перед тобой. Сколько раз доносился он сквозь эфирные ветры к Рихарду, склоненному над приемником в конспиративной квартире Вукелича...

Арбат, Никитские ворота, Нижне-Кисловский пере-

улок... Рихард дома. Счастливые заплаканные глаза Кати, ее лицо (как он считал — «античное лицо»), косы, знакомые руки...

Это было 25 июля 1935 года.

Наконец-то Зорге мог насладиться покоем, семейным счастьем, пожить настоящей (не придуманной!) жизнью. Отсюда, из квартиры на Нижне-Кисловском, Япония казалась бесконечно далекой, нереальной. На заводе «Точизмеритель» Кате дали отпуск. Катя уже бригадир. Получает четыреста рублей.

Они сидят на диване. Уютно светит лампа под зеленым абажуром. Здесь все просто, даже бедновато. Небольшой шкаф, в котором книги Рихарда: драмы Лессинга, Гёте, Шиллер, Кант; из новых — Маяковский, Фурманов. Тут же труды самого Рихарда. Он вынимает томик Маяковского.

Ведь для себя неважно
и то, что бронзовый,
и то, что сердце — холодной железкою...

Из книги выпадает черновик какого-то документа. Рихард читает: «Москва, 12 апреля 1926 года. Краснопресненскому районному комитету ВКП (б).

Дорогие товарищи!

Клуб немецких коммунистов создал недавно пионерскую организацию из немецких детей. В этой работе нам обязательно нужна ваша помощь, причем не только в форме указаний, циркуляров и т. д., но и в отношении кадров. Поэтому мы просим вас по возможности прислать нам товарища, хорошо знающего пионерскую работу и владеющего немецким языком.

С коммунистическим приветом
Зорге».

Глаза Рихарда увлажняются. Они мечтают с Катей о том времени, когда у них будут дети. Ика хочет иметь детей. Его идеал — стать добрым семьянином, заняться наукой, написать солидные труды об азиатских странах, воспитывать детей, быть всегда рядом с милой Катей. Они придумывают имя будущему ребенку. «Помнишь ли ты еще наш уговор насчет имени? — напишет он после отъезда из Москвы. — С моей стороны я хотел бы изменить этот уговор таким образом: если это будет девочка,

она должна носить твоё имя. Во всяком случае, имя с буквы «К». Я не хочу другого имени, если даже это будет имя моей сестры, которая всегда ко мне хорошо относилась.

Или же дай этому новому существу два имени, одно из них обязательно должно быть твоим.

Пожалуйста, выполни моё желание, если речь будет идти о девочке. Если же это будет мальчик, то ты можешь решить вопрос о его имени с В.»

С Екатериной Александровной Максимовой Зорге познакомился ещё до своей поездки в Китай. Сначала Катя давала ему уроки русского языка, которым Рихард в ту пору владел не совсем хорошо. Они подружились. Дружба переросла в любовь. Он стал частым гостем в её полуподвальной квартире на Нижне-Кисловском.

Родственники Кати жили в Петрозаводске. Мать, два брата, три сестры. Она всё время переписывалась с сестрами. Зорге так и не довелось повидать её сестер Марию и Татьяну, которых Катя особенно любила. Катя была незаурядной девушкой. Несколько лет назад она окончила Ленинградский институт сценического искусства. Быстро пришёл успех. Затем — поездка в Италию, на Капри. Умер артист, человек, к которому Екатерина Александровна была привязана, ценила его талант. Эта трагедия повлияла на неё неожиданным образом: она отказалась от сцены и ушла на завод. Работала аппаратчицей на заводе «Точизмеритель»; назначили бригадиром, прочат в начальники цеха.

Впервые Рихард испытал глубокое чувство. Он встретил девушку, которая понимала его. Литература, искусство, музыка — вот сфера, в которой оба растворялись во время коротких встреч. Случалось, вместе заходили в букинистические магазины, отыскивали какую-нибудь редкую книгу. Мир книг был их миром.

Катя понимала: Рихард — человек особой судьбы. Но даже после трехлетней разлуки, когда он работал там, в Китае, любовь Кати к нему не стала меньше. Эта любовь прошла все испытания.

Они поженились в первый же день, как только Рихард вернулся из Китая и появился на Нижне-Кисловском. В феврале 1933 года. Теперь вот снова они вместе.

Короткое счастье... Один раз они в специальной машине поехали за город, забирались в лесные чащобы, купа-

лись; забыв обо всем на свете, ощущали радость бытия, говорили друг другу нежные слова, клялись в верности, мечтали о будущем. Быть вместе, всегда быть вместе... Разве они не заслужили этого права?.. Все еще впереди, жизнь еще расцветет невиданными цветами, и «старый ворон» (как она в шутку называет его) еще расправит крылья, поднимется в иные высоты...

Зорге в кабинете начальника Разведывательного управления комкора Урицкого. Подготовлен обстоятельный доклад о деятельности организации. Урицкий остался доволен докладом. Он еще раз подчеркнул, что главные усилия Зорге должен направлять на выявление замыслов фашистской Германии в отношении СССР. Посоветовал Рихарду вступить в нацистскую партию.

Семен Петрович Урицкий устроил небольшой обед, и здесь Зорге встретился с Максом Клаузенем. Да, старые друзья вновь повстречались.

В августе 1933 года Клаузен и Анна приехали из Китая в Москву. После переподготовки в спецшколе они получили отпуск на шесть недель и провели его на черноморском курорте, в Одессе. Это было счастливое время. Оба хорошо отдохнули. А потом в конспиративных целях весной 1934 года обоих направили в Красный Кут, где в то время проживало много немцев. Среди них Макс и Анна затерялись. Жили они под вымышленной фамилией Раутман. Скучая без дела, Макс устроился в МТС слесарем. Работа была по душе. В этом же месте работал товарищ Макса по Китаю Генрих Шюрманн. Он-то и намекнул директору МТС, что Макс немного разбирается в радио. Директор Касаткин возликовал, вызвал Макса и поручил привести в порядок шесть политотдельских радиостанций и наладить связь между бригадами и МТС. Макс с головой окунулся в работу. Кроме того, он построил в МТС настоящий радиоузел, сконструировал более мощный передатчик на ультракоротких волнах. Директор потирал руки. Он понял, что Макс для МТС — сокровище. Весть о делах Макса дошла до секретаря обкома в городе Энгельсе. Макса вызвали в Энгельс и предложили взять на себя организацию радиотелефонной связи во всех колхозах и совхозах.

Макс с удовольствием принял предложение. Теперь он стал важным начальником, в его распоряжение выделили целую армию молодых радиолюбителей и техников. Макс

расцвел, округлился. Анна была в восторге от новой жизни.

И неожиданно весной 1935 года секретарь обкома лично приехал из Энгельса в Красный Кут. Макса вызвали в кабинет директора МТС, показали телеграмму из Москвы, согласно которой он должен был немедленно выехать в столицу. Макс рассердился, заявил, что тут ему нравится и он никуда не поедет. Секретарь обкома обрадовался и сказал, что сделает все возможное, чтобы оставить Макса здесь. Но через неделю пришла правительственная телеграмма за подписью Ворошилова: Максу предписывалось немедленно явиться в Москву. Тут уже секретарь обкома только развел руками: откуда он мог знать, что Макс — такая важная персона. Если слесаря вызывает нарком...

Анна осталась в Красном Куте сторожить свое хозяйство.

...Урицкий говорил о двух очагах агрессии и назревающей мировой войне. Гитлеровцы с полного одобрения Англии и Франции расторгли все военные статьи Версальского договора, замышляют нападение на Советский Союз. Совсем недавно в Германии принят «Закон о военной службе», согласно которому военнообязанными считаются все лица мужского пола от 18 до 45 лет. Уже создано 36 дивизий, численность армии перевалила за 250 тысяч человек, Германия располагает 1000 военных самолетов и приступила к созданию крупного военно-морского флота; большое внимание уделяется строительству подводных лодок. Между нацистами и Англией заключено секретное соглашение, поощряющее гонку военно-морских вооружений в Германии. Гитлер намеревается осуществить аншлюс, то есть захват Австрии. Советское правительство обеспокоено стремлением Гитлера сколотить блок агрессоров. Намечается сближение фашистской Германии с фашистской Италией. Сговору Германии с Японией пока мешает столкновение экономических интересов в Китае, но как будут развиваться взаимоотношения этих стран дальше, и надлежит выяснить организации Зорге. Борьба империалистических государств за колонии, за рынки сбыта и сферы приложения капитала на Дальнем Востоке носит особенно ожесточенный характер. Следует помнить, что японские войска уже вышли к границам Советского Союза. Империалисты западных держав не сомневаются, что Япония, оккупировав северо-восточные провинции

Китай, начнет войну с Советским Союзом. Нужно во что бы то ни стало отвести возможность войны между Японией и СССР!

В Москве не так давно проходил VII конгресс Коминтерна, который призвал трудящихся всего мира преградить дорогу фашизму, создать широкий антифашистский Народный фронт. Рихард мог бы встретить старых немецких друзей по подпольной работе в Германии, но он не имел права рисковать, а потому следил за работой конгресса по газетам. Друзья... Они были во всех уголках мира, на всех континентах и архипелагах.

Разговор с Урицким четко определял направление всей последующей работы. Необходимо знать о каждом шаге фашистской Германии, более активно использовать сотрудников германского посольства; нужно бдительно следить за развитием германо-японских отношений, так как несомненно, что эти отношения с каждым годом будут укрепляться: Германия ищет партнеров, сообщников. Что же касается собственно Японии, то...

«В 1935 году в Москве я и Клаузен получали напутственное слово начальника Разведывательного управления генерала Урицкого. Генерал Урицкий дал указание в том смысле, чтобы мы своей деятельностью стремились отвести возможность войны между Японией и СССР. И я, находясь в Японии и посвятив себя разведывательной деятельности, с начала до конца твердо придерживался этого указания...»

После инструктажа Зорге свел Макса с Эрной и Бергардом, которые рассказали, в какой обстановке придется работать радисту в Токио.

С тяжелыми чувствами покидал Рихард Москву. Кате сказал, что через год-два вернется и больше не оставит ее одну. Откуда ему было знать, что они не встретятся больше никогда?.. И все же он был счастлив, что целых три недели провел в Советском Союзе. К сожалению, так и не удалось повидаться с Берзиным: он в это время находился в Особой Краснознаменной Дальневосточной армии, его назначили заместителем командующего Блюхера.

Прощай, Москва... Последний раз пришел он на Красную площадь, постоял с обнаженной головой у Мавзолея Ленина. Именно отсюда, от Красной площади, начинался героический путь Рихарда Зорге. Что бы там ни было впереди, но сердцем он всегда был здесь. Здесь была под-

линая родина всех коммунистов земли. На память пришли строки поэта:

...Я себя под Лениным чищу,
чтобы плыть
в революцию дальше...

16 августа 1935 года Зорге покинул Советский Союз. Прежде чем попасть в Японию, требовалось заглянуть в фашистскую Германию.

Берлин. Сумрачный, зловещий. Здесь Рихарду пришлось иметь дело с полковниками и генералами — друзьями Отта, а также с однокашниками фон Дирксена — чиновниками министерства внутренних дел. Нацистский пресс-клуб встретил его с помпой. Начались вечера, попойки, заключение контрактов с газетами и журналами.

Аккуратный Берлин, каким его помнил Рихард, выглядел теперь каким-то запущенным, грязным; ветер носил по пустынным улицам обрывки газет. Жизнь словно замерла, притаилась, ушла в подполье. Только стук кованых солдатских сапог. Марширующая Германия. Стальные каски, надвинутые на лоб, откровенная черная свастика на рукаве Гитлера. Еще жив Гинденбург, и фюрер покровительственно хлопывает его по высохшему плечу. Но Зорге знал, что, несмотря на жесточайший террор, здесь продолжают действовать Коммунистическая партия и антифашистские группы Сопротивления.

Очутившись в самом логове врага, Зорге должен был очень искусно и осмотрительно играть роль нацистского борзописца. На этот раз он превзошел самого себя, удостоился особого внимания министра иностранных дел Нейрата, а также высоких чинов военной авиации.

Намечался перелет из Германии в Токио на первом «юнкере». Зорге, как видному журналисту, предложили принять участие в перелете. Рихард не удержался от искушения. Тут были опасность, риск, а кроме того, выигрыш во времени. Он согласился. Сперва лететь собирался специальный посланник германского министерства иностранных дел Шмиден. Но потом, поразмыслив, он решил отправиться в Токио обычным путем: ведь неизвестно, чем закончится перелет. Посланник даже обрадовался тому, что подвернулся этот знаменитый журналист. Пусть летит. Отступление Шмидена останется незамеченным. Он объяснил Рихарду: когда едешь с важной мисси-

ей, то уж лучше не рисковать. «Я кое-что слышал, — отозвался разведчик. — Но, к сожалению, не посвящен в детали. Впрочем, это уже не имеет значения». Шмидену, конечно, благоразумнее было бы оставаться в Берлине — в Японии сейчас адская жара. «Осима — колпак — вот что я вам скажу! — выпалил Шмиден. — Из-за несговорчивости этого колпака я вынужден проделывать все эволюции. Видите ли, он требует, чтобы мы отозвали советников из китайской армии и прекратили поставки. Какая паглоты! В самом начале переговоров ставить условия. Но они плохо знают Риббентропа...» «Я буду в Токио раньше вас и подготовлю почву», — пообещал Зорге безразличным тоном. Шмиден видел в журналисте своего поля ягоду и не стеснялся проявлять благородное негодование. Ведь переговоры носили неофициальный характер, но многие в МИДе о них знали.

А Зорге кипел от возбуждения: в Берлине ведутся секретные переговоры между военным атташе Японии Осимой и Риббентропом! Если бы вернуться в Москву... И этому тупице Шмидену поручили уламывать японское правительство!.. Можно задохнуться от ярости и от собственного бессилия. Скорее, скорее в Токио!.. Там найдется способ сообщить обо всем Центру. Старая нацистская сорока Шмиден...

Разведчику казалось, что самолет не летит, а ползет.

На первом «юнкерсе» Зорге является в Токио. Он почти национальный герой. О нем шумят газеты, его встречают цветами. Посланец Геринга... Вскоре Зорге стал кандидатом в члены нацистской партии.

Когда в Японию наконец-то прибыл специальный посланник Шмиден, они встретились с Рихардом как старые, добрые друзья. В присутствии фон Дирксена стали вспоминать берлинские дни, проведенные в компании высоких чинов.

Посол слушал внимательно, а про себя решил, что настала пора привлечь корреспондента к более тесному сотрудничеству в посольстве.

6. ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАКСА КЛАУЗЕНА

Простившись с Рихардом, Макс Клаузен вернулся в Красный Кут, чтобы уволиться и забрать Анну.

Анна запротестовала: она никуда не хочет уезжать! Ей нравится в степном краю. Спокойствие, тишина. Завелось кое-какое хозяйство: овцы, куры, которых дали от МТС. Чего еще? В годы неустроенной шанхайской жизни именно так рисовалась ей семейная идиллия. И теперь не верилось, что нужно снова возвращаться в мир, полный опасностей, где все держится на каких-то случайностях, где само существование представляется непрочным, зыбким. Когда людям под сорок, они должны позаботиться о тихом пристанище, осесть на одном месте. Ее долго преследовали кошмарные сны: пустынные, словно вымершие, улицы Шанхая, Мукдена, Кантона; воронье, а на деревьях висят обезглавленные люди... Она заново переживала ужасы прежней жизни, просыпалась в ознобе, а потом до утра лежала с открытыми глазами. Мирное бление овец успокаивало ее, постепенно все становилось на свое место, обретало устойчивость, реальность. Прочь, прочь, тяжелые видения! Пусть прошлое не вернется никогда...

И сколько Макс ни доказывал, что долг есть долг и что он как коммунист обязан... она не могла так легко бросить все, с чем уже успела сродниться, и сломя голову ринуться в опасное приключение.

В конце концов договорились, что в Токио она приедет несколько позже, когда Макс там устроится. Перед расставанием три недели провели в доме отдыха под Москвой.

В сентябре Макс уехал. Стремясь запутать иностранную контрразведку, он отправляется сначала во Францию, затем — в Англию, Австрию, снова возвращается во Францию. Из Гавра на пассажирском пароходе покидает Европу. Впереди — Америка!

Макс очень волновался. Морская полиция могла задержать и на пароходе, и при таможенном досмотре в Нью-Йорке. Больше всего пугал предстоящий визит в германское генеральное консульство на американской земле: там сидят дотошные немецкие чиновники. Станут наводить справки, делать запросы, уточнять. Почему уехал из Германии, где пропадал все последние годы? Не служил ли Макс Клаузен на трехмачтовой шхуне, которая в 1927 году совершила рейс в Мурманск?.. У фашистов цепкая память. Макс Клаузен боролся тогда за улучшение социального положения моряков и был хорошо известен на флоте, в каждом порту его встречали добрые друзья.

Теперь ему нужно без всяких злоключений пересечь два океана. Два океана!.. Следует только вдуматься в эти слова... Два океана и целый материк — Америка... Из Нью-Йорка до Сан-Франциско придется добираться на поезде. Но об этом пока рано думать. Главное — не вызвать подозрений у морской полиции.

Бесконечные океанские мили. Клаузен старался отсиживаться в каюте, ссылаясь на то, что плохо переносит качку. Нашлись сочувствующие, докучали за обедом, предлагали испытанные средства от морской болезни. Макс злился, нервничал.

«Я очень боялся, что меня задержат в Нью-Йорке. Но там мне повезло. Американский чиповник посмотрел мой паспорт, проштамповал его и вернул». Ему всегда везло, Макс Клаузену. У него была располагающая внешность. Доверчивый взгляд, ласковая улыбка, естественность во всем.

В германском генеральном консульстве осоловевшие от безделья чиновники обрадовались земляку-коммерсанту, без всякой канители оформили документы. Мало ли скитается по белому свету таких вот предприимчивых немцев, как этот добродушный толстяк Клаузен! Немцы — в Америке, в Африке, на Яве, в Китае и Японии. Некоторые обосновались на территории иностранных государств навсегда. Для таких наци даже придумали специальное название — «фольксдейче».

И наконец — Сан-Франциско, борт парохода «Тацуте мару». Великий, или Тихий... Испытанный моряк Клаузен с наслаждением дышал океанскими ветрами. Он повеселел, охотно заводил знакомства и даже в самую свирепую качку не уходил с палубы. Знакомства пригодятся в Токио. У коммерсантов своя солидарность, степенный Клаузен им импонировал: сразу видно — деловой человек, знает цены, разбирается в тарифах! Давно ли Макс по указанию директора МТС налаживал радиотелефонную связь между МТС и тракторными бригадами?.. Фотография Макса красовалась на Доске ударников. Степной городок Красный Кут, села Гусенбах, Рекорд, Ильинка, Воскресенка, ерики, заросшие молочаем, бескрайняя ширь, запах спелой пшеницы... А перед глазами встает вздыбленный тайфунами океан. Гонолулу, остров Оаху и еще какие-то острова и атоллы, над которыми качаются кокосовые пальмы. Немыслимые расстояния отделяют его от Анни,

от тракторных бригад, от тихого городка на самом берегу Волги — Энгельса, от всей той жизни, которая ему, так же как и Анни, пришлась по вкусу... Но как-то получается так, что всюду, куда бы ни занесла его судьба, он оказывается в своей стихии и не тужит о прошлом. А вообще-то они с Анни рождены для мирной тихой жизни.

В Йокогаме на таможне к нему никто не придирался. Вскоре он уже был в Токио, в отеле «Сано», а вечером, как и положено добропорядочному немцу, отправился в немецкий клуб поиграть в скат, выпить кружку пива, закусить сосисками.

Ему не терпелось встретиться с Рихардом. Но до условленного дня — вторника — было еще далеко, а где находится бар «Гейдельберг» — место их свидания, Клаузен не знал.

Немецкий клуб располагался неподалеку от гостиницы. От портье Клаузен узнал, что сегодня там будет большой вечер берлинцев.

Каково же было изумление Макса, когда первым, кого он встретил в коридоре клуба, был Рихард Зорге! Рихард, во фраке и цилиндре, изящный, с ослепительной улыбкой, бойко торговал сосисками, зазывал почтенных гостей. Заметив Макса, он не переменялся в лице, а только раскланялся с ним, как и со всеми, пожал руку, а потом негромко сказал: «Тебя представит мне третье лицо. Жди». Вскоре президент клуба действительно представил их друг другу. Улучив минуту, они договорились, что встречаться будут в ресторане «Фледермаус», принадлежавшем немцу Бирке. Этот рестораник посещала только избранная публика, немецкий бомонд.

Рихард свел Макса с Вукеличем. На электричке Макс и Бранко отправились в тот район, где проживали Вукеличи. Двухэтажный типичный японский дом стоял на горе, и Макс сразу оценил это обстоятельство с точки зрения радиоспециалиста: наружную антенну можно не устраивать! Эдит, по обыкновению, встретила гостей не очень дружелюбно. Радиостанция была развернута на втором этаже. Здесь Клаузен, удивляясь и радуясь, нашел свой старый передатчик, который монтировал еще в Китае. Значит, техника действует!

Но был еще один передатчик — громоздкое сооружение ватт на сто, как догадался Макс — произведение рук незадачливого конструктора Бернгарда. Этот передатчик

следовало немедленно уничтожить! Если такую машину обнаружит полиция...

Так как Бранко собирался в воскресный день побывать наконец у священной горы Фудзи и пригласил на экскурсию Макса, то решили передатчик разобрать, погрузить в два рюкзака, а потом выбросить в озеро Кавагутиго.

И вот, оставив машину, «туристы», сгибаясь под тяжестью набитых до отказа рюкзаков, пробирались к озеру. Все шло хорошо. Но дежурному полицейскому два иностранца показались подозрительными. Он решил их задержать. «Что в рюкзаках?» Все было кончено... Так, во всяком случае, думал Макс. Вукелич не потерял хладнокровия. Он уже освоился в Японии и знал местные порядки. В частности, полицейским строго воспрещалось распивать спиртное с иностранцами. Вукелич широко улыбнулся и ответил: «Саке, биру...» Он схватил полицейского за рукав и пытался усадить на траву, как бы для того чтобы распить с ним бутылочку. Перепуганный полицейский замотал головой и поспешно ушел. Передатчик бросили в озеро Кавагутиго, близ горы Фудзи. Там он лежит на дне до сих пор. Рихарду сначала не хотели ничего рассказывать, боясь его гнева. Но не удержались и рассказали. Зорге рассердился не на шутку.

Решили смонтировать несколько портативных передатчиков и приемников, так как сеансы связи в целях безопасности следовало проводить из разных мест. Такими пунктами для начала должны были стать квартиры Вукелича, Зорге и самого Клаузена.

Но поскольку Рихард и Макс жили в отелях, то возникла необходимость перебраться в отдельные домики. Детали для радиоаппаратуры Макс с большими предосторожностями приобретал в разных районах Токио и Йокогамы.

Макс приехал в Японию 28 ноября 1935 года. Официально он зарегистрировался в посольстве как представитель немецких деловых кругов. Его солидная фигура внушала доверие, он весь был на виду, аккуратно посещал немецкий клуб и платил взносы. Типичный бюргер времен Веймарской республики! Каждый, глядя на него, наверное, думал: вот она, здоровая основа великой немецкой нации! Такой, конечно же, кроме библии и газет, ничего не читает.

Но пора было подумать о прикрытии, так как всякий праздношатающийся иностранец вызывает подозрение у японских властей.

В Токпо немец Хельмут Кетель держал ресторан, куда Макс иногда заглядывал. Кетель общался с неким Фёрстером, который на полпути между Токио и Йокогамой основал маленькую мастерскую по производству гаечных ключей. Фёрстер был накануне финансового краха, так как английские ключи, по-видимому, плохо подходили к японским гайкам. Тут-то владелец ресторана и познакомил его с Максом. Клаузен согласился стать компаньоном Фёрстера, внес свой пай. По старой памяти Макс решил также заняться продажей мотоциклов «Цюндап». Чтобы поддержать «Инженерную компанию Ф. и К.», Зорге купил первый мотоцикл. Он любил быструю езду, и мотоцикл был к стати. Как мы узнаем позже, это для Рихарда было роковое приобретение: лучше уж обходился бы он без мотоцикла! Вскоре фирма стала процветать: каждый из немецкой колонии по примеру Зорге считал долгом поддержать земляков Клаузена и Фёрстера, обзавелся новеньким мотоциклом. Иностранные журналисты также сделали клиентами «Инженерной компании».

После долгих поисков Рихарду удалось подыскать небольшой двухэтажный дом в районе Адзабуку по улице Нагасакимаси, 30. Дом был довольно-таки невзрачным, каким-то заброшенным. Раздвижные стены — фусумы, балкончик, на полу — циновки (татами). Это был как раз такой дом, который соответствовал положению корреспондента. Пробраться сюда приходилось вдоль высокой глинобитной стены по переулку шириной в два метра. Дома Рихард бывал редко, приходил сюда спать. Внизу находилась столовая, ванна и кухня. Наверх вела крутая деревянная лестница. Тут находился рабочий кабинет. В кабинете с левой стороны стоял большой письменный стол. Посреди кабинета — стол поменьше. У стены — диван. Циновки были покрыты ковром.

Рано утром приходила работница, женщина лет пятидесяти, маленькая японка, которую Рихард называл Опнасан; она готовила ванну, наводила порядок. Вечером уходила домой. Иногда она готовила обед. Но обычно Зорге обедал в ресторане или у друзей.

Максу у Зорге нравилось: «У Рихарда была настоящая холостяцкая квартира, в которой царил беспорядок.

Но Рихард хорошо знал, где что лежит. Я должен сказать, что у него было очень уютно. Было видно, что он много работал. Он всегда был занят и любил работу. У него был простой книжный стеллаж, на котором стояли книги. Дверь из рабочего кабинета вела в его спальню. У него не было кровати, он спал на японский манер на разостланном на полу матрасе».

Сам Рихард в письмах к жене описывал свое жилище так: «Я живу в небольшом домике, построенном по азиатскому типу, совсем легком, состоящем главным образом из раздвигаемых окон, на полу — плетеные коврики. Дом совсем новый и даже современнее, чем старые дома, и довольно уютен».

Одна пожилая женщина готовит мне по утрам все нужное; варит обед, если я обедаю дома.

У меня, конечно, снова накопилась куча книг, и ты с удовольствием, вероятно, порылась бы в них. Надеюсь, что наступит время, когда это будет возможно... Если я печатаю на своей машинке, то это слышат почти все соседи. Если это происходит ночью, то собаки начинают лаять, а детишки — плакать. Поэтому я достал себе бесшумную машинку, чтобы не тревожить все увеличивающееся с каждым месяцем детское население по соседству».

Клаузен также снял двухэтажный дом на Сиярюдо-тё № 12, в Адзабуку. Стены на метр в высоту были облицованы панелями, за которыми Макс устроил тайник для передатчика. Над тайником повесил большой портрет Гитлера, чтобы выглядеть благонадежным в глазах японской полиции. «У меня в жилой комнате висел портрет Гитлера, на который Рихард плевал каждый раз, как только входил туда...»

Друзья могли поздравить себя: они обзавелись жилищем, изолированным от внешнего мира! Но скоро наступило разочарование. «Не выбирай дом, а выбирай соседей», — говорят японцы. Макс, как всегда, «везло»: он снял квартиру, сам того не подозревая, возле казарм гвардейского полка! Рихард его утешил: оказывается, дом Зорге находится под самым боком у районной инспекции полиции! Вид с балкона открывался как раз на это учреждение. Глинобитная стена, мимо которой Рихард вынужден был проходить всякий раз, принадлежала, по всей вероятности, полицейскому участку. Полицейские призна-

ли германского корреспондента и при встрече всегда его приветствовали.

Передачик и приемник, смонтированные Максом, умещались в обычном портфеле. Передачик легко и быстро можно было разобрать на детали. Для большей конспирации Макс некоторые детали размещал в разных квартирах, колебательный контур носил в кармане.

Связь с Центром удалось установить в феврале 1936 года. Зорге разрешили для шифровой работы использовать менее загруженного Клаузена. Ничего нельзя было записывать, все приходилось держать в голове. Передачи велись в зависимости от срочности и главным образом ночью, так как в ночное время короткие волны проходят лучше. Иногда начало радиogramмы Макс передавал с чьей-нибудь квартиры, а конец — с автомашины, отъехав подальше от Токио. Или же радиogramма передавалась с одного места, но в два разновременных сеанса. Иногда приходилось работать всю ночь напролет. Макс трудился, не щадя себя. У него был настолько обостренный слух, что даже при самых сильных атмосферных помехах он находил позывные Центра. Само собой, и позывные, и волны менялись каждый сеанс. Все это затрудняло работу японских радиопеленгаторных станций. Случалось, Зорге говорил: «Будь осторожен, особо важной и срочной информации нет. Это может полежать дня три с тем, чтобы мы были абсолютно уверены, что нас не засекли, и чтобы усыпить службу пеленгации». Однажды, расшифровав очередную радиogramму из Центра, Макс смутился. В ней говорилось: «Ты наш лучший радист. Благодарим! Желаем тебе больших успехов».

Благодарность товарищей, таких же радистов, как он сам, растрогала его. Будучи предельно скромным, он всегда расстраивался, когда к нему проявляли внимание, — ведь он работал не ради похвалы и меньше всего думал о наградах. Да он и не получал их.

В радиogramмах никогда не указывались подлинные фамилии членов организации. Кстати, Клаузен за все время работы ни разу не слышал от Зорге фамилий Одзак и Мияги. Информацию давали некие «Отто» и «Джо». О том, как добывается информация, он также не имел ни малейшего представления. Даже Одзак долгое время не знал фамилии Рихарда, а когда узнал, то решил, что это псевдоним, так как в Шанхае Рихард действовал совсем

под другой фамилией. Кто такой Клаузен и имеет ли он какое-либо отношение к организации, японские товарищи не могли бы сказать. Для Центра Зорге был «Рамзай», Клаузен — «Фриц», Вукелич — «Жиголо», Одаки — «Отто», Мияги — «Джо». Да и в разговорах между собой фигурировали только псевдонимы. Такова была дисциплина организации, и нарушать ее никто не имел права. Лишь Зорге находился в курсе всего и никогда не брал на веру информацию, полученную от своих помощников, многократно не проверив ее по другим каналам. Не то чтобы он не доверял, нет, просто он считал, что даже самого добросовестного работника могут ввести в заблуждение, дезинформировать. Все они имели дело с коварным случаем, а на случай полагаться нельзя. В Центр должны поступать сведения самого высокого качества, не вызывающие ни малейших сомнений. Добросовестность считалась девизом организации.

Макс с нетерпением ждал приезда Анны. Он скучал по ней чисто по-человечески, и ему казалось, что жизнь станет полнокровней, интересней, если рядом будет его Анни. И вдруг ему сообщили радиограммой, что Анна выехала в Шанхай. Это было в мае 1936 года. Захватив пленки с информацией для передачи курьеру, Макс из Нагасаки выехал в Шанхай.

И все-таки Анна опередила его: она уже несколько недель жила в Шанхае у своей старой знакомой эстонской эмигрантки Скретур — вдовы с тремя детьми.

Макс и Анна много лет состояли в гражданском браке. Но чтобы Анна могла попасть в Японию, она должна была официально стать женой Клаузена. И вот «молодые» (каждому из них по тридцать семь лет) направляются в германское консульство в Шанхае, чтобы зарегистрировать брак. Но нужны свидетели, знающие Макса и Анну. Со стороны Анны свидетель есть — вдова Скретур. А кто знает Макса в Шанхае? Клаузен колесит по городу в поисках свидетеля. И наконец встречает немца Колле, работавшего в магазине грампластинок. Колле не прочь был погулять на чужой свадьбе и согласился. Нашелся и третий свидетель. Возникло новое осложнение: в германском консульстве не хотели выдавать Анне отдельный паспорт до установления ее личности. Фашисты даже в посольствах активизировались и с подозрением относились к каждому. В лучшем случае Анну могли вписать в паспорт му-

жа. Но это ничего не давало, так как ее без паспорта все равно не пустили бы в Японию. Снова возникла неразрешимая проблема. Макс нашел выход: пригласил кое-кого из сотрудников консульства на свою свадьбу. Это возымело действие. Анна сразу же получила отдельный вид на жительство.

Свадьбу пышно отпраздновали в одном из лучших ресторанов.

Очутившись в Токио, Анна с иронией оглядела холостяцкое жилье Макса, выбросила старую мебель, купила новую, навела порядок, заставила Макса ходить дома в тапочках. Он был счастлив и беспрекословно подчинялся.

Рихарда она встретила как старого друга, накормила вкусным обедом, и они сразу же пустились в воспоминания. Не без лукавства она припомнила, как они танцевали в тот памятный вечер, после которого Зорге одобрил выбор Макса. Они были добрыми приятелями, и Клаузен радовался, глядя на них.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА РАБОТОЙ

Организация Зорге носила интернациональный характер. Кто составлял ее ядро? Рихард — по материнской линии русский, по отцу — немец; Макс Клаузен — немец; Бранко Вукелич — югослав; Одзаки Ходауми и Мияги Ётоку — японцы. Все они имели опыт подпольной работы. Четыре коммуниста и один, Одзаки, убежденный марксист, не состоявший формально в партии. Зорге и Одзаки были не только талантливыми журналистами, но и крупными учеными — социологами и востоковедами, авторами ряда исследований. Великолепный лингвист и журналист Вукелич; художник-искусствовед Мияги; моряк торгового флота, одаренный инженер-самоучка Клаузен. Сплав исключительной идейной прочности... Это были люди убежденные, преданные общему делу, бескорыстные, самоотверженные. Вся организация располагала только теми средствами, какие мог заработать каждый из ее членов, занимаясь то ли журналистикой, то ли рисованием портретов или же коммерцией. От помощи Центра они сознательно отказались. Они трудились не ради денег, не ради наград и благодарностей; их сжигали более высокие страсти: ненависть к фашизму, стремление защитить пер-

вое в мире социалистическое государство от происков врага. Одзак и Мияги, беззаветно преданные своей родине Японии, служили своему народу, действовали во имя его интересов, во имя его будущего. Ради этого они не щадили своих жизней, шли навстречу опасностям.

Впоследствии, оценивая деятельность организации, Зорге, как ее руководитель, отметил: «Главная цель заключалась в том, чтобы поддержать социалистическое государство — СССР. Она заключалась также в том, чтобы защитить СССР путем отведения от него различного рода антисоветских политических махинаций, а также военного нападения... Советский Союз не желает иметь с другими странами, в том числе и с Японией, политических конфликтов или военного столкновения. Нет у него также намерения выступать с агрессией против Японии. Я и моя группа прибыли в Японию вовсе не как враги ее. Мы совершенно отличаемся от того значения, которое обычно приписывается слову «шпион». Лица, ставшие шпионами таких стран, как Англия или Соединенные Штаты Америки, выискивают слабые места Японии с точки зрения политики, экономики или военных дел и направляют против них удары. Мы же, собирая информацию в Японии, исходили отнюдь не из таких замыслов...»

Их молчаливый подвиг, окруженный тайной, мог вообще остаться никому не известным, ибо это был подвиг не ради личной славы. Каждый из них, являясь яркой индивидуальностью, заслуживает отдельной книги, специального исследования.

За девять лет деятельность организации не замирала ни на один день, и в этом огромная заслуга Зорге — руководителя, умелого организатора и вдохновителя. Именно благодаря его организаторским способностям, его творческой энергии группа могла в условиях беспрестанной слежки, под носом у японской контрразведки в течение долгого времени не только функционировать, но и добиваться поразительных эффектов в работе.

О Рихарде Зорге сохранились письменные воспоминания людей, знавших его лично. Немалый интерес представляют характеристики, которые давали своему руководителю члены организации. Теперь мы можем как бы их глазами взглянуть на Зорге, разгадать секрет его обаяния, воздействия на соратников. Бранко Вукелич отзывался о своем друге так: «Мы всегда встречались как по-

литические товарищи, свободные от каких бы то ни было дисциплинарных формальностей. Зорге никогда не приказывал. Он просто убеждал нас в том, что нужно сделать в первую очередь, что во вторую, или рекомендовал тому или иному из нас наилучший путь решения поставленной задачи, или спрашивал наше мнение, как поступать в том или ином случае. В действительности Клаузен и я были лишь сознательными сотрудниками, и мы часто действовали по своему усмотрению. Тем не менее в течение последних девяти лет, за исключением одного или двух случаев, когда Зорге выходил из равновесия, он, как правило, никогда не был формалистом, и даже тогда, когда был расстроен и сердит, он просто обращался к нашей политической сознательности и чувствам дружбы к нему, не прибегая к каким-либо другим формам давления на нас. Он никогда не запугивал других и никогда не поступал так, чтобы его действия можно было истолковать как угрозу или как обращение к формальным дисциплинарным положениям. Это красноречиво говорит о том, что наша группа носила добровольный характер. На протяжении всего периода нашей совместной работы среди нас царила такая же атмосфера, какая была в марксистском клубе. Частично это объясняется личными качествами Зорге, но я припоминаю, что отношения между товарищами в Париже были в основном такими же».

Макс Клаузен чаще других видел Зорге в быту. «Рихард был умерен во всем. Если ему и приходилось в силу необходимости бывать в компаниях, то пил он не больше других, но вообще-то был не охотник до вина. Когда мы оставались вдвоем, то вели себя как коммунисты, никогда к вину не притрагивались. У нас находилось более важное дело...

То, что Рихард был связан со многими женщинами, как говорят на Западе, не соответствует действительности. Женщины, с которыми общался Рихард, в том числе с женой посла Отта, подчас, сами того не ведая, помогали нам в работе. Рихард рассказывал мне, что Отто без помощи Рихарда едва ли мог послать разумное сообщение гитлеровскому правительству, так как он едва ли мог получить такую информацию, которую давал ему Рихард, поскольку у него, конечно, не было таких связей, какие были у Рихарда. Образованный, энергичный, строгий, очень требовательный в работе, внимательный и чут-

кий товарищ. Настоящий коммунист — вот каким был Рихард. Зорге был одним из величайших работников в разведке».

Одзак и Мияги преклонялись перед умом Зорге, его эрудицией, умением легко разбираться в самых запутанных вопросах внешней и внутренней политики государств, перед его бесстрашием и убежденностью; они считали Зорге образцом коммуниста. По их мнению, перед непреклонной логикой Зорге был бессилён самый изощренный ум; Зорге умел воспитывать ненавязчиво, без риторики и громких фраз; он заставлял думать и неизбежно приходил к тем выводам, к каким раньше пришел сам, анализируя обстановку.

Таков был Рихард Зорге, руководитель организации, человек чистый, убежденный, посвятивший свою жизнь бескорыстному служению социалистической Родине. «Грязь не пристаёт к алмазу» — гласит восточная пословица. Он был таким алмазом.

Созданная им организация подобно чуткому сейсмографу мгновенно реагировала на все подземные толчки международной политики. Если 1933—1935 годы являлись в основном периодом создания организации, её развертывания и упрочения, а информация, добытая группой, представляла собой исходный, оценочный материал, то теперь в унисон с мировыми событиями деятельность организации оживилась, информация приобрела значимость.

Одзак укрепился в Обществе исследования проблем Восточной Азии при концерне «Асахи». Эта солидная организация занималась сбором новостей. Как специалист по Китаю, Одзак то и дело получал запросы из разных кругов, в частности и от правительства. «Так как я часто получал приглашения читать лекции в разных местах Японии, я имел превосходные возможности изучать общественное мнение на местах». Он возобновил дружбу с товарищами по колледжу Усиба и Киси, которые находились в близких отношениях с принцем Коноэ. Иногда они собирались где-нибудь в ресторанчике или же на квартире Усиба и вели разговор на политические темы, обсуждали китайскую проблему. Блестящего оратора Одзак любопытно было послушать. Друзей поражала его способность анализировать самые запутанные вопросы японо-китайских отношений. К этой тройке вскоре при-

соединился некто Кадзами, личный друг принца Коноэ. Кадзами прямо-таки влюбился в Одзаки — ведь он тоже считал себя знатоком Китая, а сейчас встретил человека недюжинного, обладающего необыкновенной глубиной и ясностью мысли. И вот друзья однажды подготовили знатоку Китая сюрприз: на квартире Усиба Одзаки встретил принца Коноэ. Они познакомились. Завязалась непринужденная беседа, появились маленькие чашечки с подогретым саке. Принц Коноэ также по достоинству оценил острый ум Одзаки. Такой знаток Китая мог пригодиться в любое время. Председатель палаты пэров, представитель высшей придворной аристократии, принц Коноэ метил в премьеры, ему требовались умные помощники, неофициальные советники, которые откровенно высказывали бы свои взгляды на положение вещей. Принц любил смотреть истине в лицо, а истину можно узнать лишь от неофициальных советников. Принц считал, что спасение Японии — в войне с Китаем. Одзаки резко возражал: он утверждал, что вторжение в Китай кончится гибелью Японии. Подобная откровенность нравилась Коноэ. Он решил со временем привлечь эксперта к тесному сотрудничеству. А пока они пили саке и обменивались мнениями. Коноэ, как государственный человек, принадлежащий к высшим слоям общества, хотел всегда быть в курсе всех событий, а потому надумал создать своеобразное информационно-дискуссионное общество. Усиба и Киси сочли полезным пригласить в такое общество писателей, журналистов, профессоров и других компетентных лиц.

Близкое общение с осведомленными людьми из правительственных кругов в свою очередь очень много давало Одзаки, он всегда знал, как развиваются германо-японские отношения, какие тут существуют подводные камни, и мог реально оценивать складывающуюся обстановку.

Мияги также не сидел без дела. Жил Мияги на свои сбережения: он привез из Америки три тысячи долларов. А также бойко торговал картинами, получал деньги за лекции на различных выставках. В целях конспирации Одзаки связывался с Зорге чаще всего через Мияги, с которым успел подружиться. Госпожа Одзаки представления не имела, чем занимаются ее муж и молодой художник. Но Мияги ей нравился: он был очень обходителен, внимателен, изыскан. Госпожа Одзаки хотела, чтобы ее дочь

брала уроки рисования у Мяяги. Муж не возражал. Характеризуя Мяяги, Зорге докладывал Центру: «Прекрасный парень, самоотверженный коммунист, не задумается отдать жизнь, если потребуется. Болен чахоткой. Посланный мной на месяц лечиться, удрал с курорта, вернулся в Токио работать».

Если Зорге добывал сведения в основном через германское посольство, то информация из посольств других стран служила чрезвычайно хорошей проверкой этих сведений. Ведь каждое посольство — своеобразный центр, где сосредоточивается вся политическая и иная информация. Сотрудники посольств все время соприкасались со взглядами своих правительств, а также со взглядами правительства Японии, были в курсе того, как развиваются отношения между Германией и Японией. А именно этот вопрос больше всего интересовал Зорге.

Здесь для Бранко Вукелича был неистощимый родник ценной информации. Он все расширял и расширял внешние связи. Свежими новостями его щедро снабжали глава прессы агентства Гавас Роберт Гильян, а также представитель агентства Рейтер Джеймс М. Кокс. Каждому из них хотелось в глазах талантливого собрата по перу Вукелича казаться чуть ли не вершителем мировой политики, близко причастным к государственным тайнам, и они не задумываясь выбалтывали эти тайны. «Наиболее важной была политическая, дипломатическая и военная информация. Мы всегда собирали эту информацию, имея в виду возможность возникновения военного конфликта между Японией и Советским Союзом. Я могу добавить, что при этом мы всегда считались с возможностью нападения или вторжения по тем или иным причинам в Советский Союз и никогда не исходили из предположения о возможности нападения на Японию Советского Союза. Таким образом, наша информация всегда состояла из материалов, которые позволяли Сталину избежать опасности. Такое толкование может показаться довольно элементарной интерпретацией действительного положения, но таково было мое впечатление об общем направлении и целях нашей работы, полученное мной в процессе бесед и сотрудничества с Зорге. Все это подтверждало мое первоначальное представление и убеждение в том, что мы работаем в целях защиты Советского Союза, который в свою очередь должен был построить социализм в своей стране».

Обогащенный сведениями из самых разных источников, Бранко смог снабжать интересными материалами и те газеты и журналы, с которыми был связан. Престиж его как корреспондента, журналиста поднялся высоко. Появились деньги, и семья Вукеличей не испытывала больше экономических затруднений. Эдит могла даже совершать с сыном поездки в Австралию. В Австралии жила сестра Эдит. На ее-то попечение и решили оставить подросткового сына, чтобы не подвергать его опасности.

Мозгом всей организации был Зорге. Всю многообразную информацию он тщательно просеивал, отбрасывая все случайное, несущественное, оценивал взгляды противных сторон, сопоставлял, анализировал, подвергал все дополнительной проверке. Эта работа требовала колоссального напряжения умственных сил.

Происходит ли сближение Германии и Японии? Каков тайный курс Японии в отношении Советского Союза? Как уже знал Зорге от военного атташе и посла, переговоры Риббентропа и генерала Осимы не дали никаких конкретных результатов. Но значило ли это, что переговоры не возобновятся на более высоком уровне?

Что касается Европы, то здесь настораживала активизация фашистских элементов. А как поведет себя фашиствующая военщина в Японии?

9 октября 1934 года гитлеровская агентура во главе с помощником немецкого военного атташе во Франции Шпейделем убила в Марселе министра иностранных дел Франции Луи Барту, ратовавшего за включение в Локкарнский пакт Советского Союза, Польши и Чехословакии. В этом же году в Австрии фашисты устроили путч, убили канцлера Дольфуса.

Зорге, только что вернувшийся из Советского Союза, почувствовал, что Япония находится на пороге политического кризиса. Здесь издавна велась борьба между разными партиями. В военных кругах с каждым годом все большее влияние приобретало так называемое «молодое офицерство» во главе с генералами Араки и Мадзаки, открыто выражавшее агрессивные устремления японского империализма. «Молодое офицерство» постоянно наталкивалось на сопротивление представителей «старых» концернов, которые имели решающий голос в правительстве и противились вмешательству военщины в дела концернов. «Молодое офицерство» требовало контроля над производ-

ством, финансами, всей экономической и политической жизнью, стремясь поставить все ресурсы Японии на военные рельсы; оно проповедовало немедленную войну с Советским Союзом. Это была фашистская организация, самая реакционная, наиболее шовинистическая, не брезгующая террором.

Приход «молодого офицерства» к власти означал бы подготовку к войне с Советским Союзом. Лидер агрессивной военщины генерал Мадзаки призывал: «Надо смотреть на Запад и искать там друзей для большой войны. Японии одной будет трудно». Воинственный генерал имел в виду фашистскую Германию.

Вот почему Зорге с самого начала очень бдительно наблюдал за действиями этой организации, взял ее под неусыпный контроль. Из обширной информации, поступившей от Одзаки, Мияги, советский разведчик, тщательно все проанализировав, мог сделать вывод: «молодое офицерство» подготавливает путч. Все зависит от результатов выборов в парламент, которые должны состояться 20 февраля 1936 года. Как он узнал от военного атташе и от посла фон Дирксена, Германия не прочь установить тесный контакт с новым правительством из среды «молодого офицерства», если таковое будет вести с ним переговоры о заключении пакта о взаимной военной помощи. Но о готовящемся путче в посольстве ничего не знали.

На очередной встрече Зорге и Одзаки подвергли обстоятельному анализу складывающуюся ситуацию. И пришли к заключению: у «молодого офицерства» мало шансов на успех; в самом военном министерстве сильна так называемая «группа контроля», противостоящая «молодому офицерству». Эта группа генералитета, стремящаяся еще более укрепить роль военных кругов в политической и экономической жизни Японии, сама рассчитывает взять власть, а потому на первых порах поддержит законное правительство, чтобы впоследствии превратить его в марионетку. «Группа контроля» делала ставку на генерала Тераути, создателя программы полного овладения Китаем.

Лишь накануне выступления офицеров Зорге счел нужным поставить обо всем в известность посла Дирксена, военно-морского атташе Венеккера и военного атташе Эйгена Отта. Все трое не верили в возможность вооруженного выступления и не придали особого значения словам Зорге. Поэтому последующие события застали немец-

кое посольство врасплох. Явились они неожиданностью и для английского, французского и американского посольств.

Путч начался рано утром 26 февраля 1936 года, через несколько дней после выборов в парламент. Как и предполагал Зорге, партия сейюкай, связанная с группой «молодого офицерства», потерпела поражение. Путчисты убили бывшего премьера Сайто, министра финансов Такахаси и других противников «молодого офицерства». Три дня гремели выстрелы на улицах Токио. Путчисты вывели из казарм полторы тысячи солдат. Никем не поддерживаемые, на четвертый день они стали складывать оружие. В то же время японо-маньчжурские войска совершили нападение на МНР, но были выброшены с ее территории. Зорге мог торжествовать. Ему пришлось даже разъяснять Дирксену, Венеккеру и Отту закулисную сторону этого события. Авторитет корреспондента после «февральского инцидента» поднялся на небывалую высоту. В донесении в Берлин посол сослался на Зорге как на источник информации. Это уже рассматривалось как важная услуга министерству иностранных дел.

Премьером Японии стал Хирота, военным министром генерал Тераути. От этих правителей также ничего доброго ожидать не приходилось, поскольку оба считались, так же как и Мадзаки, сторонниками сближения с фашистской Германией. В эти беспокойные дни Рихард, конечно же, не отсиживался в стенах посольства, а рыскал по городу в поисках сенсационного материала для «Франкфуртер дейтунг». Кате он написал: «Были здесь напряженные времена, и я уверен, что ты читала об этом в газетах, но мы миновали это время хорошо, хотя мое оперение и пострадало несколько. Но что можно ждать от «старого ворона»? Постепенно он теряет свой вид».

Все последние месяцы Зорге находился в возбужденном состоянии, шутил, смеялся. Дело в том, что Рихард узнал из письма Кати, что скоро станет отцом.

«Я, естественно, очень озабочен тем, как все это ты выдержишь, и выйдет ли все это хорошо.

Позаботься, пожалуйста, о том, чтобы я сразу, без поддержки, получил известие.

Сегодня я займусь вещами и посылочкой для ребенка, правда, когда это до тебя дойдет — совершенно неопределенно.

Мне было сказано, что я от тебя скоро получу письмо.

И вот оно у меня. Конечно, я очень и очень обрадовался, получив от тебя признаки жизни.

Будешь ли ты дома у своих родителей? Пожалуйста, передай им привет от меня. Пусть они не сердятся за то, что я тебя оставил одну.

Потом я постараюсь все это исправить моей большой любовью и нежностью к тебе.

У меня дела идут хорошо, и я надеюсь, что тебе сказали, что мной довольны.

Будь здорова, крепко жму твою руку и сердечно целую.

Твой Ика».

Ика втайне от своих знакомых колесит по Токио, отыскивая игрушки и распашонки. Если бы его за этим занятием застал Эйген Отт, он, вероятно, был бы изумлен и не знал бы, что подумать. Рихард — и детские игрушки!.. А он только жмурится от яркого токийского солнца и, представляя себя в роли отца, решает перечитать сказки братьев Гримм и Андерсена, которые уже подзабылись. О! Он будет образцовым фатером...

Он не может знать наперед, что никогда не вернется на родину. Ему в его неустроенной жизни слишком мало отпущено личного счастья.

А потом приходит страшное письмо: Катю постигло несчастье — ребенка у них не будет! Рихард подавлен. Он сидит дома, обхватив голову руками. Он все еще не может поверить. Из соседнего дворика доносится меланхолический звон гитары. Поет низкий мужской голос. «Видели ли вы чаек, притаившихся в камышах, нежно ласкающих друг друга, алых, будто пылающих огнем от лучей заката? Видели ли вы их утром? Они обе летели тихо над волнами, серебряными от утра. А зимнею холодною ночью они тесно прижмутся друг к другу, ободряя, лаская и грея... А я?.. Так опадают цветы! Так ветер прошумит и бесследно уйдет куда-то...»

Впервые за все тревожные годы он почувствовал себя старым.

«Получил из дому короткое сообщение, и я теперь знаю, что все произошло совсем по-другому, чем я предполагал...

Я мучаюсь при мысли, что старею. Меня охватывает такое настроение, когда хочется домой скорее, насколько

это возможно, домой в твою новую квартиру. Однако все это пока только мечты, и мне остается положиться на слова «старика», а это значит — еще выдержать порядочно времени.

Рассуждая строго объективно, здесь тяжело, очень тяжело, но все же лучше, чем можно было ожидать... Вообще прошу позаботиться о том, чтобы при каждой представившейся возможности имел бы от тебя весточку, ведь я здесь ужасно одинок. Как ни привыкаешь к этому состоянию, но было бы хорошо, если бы это можно изменить.

Будь здорова, дорогая.

Я тебя очень люблю и думаю о тебе, не только когда мне особенно тяжело, ты всегда около меня...»

Зорге должен прятать свое горе от всех, он не волеп в настроениях. В посольстве, как всегда, приемы, обеды. Нужно присутствовать, делать беззаботный вид. А внутри все клокочет от ненависти к этому сброду, к пучеглазому Отту, к немецкому князю Ураку, которого Зорге завел для респектабельности. Респектабельность дорого обходится: князь падок на угощения, каждый вечер тянет в ресторан «Фледермаус».

События, события... Они заставляют Рихарда действовать, выводят из состояния апатии.

Перед разведчиком неотступно стояла задача: следить за германо-японскими отношениями. Туманная фраза, оброненная подвыпившим Эйгеном Оттом, заставила насторожиться: германо-японские переговоры возобновлены!

Зорге едва не подскочил от неожиданности. Он ждал, что Отт продолжит разговор, но военный атташе замолчал. В этот же вечер Вукелич сообщил, что в английском и французском посольствах обеспокоены слухами о том, что якобы между Германией и Японией ведутся какие-то переговоры. Подтверждение тому — японские посольские курьеры, беспрестанно спущие между столицами двух стран.

Мияги не заставил себя ждать: он выяснил через знакомых штабников, что ожидается прибытие в Токио делегации немецких летчиков и что будто бы это — лишь первые ласточки, свидетельствующие об укреплении отношений между генеральными штабами третьего рейха и Японии.

При очередной встрече Зорге дал задание Одзаки вы-

яснить через принца Коноэ и его окружение, что кроется за всеми этими слухами. Послав предварительное сообщение в Центр, он стал ждать. Ждать пришлось долго, Зорге нервничал. Интуиция подсказывала: затевается нечто значительное, имеющее международный характер. Разумеется, если между двумя странами ведутся секретные переговоры, то они могут закончиться соглашением. Но каков характер этого соглашения? Направлено ли оно против Советского Союза, нет ли в нем договоренности начать войну немедленно?

Снова цвели вишни. В парке Уэно японские нимфы в шелковых кимоно, с камелиями в темных волосах совершали свой «танец цветения вишни». Добрая принцесса Ко-по-хана-саку-я-химе, превращающая почки деревьев в цветы, бодро шагала по весенним улицам Токио. Установилась ясная погода. Но ничто не радовало советского разведчика. Он сделался хмурым, раздражительным. Теперь он был бы способен даже с оружием в руках напасть на Дирксена, взломать сейф с государственными тайнами.

Вся организация, паэлектризованная заданиями Зорге, поднялась на ноги, стучалась во все двери, информационные мелочи отошли на задний план. Переговоры... О чем?..

И когда Зорге совсем потерял терпение, к нему прямо на дом заявился Одзакэ. Он рисковал попасть на заметку полиции, но сейчас некогда было думать о собственной безопасности: с апреля 1936 года японский посол в Берлине Мусьякодзи и Риббентроп ведут переговоры о заключении пакта. Переговоры затягиваются, так как немцы настаивают на том, чтобы пакт носил военный характер, а японцы не соглашаются. Чем все это закончится, неизвестно. Оба понимали, что время не терпит, а потому сразу же разошлись. Зорге позвонил Клаузену, сказав условленную фразу: «Моси, моси, анонэ», повесил трубку. И пока Клаузен добирался до квартиры Рихарда, последний трудился над шифровкой. Он не вздохнул свободнее, когда радиограмма полетела в эфир. Начиналось самое трудное, самое сложное: каково содержание пакта? То, что он направлен против Советского Союза, сомнений почти не было. И все же... Теперь — не отступать ни на шаг от военного атташе и посла!

Прошел апрель. Май... июнь... Отт подтвердил, что переговоры ведутся, но, каково их содержание, он не знал.

Дирксен от разговора на подобную тему уклонялся. Возможно, потому, что сам был недостаточно информирован. Ведь переговоры ведутся в строжайшей тайне. По-видимому, речь идет о союзе Германии с Японией. Иностранные посольства гудели как ульи: тут строили самые фантастические предположения. Но все они, по-видимому, не соответствовали истине.

За несколько месяцев напряженного ожидания Зорге извелся, постарел. Но он не терял надежды в конце концов вырвать тайну из рук своих врагов. Кате написал: «Надеюсь, что у тебя будет скоро возможность порадоваться за меня и даже погордиться и убедиться, что «твой» является вполне полезным парнем. А если ты мне чаще и больше будешь писать, я смогу представить, что я к тому же еще и «милый» парень...»

Помог щедрый случай. Если его можно назвать случаем. Этот случай был подготовлен тремя годами изнуряющей работы, полным презрением к опасности.

Из Берлина прибыл специальный курьер с секретными приказами для Дирксена. Это был сотрудник авиационной фирмы «Хейнкель», некто Хаак. Советский разведчик встретился с ним в кабинете военного атташе, куда теперь заходил два раза на день. Оказывается, Отт и Хаак дружили с давних пор. Увидев Зорге, Хаак просиял: ведь это он, Хаак, отправлял знаменитого журналиста в опасный рейс на первом «юнкерсе»! Хаак отличался избытком сентиментальности и романтическим воображением. Потому-то он кинулся к Рихарду с распростертыми объятиями и чуть не сбил его с ног. Рихард не выносил сентиментальных людей, но сейчас он изобразил такую откровенную радость, что Хаак немедленно предложил пообедать втроем. Зорге отвел их в «Ломейер». Тут имелись уединенные кабины. Трудно было понять, кто кого угощает. Рихарду все же удалось захватить инициативу, и вино полилось рекой. Разведчика интересовала цель прибытия Хаака в Токио. Сейчас всякий человек, прибывающий из Германии, а тем более с особыми полномочиями, мог пролить некоторый свет на то, что творится в Берлине. Ведь сказано же: если тайна известна троем, она перестает быть тайной. Быстро опьяневший Хаак, желая набить себе цену в глазах прославленного журналиста, заявил, что он и есть то доверенное лицо, которое допущено к германо-японским переговорам. До приезда в То-

кио он осуществлял курьерскую связь между Риббентропом, Канарисом и послом Мусякодзи. Теперь вот он прислан для связи с японским министром иностранных дел. Кое-что он должен передать устно, без свидетелей. Зорге добавил вина в рюмку гостя. Только не для печати: японцы упираются, так как не хотят раньше времени ссориться с русскими. Ради военного пакта Гитлер согласен даже не поднимать вопроса о бывших германских, а ныне японских владениях на Тихом океане. Но Мусякодзи стоит на своем: ведь он руководствуется указаниями правительства. Из-за такой неуступчивости пакт, скорее всего, будет замаскирован под «антикоминтерновский». Борьба с мировым коммунизмом. Само собой, для публики. Стоило ли ради этого секретничать. Он, Хаак, уверен, что обе договаривающиеся стороны на полдороге не остановятся, а приложат к пакту кое-что не для всеобщего обозрения!..

Зорге едва досидел до конца обеда. Он рвался к радиопередатчику. Днем Хаак занимался государственными делами, а вечерами Рихард целиком овладевал им и возил, возил по «экзотическим» местам.

Великий знаток Востока Одзакки однажды объяснил Рихарду, почему Чингисхану удалось захватить полмира: оказывается, кровавый завоеватель не пил вина! Чингисхан якобы говорил: «Пьяный человек глух, слеп и лишен рассудка... Все его умение, все таланты ни к чему, кроме стыда, он ничего не может получить. Властитель, предавший питью, не способен ни к чему великому. Военачальник, который напивается, не может держать в порядке свои войска. Если нельзя обойтись без питья, надо по крайней мере стараться не напиваться больше трех раз в месяц; напиться только один раз было бы лучше; совсем не пить еще лучше, но где найдешь такого, кто бы никогда не напивался». Оба тогда посмеялись и отметили, что в данном вопросе со времен Чингисхана мало что изменилось. Теперь эти слова Рихард в свою очередь процитировал Хааку. Хаак пришел в восторг. Он погрозил журналисту пальцем и предложил поехать в «зеленый квартал» рекутё, где можно веселиться до утра. Он совсем освоился с Японией и с грустью думал о том, что пора возвращаться в сумрачную Германию. Сентиментальный Хаак совсем растаял от гостеприимства; он лишь побанвался нажить цирроз печени от неумеренных возлияний. Он передавал разведчику слово в слово свои разговоры с япон-

ским министром иностранных дел и другими высокопоставленными лицами. К концу миссии Хаака в Токио советский разведчик уже мог составить точное представление о пунктах пакта, который войдет в историю как «антикоминтерновский».

Зорге был так любезен, что согласился проводить своего нового друга на военном самолете до Пекина. Хаак блаженствовал. Разве могло ему прийти в голову, что Рихарда вызывает в Пекин некий Центр, требуя документального подтверждения сообщением исключительной важности. Тут уж обыска опасаться не приходилось: разведчик набил документами целый портфель. Редкая удача... Вдохновленный победой, он постарался поскорее отделаться в Пекине от Хаака и поспешил на встречу с курьером Центра.

Только сейчас, когда большое дело было сделано, Рихард почувствовал безмерную усталость. Это было первое истощение. Токийская жизнь, кроме отвращения, больше ничего не вызывала. В Японию даже не хотелось возвращаться. Ему грезилась квартирка, которую Катя недавно получила, он очень хорошо представлял эту новую квартиру по описаниям жены. Разве он не заслужил права на отдых?

Курьер Центра понимал, что творится в душе разведчика, а потому старался его успокоить, рассказывал о Кате, о делах в Советском Союзе. Но умиротворить, успокоить не удалось. Рихарда волновали события в Испании, итало-германская интервенция. На борьбу с фашистами из разных стран отправлялись коммунисты, которые становились солдатами испанского Народного фронта. Главным советником республики стал Берзин. В Испании сражался брат Бранко Вукеляча. Рихарду казалось, что его место сейчас там, в сражающейся Испании. Привез курьер и письмо от Кати, полное бодрости. Но Рихард-то знал: бодрость искусственная, Катя тоскует, и виновник всему он. «Милая К... Иногда я очень беспокоюсь о тебе. Не потому, что с тобой может что-либо случиться, а потому, что ты одна и так далеко. Я постоянно спрашиваю себя — должна ли ты это делать? Не была бы ты более счастлива, если бы не знала меня?.. Все это наводит на размышления, и потому пишу тебе об этом, хотя лично я все больше и больше привязываюсь к тебе и более чем когда-либо хочу вернуться домой, к тебе.

Но не это руководит нашей жизнью, и личные желания отходят на задний план. Я сейчас на месте и знаю, что так должно продолжаться еще некоторое время. Я не представляю, кто бы мог у меня принять дела здесь по продолжению важного экспорта... Твой Ика».

Курьер много раз до этого встречался с Зорге, но впервые увидел слезы на глазах бесстрашного разведчика.

8. ВЫСОКИЕ СФЕРЫ

О заключении между Германией и Японией «антикоминтерновского пакта» Советское правительство благодаря оперативности организации Зорге узнало задолго до того, как об этом был оповещен весь мир.

Первый триумф не вскружил голову Рихарду. Он предупредил Отечество о происках врагов. Но как будут развиваться германо-японские отношения? Таит ли в себе «антикоминтерновский пакт» реальную угрозу для мира во всем мире? Не развяжут ли Германия и Япония войну против социалистического государства одновременно? Как выяснил Одзак, на совещании тайного совета якобы упоминали: главное содержание секретного приложения к «антикоминтерновскому пакту» состоит в том, что, в случае военных действий между Японией и СССР, последнему придется иметь дело также с Германией. В случае... Но реален ли сейчас подобный случай?.. Слишком уж остры противоречия между Германией и Японией в Китае. Рихард хорошо знал японцев. И в совершенстве — немцев. Еще до заключения пакта в Китай прибыла германская экономическая делегация, которая подписала с китайским правительством ряд контрактов на постройку железных дорог. Немцы продолжают поставлять Чан Кай-ши вооружение и своих советников. Как все это увязать? Одзак удалось выяснить, что в самый разгар германо-японских переговоров военное министерство Японии представило на рассмотрение правительства программу внешнеполитического курса, в которой планируется захват всего Китая и превращение Северного Китая в «Особую антикоммунистическую и прояпонскую зону». Японцы вовсе не собираются допускать немцев в Китай. Тут целый узел противоречий.

Для Одзаки и Рихарда стало ясным, что правительство Хирота долго не продержится у власти. Слишком уж непопулярным было оно у народа. Сразу же после заключения пакта оно произвело массовые аресты коммунистов, революционно настроенных рабочих и крестьян, отменило «Всеобщее избирательное право для мужчин». Выбирать мог только тот, кто прошел военную службу. Господство военных кругов в правительстве вызвало противодействие и со стороны «старых» концернов. Provokационный налет японских войск на советскую территорию у озера Ханка в ноябре закончился позорным провалом. В конце концов правительство Хирота ушло в отставку. Новое правительство генерала Хаяси также потерпело поражение.

31 марта 1937 года к власти пришел принц Коноэ, человек, связанный не только с высшей придворной аристократией, но также и с финансовым капиталом, и с генералитетом. Он был своего рода компромиссной фигурой. Он хотел угодить всем, кроме, конечно, трудового народа.

Как бы то ни было, но организация Зорге поднялась еще на одну ступень: в лице Одзаки она получила прямой доступ в кабинет министров и к самому премьеру. Оказавшись на вершине государственной власти, принц Коноэ не забыл своего друга Одзаки, а еще больше приблизил его к себе. Новый премьер затевал кое-что, и великодушный эксперт по Китаю, обладающий острым и аналитическим умом, был ему нужен. Коноэ лично возглавлял так называемое научное общество Сёва, занятое разработкой проблем Восточной Азии. Вот сюда, под начало Кадзामी, принц и пригласил Одзаки. Ходзуми с восторгом принял приглашение. Ведь теперь он становился причастным к государственной политике и своим авторитетом как-то мог влиять на нее. А главное, организация Зорге могла получать сведения из первых рук.

Когда человек работает ради высокой идеи, ему доступно самое невозможное. Не успел Одзаки освоиться в обществе Сёва, как принц назначил его руководителем китайского отделения вместо Кадзामी; Кадзामी теперь стал секретарем кабинета Коноэ. Кадзामी Акира любил своего друга Одзаки и всячески способствовал его возвышению. А почему бы премьеру не сделать Одзаки своим неофициальным советником при правительстве?.. Но час для этого еще не настал.

Усиба и Киси, друзья Одзакки, по колледжу, также стали секретарями премьера. Они-то и подали принцу идею создать «группу завтрака», в которую, конечно же, сразу вошел Одзакки. Так возникло неофициальное информационно-дискуссионное общество при правительстве. Одзакки занял в нем видное положение. Принц встречался со своими друзьями и во время завтраков, и во время обедов. Сходились в доме Усиба, пили сакэ, обменивались мнениями; премьеру нравилась неофициальная дружеская атмосфера в доме Усиба, где они собирались словно заговорщики. Премьер, загруженный государственными делами, на первых порах являлся раз в две недели. Затем стали встречаться чаще.

Разговоры велись о войне в Китае. Одзакки по-прежнему считал, что Япония погубит себя, развязав войну в Китае. Тем более опасно начинать военный конфликт с могучей Советской державой, Япония слишком слаба для ведения такой войны. Принц возражал. Правда, он соглашался, что воевать сейчас с Советским Союзом бессмысленно. Ну а если Япония для начала овладеет ресурсами Китая, превратит Маньчжурию в военно-экономическую базу Японии?.. Штаб Квантунской армии разработал подробную программу. Разработан также план проведения милитаризации экономики. К концу года японская армия должна стать миллионной. Начальник штаба Квантунской армии генерал Тодзио считает, что настал самый благоприятный момент для выступления против Китая, а затем против СССР...

Тут было над чем поразмыслить. Однако пока разговоры оставались разговорами. Премьер лишь прощупывал своих друзей, хотел знать, что они думают о возможной войне в Китае. Но на уме у него было другое. Он уже принял твердое решение, отбросив все сомнения эксперта по Китаю.

Что затекает правительство Японии, куда оно хочет направить главный удар, почему проводит спешную мобилизацию всех возрастов? В Северном Китае учения японских войск проводятся каждую ночь. В совершенно секретном документе говорится о необходимости объединения политики армии и правительства. В этом же документе содержится план производства военных материалов. Япония явно готовится к войне. Против кого?.. А может быть, все-таки вопреки здравому смыслу, надеясь на Германию, против Советского Союза?..

Зорге посоветовал обратиться с прямым вопросом к премьер-министру. Дорог был каждый день, и обходных путей искать не приходилось. Одзакі рисковал вызвать подозрение прямым вопросом, но, когда дело касалось защиты Советского Союза и безопасности Японии, он становился бесстрашным, дерзким. На первом же «завтраке» он громко сказал, что хотел бы ознакомиться с планом по китайскому вопросу, чтобы иметь возможность проанализировать его и сделать квалифицированное заключение для правительства. Принц задумался. Он готовился к ответственному шагу во внешней политике и не мог игнорировать мнение такого знатока Китая, каким был Одзакі. Затем премьер, предупредив эксперта о соблюдении строжайшей тайны, сказал, что с документом ознакомиться можно. В канцелярии премьер-министра эксперту отведут отдельный кабинет, где он сможет в течение некоторого времени изучать план. Такой легкой победы Одзакі не ожидал и даже растерялся. За всю ночь, конечно, не сомкнул глаз. Утром он был в канцелярии премьер-министра. Здесь его хорошо знали, а получив распоряжение Коноэ, немедленно провели в отдельный кабинет и выдали совершенно секретный документ. Потом дверь захлопнулась. Прежде чем приступить к изучению документа, Одзакі прислушался. Подошел к двери — она оказалась запертой. Осмотрел каждую щель, старался установить, откуда за ним могут тайно наблюдать. Он находился в святой святых японской империи, и как-то не верилось, что вот так просто вас могут оставить без присмотра наедине с документом огромной государственной важности. Одзакі рисковал головой. Но нужно было действовать быстро, так как документ выдали на определенное количество минут. Он вынул из кармана фотоаппарат и, еще раз прислушавшись, стал фотографировать страницу за страницей. Лязгнула окованная дверь. В комнату вошел чиновник. Одзакі едва успел сунуть фотоаппарат в карман пиджака. Чиновник внимательно взглянул на вздувшийся карман Одзакі, спросил, не нужно ли господину эксперту чаю. Получив отрицательный ответ, удалился. Стараясь унять нервную дрожь, Одзакі прошелся несколько раз по комнате; успокоившись, снова принялся за дело. Опять, на этот раз почти бесшумно, появился чиновник. И снова уставился на оттопыренный карман эксперта. Одзакі едва приметно улыбнулся, вынул из

кармана небрежно скомканный платок и вытер потный лоб. (Фотоаппарат он предусмотрительно сунул в брючный карман.) На этот раз чиновник все-таки принес холодный чай. Как бы между прочим, еще раз напомнил, что никаких выписок из документа делать не разрешается. «О, все эти секреты мне давно известны! — небрежно воскликнул эксперт и вернул чиновнику папку. — По распоряжению принца я должен был уточнить кое-что». Совсем успокоенный чиновник стал «почтительно шипеть» и улыбаться. Ему даже сделалось как-то неловко за то, что он два раза входил без стука, словно в чем-то не доверял другу премьера. Но служба есть служба. О, он настолько доверяет господину Одзаки, что даже не будет проверять записные книжки и даст охране распоряжение пропустить его беспрепятственно! Чиновник был сама любезность и учтивость. Но что кроется за любезной улыбкой чиновника? Может быть, он все-таки заметил фотоаппарат и теперь тонко издевается? Возможно, он уже вызвал охрану?..

Пройдя через целый строй часовых, мимо комендатуры, Одзаки наконец очутился на улице. Пропетляв по городу добрый час, он очутился возле дома Зорге. Загорелась лампочка у входа. Значит, Зорге дома, подает условный сигнал: в квартире посторонних нет. Вот они вдвоем. Рихарду не терпится узнать самое главное. «Япония в ближайшее время не будет воевать с Советским Союзом! Она готовит нападение на Китай...» — говорит Одзаки и, передав фотоаппарат, уходит.

Он сообщил главное. Теперь можно идти спокойно. И даже не так уж важно, если его вдруг схватит полиция. Он выполнил долг.

...Вукелич волнуется. Он сидит в затемненной комнате при красном свете. Бранко боится испортить пленку. Передержать, недодержать... Пленка — вещественное доказательство. Сперва ее повезут в Шанхай, затем туда... Макс Клаузеп уже передал сообщение. Центр требует документального подтверждения. Там дежурят круглосуточно. Сообщение, видимо, всех взволновало. Немедленно, срочно... Все руководящее ядро поставлено на ноги. Фотокадры получились добротные. Мягки сможет просмотреть их через проекционный фонарь, переведет текст с японского на английский. Анна Клаузеп — курьер организации — готовится к поездке в Шанхай на встречу с курьером Центра.

Орава журналистов вваливается в дом Бранко. У них свои заботы: нужно проявить пленки курортных снимков. Со смущенной улыбкой Эдит «по секрету» сообщает, что муж печатает видовые открытки и не велел никого пускать. Если дойдет до полиции... Журналисты понимающе переглядываются и уходят.

Мияги принес новые сведения, подтверждающие совершенно секретный документ. Художник-любитель, хороший друг Мияги, полковник из военного министерства, предложил работу: военному министерству нужны специалисты по макетам; в управлении стратегического планирования в специальном помещении сооружается огромный макет, отображающий крупномасштабную карту Китая. Видно, в скором времени будут дела! Точно такой же макет сооружали до того, как захватили Маньчжурию... Мияги поблагодарил. К сожалению, он портретист и ничего не смыслит в топографии и военных делах. Вот если жена начальника управления стратегического планирования пожелает заказать портрет...

Какова роль Германии во всех этих замыслах японского правительства? Очутившись в кабинете фон Дирксена, Зорге заявил, что собирается в Китай, хочет просить аудиенции у генерала Фалькенгаузена, возглавляющего немецкую военную миссию, занятую обучением армии Чан Кай-ши. Посол сделал протестующий жест. Наконец-то и он мог продемонстрировать свою осведомленность перед всезнающим Зорге: японское верховное командование намекнуло Берлину на необходимость отозвать военную миссию из Китая в ближайшее время. Так что, возможно, генерал Фалькенгаузен уже упаковывает чемоданы...

Зорге сделал разочарованное лицо. А выйдя из кабинета посла, на мотоцикле пулей помчался в дом Клаузен. Сомнений больше нет: Япония готовит нападение на Китай! Как все-таки отнесутся к этому в Германии?.. Намечается большой конфликт!

...Клаузены прочно обосновались в Японии. «Инженерная компания» давала заработок, появились лишние деньги. Спасаясь от летней токийской духоты, Клаузены купили дачу на берегу океана, в Тигасаки, западнее Йокогамы — небольшой домик на сваях. Под домом Макс устроил тайник для радиостанции. Садик. До пляжа — триста метров. Рихард любил отдыхать у Клаузенов, здесь он чувствовал человеческое тепло.

Но сейчас он прибыл в Тигасаки вовсе не для отдыха. Анна должна завтра же выехать в Шанхай! Микропленки, микропленки... все это нужно пронести под носом у полиции. Задание очень ответственное, сопряженное с большим риском. Ведь речь идет о государственной тайне первостепенной важности. Макс вздохнул. Анна молча взяла у Рихарда все материалы. Она готова отправиться хоть сегодня...

Нужно отдать должное отваге этой удивительной женщины: она всегда беспрекословно выполняла все указания Зорге, совершала свой подвиг незаметно, с хладнокровием, которому позавидовал бы мужчина. Она не любила громких слов о долге, о самоотверженности. Она помогала мужу, Рихарду и втайне гордилась, что ей доверяют ответственное дело.

Она, разумеется, сразу же сядет на пароход и уедет в Шанхай, но прежде она должна накормить обедом Макса и Рихарда. В ресторане всегда подают какую-то гпиль. Так и желудок испортить недолго. Теперь бы в Красный Кут хотя бы на недельку... В Японии у нее очень шаткое положение: немецкий она до сих пор не освоила как следует, китайский позабыла, а на русском говорить здесь не принято. Даже выговориться вволю не с кем. Вот, бывало, в МТС!.. Иногда, когда Макс, занятый своими коммерческими делами, возвращался поздно, она бранилась. «Ты женился на мне ради конспирации!» — бросала она упрек. Толстяк только отдувался. Все не может забыть, как они познакомились, и корит при каждом удобном случае. Но Макс никогда в таких случаях не приходил домой без подарка, и мпр быстро водворялся. Они горячо любили друг друга, и ссоры носили «воспитательный» характер. Впрочем, Макс никогда жене не перечил, боясь, что она сгоряча уедет в Красный Кут, в МТС. О женщины!..

Анна отправилась в Шанхай якобы для того, чтобы провести родных. Она везла драгоценные микропленки. Все шло хорошо. Но в Шанхае полиция устроила повальный обыск. Пассажиров разделили на группы. Женщин отводили в каюту и там подвергали полному досмотру. Анна не могла даже приблизиться к борту, чтобы выбросить микропленки в воду. Толпа беспрестанно подталкивала ее к контролерам. Вот она почти у трапа. Сейчас ее отведут в каюту. Она знает, какую ценность имеют микропленки. Сразу же схватят Макса, Рихарда... Себя

ей не жалко. Но Макс, Макс... Большой ребенок Макс... Если бы можно было столкнуть контролера...

Впереди какое-то замешательство. Японская ругань. Ага, происходит смена контролеров. И пока велась перебранка между контролерами, Анна проскользнула у одного из них за спиной и... очутилась на берегу. Она сразу же позвала рикшу. Ее обступили не меньше двух десятков рикш, загородили от парохода, от контролеров, от полиции...

Через час она вручила микропленки курьеру Центра.

...Окончательно убедившись в том, что война с Китаем — дело решенное, Одзакі пришел в сильное возбуждение: всеми своими помыслами он был против этой войны. Он-то знал, к чему это приведет! Военщина хладнокровно, расчетливо вела Японию к катастрофе. Неужели принц Коноэ так ничего и не уяснил из их продолжительных бесед? Одзакі бросился к своему приятелю, советнику премьера Кадзами, стал уговаривать повлиять на принца. Ведь авантюра в Китае может привести ко второй мировой войне! Кадзами рассмеялся: «Вопрос решен, и нечего беспокоиться». Одзакі направился к Усиба, личному секретарю Коноэ, попросил аудиенции у премьера. Зная, о чем будет идти речь, Коноэ отказался принять журналиста. Одзакі впал в отчаяние. Тогда, рискуя потерять расположение своих друзей и премьер-министра, он опубликовал большую статью в журнале «Тюо корон» под заглавием «Нанкинское правительство», в которой резко раскритиковал политику военных авантюр Японии в Китае. Но Коноэ даже не подумал подвергать строптивого эксперта остракизму, наоборот, пригласил его как ни в чем не бывало на очередной «завтрак».

Война в Китае началась 7 июня 1937 года инцидентом в Лугоуцзяо (населенный пункт, расположенный в двенадцати километрах к юго-западу от Пекина).

11 июля премьер Коноэ, военный министр Сугияма и министр внутренних дел Вапа устроили пресс-конференцию для сорока ведущих газет и информационных бюро, на которой присутствовали также иностранные корреспонденты Зорге, Вукелич, Гюнтер Штейн, Маргарита Гаттенберг и другие. Здесь Рихард встретил Одзакі. Коноэ потребовал, чтобы пресса поддерживала военные действия в Китае. Одзакі был мрачен. Все, что мог он сообщить Зорге, это то, что час назад состоялось секретное заседа-

ние кабинета, принявшего решение немедленно бросить в Китай дополнительные войска.

Так как Рихарда интересовало отношение Германии к этой войне, то он отправился к фон Дирксену. «Должны ли мы, немецкие журналисты, поддерживать Коноз?» Дирксен извлек из сейфа секретную инструкцию, полученную из Берлина: германское правительство намерено придерживаться нейтралитета. Берлин обращал внимание Дирксена на то, что война может привести к подъему национально-освободительного движения в Китае, ослабит Японию и лишит Германию союзника в подготовке нападения на Советский Союз. Посол сунул Зорге под нос телеграмму, только что полученную из Берлина: «Война против Китая может потребовать от Японии больших сил и стать препятствием для ее нападения на Советский Союз». Секретарша доложила послу о прибытии представителей японского министерства иностранных дел. Пока фон Дирксен раскланивался с японцами в приемной, Зорге, заслонив телеграмму спиной, хладнокровно щелкнул фотоаппаратом. А затем, вынув сломанную зажигалку, принялся высекать огонь. Скверные зажигалки производят в Японии!.. Ему хотелось послушать, о чем японцы будут толковать с германским послом, но об этом он узнает завтра. А сейчас — на квартиру Бранко, в фотолабораторию, на радиостанцию. Он обожал оперативность. На завтра он в самом деле узнал все: министр иностранных дел Хирота требует, чтобы Германия прекратила поставки вооружения правительству Чан Кай-ши; японское военное министерство настаивает на отзыве германских военных советников из Нанкина. «Вы только почитайте! — воскликнул фон Дирксен и протянул Зорге ноту японского правительства Германии. — Они категорически требуют...» — «А что думает по этому поводу Нейрат?» — «Он телеграфирует: «Мы не собираемся делать подарок, не получая ничего взамен». Зорге расхохотался. «Не лишено остроумия, — сказал он. — Узнаю Нейрата». Как и ожидал Зорге, между двумя хищниками — Германией и Японией — разыгрался конфликт. Тут уж не до единства.

Пришлось Анне Клаузен снова отвозить микроплёнки в Шанхай. Анна, покормив Макса и Рихарда обедом, безропотно стала собираться в опасный рейс. Едва она успела обернуться, как японцы выбросили десант на Шанхай и начались ожесточенные бои.

Договор о ненападении между СССР и Китаем, заключенный 21 августа 1937 года, вызвал переполох в германском посольстве. Если раньше фон Дирксен считал, что дипломат не должен ввязываться в политику, то теперь, чувствуя двусмысленность своего положения в Токио, составил обширный доклад в Берлин, в котором доказывал, что развитие событий требует большой решительности. Следует рассмотреть вопрос об отзыве военных советников и оказать давление на Нанкин в смысле скорейшего заключения мира на условиях, выгодных для Токио.

Весь мир с напряженным вниманием следил за развитием событий в Китае. Всем становилось ясно, что расчеты японских империалистов быстро сломить сопротивление Китая и заставить китайское правительство капитулировать провалились в самом начале.

От Бранко Вукелича Зорге узнавал, какую позицию занимают Англия, Америка, Италия и Франция в отношении японской агрессии.

За всех определенно высказался министр иностранных дел Франции Дельбос: «Японская атака в конечном итоге направлена не против Китая, а против СССР. Японцы желают захватить железную дорогу от Тяньцзиня до Бэйпина и Калгана, для того чтобы подготовить атаку против Транссибирской железной дороги в районе озера Байкал и против Внутренней и Внешней Монголии». Империалисты западных держав толкали Японию на войну с Советским Союзом и соглашались быть посредниками в японо-китайских переговорах. Но к посредничеству стремилась и фашистская Германия.

Военному атташе Эйгену Отту показалось, что настал самый благоприятный момент «взлететь высоко». На свой страх и риск он также решил заняться большой политикой. Он считал, что посредником может быть лишь Германия, и никто иной. По мысли Отта, в случае заключения мира японская армия, уже отмобилизованная и сосредоточенная в Китае, сможет молниеносно начать наступление против Советского Союза. Отт словно обезумел, он вышел из-под контроля Зорге, и последнему оставалось лишь наблюдать за ним и обо всем сообщать в Центр. Отт собрал высокопоставленных чиновников из японского генштаба, обещал им всемерную помощь со стороны германских советников в Нанкине. Отт действовал через голову

Дирксена. В своих депешах Нейрату доказывал, что пора кончать с нейтралитетом. Он действовал более энергично, нежели посол, и был замечен Гитлером. Почему бы Японии и Германии не договориться о совместной экономической эксплуатации Китая?

Упоенный дипломатическими успехами, Отт по строжайшему секрету сообщил Зорге, что Гитлер наконец принял решение прекратить поставки оружия Китаю, отозвать советников и поддержать японскую агрессию.

Как любил говорить Зорге, он никогда не собирался ограничивать свою миссию функциями «почтового ящика», заниматься простой передачей информации. «Было бы ошибкой думать, что я посылаю в Москву всю собранную мною информацию. Нет, я просеивал ее через свое густое сито и отправлял, лишь будучи убежденным, что информация безупречна и достоверна. Это требовало больших усилий. Так же я поступал и при анализе политической и военной обстановки. При этом я всегда отдавал себе отчет в опасности какой бы то ни было самоуверенности. Никогда я не считал, что могу ответить на любой вопрос, касающийся Японии».

Вот и теперь он сильно задумался. Когда на границах Маньчжурии и Советского Союза возникло несколько конфликтов, он не придавал им особого значения. Но инцидент у Лугоуцяо он сразу же расценил как прелюдию к большой войне. Его прогноз оправдался. Теперь требовалось оценить заявление Гитлера.

Нацистское правительство отнесяло и Англию, и Францию, и Америку, взяло на себя роль посредника в японо-китайских переговорах. К чему это приведет? Слово в ответ на советско-китайский договор о ненападении фашистская Италия присоединилась к «антикоминтерновскому пакту». И все-таки декларации остаются декларациями. Рихард лучше многих иных политических деятелей понимал глубину противоречий между Германией и Японией, ибо он мыслил диалектически, как ученый.

Генерал Араки открыто призывает к войне с Советским Союзом, заявляет, что «это единственный путь для Японии», в Токио свирепствует антисоветская истерия. Американский посол в Токио сообщил в Вашингтон о том, что «существует убеждение, что, поскольку война с Советской Россией неизбежна, она может начаться скоро».

Попукаемый советским разведчиком, Эйген Отт направился в японский генштаб и спросил у генерала Хоммы, что намерена делать Япония после окончания войны в Китае. Хомма ответил, что Квантунская армия готова хоть сегодня напасть на Советский Союз. Хомма пожаловался на то, что германское посредничество пока не дало результатов, а японцам хочется побыстрее заключить мир и двинуться на СССР. В Маньчжурии сейчас сосредоточена главная ударная сила.

Но Зорге отлично знал: к большой войне с Советским Союзом Япония не готова, не хватит сил. И японские генералы это знают.

Все взвесив, Зорге отправил в Центр радиограмму такого содержания: «Японцы стремятся создать у других держав впечатление, что будто бы они собираются вступить в войну с Советским Союзом. Япония не собирается начинать большую войну с Советским Союзом в ближайшее время». Таков был итог долгих раздумий, сопоставления фактов, пропикновения в законы международных отношений, которые носят объективный характер, и отдельные личности, какими бы побуждениями они ни руководствовались, не в силах изменить их. Зорге видел, что Япония экономически не готова к войне с такой мощной державой, как СССР. Окрепнуть за счет Китая ей не удалось, она сама увязла в Китае, не смогла договориться с накинским правительством. Разумеется, все это не исключает и впредь инциденты на маньчжуро-советской границе.

Как развивались события в дальнейшем?

Германское посредничество потерпело полный провал, японской военщине не удалось развязать руки в Китае. Как доносил в Берлин фон Дирксен, расчеты Германии использовать трудное положение Японии и отобрать у нее бывшие германские колонии также оказались нереальными. Япония приняла решение вести войну до окончательного завоевания Китая, о чем и поставила в известность германское правительство. Западные державы заняли позицию попустительства японской агрессии, они проводили политику поощрения зарвавшегося империалистического хищника, всячески натравливали его на Советский Союз; особенно четко выявились эти тенденции западных держав на Брюссельской конференции.

Война в Китае велась уже полгода. И хотя японским войскам удалось захватить большую территорию, об окон-

чательной победе в ближайшие годы нечего было и думать.

Принц Коноэ понял, что просчитался. В срочном порядке Коноэ создал при правительстве институт советников, пригласив сюда представителей финансового капитала, политических партий и высшего командования. Премьер-министр назначил Одзаки неофициальным советником при кабинете, порекомендовав эксперту уйти из «Асахи», где он еще числился на должности, совмещая ее с должностью в научном обществе Сёва.

Так Одзаки поднялся еще на одну ступень и теперь уже мог не только получать секретную информацию государственной важности, но и оказывать прямое влияние на политику правительства.

9. ЭЙГЕН ОТТ СТАНОВИТСЯ ХОЗЯИНОМ ПОЛОЖЕНИЯ

Когда Бранко спрашивал у Зорге, как тот успевает писать статьи для многочисленных немецких газет и журналов, Рихард, смеясь, отвечал: «Я их стряпаю по рецепту Лессинга: половиной головы». Вся токийская ассоциация брала на вооружение афоризмы Зорге, проникали они и в немецкую колонию, в посольство. Слава его росла. В самой Германии он считался не только модным, но и самым солидным журналистом. Теперь какой-нибудь посланник, приезжая из Берлина, стремился засвидетельствовать свое почтение «тонкому знатоку Востока». Считалось само собой разумеющимся, что всякий вновь прибывший обязан проконсультироваться по всем вопросам внутренней политики страны у корреспондента. Во всяком случае, так рекомендовали Дирксен и Отт. Советский разведчик обрастал знакомствами иногда бесполезными, но чаще полезными. В числе его друзей теперь числились кроме посла и военного атташе начальник экономического отдела немецкого генштаба генерал-майор Томас, уже известные нам посланники Шмиден и Хаак, специальные посланники Херферх, Улах, полковник вермахта Нидамейер, советник германского посольства в Токио Нобель, заместитель Отта майор Шолл и многие другие. Военно-морской атташе Венеккер завидовал успехам Отта и, зная, откуда военный атташе черпает свою «эрудицию», недо-

любил Зорге. Но правилом разведчика было не паживать врагов, а потому он старался приручить и Венеккера и даже занялся военно-морским делом, чтобы быть более квалифицированным советчиком. Военному разведчику Зорге всегда приходилось уделять много внимания конкретным военным вопросам, касающимся структуры и вооружения капиталистических армий, а сейчас ему надлежало быть специалистом высокого класса в этой области — он консультировал военных атташе.

Поскольку Макс Клаузен мог вести передачу лишь из трех квартир и со своей дачи в Тигасаки, Зорге решил подыскать еще одну конспиративную квартиру. Дерзость в поступках было свойством его характера. Всегда он действовал дерзко, смело, умел подчинять людей своему авторитету. Он чувствовал себя хозяином положения даже в окружении сотен врагов.

Он завел тесную дружбу с английским журналистом Гюнтером Штейном, корреспондентом журнала «Бритиш файнаншиал ньюс», и его подругой швейцарской корреспонденткой Маргарет Гаттенберг. Эти двое часто высказывали свободные взгляды, Штейн резко критиковал приспособленческую политику Англии, не раз восхищался Советским Союзом, где «чистый воздух и нет капиталистической дряни». Он словно старался переманить Рихарда в «свою веру», признался, что изучает русский язык. Все это могло быть провокационной болтовней. Штейна следовало проверить, испытать в трудном деле. Заручившись согласием Цептра, Рихард приступил к эксперименту. Удалось выяснить, что Штейн бежал из фашистской Германии и принял английское подданство. Он люто ненавидел наци и вначале, по-видимому, просто решил изводить своими антифашистскими выпадами Зорге, которого считал стопроцентным «коричневым». Но все обернулось не так, как предполагал Штейн. Зорге заявил, что он тоже убежденный антифашист, хотя по условиям работы и вынужден молчать об этом. Для начала Штейн должен был отправиться в Гонконг в качестве курьера. Журналист с радостью согласился и блестяще выполнил поручение. Тогда Макс перетащил радиостанцию в уединенный дом Гюнтера и стал вести оттуда передачу. Вскоре Гюнтер при очередной поездке в Гонконг вступил там в брак с Маргарет Гаттенберг. По возвращении их в Японию шумно отпраздновали свадьбу. Какую роль играла

Маргарет в организации? «Так как она была другом Штейна, мы помогали ей, а она, в свою очередь, содействовала нашей работе», — вспоминал Зорге. О существовании организации Маргарет не знала. Просто она добывала информацию для своего друга Гюнтера, а Гюнтер передавал эту информацию Зорге.

Штейн и Маргарет можно считать эпизодическими фигурами в том большом деле, которое вел советский разведчик. Они сотрудничали с Зорге всего лишь два года. Штейн считался специалистом по финансовым и экономическим вопросам, хорошо знал экономику Германии и приносил пользу организации. Но когда Гюнтера в 1938 году перевели по службе в Китай, Зорге решил не поддерживать с ним связи, так как установил, что английский журналист — человек не храброго десятка. Макс Клаузен свидетельствует: «По возвращении в Токио я пришел к Рихарду, у которого встретил Гюнтера Штейна и его жену Марго. Оба были журналисты. Марго представляла одну швейцарскую газету. Гюнтер Штейн был интеллигентным, спокойным и приветливым человеком, но мне казалось, что он был трусливым, ибо не очень охотно относился к предложению Рихарда о том, чтобы я иногда вел передачи также у него на квартире. У него были разные сомнения. Но тем не менее я несколько раз работал у него на квартире, что было очень важно в целях прикрытия, поскольку я переходил на новое место».

Объектом пристального внимания организации Зорге теперь стали «группа завтрака» премьер-министра Коноэ, токийская ассоциация корреспондентов и французское агентство Гавас, членом которого сделался Бранко Вукелич, английское агентство Рейтер, которое в лице своего представителя Джемса М. Кокса выбалтывало все секреты Вукеличу, английское, американское, французское посольства и датская миссия и, наконец, германское посольство. Каждая из этих организаций вносила, сама того не подозревая, щедрую лепту в информационную копилку Зорге. Он получил доступ ко всем международным и государственным тайнам, поднялся туда, куда до него не поднимался никто. Он стал исключительно осведомленным человеком во всей мировой политике и незримо лелеял свое царство; все это сложное хозяйство требовало бдительной заботы, беспрестанного участия в общем процессе.

Но больше всего времени у Зорге отнимало германское посольство, где он утвердился основательно. Ему даже отвели здесь кабинет, где он мог работать и принимать посетителей. Ведь он уже стал неофициальным советником посла и военного атташе.

Эйген Отт слепо доверял Рихарду, Рихард сознательно помогал Отту делать карьеру, разжигал в нем алчность, стремился посадить его на место посла фон Дирксена. Когда Отт станет хозяином положения... хозяином положения станет советский разведчик Рихард Зорге! Он приберет к рукам нацистское посольство, заставит всех работать на себя... Тут была старая игра в «коня и всадника», причем Отт, конечно же, воображал себя ловким «всадником», а Зорге думал несколько по-иному.

Приходится лишь удивляться дераости и бесстрашию Зорге: он задумал привлечь на свою сторону морского атташе Венеккера. Венеккер строил из себя антифашиста, пытался «воспитать» в этом духе и Рихарда. Морской атташе благодаря усилиям Зорге постепенно проникся к нему доверием и всякий раз отводил с ним душу, ругая наци грязными скотами и мародерами. Однажды он заявил: «Остерегайся Лилли Абек. Это фашистская гадина. Ей поручено шпионить за тобой. Я честный человек и всегда готов послужить тебе». «А я готов всегда помочь тебе», — отозвался Зорге.

Вскоре Зорге убедился, что предупреждение Венеккера не лишено основания. Лилли Абек — корреспондентка «Франкфуртер цейтунг», аккредитованная в Китае, переехала в Токио и здесь буквально по пятам ходила за Рихардом. Уж не пропюхали ли там, в Берлине, о чем-нибудь? Ведь и Зорге, и Абек являлись корреспондентами одной газеты. Лилли была фанатичной нацисткой. (Ей суждено было закончить путь на скамье подсудимых военных преступников.) Исступленная, завистливая, она пыталась очернить Зорге в глазах посла, строчила клеветы в Берлин. Но так как в ее доносах сквозила неприкрытая зависть к талантливому журналисту, их никто не принимал к сведению. Посол грудью встал на защиту своего любимца, и общими усилиями атаки Лилли Абек были отбиты.

Этот случай помог Зорге укрепить дружбу с Венеккером.

«А почему бы тебе не поработать на «Франкфуртер цейтунг?» — предложил Зорге морскому атташе. — Мне —

слава, тебе — деньги». «Я и так должен тебе приличную сумму, — отвечал Венеккер смеясь. — Не терплю деловых отношений, не хочу запутываться вместе с корреспондентом этой газеты. А что касается интересных сведений, ты всегда можешь рассчитывать на меня».

Зорге понял и не настаивал. Венеккер в самом деле щедро снабжал его сведениями о германском флоте. На антифашистские темы они больше не заговаривали. Рихард неоднократно убеждался в искренней дружбе этого человека, но до конца не доверял ему никогда. У Венеккера была слабость: он, как и Отт, мечтал о блестящей карьере, люто ненавидел Отта, падеался со временем замечить Дирксена, и Рихарду приходилось лавировать, быть «другом всем». А это нелегкое дело. Все, что мог сделать Зорге для морского атташе, — это снабжать его информацией и составлять за него отчеты.

В январе 1938 года военный атташе получил секретное задание от германского генштаба: срочно выяснить, намерена ли Япония немедленно после окончания войны в Китае начать войну против Советского Союза? Генерал Хомма из японского генштаба дал уклончивый ответ. Он, Хомма, понимает, что всякая оттяжка времени идет на пользу СССР, но немцы должны войти в положение Японии: оккупационная армия измотана в Китае, она сильно поредела, требуются деньги, деньги. Короче говоря, подготовка к большой войне потребует не менее двух лет. В докладе, написанном не без участия Зорге, Отт уведомлял германский генштаб о том, что японцы всячески пытаются оттянуть большую войну. Военный атташе разражался бранью в адрес японцев, называя их лицемерными азиатами, которым нет никакого дела до германского государства и до обязательств, закрепленных в «антикоминтерновском пакте». Отт намекал, что фон Дирксен ведет вялую политику, не оказывает давления на японское правительство. Этот доклад, изобилующий сильными выражениями, напоминал не дипломатический документ, а политический донос на посла. «Если после этой бумаги тебя не назначат послом, я уезжаю в Германию!» — сказал Зорге Отту.

Герберт фон Дирксен пока не догадывался, что его пенска уже спета. Вместо Нейрата министром иностранных дел стал бывший посол в Англии Риббентроп. В свое время Дирксен имел неосторожность повсюду в дипломати-

ческих кругах издеваться над Риббентропом, называть его грязным коммивояжером. Риббентроп обладал хорошей памятью. Став министром иностранных дел, он вспомнил Дирксена. Доклад Отта подоспел вовремя — Риббентроп показал доклад Гитлеру. Участь Дирксена была решена: пусть едет в Англию на место Риббентропа! В таком назначении крылся юмор висельников: Гитлер, задумав развязать войну с Англией, хладнокровно толкал неугодного дипломата в самое пекло. Ну, а в Токио пусть представляет Германию энергичный, способный, не брезгующий ничем солдат Эйген Отт, ярый сторонник войны с Советским Союзом. Кто он по званию? Присвоить генерал-майора!

Гитлер предпринимал все возможное для того, чтобы Япония поскорее развязалась с Китаем и начала войну против Советского Союза. Тут, по его мнению, большая роль принадлежала дипломатам. Дирксен в одном из своих докладов, очень пессимистичном по тону, вскрывал истинные неудачи германской политики в Японии и Китае. «Япония ни при каких условиях, даже рискуя потерять дружбу Германии, не уйдет с тихоокеанских островов», — писал Дирксен. Такая категоричность не понравилась Гитлеру. Посол явно заражен скепсисом.

Отт пока не стал послом, а Зорге не был его официальным советником, но военный атташе уже настолько привык видеть рядом Рихарда, что больше не мыслил ни одного дела без его участия. Теперь он разговаривал так: «Получен приказ из Берлина: завтра мы с тобой выезжаем в Гонконг на совещание с главным советником Фалькенгаузенем! Прихватим этого дурака Шолла...» Рихард укладывал чемодан, набивал карманы микропленками и на самолете под приветствия японских генералов и полицейских отправлялся в Гонконг. «Значит, мы будем совещаться с генералом Фалькенгаузенем? Мы скажем ему следующее... А если он станет упираться, мы приведем цитатку из приказа генштаба...» На долю майора Шолла выпадало таскать чемоданы своего начальника и его советника-корреспондента. Это все-таки легче, нежели вести переговоры.

Сначала отозвали в Германию фоп Дирксена. Все гадали: кого пришлют взамен? Перебирали кандидатуры. Отт в списке не фигурировал. Да и кто бы мог подумать, что этот Эйген... Военно-морской атташе Велеккер позобра-

жал на своем лице таинственность: он давно метил на место посла и не сомневался...

И вдруг в марте 1938 года, подобно взрыву бомбы, телеграмма из Берлина: послом в Токио назначается генерал-майор Эйген Отт!.. Генерал-майор... Венеккер не верил собственным ушам. Он сразу же помчался в немецкий клуб и напился. «Как видишь, тебе незачем уезжать в Германию, — самодовольно сказал Отт советскому разведчику. — Какие у нас там планы на завтра?..» Зорге усмехнулся. «Мы стали послом», — сказал он Максу Клаузену. «А я сделался капиталистом!» — отвечал Макс. Вот как сам Клаузен рассказывает об этом: «Один коммивояжер имел мастерскую по копированию с помощью светящихся красок. Он опрыскивал краской пластинки из стекла, а затем копировал книги. Это получалось у него хорошо. Я пригласил его к себе домой, и он показал мне, как это делается... Коммивояжер уехал потом, и я купил у него мастерскую, забрав свой вклад у Фёрстера. Это было в 1938 году. Я нашел одного японца, который очень заинтересовался этим делом. Он демонстрировал мои пластинки перед профессорами в университетах, показывал, как копировать старые книги, и т. д. Мы очень хорошо зарабатывали на этом деле. Спрос на пластинки все возрастал. Мне пришлось увеличить штат сотрудников, и уже в 1939 году мы снимали три комнаты. Эти пластинки мы продавали предприятиям и даже воинским частям. Число сотрудников увеличилось до 14 человек.

Какую пользу имело копировальное дело для разведывательной работы? То, что утверждается в этой связи, неверно. Было бы очень хорошо, если бы мы могли получать интересные материалы, но японцы не так глупы, чтобы давать их нам. Благодаря этому занятию я имел лишь хорошее прикрытие для своей работы, поскольку внешне это было процветающее предприятие, дававшее мне возможность больше общаться с японцами, чем с немецким клубом...»

Зорге окончательно перебрался в посольство. Он имел возможность часами работать над совершенно секретными документами, закрывшись в своем кабинете. Тут же, в сейфе, хранились микропленки, приготовленные для Центра, деньги, информация всех видов, поступающая от членов организации. Сейф имел сложный шифр, а ключ Рихард всегда носил в потайном карманчике.

Эйген Отт рьяно принялся за исполнение возложенной на него миссии: патравливать Японию на Советский Союз. Он начал переговоры с министром иностранных дел Хиротой и представителями японского генерального штаба, снова в сопровождении Зорге вылетал в Гонконг для беседы с германским послом в Китае Траутманом. Вся эта возня начинала не нравиться советскому разведчику.

Он понимал, что Япония находится в состоянии политического и финансового кризиса. Не так давно полиция расстреляла в Кобе антивоенную демонстрацию. Усилилось брожение в армии, дисциплина японских войск в Китае катастрофически падала. В кабинете Коноэ начались раздоры: одна группа, во главе с военным министром Сугиямой, предлагала ограничить военные действия в Китае, с тем чтобы в будущем, когда Япония оправится от потрясений, напасть на Советский Союз; премьер Коноэ и его сторонники настаивали на продолжении войны в Китае. Победил Коноэ. Дело дошло до реорганизации кабинета. Война против СССР как будто бы снова отодвигалась на неопределенный срок.

Но Зорге ни на минуту не забывал следить за развитием германо-японских отношений. Что-то там, в Берлине, опять затевается: Риббентроп якобы ведет переговоры с японским послом Того. Оказывается, речь идет об экономическом сотрудничестве обеих стран в Китае; Япония будто бы готова предоставить германским монополистам особые права и привилегии в торговле с оккупированным Китаем. И вдруг сообщение Одзаки: японский генеральный штаб поручил военному атташе Осиме вести переговоры о заключении военного пакта о взаимопомощи в войне против Советского Союза! Есть документы. Встреча на Гинзадори у аптеки. Несмотря на позднее время, Рихард вскочил на мотоцикл и помчался. Одзаки уже ждал. Забрав документы, Зорге повернул обратно. Он торопился. Было часа два ночи. До утра нужно успеть все сделать, вернее, до рассвета. Он все увеличивал и увеличивал скорость. Поворот... Тут начиналась высокая стена. Чтобы автомашины не задевали стену, кто-то додумался установить вдоль шоссе ограждающие массивные камни. Что произошло потом, Зорге помнил плохо. На полной скорости мотоцикл врезался в камень. Рихард перелетел через машину и ударился лицом о следующий камень. Должно быть, на какое-то время Зорге потерял сознание. Пришел

в себя, когда почувствовал, что его куда-то несут. Сразу вспомнил о секретных материалах в кармане. Если все это попадет в руки полиции... Конечно же, сначала постараются установить личность пострадавшего, затем составят протокол... Обшарят карманы... «В больницу святого Луки! К доктору Штедфельду! Я — Зорге!..» — закричал он. Теперь он старался не впадать в забытие, хоть это и было трудно: в голове гудело, к горлу подступала тошнота. Он не знал, что нижняя челюсть разбита, череп проломлен; он вообще никак не мог сообразить, что же произошло; понимал только одно: его куда-то несут, а в кармане — секретные документы. Секретные документы, секретные документы... Все может погибнуть! Все, все... Пять лет кропотливейшего труда, жизнь преданных людей, будущее организации... Больше всего он страшился за Одзаки. Нити расследования сразу же потянутся к нему.

Из-под полуопущенных век Рихард видел спины японцев. Вот его уложили в машину. «К Штедфельду!» — крикнул он еще раз. Один из японцев сделал успокаивающий жест. Потом все колыхалось вокруг. Невероятным усилием воли Зорге стряхивал тяжелый бред, напрягал мышцы лба, чтобы не стонать от пронизывающей боли. «Штедфельд — мой доктор!» Ему казалось, что он выкрикнул эти слова. А на самом деле он лишь пошевелил губами. Но японцы попались сообразительные: если такое случается с иностранцем, то уж лучше не впутываться в историю, а отправить его в больницу для иностранцев.

...Зорге видел склоненное, участливое лицо. Доктор пытался понять, что хочет сказать Зорге. Наконец догадался: срочно вызвать Макса Клаузена! О, телефон известен! И вот Макс в больнице. «Я нашел его там с окровавленным лицом. Увидев меня, он сказал только, чтобы я освободил его карманы, в которых находились деньги и разные секретные материалы». И только тогда, когда Макс выполнил просьбу своего друга, Зорге потерял сознание. Он был очень плох.

Макс сразу же поехал на квартиру Рихарда, забрал фотоаппарат, где могли оказаться непроявленные пленки, проверил ящики стола. Освещая дорогу карманным фонариком, переходил из комнаты в комнату, тщательно просматривал каждую бумажку. Уже рассвело. Едва он успел закрыть квартиру и нырнуть в переулок, как возле дома появились

сотрудники информационного агентства во главе с Вайзе. Дом опечатали. Никто не имел права появляться здесь. Но теперь не было особых причин для беспокойств: компрометирующие документы лежали у Макса в кармане.

В то же утро 13 мая 1938 года весь Токио узнал из газет о «загадочной мотоциклетной катастрофе». «Покушение на известного немецкого журналиста, нацистского деятеля Рихарда Зорге — сторонника союза Германии и Японии». Интервью у посла Отта. Уж не кроется ли за всем этим злой умысел, преднамеренное покушение на «любимца нацистской прессы»? Отт отрицает. Газетная сенсационная болтовня. Портреты Зорге. Японские корреспонденты толкуются в приемной больницы. Но потерпевший очень слаб, к нему никого не пускают. За исключением... посла Отта и фрау Отт.

Фрау глотает слезы. Посол в растерянности. Его вызывают в Берлин на Вильгельмштрассе, к новому министру иностранных дел Риббентропу. Ответственную поездку посол не мыслил без Рихарда. Как некстати!.. Зорге сразу же оживает. Его голова забинтована. Только щелчки глаз. Разговаривать нельзя. Но еще движется рука. Лист бумаги, самопишущая ручка. Несколько вопросов. Зачем Отта вызывают в Берлин? О, речь по-прежнему идет об экономическом сотрудничестве обеих стран. Отт должен подтвердить выгоду подобного сотрудничества. Рихард согласно кивает головой. Да, да, пусть сотрудничают. Оп-то знает, что злостные конкуренты все равно ни до чего не договорятся. Рассорятся из-за добычи. Если речь пойдет о заключении военного пакта, Эйген не должен высказываться категорично. Сейчас подобный пакт выгоден в основном лишь Японии. Вот когда Япония на деле подтвердит готовность к экономическому сотрудничеству в Китае... на равных правах... Да, да, с военным союзом следует подождать...

Отт уходит удовлетворенный. Теперь он знает, о чем нужно говорить на Вильгельмштрассе.

Заявляется Клаузен. Рихард, подавляя в себе расслабленность, пишет, пишет. Текст радиogramм для Центра. Передать сегодня же. «Время от времени, когда я приходил к нему, он давал мне для передачи написанную от руки информацию, которую он собирал в больнице от этих людей... Я приносил ему в больницу радиogramмы, которые получал».

Даже в больничной палате, разбитый, но не сломленный, Зорге оставался разведчиком. В такое тревожное время он не имел права терять ни минуты. Ночью начинался бред. Томительные больничные дни...

...Отт уехал в Берлин. Как-то встретит этого болвана Риббентроп? Впрочем, Риббентроп сам не далеко ушел от Эйгеса. Риббентроп — откровенный, прямолинейный праг Англии, сторонник немедленной войны с Англией и Советским Союзом. Германия два месяца назад оккупировала Австрию, теперь нацелилась на Чехословакию. Надвигается большая война... Япония, несмотря на свои мощные военные силы и развитую экономику, не способна выдержать длительных боев: «пороха не хватит», не хватит денег, людей. Ограниченные экономические ресурсы...

Вернулся Отт. Так и есть. Хищники не могли договориться. В Берлин поступил доклад от дипломатических представителей, находящихся в Китае. В секретном докладе сказано: японские власти стремятся «изгнать все иностранные государства из Китая, в том числе и Германию. Японские монополии установили контроль над всеми отраслями промышленности и не пускают сюда немцев. Политика Японии направлена на искоренение всего иностранного капитала в Китае».

Риббентроп разругался с японским послом Того. Переговоры о заключении военного союза прерваны.

Зорге облегченно вздохнул. Отт вел себя на Вильгельмштрассе молодцом. Он привез целую кучу ценных сведений. Оказывается, теперь мы можем даже влиять в некоторых вопросах на политику германского государства...

Через Клаузена Бранко передает записку: Мяги получил от своего друга достоверные сведения... (Зорге догадывается: этот друг — Одзаки.) Очень важные сведения: японцы, стараясь поднять свой пошатнувшийся престиж среди западных держав, готовят военную провокацию в районе озера Хасаи, вынашивают планы захватить часть советской территории в Приморье, окружить Владивосток.

Тут уж Зорге не мог больше оставаться в больнице. Опираясь на трость, доплелся до машины и приказал везти себя в посольство.

Военные действия у Хасана начались 29 июля 1938 года, но еще задолго до этого советское командование, предупрежденное Рихардом Зорге о готовящейся прово-

кации, начало переброску в район озера Хасан частей 1-й Отдельной Краснознаменной армии.

Западная пресса открыто толкала Японию на большую войну. «Япония может воспользоваться этим случаем для ограничения ее действий в Центральном Китае... Настоящий японо-русский инцидент может автоматически вылиться в необъявленную войну», — подсказывала «Нью-Йорк таймс». Риббентроп забыл ссору с послом Того и стал ратовать за германо-японский военный союз.

Однако к 11 августа наступило отрезвление: японские войска были наголову разбиты, выброшены с территории Советского Приморья. Даже в штабе Квантунской армии поняли: страна Ямато к большой войне не готова.

Не лучше шли дела и в Китае. Коноэ надеялся поставить Китай на колени, захватив Ханькоу. Но установить «новый порядок» в Восточной Азии не удалось. Китайцы отказались от капитуляции и продолжали борьбу.

Все выходило так, как и предвидел советник Одзаки. Почему бы этого мудрого человека не сделать официальным советником?

Осуществить намерение принцу не удалось: потерпев поражение на всех фронтах международной политики, кабинет Коноэ вынужден был уйти в отставку.

Так обстояли дела на Дальнем Востоке.

А в Европе назревали события, смысл которых хорошо понимал Зорге. 30 сентября Гитлер вышел из «коричневого дома» в Мюнхене — в этот день правящие круги Англии и Франции выдали фашистской Германии Чехословакию. Мюнхенский сговор расчистил нацистам путь ко второй мировой войне. И хотя срок пребывания Зорге в Японии согласно договоренности с Урицким кончился, Рихард 7 октября написал в Центр: «Пока что не беспокойтесь о нас здесь. Хотя нам здешние края крайне надоели, хотя мы устали и измождены, мы все же остаемся все теми же упорными и решительными парнями, как и раньше, полными твердой решимости выполнить те задачи, которые на нас возложены великим делом».

Он отдавал себе ясный отчет в том, что его место сейчас в Токио — и нигде больше. Ибо не было, не существовало в природе человека, который смог бы заменить его в настоящее время здесь, на самом оживленном перекрестке международной политики; он проник в сокровенный уголок фашистского логова — в германское посоль-

ство, даже мог направлять действия посла по нужному руслу, оказывать влияние на германо-японские отношения, узнавать о замыслах Гитлера и его приспешников. Нет, никто не мог заменить Зорге. Все личное должно отойти на второй план...

А что сказать Кате, как объяснить?..

«Дорогая Катя!

Когда я писал тебе последнее письмо в начале этого года, то я был настолько уверен, что мы вместе летом проведем отпуск, что даже начал строить планы, где нам лучше провести его.

Однако я до сих пор здесь. Я так часто подводил тебя моими сроками, что не удивлюсь, если ты отказалась от вечного ожидания и сделала отсюда соответствующие выводы. Мне не остается ничего более, как только молча падеяться, что ты меня еще не совсем забыла и что все-таки есть перспектива осуществить нашу пятилетней давности мечту: наконец получить возможность вместе жить дома. Эту надежду я еще не теряю. Ее неосуществимость является полностью моей виной или, вернее, виной обстоятельств, среди которых мы живем и которые ставят перед нами определенные задачи.

Между тем миновали короткая весна и жаркое изнуряющее лето, которые очень тяжело переносятся, особенно при постоянно напряженной работе. И совершенно очевидно, при такой неудаче, которая у меня была.

Со мной произошел несчастный случай, несколько месяцев после которого я лежал в больнице. Однако теперь уже все в порядке, и я снова работаю по-прежнему.

Правда, красивее я не стал. Прибавилось несколько шрамов, и значительно уменьшилось количество зубов. На смену придут вставные. Все это результат падения с мотоцикла. Так что когда я вернусь домой, то большой красоты ты не увидишь. Я сейчас скорее похожу на ободранного рыцаря-разбойника. Кроме пяти ран от временной войны я имею кучу поломанных костей и шрамов.

Бедная Катя, подумай обо всем этом получше. Хорошо, что я вновь могу над этим шутить, несколько месяцев тому пазад я не мог и этого.

Ты ни разу не писала, получила ли мои подарки. Вообще уже скоро год, как я от тебя ничего не слыхал.

Что ты делаешь? Где теперь работаешь?

Возможно, ты теперь уже крупный директор, который наймет меня к себе на фабрику, в крайнем случае мальчиком-рассыльным? Ну ладно, уж там посмотрим.

Будь здорова, дорогая Катя, самые наилучшие сердечные пожелания».

10. ПУЛЬС МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ

Внешние Зорге продолжал вести прежнюю беспокойную жизнь корреспондента многих газет и журналов. Все те же пресс-конференции, официальные приемы, обеды. Иногда он делает доклады для сотрудников посольства. Ганс Отто Мейснер, присутствовавший на одном из подобных докладов, отзывается о нем так: «Это была изумительная лекция, прочитанная с предельной простотой. Он кончил, насколько я помню, словами: «Американцы сделали ошибку, о которой они когда-нибудь пожалеют...» Многие из нас мило улыбнулись в ответ на это и разошлись заниматься своими делами. Сегодня эти слова воспринимаются как свидетельство изумительной прозорливости Зорге в вопросах международных отношений». Но с некоторых пор в Рихарде произошел какой-то перелом. Он уже не казался таким оживленным, веселым, как прежде. Все чаще хмурился, почти не острил, иногда бывал реакват даже с Эйгеном и Вайзе, старался уединиться.

От «Франкфуртер цейтунг» и журнала «Геополитик» поступило предложение написать книгу о Японии. Может быть, Рихард обдумывал книгу, потому и закрывался часто в своем доме? Здесь у него на стеллажах накопилось до тысячи томов книг, большая часть которых была посвящена Японии. Иногда он сидел на веранде, завернувшись в кимоно, обвязав голову полотенцем, и неторопливо потягивал из чашки зеленый чай без сахара.

Нет, он не думал о книге, хотя мысль написать такую книгу пришла давно. Это, разумеется, была бы оригинальная книга, отличная от всех уже написанных. Чему посвящены те труды на стеллажах? Нравам и обычаям. Замужние японки красят зубы черным лаком. Здесь иголку надевают на нитку, а не так, как у нас в Европе... Здесь утираются мокрым полотенцем... Гейши — это не то, что

мы с вами думаем, а всего лишь артистки, честно зарабатывающие свой хлеб музыкой и танцами... Дальше идет описание храмов, лакированных шкатулок, вееров, кагамидаев, сэймонов, акамонов... Иногда попадаются работы, посвященные экономике, истории. Но еще нет такой книги, где содержались бы раздумья об исторических судьбах Японии. Еще никто не показал на конкретных примерах историю японской экспансии, начиная с древнейших времен. Это будет обширный труд, он поможет людям разобраться кое в чем; хотя бы в том, откуда берутся войны и к чему они приводят в конечном итоге, если носят агрессивный характер.

Каждый человек, кто бы он ни был, является не только свидетелем, но и участником исторических событий. Степень участия различна. Одни держат руку на пульсе мировых событий, другие о многом не догадываются, и их участие в том или ином историческом событии не всегда бывает глубоко осмысленно.

Например, каков характер процесса, происходящего за последние годы в Японии, во всем мире?

За пять лет пребывания Зорге в Японии здесь сменилось пять правительственных кабинетов: Сайто и Окада, Хирота, Хаяси, Коноэ... Теперь вот к власти пришел барон Хиракума. Но изменилась ли магистральная линия японской внешней и внутренней политики? Частые смены кабинетов обусловлены теми противоречиями, которые беспрестанно действуют в правительственных кругах. В этих кругах нет сторонников мира и мирного развития страны. Здесь собрались экспансионисты. Магистральная линия — экспансия, война. Но каждая группировка понимает экспансию по-своему. Одни считают: вначале малыми силами следует захватить Китай, а, укрепив за счет побежденного свою экономику, развязать большую войну против Советского Союза. Наиболее оголтелые требуют немедленного нападения на СССР, заручившись поддержкой Германии.

Новый кабинет предполагает вести подготовку войны сразу на два фронта — против СССР и Китая.

Зорге много размышлял о природе японского империализма, изучал книги по этому вопросу, пытался нащупать движущие пружины японской экспансии. Буржуазные историографы пытались представить дело так, будто во всех военных происках Японии повинны руководители

армии, ничтожная группа агрессивных милитаристов. Но Зорге вскоре понял, что природа империализма повсюду одна и та же — будь то в Японии, Германии или же в США: подлинными вдохновителями и организаторами войн всегда являются монополии, а объект номер один, против которого они стремятся направить агрессию, — Советский Союз. Сокрушить первое в мире социалистическое государство — вот заветная мечта империалистов. Здесь они всегда солидарны, несмотря на все противоречия, раздирающие капиталистический мир. Японские империалисты по-прежнему вынашивают планы создания колониальной империи с включением в нее Советского Дальнего Востока, куда бы ни была нацелена их агрессия в данный момент. Нужна бдительность и еще раз бдительность...

Когда Зорге узнал о назначении послом в Берлине генерала Осимы на место провалившего в прошлом году переговоры о военном пакте Того, он сильно встревожился. Ярый враг Советского Союза, один из организаторов «антикоминтерновского пакта», Осима не остановится на полдороге. Он человек решительный, напористый, откровенный поклонник Гитлера. В Рим назначен такой же враг Советского государства Сиратори.

Не иначе как завязывается новая политическая интрига с плохими последствиями. У Зорге за годы общения с подобными людьми развился своеобразный нюх на политические интриги. Всякое продвижение и перемещение дипломатических работников имело подоплеку. Отт подтвердил: еще во время «мюнхенской комедии» Риббентроп предложил Муссолини заключить тройственный военный союз между Германией, Италией и Японией. Теперь машина заработала. Советники японского посольства под непосредственной опекой Осимы и Риббентропа подготавливают варианты будущего военного пакта... Но там идет не все гладко... В самом японском кабинете нет единой точки зрения на характер военного союза с Германией и Италией.

Рихард спешно связался с Одзаки. Необходимо знать, каков характер разногласий в кабинете Хиранума. Одзаки дал исчерпывающий ответ: Гитлер хочет втянуть Японию в войну с Англией и Францией в первую голову. Таково основное содержание пакта. Военный министр Итагаки и министр финансов Икэда, опираясь на послов Осиму и Сиратори, советуют принять гитлеровский проект без вся-

ких оговорок. Но министр иностранных дел Арита и военно-морской министр Ионаи не решаются на открытый разрыв с западными странами и предлагают сузить пакт до такой степени, чтобы он применялся лишь против Советской России, ибо по экономическим причинам Япония не в состоянии выступить против Англии и Франции.

С отставкой Коноэ Одзаки не утратил позиций в высших сферах. Принц не считал свой уход с поста окончательным, надеялся в скором времени вернуться, а потому «группа завтрака» продолжала действовать. Теперь собирались в доме секретаря кабинета министров и министерства иностранных дел Киикадзу — сына графа Сайондзи. Молодой Сайондзи смотрел на Одзаки с глубоким восхищением, был привязан к нему всем сердцем. И хотя Коноэ находился в отставке, он оставался приближенным императора, и окружение принца — личный секретарь Усиба, советник по делам Китая Инукан Кэн, крупные политические деятели Кадзами, Гото — пользовалось огромным влиянием. При содействии друзей Одзаки был назначен советником в токийский отдел исследования Южно-Маньчжурской железной дороги. Этот концерн представлял своеобразную «империю» в империи, оказывал большое влияние на политику правительства. Так, в телеграмме от 11 мая 1938 года начальник штаба Квантунской армии генерал Тодзио отмечал особые заслуги концерна ЮМЖД «в проведении политики в Маньчжоу-Го и в подготовке военных действий против Советского Союза». На отделение Одзаки возлагалась задача изучать положение в Маньчжурии и Советском Союзе. На новой службе Одзаки всегда был осведомлен в такой же степени, как иной член кабинета.

Связанный с посольствами Англии, Франции, США, Бранко Вукелич приносил известия, характеризующие отношение названных стран к японо-германо-итальянским переговорам. Все та же старая, унылая песня соглашателей, подстрекателей. Нет, они ничего не имеют против японо-германо-итальянского военного союза, если его острие будет нацелено на СССР...

Английский посол Крейги помчался к японскому министру иностранных дел и стал допытываться, против кого будет направлен военный пакт. Арита заверил посла: Япония стремится ограничить пакт антисоветскими рам-

ками. Крейги успокоился, но все-таки заявился к Отту и стал доказывать ему, что если Япония примет предложение Берлина, то это никому не принесет пользы. Отт сообщил в Берлин: «Английский посол, который чрезвычайно взволнован, недавно обрисовал мне японскую политику в отношении пакта как неверную дорогу, которая сделает чрезвычайно напряженными отношения с Англией». Американский посол Грю доносил госдепартаменту, что «основной вопрос заключается в сфере применения предполагаемого соглашения: будет ли оно направлено только против России или, быть может, и против других стран». Грю делал вывод: для агрессии Японии против Советского Союза «создалась благоприятная обстановка, особенно после заключения европейскими государствами соглашения в Мюнхене».

Политическая атмосфера пакала все больше и больше. Макс Клаузен едва успевал передавать радиogramмы. Но самая первая радиogramма, которую Макс передал, была посвящена годовщине Советской Армии: «Мы стоим на своем посту и вместе с вами встречаем праздник в боевом построении».

С обостренным вниманием следил Зорге за всеми эволюциями на Вильгельмштрассе и в Токио. Хищники делают еще одну попытку договориться... Но удастся ли им развязать слишком уж тугой узел противоречий?.. Рихард не верил в чудеса. А так как он глубоко знал все слабости Японии, то не верил также тому, что барон Хиракума в состоянии разрубить этот узел. Да и никто не смог бы его разрубить...

Переговоры безнадежно затягивались. В марте пришла телеграмма от Риббентропа. Рихард ее сфотографировал. Да, переговорам не видно конца. Японцы всячески стараются обойти германские предложения. Они придумали компромиссную формулу: СССР следует признать основным объектом нападения; что же касается Англии и Франции, то пусть каждый участник пакта сам решает, стоит ли выступать против них в данный момент. Осима и Сиратори забунтовались, даже не желают обсуждать токийский вариант, грозятся уйти в отставку. Риббентроп заявляет: если японское правительство не присоединится к военному союзу безоговорочно, то Германия вступит в союз с одной Италией и, возможно, пойдет даже на заключение договора с Россией.

Но угрозы, кажется, не подействовали. На словах барон Хиранума клянется: Япония полна твердой решимости стать плечом к плечу с Германией и Италией; через Отта направил обращение к Гитлеру, в котором обещает оказывать Германии и Италии политическую и экономическую помощь, но в то же время говорит, что при сложившихся обстоятельствах Япония «ни сейчас, ни в ближайшем будущем не сможет оказать им практически какую-либо военную помощь».

4 мая посол Крейги телеграфировал в Англию на Даунинг-стрит, 1: кабинет Хиранумы отказался заключать военный союз против СССР и западных держав и высказался за создание военного блока только против СССР.

Чем вызвало подобное решение Японии? Не трудно было догадаться: в Москве в это время проходили переговоры между СССР, Англией и Францией. Заявив, что Япония не собирается порывать с западными странами, кабинет Хиранумы надеялся внести раскол в московские переговоры, помешать сближению Советского Союза с западными державами. Откуда было знать барону и его правительству, что Англия и Франция ведут переговоры повсе не для того, чтобы заключить союз против агрессоров...

Зорге старался распутать весь этот клубок международных отношений, понять мотивы, которыми руководствуется каждая из сторон.

Да, конечно, Япония постарается изменить обстановку на Дальнем Востоке таким образом, чтобы сделать Германию уступчивее, а Францию и Англию отвлечь от Советского Союза...

Вот почему все последние месяцы хмурая задумчивость не сходила с лица Зорге. Он размышлял. Нащупывал пульс мировой политики. Он должен был произвести научную оценку событий и прийти к единственно правильному выводу. Вывод напрашивался такой: чтобы задобрить Гитлера и западные державы, кабинет Хиранумы пойдет на очередную провокацию на «севере».

Сделав подобное заключение, Рихард заволновался.

Через Бранко удалось установить: в английском посольстве, оказывается, знают о том, что Япония стягивает войска к восточным границам МНР. Не дожидаясь начала боевых действий, Вукелич через главу прессы

агентства Гавас стал хлопотать о командировке в Маньчжурию.

Зорге выяснил, что японские генералы надеются захватить в Монголии выгодные плацдармы для нападения на Советский Союз, а также хотят испытать боеспособность Советских Вооруженных Сил. Еще в октябре прошлого года Рихард сообщил в Центр о том, что Япония заключила с Германией секретное соглашение об обмене сведениями разведки относительно Вооруженных Сил Советского Союза; теперь было ясно, для чего потребовались такие сведения японскому командованию: в Токио хорошо понимают, что нападение на МНР неизбежно приведет к столкновению с Красной Армией!

И снова Клаузен шлет в эфир радиogramму за радиogramмой, сигнализирует о надвигающейся опасности.

Бранко попал на фронт месяц спустя после того, как у реки Халхин-Гол произошли бои. Предлогом для вторжения генералам послужили фальшивые карты, состряпанные в Токио, где государственная граница вопреки действительному положению была отодвинута на двадцать километров в глубь монгольской территории. Советский Союз, верный договорным обязательствам, пришел на помощь МНР.

Бранко увидел отроги Большого Хингана, халхин-гольские барханы, заросшие кустарником. Здесь, в широкой долине, в песке и грязи увязли машины, и только кони еще как-то могли двигаться. Бранко часами вглядывался в сиреневую мглу, туда, где невысоким валом поднимались горы Хамар-Даба. Там была загадочная Монголия, там были красноармейцы, красные цырики. Еще никогда Бранко не находился так близко к людям той новой породы, о встрече с которыми всегда мечтал. Но встретиться с ними хотелось совсем в иной обстановке... Он почему-то в эти дни постоянно думал о своем брате Славко, который плечом к плечу с советскими тапкистами сражался в Испании. От Славко до сих пор не было никаких известий. В Испании враги праздновали победу, и, что случилось с братом, Вукелич не знал...

Здесь, на Халхин-Голе, он представлял французское агентство Гавас.

События развивались так.

Крупные вооруженные силы Японии вторглись на монгольскую территорию 28 мая 1939 года. Особо жесто-

кие бои разгорелись в начале июля в районе горы Баин-Цаган. В этом сражении японцы потеряли несколько тысяч солдат и офицеров, огромное количество вооружения, танков и самолетов. Ударная группировка Квантунской армии была окружена и раздавлена советскими танкистами и монгольскими конниками.

20 августа части советских и монгольских войск перешли в решительное наступление по всему фронту, окружили и в течение восьми дней разбили 6-ю японскую армию. Советская авиация, артиллерия, танки нанесли сокрушительный удар по японским позициям. К утру 31 августа территория МНР была полностью очищена от захватчиков. За три месяца боев японцы потеряли около 60 тысяч убитыми и ранеными, 700 самолетов, свыше 200 орудий и много другого военного снаряжения. Потери советско-монгольских войск составляли 9 тысяч человек.

Лорд — хранитель печати Кидо, один из советников японского императора, записал в своем дневнике: «Все погибло...»

Германия и Италия, не дожидаясь исхода событий у Халхин-Гола, заключили военпо-политический договор. Они уже видели, что карта барона Хиранумы бита. Пропалилась и попытка Хиранумы созвать Тихоокеанскую конференцию — своеобразный «Дальневосточный Мюнхен», где бы империалистические державы решили участь Китая в пользу Японии.

Беспокойный 1939...

Рихарду приходилось аккумулировать в своем мозгу все большие и малые события, чутко прислушиваться к голосам западных держав, держать в руках ту веревочку, которая висела на Вильгельмштрассе. То, что Европа неумолимо вползает во вторую мировую войну, становилось очевидным из документов, попадавших в руки разведчика.

В конце мая немецкий генерал-майор Томас, начальник экономического отдела генерального штаба, давний знакомый Зорге, выступил с докладом перед сотрудниками МИДа. Текст закрытого доклада Отт передал Зорге. Томас приводил интересные цифры: численность вермахта к середине 1939 года достигла двух с половиной миллионов человек. Германия располагает 51 полностью снаряженной и обученной дивизией, из них 5 танковыми и 4 моторизованными. Военпо-воздушные силы насчитывают

260 тысяч человек, состоят из 240 эскадрилий и 340 зенитных батарей. В составе военно-морского флота 2 линкора, 2 крейсера, 17 эсминцев и 47 подводных лодок; в ближайшее время заканчивается строительство еще 2 линкоров, 4 крейсеров, авианосца, 5 эсминцев и 7 подводных лодок.

Вдоль своей границы с Голландией, Бельгией, Францией немцы соорудили так называемую линию Зигфрида — пояс укреплений шириной до 50 километров, состоящий из 17 тысяч подземных железобетонных сооружений, в которых размещено полмиллиона солдат.

Поскольку доклад Томаса предназначался для ориентировки германских дипломатов, то Эйгену Отту даже в голову не пришло скрывать его от Зорге. Он давно зачислил Рихарда в семью посольских сотрудников и подумывал сделать его официальным пресс-атташе при посольстве.

Рихард прилежно сфотографировал каждую страницу доклада. Это была редкая удача! Наци мимоходом разбалтывали самые сокровенные свои тайны.

Томас даже делал вывод: «Уровень производительности собственно военной промышленности и подготовка перевода остальной экономики на военные рельсы ни в одной другой стране не находится на такой высоте, как в настоящее время в Германии».

Все данные Клаузен в тот же день передал в эфир. Зорге смотрел на Эйгена с нежностью: «Милая фашистская коровка...»

Трагикомизм «дружбы» этих двух людей заключался в том, что Эйген Отт сам был крупным разведчиком. Кое в чем он признался Рихарду, так как не имел от него никаких секретов. О, делать карьеру Эйген начал еще в период первой мировой войны. В то время он работал на известного полковника Николаи, руководителя немецкой военной разведки. Именно Николаи предложил послать Эйгена осенью 1933 года в Японию с заданием установить контакт с японской разведкой. Здесь Эйген завязал тесные отношения с руководителем разведки на материке, начальником «континентальной службы» Дойхара. Но японцы не очень-то охотно делились информацией. Некоторое время, как мы помним, Отт пребывал в роли стажера, военного наблюдателя в японских войсках. Он должен был представить обстоятельный доклад своему начальству.

Тут-то у него и возникла идея использовать Зорге. И вот нацистский разведчик, сам о том не подозревая, сейчас старательно работал на Зорге, на Центр. Иногда, занятый приемами и другими делами, он поручал Рихарду шифровать телеграммы. Так германский код стал известен Центру.

Как рассказал Отт, еще в марте Риббентроп предъявил Польше требования третьего рейха на Данциг. И хотя Гитлер, выступая в рейхстаге, лицемерно превозносил «польско-немецкую дружбу как стабилизирующий фактор в политической жизни Европы», Зорге догадывался, к чему все клонится. От германских посланников и генералов, зачистивших в Токио, он прослышал кое-что о «плане Вейс». То был конкретный план нападения на Польшу. Гитлер будто бы заявил генералам: «Не может быть даже речи о том, чтобы оставить Польшу в покое, и перед нами остается только одно решение — напасть на Польшу при первой же благоприятной возможности. Проблему Польши нельзя отделять от войны против Запада. Англия стоит на пути установления нашей гегемонии...»

Шолл, из майора превратившийся в подполковника и заменивший Отта на должности военного атташе, стараясь блеснуть причастностью к великим тайнам, заверил Рихарда: нападение на Польшу произойдет в любой день после 1 сентября этого года. Так сказано в директиве Кейтеля.

...Внимательно следил Зорге за ходом англо-франко-советских переговоров. Беспокоила позиция Англии и Франции: посол Отт получал документы, свидетельствующие о том, что англичане параллельно ведут секретные переговоры с Германией. Тут пахло предательством. Панское правительство Польши категорически отказалось от военной помощи Советского Союза, так как надеялось договориться с немцами и в случае большой войны поживиться за счет Советской Украины и Литвы. Министр иностранных дел Польши Бек заявил: даже в случае нападения Германии Польша не допустит на свою территорию советских войск. Лучше немцы, чем Советы. Французские дипломаты плели интриги в надежде изолировать СССР на международной арене. Все усилия западных держав в этот ответственный момент сводились к тому, чтобы сколотить единый антисоветский империалистический блок. Чемберлен заверил гитлеровского эмисса-

ра Тротта цу Зольда в том, что все европейские проблемы могут быть урегулированы по линии Берлин — Лондон. Известный нам фон Дирксен сообщал из Лондона на Вильгельмштрассе: «Здесь преобладает впечатление, что возникшие за последние месяцы связи с другими государствами являются лишь резервным средством для подлинного примирения с Германией и что эти связи отпадут, как только будет действительно достигнута единственно важная и достойная усилий цель — соглашение с Германией».

Так оценивала гитлеровская дипломатия поведение «туманного Альбиона» в англо-франко-советских переговорах. Деятели с Даунипг-стрита пеклись лишь о разделе сфер влияния с фашистской Германией, а на переговоры с Советским правительством смотрели как на дипломатический маневр, и не более. Тот же Дирксен, комментируя московские переговоры, доносил 1 августа: «К продолжению переговоров о пакте с Россией, несмотря на посылку военной миссии — или, вернее, благодаря этому, — здесь относятся скептически... Военная английская миссия скорее имеет своей задачей установить боеспособность Красной Армии, чем заключить оперативные соглашения». Помогать Польше в случае германской агрессии Англия не собиралась.

Дальнейшее уже не было неожиданностью для Зорге: Англия и Франция после четырех месяцев «игры в переговоры» сорвали заключение военной конвенции с Советским Союзом. Социалистическое государство осталось один на один, лицом к лицу с вооруженной до зубов фашистской Германией...

Как повернутся события?.. Наступил самый напряженный момент в международной драме. Каналы связи вздулись от избытка информации. Кровавое давление Европы резко повысилось. «Быть или не быть войне?» — этот вопрос сейчас намного трагичнее гамлетовского.

Зорге находился в курсе того, что еще с весны германское правительство домогается «дружбы» с Советским Союзом. Даже в речах Отта, яростного антисоветчика, появились этакие миролюбивые нотки. Советское правительство из месяца в месяц отвергало все предложения Германии, так как понимало, почему Гитлер вдруг подобрел: он страшился единого фронта европейских держав, за который боролся СССР.

Но теперь, воочию убедившись в том, что реакционные правящие круги Англии и Франции своими интригами стремятся изолировать СССР, создать против него единый фронт капиталистических держав и спровоцировать советско-германскую войну, Советский Союз должен был сделать выбор: либо принять в целях самообороны предложение Германии и заключить с ней пакт о ненападении, отодвинув тем самым сроки войны, или же немедленно вступить в вооруженный конфликт с Германией... «Заключив соглашение с Советским Союзом, фюрер утратил всякую идейную опору, как в свое время и император Вильгельм II, который, начиная войну, не позаботился об оправдании ее какими-либо высокими целями и идеалами», — сожалела одна американская газета.

На другой день после заключения советско-германского договора о ненападении разъяренный министр иностранных дел Арита ворвался в германское посольство, в оскорбительных выражениях заявил Отту протест и сообщил о решении японского правительства прекратить всякие переговоры с Германией и Италией. Осима и Сиратори, потрясенные коварством Гитлера, подали в отставку.

Кабинет барона Хиранумы пал.

Лорд — хранитель печати Кидо записал в дневнике: «Вероломство Германии удивило и потрясло Японию...»

Со всех сторон пытался оценить этот факт Зорге.

Советский Союз принял единственно возможное решение. Англии и Франции дорого обойдется их скверная «игра в поддавки». «Великие стратеги» из германского генерального штаба, приезжающие в Токио, восхваляют стратегию «старика» Шлиффена — последовательный разгром противников; в «противники» они зачисляют Польшу, Англию, Францию, Советский Союз. Сперва Австрия, потом Чехословакия... Кто на очереди?.. Военный потенциал Германии растет. «Стратеги» и не скрывают: для Гитлера договор о ненападении нужен лишь потому, что Германия сейчас пока не в силах напасть на Россию.

Еще весной Зорге предупредил Центр о подготовке нападения гитлеровцев на Польшу, коротко изложил суть так называемого «Белого плана».

Приходилось очень бдительно следить за всеми зигзагами международной политики.

...Час пробил! Польша оккупирована, несмотря на упорное сопротивление солдат и народа; Англия и Фран-

ция оказались втянутыми в войну, хотели они того или не хотели.

Вторая мировая война стала фактом.

11. ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ ЧАСА В СУТКИ...

Камелии и хризантемы цветут даже во время тайфунов. Люди продолжают жить своими интересами даже тогда, когда разражаются политические бури.

Специфика работы разведчика откладывает суровый отпечаток на весь уклад его жизни и в дни мира и в дни войны, ибо разведчик подвергается опасности быть раскрытым двадцать четыре часа в сутки.

Разведчик несет две нагрузки. Помимо основных занятий он должен делать еще то же самое, что делают другие: ходить на службу, общаться со знакомыми, заботиться о тысяче бытовых мелочей. Но каждый его поступок как бы лимитирован неписанным уставом: гляди в оба, будь предельно осторожен.

В феодальной токугавской Японии XVIII века господствовал пресловутый «режим ока» — омаэка сэйдзи — свирепый полицейский надзор за каждым японцем. «Режим ока» — государственный террор, направленный против малейшего проявления свободомыслия. Он держал в страхе все население империи. Особенно беспощадно карали за связь с иностранцами.

Прошли столетия, но «режим ока» в Японии сохранился. Японская контрразведка во все времена считалась наиболее сильной, хитроумной. Иностранец, оказавшийся в Японии, сразу же попадал под прицел: он мог не сомневаться, что вся прислуга в его доме — полицейские допосчики, что за каждым его шагом следят десятки шпииков. Иностранца иногда останавливают на улице и тут же проверяют его личные вещи, обыскивают. И в трамвае, и в кафе, и в парке Уэно, где вы решили отдохнуть в тени криптомерий, — повсюду вас сопровождает полицейский, неумолимый, как автомат. Его не смутит даже ваша дипломатическая неприкосновенность, ваш ранг, ваши близкие знакомства с самим премьер-министром. Ведь за премьером тоже следят и при необходимости могут вызвать в суд в качестве свидетеля, как любого простого смертного. «Режим ока» держится на презрении к челове-

ку, на пренебрежении ко всем законам, якобы охраняющим свободу личности.

«Как-то я пригласил на обед нескольких своих друзей. Слуга расставил на столе карточки с фамилиями гостей. Пока я переодевался, карточки исчезли — их забрал с собой в управление агент кемпетаи. Дипломатический иммунитет моего дома он нарушил без всяких угрызений совести. Если бы среди этих карточек обнаружили карточку с фамилией японца, его задержали бы и допросили», — рассказывает Ганс Отто Мейснер, служивший в Токио в одно время с Рихардом Зорге.

Это непредвзятое свидетельство лишний раз характеризует ту обстановку, в которой приходилось действовать Зорге и его помощникам.

В невероятно трудных условиях Зорге создал невиданный по конспиративным качествам коллектив. И не только руководил этим коллективом, но и постоянно воспитывал его. Воспитывал с большим тактом, ненавязчиво, бережно; заражал своей убежденностью в конечном торжестве общего дела.

Он был не только связующим звеном между отдельными членами организации, но главным образом идейным вдохновителем; с большим уважением относился к каждому, стремился проникнуть в духовный мир своих друзей и почти незаметно внести необходимые коррективы в этот мир.

Обстоятельства прошлой жизни у всех были различны. И прошлое, разумеется, отложило свой отпечаток на характер каждого. Но по-видимому, невозможно подобрать героев заранее, опираясь лишь на характеристики и биографические данные; героями людей делают сложные ситуации. Теперь все члены организации были поставлены в исключительные условия, требующие беззаветной преданности, особого мужества и хладнокровия.

Разведывательная работа — не ремесло, а творчество. Холодные ремесленники здесь быстро потерпят провал. За годы деятельности в Японии во всем блеске проявились творческий подход, изобретательность каждого из членов организации.

Зорге с полным правом, не переоценивая себя, мог сказать: «Не следует забывать, что моя разведывательная работа в Китае и позднее в Японии носила совершенно новый, оригинальный и к тому же творческий характер».

Члены организации не могли общаться часто, чтобы не вызывать подозрения. И все-таки они общались.

Для Зорге, Одзаки и Мияги каждая встреча превращалась в маленький интеллектуальный праздник.

Зорге работал над книгой о Японии. Одзаки готовил к изданию политико-экономическое исследование «Сила великих держав в Китае». Мияги для лекций требовались сведения из первых рук о реалистическом искусстве Европы.

Одзаки рассказывал своему советскому другу об оригинальных японских философах-материалистах Ито Дзинсай, Камада Рюо, Ямагата Банто, о великом атеисте и провозвестнике коммунистических идей Андо Сёэки, знакомил с древнейшими литературными памятниками синтоизма «Кодзики» и «Нихонги». Подобные книги были овеяны сумеречными легендами о происхождении японского государства.

Сначала неизвестно где, между небом и землей, росло божественное дерево «аси». Ему надоело расти без цели, и оно превратилось в родоначальника «семи поколений богов» Кунитоко-татиномикото. В седьмом поколении появились бог Идзанаги и богиня Идзапами. Идзанаги любил летать над океаном. Однажды с его копья упала капля, капля превратилась в остров Оногоросима. Тут и поселились божественные супруги. Вскоре Идзанами зачала и родила восемь больших японских островов. В те времена все делалось проще. Когда богу Идзанаги стало скучно, он родил из своего левого глаза богиню солнца Аматерасу, а из правого — богиню луны Цукаёми; из носа вынул бога земли Сусаноо. Основанием японского государства занялась богиня солнца Аматерасу: она поручила своему внуку Зимму-Тенно огнем и мечом обойти острова и положить начало вечной династии императоров. Так тут и началось все с огня и меча 11 февраля 660 года до новой эры. Одзаки шутил: «Легенду придумали первые милитаристы».

От старинных легенд Одзаки переходил к взглядам современников, последователей Зимму-Тенно. Не так давно некий шовинист Муруфуса горестно писал в своей статье «Кризис и японский дух»: «Японский идейный мир этого десятилетия точно определяется как период бурного распространения марксизма. Японские идеи изгнаны. Борники прогресса все, как один, склонны воспевать Со-

ветский Союз, а о японском духе забыли. Все что ни есть японское было окончательно потеряно в идейном потоке эпохи. В целом это можно назвать периодом материализма».

Одзаки смеялся. Всякий шовинизм он считал злым проявлением классовой ограниченности. Одзаки, так же как и Зорге, далеко видел: именно он, Одзаки, предсказал в 1937 году, что китайский инцидент перерастет во вторую мировую войну. Он предвидел также, что вторая мировая война закончится не перераспределением колоний, как то было после первой, а коренными изменениями социального порядка во всем мире, отпадением от системы колониализма многих стран Азии и Африки. Влияние примера первой страны социализма возрастет во сто крат. Экономическая структура Японии ненадежна из-за существующих феодальных традиций. Милитаризация всех отраслей хозяйства истощит страну, приведет ее к разорению. Интересы Японии неизбежно столкнутся с интересами США и Англии. Возможно, на первой стадии войны Япония одержит кое-какие победы, но они будут недолговечны. Правящие классы окажутся не в состоянии произвести коренную перестройку. Только пролетариат сможет спасти нацию. Единственно правильной политикой Японии было бы присоединение ее к лагерю Советского Союза и перестройка с его помощью социальной и экономической системы. Япония станет социалистической. Восторжествуют идеи интернационализма. Коммунизм в конечном итоге победит во всем мире.

Так рисовалось Одзаки будущее человечества. А пока приходилось драться за это будущее. Себя доктор Одзаки считал революционером-профессионалом.

Доктор Одзаки глубоко презирал своего «друга» принца Копэя и всех, кто его окружает. Позор Японии они настойчиво пытались выдать за ее величие, терпели провал за провалом в политике. Эксперта они зачислили в единомышленники и не стеснялись при нем обсуждать кровавые замыслы. Это была кучка грязных, хладнокровных убийц, душителей народа. Много правителей сменилось на памяти Одзаки. Но все они начинали с одного: с репрессий против рабочих, крестьян, интеллигенции. Инакомыслящих загоняли в тюрьмы, подвергали пыткам, расстреливали. Танака ввел закон об «опасных мыслях», карающий смертной казнью всякого, кто выступает против существ-

вующего строя. Он приказал убить генерального секретаря компартии Ватанабэ Масаносукэ. Правительство Хирота в 1936 году произвело массовые аресты коммунистов. Хаяси хотел даже уничтожить парламент, как «рассадник опасных мыслей». Коноэ в декабре 1937 года снова устроил облаву на революционно настроенных рабочих и на левые профсоюзы. Хирапума расстрелял антивоенную демонстрацию... Таков был облик врага, и пощады от него ждать не приходилось.

Зорге ни разу не доводилось бывать в доме Одзаки. Но японский друг часто рассказывал о семье, приносил фотографии. Он горячо любил жену и дочь. Он мог бы жить спокойно все двадцать четыре часа в сутки, писать книги, дружить с тем же принцем Коноэ, не рассматривая его лишь как источник информации, занять видное официальное положение, предаваться семейным радостям, не думать о том, что в случае провала его семья будет ввергнута в пучину бедствий.

Но мещанская трусость, карьеризм были чужды его духу. Он сильно чувствовал свою личную ответственность за судьбы народов и хотел помочь им любой ценой, пусть даже ценой собственной жизни.

Он был мудр и потому легко вводил в заблуждение врагов. «Если вы спросите меня о специальных вопросах моей техники, то я отвечу, что моя деятельность характеризуется полным отсутствием специального метода. Мой успех лежит в моем отношении к работе. По своей природе я общительный человек. Я люблю народ, я могу поддерживать дружеские отношения со многими людьми.

Кроме того, я люблю хорошо относиться к людям. Я нахожусь в близких отношениях с большинством членов моего кружка. Мои источники информации—мои друзья.

Я никогда не искал специальной информации. Я создавал свое собственное мнение по данному вопросу, рисовал в своем воображении полные картины общего направления на основе различных сообщений и слухов. Я никогда не задавал специальных наводящих вопросов.

В эти дни политического волнения отдельные новости имеют очень маленькую внутреннюю ценность, но могут быть важными и секретными. Это потому, что даже важное решение может быть внезапно изменено. Например, правительство или армия захотят быть упорными, но внешние обстоятельства часто вынуждают изменить это

желание. Поэтому более важным моментом является установление общего направления, чем точное выяснение того, что было сказано или что было решено».

Исключительная проницательность, аналитический склад ума не требовали никаких ухищрений при поиске и оценке нужной информации; добытые сведения он сопоставлял с другими данными и делал предварительную оценку; затем все обсуждалось с официальными лицами из разных учреждений и правительственных кругов; к Зорге поступали четкие и окончательные оценки.

Во всем жертвенном величии встает перед нами фигура художника Мияги, второго японского друга Зорге. Он хотел создавать новое пролетарское искусство, а приходилось малевать портреты генералов и генералов. «Любуюсь сразу и луной, и снегом, и цветами», — горько шутил он. Все последнее время Мияги рвался на Окинаву к престарелому отцу, с которым не виделся пятнадцать лет, но события громоздились одно на другое, и отъезд приходилось каждый раз откладывать. В 1938 году пришло известие: отец умер. Мияги тяжело переживал утрату. Обострился процесс. Художник харкал кровью. Он понимал, что короткая жизнь подходит к концу, а потому старался сделать как можно больше для организации. Когда Зорге хотел устроить его в туберкулезный санаторий, Мияги отмахнулся: «Мне здесь веселее...»

1938 год был несчастным для организации: мотоциклетная катастрофа Зорге, от которой он едва оправился; смерть отца художника и резкое в связи с этим ухудшение здоровья Мияги; крупная неприятность у Бранко и Эдит, закончившаяся полным разрывом; и в довершение всего появились признаки тяжелого сердечного заболевания у Макса. Если первый год радист еще как-то держался, то потом дела пошли все хуже и хуже. Кончилось тем, что доктор Виртс уложил Клаузена на три месяца в постель. И все три месяца делал уколы, прикладывал лед. Лежать разрешалось только на спине. Всякое движение отзывалось резкой болью. Но события не ждали. Макса никто не мог заменить. Тогда он заказал в своей мастерской специальную полку-парту для работы в кровати. Анна устанавливала полку прямо над грудью мужа. Сеансы передачи длились иногда несколько часов. Анне то и дело приходилось менять лед, так как Макс скрежетал зубами от боли. После каждого сеанса состояние сильно

ухудшалось, и врач даже хотел приставить к больному специальную сиделку из японок. Клаузен воспротивился. Сказал, что не выносит посторонних и бывает спокоен лишь тогда, когда рядом Анни. «Анни оказывала мне при этом большую помощь. Она уже могла собирать и устанавливать мой передатчик, антенну и т. д. Лежа в постели, я делал шифровки на этой доске. Затем Анни устанавливала у моей постели на двух стульях передатчик и приемник, и я начинал передачу. Во время болезни Рихард давал мне для передачи только самые актуальные сообщения...»

А другие, неактуальные, но очень важные? Документы, фотопленки?.. Их иногда отвозила в Шанхай Анна. Семья Клаузенов обеспечивала все виды связи с Центром. И даже тогда, когда Зорге отправил Макса на несколько недель в Арконэ на воды, радист приезжал два раза в неделю в Токио и вел передачи.

Анна совсем освоилась в незнакомой обстановке. Усиленные запятая немецким языком дали свои результаты: в колонии ее принимали за настоящую немку. «Как-то председательница женского немецкого общества фрау Этер спросила меня, почему я не имею детей, и посоветовала обзавестись ими, так как «нашей стране» нужны дети, они будут иметь счастливое будущее. Это подтвердило лишний раз, что они считали меня своей. У япопцев я была зарегистрирована как немецкая гражданка — финка».

В Японии каждый европеец обязан держать японскую прислугу, как известно, состоящую на службе в полиции. Клаузены преднамеренно сняли дом, где не было лишней комнаты. Прислуге вменили в обязанность приходить в определенный час и после уборки немедленно удаляться, так как хозяин производит опыты и мешать ему нельзя.

Вспомнив Красный Кут, Анна завела кур. Полицейские часто любовались белыми несучками и огнеперым петухом, всегда охотно объясняли, где раздобыть корм для птиц. Крестьянская идилия располагает к доверию. Сразу видно, фрау из сельской местности.

Часто Анна появлялась на улицах Токио с узелком-фуросики. В узелке находилась корзинка с фруктами или кормом для кур. Если бы полицейский не поленился запустить руку в корзинку, он обнаружил бы на дне аккуратные коробочки, а в них — передатчик и приемник.

Иногда Анна переносила аппаратуру на другие конспиративные квартиры в чемоданчиках и сумках для продуктов. «Было и так, что однажды я встретила, имея при себе драгоценный узел, с полицейским в не совсем подходящем мне районе. Я ему сказала, что купила корм для кур, который у меня действительно был поверх коробок. Я придерживалась такого правила: держаться проще, свободнее и открыто, не прячась от людей. Когда я, бывало, иду с чемоданчиком, то зайду в одну лавочку, в другую, что-нибудь куплю из продуктов, поставлю чемоданчик на пол, а что купила, положу сверху и прохожу мимо полицейских, а то и подойду спросить их что-либо. Я же знала, что полицейские ищут тех, кто прячется».

Спокойно, просто рассказывает Анна о своей героической работе. Обыкновенная русская женщина, Анна Матвеевна Жданкова в силу обстоятельств сделалась разведчицей. Природный ум, хладнокровие помогали ей выходить неуязвимой из самых опасных ситуаций. Достаточно вспомнить, как в марте 1936 года, направляясь к Максусу в Японию, она без тени страха уселась во Владивостоке на советский пароход и отплыла в Шанхай. Очутившись в Шанхае, без колебаний отправилась к начальнику эмигрантского бюро и потребовала китайский вид на жительство. За пятьдесят долларов все было улажено. В 1937 году она везла на японском пароходе сорок секретных фотопленок, счастливо проскочила контроль. В Шанхае у магазина Син-Син Стар встретила курьера-женщину. У незнакомки была такая же черная брошь в пестром шарфике, как и у Анны. Тут всегда был большой риск: вместо курьера японская контрразведка могла подсунуть своего человека.

Иногда задания носили своеобразный характер. В 1939 году ей поручили купить в Шанхае детали и лампы к передатчику, «лейку» для Вукелича, кое-какое оборудование для фотолаборатории Зорге. Связь с Китаем была почти прервана: перевозили только солдат. Макс завязал знакомства со своими покупателями офицерами Мараве и Йошиновой. Они-то и устроили Анну на военный самолет, усадили вместе с японскими генералами. «Лейку» передала во французское посольство на имя Вукелича, остальное везла в Токио в банках из-под печени.

Каждый из таких эпизодов мог бы послужить основой остросюжетной повести из жизни разведчиков. Но для

Анны подобные эпизоды стали бытом, содержанием ее жизни.

Во имя чего эта женщина безропотно несла нелегкую долю жены разведчика, вместе с ним подвергалась опасностям, совершала рискованные рейсы, наконец, сознательно отказалась от радостей материнства?

Она сама отвечает на эти вопросы: «Наблюдая за нелегальной деятельностью моего мужа в пользу СССР, я связала свою жизнь с ним и помогала ему как могла, потому что Макс был верным, преданным и непоколебимым коммунистом, работал на пользу рабочего движения и, безусловно, в первую очередь на СССР, мою Родину. Я им горжусь и благодарю его, потому что только через него я смогла принять участие в борьбе против врага и хоть в некоторой степени быть полезной моей Родине».

В сентябре 1938 года Клаузенам пришлось сменить квартиру. Дело было так. Макс, оставив свою машину в немецком клубе, заведующим которого он теперь значился, пошел домой к Вукеличу. Связаться с Центром в эту ночь почему-то не удавалось. Атмосферные помехи заглушали все. В три часа утра над Токио пронесся страшный тайфун. С грохотом и звоном вылетели окна. Хлынул ливень. Город погрузился в кромешную тьму. Макс забеспокоился об Анне. Набросив плащ, он отправился в немецкий клуб, вывел машину. На первом же углу Вукелич передал ему радиостанцию. Макс торопился домой. Радиостанция лежала рядом. Внезапно выросла фигура полицейского. Пришлось остановиться. Полицейский был зол. Во время стихийных бедствий полиция задерживает все частные машины, использует их для помощи пострадавшим. Но прежде всего, конечно, расспросы: кто такой, откуда и куда едешь, что везешь? В такое время лучше не показываться на улицах Токио. Макс знал эти порядки. Он знал также, что, например, за шесть недель до Нового года полиция устраивает облавы на бандитов. С девяти часов вечера до трех утра полицейские задерживают все машины.

Увидев иностранца, полицейский резким голосом потребовал визитную карточку. Сейчас машину погонят в участок. Заберут чемодан с радиостанцией...

Неторопливо Макс вынул визитную карточку, прихватил несколько иен. Деньги рассыпались, ветер подхватил бумажки. Полицейский, сразу забыв о Максе и его маши-

не, бросился ловить деньги, а Клаузен дал газ — и был таков.

Дом пострадал сильно: слетела крыша, в комнатах стояла вода. Анна, закутавшись в одеяло, сидела на узлах и чемоданах.

Через несколько дней они переехали на новую квартиру — по Хирооттё, 2. Макс облегченно вздохнул: тут рядом не было японских воинских частей.

Бранко Вукелич мог завидовать семейной жизни Клаузенов. Ему не повезло. Эдит не хотела быть помощницей мужу. По-видимому, она так и не смогла приспособиться к окружающей обстановке. Если в первые годы Эдит еще как-то мирилась с эфемерным существованием в чужой стране, даже пыталась устроиться инструктором спорта в школу, то после пяти лет нервной тряски задумала покончить со всем этим. Частыми скандалами с мужем, мечтами о мещанском благополучии, стремлением уехать во что бы то ни стало и от полицейских, и от Зорге, от изнуряющего климата, беспокойством за сына она довела себя до функционального расстройства нервной системы.

И когда летом 1938 года она потребовала развода, ни Бранко, ни Рихард не удивились. Бранко еще пытался уговорить, растолковать... Доводы здравого рассудка не помогли. Разрыв назрел, он подготавливался долго. Она хочет уехать к сестре в Австралию.

Оба поняли, что любовь умерла. Как вновь соединить людей, ставших чужими друг другу? Да и нужно ли это делать? Как поведет себя Эдит в дальнейшем? Речь шла о безопасности всей организации. Бытовой конфликт мог обернуться трагедией для всех. Слишком уж неуравновешенный характер у Эдит. Ее нелюбовь к занятиям мужа выражалась в недоброжелательности, а затем перешла в ненависть и к Зорге, и к Максусу, и, конечно же, к Бранко.

Эдит немедленно изолировали, сняли для нее отдельную квартиру, куда иногда наведывался Макс и вел отсюда передачи. Зорге запросил Центр. Ответ гласил: отпустить.

Получив развод, Эдит уехала в Австралию.

Вся эта история произвела тяжкое впечатление на Зорге. Может быть, во многом виноват Бранко. Но к сожалению, жизнь не всегда можно уложить в определенные рамки. Да и виноват ли Бранко, если подумать как

следует? Эдит не выдержала сурового испытания. Не мог же Бранко отказаться от того, что стало смыслом жизни, бросить товарищей и бежать, спасая семейное благополучие... Он презирал трусов и шкурников.

Зорге посоветовал ему жениться вторично. И обязательно по любви. Через два года Вукелич женился на японской студентке Иосико Ямасаки, дочери служащего одной из компаний. Смотрины состоялись в кафе парка Уэно. Зорге из укромного угла некоторое время наблюдал за Иосико. А она так ни разу вблизи его и не видела. Рихард одобрил выбор друга. Официальная церемония бракосочетания была проведена во французском посольстве, которое тогда представляло интересы Югославии в Японии. Им предложили обвенчаться по христианскому обычаю в Николаевском соборе на улице Канде. Иосико не возражала. Бранко возмутился было, но Зорге объяснил, что придется пойти и на этот шаг, чтобы не вызывать непужных толков. «Это тебе вроде очередного задания», — сказал Рихард шутливо. Бранко махнул рукой и пошел венчаться.

А как проводил свои двадцать четыре часа в сутки Рихард Зорге?

С началом войны в Европе Отт поручил Рихарду выпуск бюллетеня посольства «Дейчер динст». Теперь Зорге фактически стал выполнять обязанности пресс-атташе германского посольства, хотя официально на дипломатической службе не числился. Он руководил работой всех немецких корреспондентов в Токио, часто собирал их на совещания и инструктировал. Он получал 500 иен и обязан был являться в посольство каждый день. В январе 1940 года Зорге написал в Центр: «Дорогой мой товарищ! Получили ваше указание остаться еще на год. Как бы мы ни стремились домой, мы выполним его полностью и будем продолжать здесь свою тяжелую работу. С благодарностью принимаю ваши приветы и пожелания в отношении отдыха. Однако, если я пойду в отпуск, это сразу сократит информацию...»

Утром, побывав в японском телеграфном агентстве Домей Цусин и ознакомившись с сообщениями о ходе войны в Европе, Зорге за поздним завтраком встречался с послом. Отт показывал секретные документы из Берлина, потом, советуясь с Рихардом, писал ответы. Приходили военный, авиационный и морской атташе, а также

недавно прикомандированный к посольству начальник гестапо полковник Мейзингер. Для этих людей Зорге делал небольшой обзор международных событий. Начинался обмен мнениями. Каждый получал из Берлина секретные распоряжения и считал своим долгом посоветоваться по всем вопросам с компетентными лицами.

Поговаривали, что гестаповец Мейзингер прославился своими зверствами в Варшаве, но почему его прислали в Японию, никто не знал. «Почетная ссылка»,— говорил сам Мейзингер и похлопывал рукой по кобуре своего пистолета. «По его приказу тысячи людей были уничтожены в еврейских гетто. Те же, кого не прельстили медовые речи полковника о рае в гетто, заживо сжигались им в своих домах... Это был грубый и неприятный человек. Даже разговаривая с друзьями, он любовно похлопывал по кобуре своего пистолета»,— свидетельствует Ганс Отто Мейснер. Рихард с удовольствием всадил бы пулю в лоб палачу Мейзингеру, но приходилось с ним здороваться, быть в одной компании. Мейзингер настойчиво лез в друзья. Зорге сделал из него хороший источник информации. Образовался неразлучный кружок, «посольская тройка»: Отт, Мейзингер и Рихард. Видя Зорге в компании посла и начальника гестапо, все остальные чиновники стали заискивать перед «фюрером» прессы. Он мог теперь запросто получить любую справку из совершенно секретных фондов, потому что в посольстве давно догадывались: настоящий-то посол Зорге, а не Эйген Отт! Потому-то кабинет Рихарда никогда не пустовал — сюда приходили за консультацией секретари посольства, советники, специальные представители Гитлера и даже сотрудники японского МИДа.

В июле 1940 года принц Коноэ вновь пришел к власти. Он выдвинул программу «создания великой восточно-азиатской сферы взаимного процветания», включив сюда Индокитай, Индию, Индонезию, страны южных морей. Одзакі укрепился еще больше. Не теряя позиций в правлении ЮМЖД, он вновь стал неофициальным советником правительства.

Коноэ осыпал своего любимца благодарностями. «Группа завтрака» стала собираться прямо в резиденции премьер-министра.

Начальник гестапо Мейзингер сообщал в Берлин: единственный достойный человек, способный возглавить

фашистскую организацию на Дальнем Востоке,— Рихард Зорге! В посольство поступило письмо на имя Зорге, заверенное печатью нацистской партии: ему предлагали стать руководителем нацистской организации в Японии.

Отт и все его помощники прониклись еще большим уважением к журналисту. О, этот далеко пойдет!

Взвесив все «за» и «против», Зорге решительно ответил: нет. Видите ли, партийной работой должен руководить человек, способный беззаветно выполнять свой партийный долг. Но сможет ли так относиться к партийным делам корреспондент многих газет и журналов, обозреватель, то и дело разъезжающий по Дальнему Востоку, наконец, неофициальный консультант по международным вопросам? Найдутся более достойные... хотя бы Венеккер!

Скромность журналиста оценили и в посольстве, и в Берлине. Другой с радостью ухватился бы за такое предложение...

А самого Зорге предложение прямо-таки обеспокоило: он страшился дополнительной проверки, неизбежной в подобных случаях. Нацистская организация была смердящей клоакой, где верх брали карьеристы, доносчики, бандиты, наподобие того же Мейзингера. Они сразу же стали бы подкапываться под Рихарда, доносить, проверять и перепроверять...

Уклонившись от «высокой чести», Зорге с еще большим рвением принялся писать доклады за всю посольскую ораву и обсуждать с полковником Мейзингером, кого из нацистов следует держать на подозрении и является ли граф Дуеркхайм чистокровным арийцем. Мейзингер был грозным, но слепым орудием — если потребуется, его всегда можно направить против своих противников. Абверовец Отт и гестаповец Мейзингер бережно охраняли советского разведчика от покушений всякого рода завистников и доносчиков. «Некоторые сотрудники были недовольны моим влиянием в посольстве и даже выражали свое возмущение по этому поводу. Не будь у меня обширных познаний, никто из работников посольства не стал бы обсуждать со мною проблем, не стал бы интересоваться моим мнением по секретным делам. Они обращались ко мне за советом, так как были уверены, что я могу в какой-то мере помочь в разрешении спорных вопросов».

Отт считал, что из Рихарда мог бы получиться превосходный военный разведчик. «Зверь Варшавы» Мей-

зингер говорил журналисту: «Твое место в гестапо!» Зорге называл обоих «ангелами».

...Радиограмма из Центра. «Рамзаю» объясняют, что его сейчас, к сожалению, не могут отозвать на Родину. Сложная международная обстановка. Придется потерпеть. Он печально улыбается. Кому-кому, а ему-то не следовало бы этого объяснять! Он пишет: «Само собой разумеется, что в связи с современным военным положением мы отодвигаем свои сроки возвращения домой. Еще раз заверяем вас, что сейчас не время ставить вопрос об этом...»

По вечерам он стучит на машинке: работает над книгой о японской агрессии. Трещат цикады в саду. В раскрытые окна вползают душные испарения огромного города, мускусный запах цветов. На синем небе, над черепичными крышами с задранными углами — круглая белая луна. Из дома напротив доносится тоненький детский голос: «О, цуки-сама, маруку, ман маруку-дэс...» («О, госпожа луна, круглая, совершенно круглая...»)

Распорядок дня Зорге отличался завидной простотой: вставал он очень рано, а ложился глубоко за полночь.

12. ГРОЗНЫЙ ТРИУМФ

Мы переходим к рассказу о шестнадцати месяцах, которые составили бессмертную славу организации Зорге. Это самый напряженный, самый плодотворный период в жизни всей организации. События достигли наивысшего накала. На карту было поставлено все, и даже забота о собственной безопасности отошла на задний план...

Начало драме положил приезд в июле 1940 года в Токио из Берлина специального посланника Херффера. Посланник прибыл с особыми полномочиями от Гитлера. Херффер считал себя искусным дипломатом, такого мнения, по-видимому, придерживались и на Вильгельмштрассе, так как понятие о дипломатическом искусстве у нацистов носило весьма своеобразный характер: брать за горло всякого, с кем хочешь завязать «дружеские» отношения. Пренебрежение нормами международного права, вероломство, шпионаж, ложь — вот нехитрый набор фашистской дипломатии. Старая дипломатия исходила из убеждения: переговоры должны всегда быть процессом, а не эпизодом, они всегда должны быть длительными и конфиденци-

альными. Гитлер, наоборот, считал: чем быстрее, тем лучше. Нечего разводить церемонии! Дипломат обязан уметь запугивать.

Достойный ученик своего фюрера, Херффер олицетворял в своей особе все эти качества. Он жаждал действия.

Херффер обладал представительной внешностью и недалеким умом. На его толстых губах беспрестанно играла загадочная улыбка, хитроватые суженные глаза с подозрением ощупывали каждого нового знакомого: когда едешь с особой миссией, не доверяй никому, будь начеку, жди провокаций, покушений. Помни: иностранная разведка действует! Любой официант может оказаться агентом, твоим убийцей.

От шпипомании Херффер избавился лишь тогда, когда оказался в германском посольстве в Токио. Здесь его встретили с распростертыми объятиями старые добрые друзья — посол Отт, Мейзингер, доктор Зорге.

Неофициальный обед в доме Эйгена Отта. В Европе война, а здесь мирно сияет солнце, пляжи переполнены, фольксдейче занимаются коммерцией, содержат рестораны и мастерские. Даже бои в Китае замерли.

Херффер приехал разрушить всю эту японскую идиллию. Он покровительственно похлопывает по плечу своего друга доктора Зорге. О, намечаются дела... К сожалению, до встречи с представителями японского МИДа он не имеет права разглашать...

Рихард мучительно думает. Группирует в мозгу события последнего времени, сопоставляет. С сентября 1939 года по июль 1940 года в Японии сменилось еще два кабинета: Абэ и Ионай. Они старались договориться с Англией и США. Франция потерпела поражение, Нидерланды, Бельгия оккупированы, Англия занята боевыми действиями. Япония нацелилась на Индокитай...

Осушив рюмку, Зорге смеется и в свою очередь похлопывает специального посланника по плечу. Государственные тайны... Секрет полишинеля. Как только посольство узнало о том, что Херффер едет в Японию, он, Зорге, сразу же сообразил: возобновляются переговоры о заключении военного пакта! Ведь здесь только и разговоров об этом. Япония сейчас сама ищет союза с рейхом, так как намечающаяся экспансия на юг непременно столкнет ее с Англией и Америкой...

Херфер поражен. Значит, здесь болтают... Что же, в таком случае задача намного облегчается. А он-то воображал, что Коноэ придется уламывать.

И специальный посланник теперь уже свободно начинает говорить о своей миссии. Фюрер не теряет надежды повернуть Японию с «юга» на «север», против Советской России. Договор с СССР? Фикция. На Европе Гитлер лишь оттачивает зубы. Главное: сокрушить мощь Советского Союза. Япония должна стать союзницей.

Скоро сюда должен прилететь из Китая специальный представитель фюрера доктор Генрих Штаммер...

Надежды немцев на «молниеносное» заключение пакта и на сей раз не оправдались.

Три месяца лихорадило организацию Зорге: информация о каждом этапе переговоров отправлялась в Центр. Удастся ли германским дипломатам уломать Коноэ, повернуть Японию с «юга» на «север»? «Группа завтрака» собирается почти ежедневно. Одзакі призывает принца не верить Гитлеру. Гитлер не раз обманывал Японию. Почему провалилась «молниеносная» война в Китае, так хорошо задуманная Коноэ? Потому что Гитлер поставлял Чан Кай-ши оружие, держал у гоминьдановцев своих советников. А как поступил Гитлер, когда японская армия терпела поражение за поражением на Халхин-Голе?.. Теперь он задумал ослабить японцев, втавив их в войну с Советским Союзом, а затем прибрать к рукам Китай, тихоокеанские колонии, которые некогда принадлежали Германии, а сейчас являются собственностью Японии. Человек, претендующий на мировое господство, ни перед чем не остановится. Или, может быть, экономика Японии окрепла за последние годы? Не мудрес ли полагаться на СССР, как на силу, могущую сдержать Гитлера в его стремлении на Восток? Разумнее всего сейчас же, немедленно начать параллельные переговоры с Советским Союзом о заключении пакта о ненападении. Россия все не стремится к войне в Азии, разве не свидетельствует о том подписанное в прошлом году соглашение о продлении рыболовной концессии?.. На коварство немцев нужно отвечать коварством же... Интересы самой Японии требуют мирных отношений с Россией...

Эксперт по Китаю обратил свой взор на «север», и Коноэ внимательно прислушивался к каждому его слову. А почему бы в самом деле?.. Сдерживающая сила...

Гитлеру Коноэ не верил. А кроме того, он мечтал о создании «великой восточно-азиатской сферы взаимного процветания», о продвижении на юг до Индонезии, в район южных морей, где легче одержать победы. Урок Халхин-Гола не выходил из головы принца. Он зол был на Гитлера, который в самый тяжелый для Квантунской армии месяц подписал с Россией договор о ненападении. Коноэ твердо решил последовать совету Одзаки и заплатить немцам тем же.

Снова затягивается тугой узел международных противоречий. Кабинет Коноэ категорически против того, чтобы военный пакт стран «оси» затрагивал отношения Японии с Советским Союзом.

Херфер, весь в мыле от усердия, носился по Токио, взывал к Рихарду Зорге и Эйгену Отту. Он даже привлек Зорге к редактированию пунктов военного пакта.

А японский премьер тем временем дал указание министру иностранных дел Мацуоке выяснить через советское посольство, как в Москве отнесутся к перспективе заключения японо-советского пакта. Ответ пришел положительный. В Москве уже знали из сообщений Зорге о потугах германской дипломатии и о вновь возникших разногласиях. Японо-советский пакт был бы хорошей пощечиной Гитлеру.

И пока Зорге «помогал» Херферу полировать статьи гермапо-итало-японского пакта, Одзаки на японской стороне был занят тем же. Иногда они встречались, обменивались мнениями и хохотали над комичностью своего положения.

Пакт получился расплывчатым, невразумительным. У всех было такое впечатление, что из него выпало что-то самое главное. Япония признавала руководство Германии и Италии в деле создания «нового порядка» в Европе, а Германия и Италия со своей стороны признавали руководство Японии в деле создания «нового порядка» в «великом восточно-азиатском пространстве».

Дальше этого не пошло. Отношения с Советским Союзом в договоре не затрагивались.

Наконец-то прибыл из Китая специальный представитель Гитлера доктор Генрих Штаммер. Он остался глубоко неудовлетворенным текстом пакта, а когда Херфер заикнулся о заслугах Зорге, Штаммер вспыхнул. Херфер советовал пригласить Зорге на церемонию окончательного

оформления договора. «Вы со своим Зорге испортили все дело! — закричал Штаммер, забыв о всяких дипломатических этикетах. — Черт бы всех побрал...»

На церемонию Рихарда не пригласили. Отт пытался уговорить Штаммера, но специальный представитель презрительно повернулся к нему спиной. Это означало крупную ссору. Не мог знать посол Эйген Отт, что скоро, очень скоро Штаммер усядется на его место.

Договор о трехстороннем военном союзе был ратифицирован в конце сентября 1940 года, а через три дня правительство Коноэ предложило Советскому правительству заключить пакт о ненападении. Он был подписан в Москве 13 апреля 1941 года.

Узнав о коварстве своего японского союзника, Гитлер пришел в бешенство. А Япония, вместо того чтобы повернуть на «север», ввела свои войска на территорию Северного Индокитая, стала поспешно готовиться к войне на Тихом океане.

Договор о военном союзе Японии со странами фашистской «оси» не затрагивал отношений, существующих между договаривающимися сторонами и Советским Союзом. Но значило ли это, что договаривающиеся стороны отказались от войны против социалистического государства?

Рихард успел изучить гитлеровские методы дезинформации и стратегической маскировки, они считались краеугольным камнем подготовки любой кампании. Фактор скрытности подготовки, внезапность нападения... Так было при планировании вторжения в Польшу, так было перед нападением на Францию. Ввести в заблуждение, обмануть...

Но то, что происходило в Германии, смахивало на правду: главный штаб верховного руководства разрабатывал планы вторжения в Англию. О Советском Союзе — ни звука! Англия, Гибралтар, Северная Африка — вот куда нацелился главный штаб. Операции «Морской лев», «Феликс», «Подсолнечник»; немцы перебрасывают войска в Норвегию для нанесения удара по Англии, сосредоточивают дивизии для вторжения в Грецию и Югославию...

Информация по поводу всех этих перебросок, перегруппировок поступала в посольство щедро. И это заставило Зорге насторожиться.

Может быть, за годы беспрестанного распутывания загадок международного масштаба он развил в себе некую

интуицию, а возможно, иногда в мозгу происходят своеобразные вспышки, когда все внезапно озаряется и предстает в истинном виде, только вдруг он подумал: а что, если вся эта возня гитлеровских штабов — грандиозный блеф?! Что, если все планируемые вторжения — мнимые, стратегическая маскировка, а истинные намерения Гитлера и Кейтеля сохраняются в строжайшей тайне?..

Он задал прямой вопрос Отту. Посол ничего не знал. У Рихарда пылкая фантазия. Англия отказалась заключить мир, отклонила все предложения Германии; потому-то главный штаб проводит интенсивную подготовку вторжения в Англию. На побережье Ла-Манша, в портах сосредоточиваются десантные суда, проводятся тренировочные учения. Гитлер недавно заявил: «Я решил подготовить и, если понадобится, осуществить десантную операцию против Англии». Какие еще нужны доказательства?

Эйгес Гитлеру верил. А Зорге не мог отделаться от мысли, что все мероприятия военных руководителей Германии — всего лишь дезинформационный маневр.

Конечно, он не торопился поделиться своими соображениями с Центром. Не имел веских доказательств, нельзя делать вывод. Факты, факты, доказательства... Он был бы счастлив, если бы его гипотеза осталась только гипотезой. Истинные намерения главного штаба верховного руководства... Если Гитлер замышляет нападение на Советский Союз, о чем даже страшно подумать, то об этом должен знать определенный, пусть даже очень узкий, круг лиц. Высший генералитет, во всяком случае, посвящен во все планы, посвящен, разумеется, и Риббентроп. А если знает Риббентроп, этот коммивояжер от дипломатии...

Да, так было перед нападением на Польшу, так было перед вторжением во Францию. Но умозаключение по аналогии в большинстве случаев дает лишь вероятное знание. И все-таки это знание...

Нужно искать факты.

Рихард забывал об отдыхе, о еде. Он утратил интерес к событиям «странной войны», к японо-американским переговорам, к пресс-конференциям. Он почти не выходил из посольства. Только здесь можно узнать все. На удачу полагаться не следует. Нужна железная система: проверка секретной и совершенно секретной корреспонденции, систематический опрос всех лиц, приезжающих

из Германии со специальными поручениями, особенно военных.

Корреспонденция... Нерасшифрованные телеграммы кучей лежали на столах Отта, Шолла, морского и авиационного атташе. Здесь пользовались очень сложным военноморским кодом. Телеграммы... Колонки цифр, никакой закономерности. Обладай ты хоть феноменальной памятью, весь код выучить наизусть все равно невозможно. Кроме того, еще нужно знать ключ. Случалось, Отт доверял своему пресс-атташе толстую книгу в темно-синем переплете, и Рихард умел использовать случай. Нужно ли запоминать весь код? Если вас интересует ответ на определенный вопрос, достаточно сохранить в памяти десятка два-три шифровых сочетаний. Нацистская фразеология известна, образ мышления корреспондентов из МИДа изучен в совершенстве. Теперь следует лишь в самом закодированном тексте найти опору для комбинаторных сопоставлений. Ведь комбинаторный метод интерпретации основывается лишь на наблюдениях над самим текстом.

И тут начиналось самое поразительное: Зорге «угадывал» содержание телеграмм. То была сверхироничательность. Кое-что он фотографировал и потом ночи напролет пытался дешифровать «нацистскую клинопись», и постепенно она превращалась в информацию о делах рейха.

Он изменил золотому правилу — не задавать наводящих вопросов. Отбросив излишнюю деликатность, а с ней и осторожность, он сразу же намекнул специальному посланнику Нидамейеру на то, что якобы посвящен в кое-какие секреты государственной важности. Все эти переброски войск в Норвегию и планы вторжения в Грецию и Югославию... А что думают по этому поводу русские? Ведь Нидамейер по дороге сюда останавливался в Москве...

Нидамейер пожал плечами. Пусть думают что хотят. Ведь июльские совещания Гитлера, посвященные планам «уничтожения жизненной силы России», проходят в обстановке исключительной секретности, так что никто ничего не знает. Даже он, Нидамейер. Операция «Морской лев»? По-видимому, чистейший блеф; стянули в порты старые баржи, торговые и рыболовецкие суда... Зорге следует раз и навсегда запомнить: Германия никогда не воюет сразу на два фронта.

Отт слушал этот разговор с великим изумлением. Рихард посвящен в тайны, которые неизвестны даже ему, послу!.. Нужно запросить Риббентропа.

Посол пожурил Рихарда за излишнюю скрытность и стал доверять ему еще больше.

А у Зорге дрожал каждый нерв.

18 ноября 1940 года он предупредил Центр о готовящейся агрессии.

Из Центра посыпались радиogramмы с запросами. Рихард догадывался, какую тревогу вызвало его сообщение там. На мир неотвратимо надвигалось что-то страшное, призраки великой катастрофы уже витали в воздухе. Да, да, требуются подтверждения, вещественные доказательства... В такое невозможно поверить сразу.

Сейчас каждый факт, каждый штрих становился подтверждением. Военные рангом помешанные охотно делятся за бутылкой сака своими мнениями по поводу скрытой подготовки к блицкригу. Немецкие генералы изучают роман Льва Толстого «Война и мир»! Наполеон считал, что история — это роман и ни для чего другого она непригодна. Гитлер считает себя главным героем этого романа. Все дивизии, предназначенные якобы для вторжения в Англию, оголены: технику перебрасывают на восток. Появились даже специальные технические войска... Еще три месяца назад фельдмаршал Браухич на совещании в генеральном штабе дал указание о перемещении 4-й и 12-й армий к границам Советского Союза. Так заявил Рихарду посланник Кольт.

28 декабря 1940 года «Рамзай» радировал: «На гермапо-советских границах сосредоточено 80 немецких дивизий. Гитлер намерен оккупировать территорию СССР по линии Харьков — Москва — Ленинград...»

Макс посылал в эфир радиogramму за радиogramмой, и каждая из них напоминала сигнал бедствия.

А японские дивизионы особого назначения каждый день перехватывали передачи «Рамзая», перебрасывали пеленгаторы, установленные на машинах, из одного района города в другой. Вся контрразведка поднялась на ноги.

Какой процент передач был перехвачен?

Макс Клаузен вспоминает: «Я видел гору передач, перехваченных радиолюбителями, телеграфом, почтой, государственными радиостанциями и т. д. Если это четвер-

тая часть того, что я передал в эфир за 6 лет работы, то это много. Некоторые передачи были записаны безупречно. В других — правильно записаны только отрывки».

Как видим, в охоту за радиостанцией «Рамзая» включились даже радиолюбители, проинструктированные контрразведкой, почта и радиотелеграф. Радию «Рамзая» засекали и раньше, но в те годы Макс имел возможность уезжать в своей машине далеко за город, на побережье океана, и оттуда вести передачи. Теперь же поездки стали почти невозможны: полиция часто задерживала иностранные машины, устраивала обыски. Осталось четыре точки: квартиры Зорге, Вукелича, дом и дача Клаузенов. Из Германии японцы выписали пеленгаторы усовершенствованных систем.

Для контрразведки было ясно одно: кто-то систематически проводит сеансы связи, нелегальная радиостанция находится в Токио. У каждого передатчика свой тембр сигналов, у каждого оператора своя манера передачи, свой почерк. Почерк Макса стал известен всем операторам пеленгаторных станций. Путем круглосуточного наблюдения за коротковолновым диапазоном установили время сеансов, смену волны и позывных, установили также: радист с большим опытом, хорошо знает таблицу прохождения волн на каждое время суток. Чаще всего он работал на волнах двадцать и пятьдесят метров, с половины сеанса переходил на запасную волну.

Догадывался ли Зорге, что организация уже попала в железное кольцо контрразведки, что это кольцо с каждым днем сужается? Не только догадывался, но и твердо знал.

Не так давно Отт рассказал Рихарду и Мейзингеру о визите начальника японской контрразведки в посольство. Эти японцы заражены шпиономанией. Кому пужны их жалкие секреты? Теперь вот засекали неизвестную радиостанцию, ищут агента. Почему-то он обязательно должен быть иностранцем. Во всяком случае, начальнику контрразведки Осаки не стоило бы соваться в германское посольство. Мейзингер придерживался точно такого же мнения.

Рихард перепес чемодан с наиболее ценными бумагами на квартиру Венеккера. Макс у него ничего не стал говорить. Просто решил передавать только самое важное, сократить число сеансов до предела, попросил всех чле-

нов организации соблюдать крайнюю осторожность. Он знал: контрразведка не отвяжется. Сейчас самое главное успеть проинформировать Центр о сроках предполагаемого нападения гитлеровцев, о количестве сосредоточенных на восточной границе войск.

Наступают такие моменты, когда ты вправе рисковать не только своей жизнью, но и жизнями других. Родина в опасности... В опасности первое в мире государство рабочих и крестьян. Что твоя жизнь в сравнении с жизнью миллионов людей, с благополучием огромной страны?..

Рихард мысленно ставил себя на место начальника японской контрразведки, взвешивал, сколько у того шансов на успех, какое время еще сможет продержаться организация. По подсчетам выходило: нужно торопиться! Японские ищейки уже идут по следу...

Наконец-то в руки Зорге попало то, что он так долго искал: совершенно секретные телеграммы Риббентропа послу Отту. По совету Рихарда Отт сделал запрос относительно сроков нападения на СССР. Пришел недвусмысленный ответ: Гитлер планирует вторжение в Россию на май 1941 года!

Вот они, вещественные доказательства!.. Центр получит их в самый короткий срок. 5 марта 1941 года фотографии телеграмм были отправлены со специальным курьером по назначению. 6 мая «Рамзай» сообщает: «Германский посол Отт заявил мне, что Гитлер исполнен решимости разгромить СССР. Возможность войны весьма велика. Гитлер и его штаб уверены в том, что война против Советского Союза нисколько не помешает вторжению в Англию. Решение о начале войны против СССР будет принято Гитлером либо в этом месяце, либо после вторжения в Англию».

После вторжения в Англию... Так ли это? Нет, не так, отвечает посланник Кольт. Немецкая армия «Норвегия» предназначается для вторжения в Советский Союз. Предполагаемые операции в Югославии или Греции носят вспомогательный характер. Вторжения в Англию не будет. Все силы сейчас брошены против России. «В последнее время я часто встречался с посланником Кольтом. Он был отлично осведомлен в политической ситуации в Европе, необыкновенно эрудирован».

21 мая новое сообщение: «Прибывшие сюда из Германии представители Гитлера подтверждают: война начнет-

ся в конце мая. Германия сосредоточила против СССР 9 армий, состоящих из 150 дивизий».

Если в конце мая, то когда же Гитлер рассчитывает закончить войну в Европе? Зорге теревит Отта. Пусть потребует разъяснений у Риббентропа по поводу вторжения в Англию. Риббентроп отвечает: «С крахом России позиции держав «оси» во всем мире будут настолько гигантскими, что вопрос краха Англии или полного уничтожения английских островов будет являться только вопросом времени...» Теперь все ясно. Значит, окончания ждать не будут.

30 мая Зорге вызвал Макса, и они разными маршрутами поехали на квартиру Вукелича.

Все трое находились в крайнем возбуждении. До начала войны остались считанные дни. Разум не хотел мириться с этим. Макс боялся, что перегорят лампы передатчика, Зорге и Вукелич опасались налета полиции. Если бы им в ту ночь пришлось отбиваться от полчищ врагов, они все равно выстояли бы, защитили грудью передатчик и Макса, склоненного над радиогаммой. Вэфир летело срочное сообщение: «Риббентроп заверил посла Отта в том, что Германия совершит нападение на Советский Союз во второй половине июня. Это не подлежит сомнению. Отт на девяносто пять процентов уверен, что война вот-вот начнется. Я лично вижу подтверждение тому в следующем: технический персонал германских воздушных сил получил приказание немедленно покинуть Японию и возвратиться в Берлин; военному атташе запрещено посылать важные сообщения через СССР».

На квартиру Зорге вернулся под утро. У дверей своего дома увидел Одзаки. Он простоял здесь всю ночь. Обстоятельства не терпят... Гитлер пригласил японского посла и официально объявил: 22 июня Германия без объявления войны совершит нападение на Россию. В тот же день на Дальнем Востоке против СССР должна выступить Япония. Посол ничего не мог сказать определенного, не посоветовавшись со своим правительством.

Не заходя в квартиру, Зорге помчался к Максy. Радиогаммы, радиогаммы... «Военный атташе Шолл заявил: следует ожидать со стороны немцев фланговых и обходных маневров и стремления окружить и изолировать отдельные группы. Война начнется 22 июня 1941 года».

«Однажды в радиогамме содержалось до 2000 групп.

Я передал сначала первую половину, а на следующий день — вторую, ибо передавать все сразу было бы тяжело и долго».

Макс не подозревал о том, что на карте командира радиодивизиона особого назначения его дом уже обведен красным кружком; засечку производили несколько раз. В красные треугольники на карте попали квартиры Вукелича и Зорге. Организация еще держалась каким-то чудом, продолжала действовать. Даже осторожный Одзак пренебрег всеми правилами, целую ночь торчал у дома Зорге чуть ли не на виду у полиции. Все понимали: организация вступила в новую, возможно последнюю, фазу своего существования. Из оставшегося времени нужно выжать все, не думая о последствиях.

С растущим нетерпением ждал Зорге ответа из Центра. Но Центр молчал. Все радиogramмы приняты... Но приняты ли они во внимание Советским правительством?.. Самое тягостное в жизни человека — ожидание. Шли дни. Давно отцвела сакура. Макс переезжал с квартиры на квартиру, передавал все новые предупреждения о надвигающейся катастрофе. Потом часами лежал, прижимаясь сердцем к пузырю со льдом. Центр молчал.

Что там происходило? Почему молчат?.. Какие еще нужны доказательства? Если бы можно было сесть на самолет и устремиться туда!.. Перегорали радиолампы, казалось, эфир накалился от страстного стремления этих людей предупредить, защитить...

Научные занятия, журналистика, музыка, искусство — все утратило смысл, все было по ту сторону войны. Сейчас разведчики как бы подводили итог восьми годам изнурительной работы, кипения в «адовом котле». Неужели их усилия не будут оценены по достоинству?.. 25 мая... 1 июня... 5 июня... 10 июня... Отт изучает походы Наполеона на Россию. А там, у западных границ Советского Союза, немецкие войска изготовились к прыжку. Застыли танковые армии; на наблюдательных пунктах генералы, вооруженные бинोकлями, разглядывают советскую территорию.

А Центр молчит. 12 июня... Илл, может быть, там уже перебрасывают армии, вся гигантская военная машина приведена в действие?.. Дорог каждый день!

Пришел ответ.

Трясущимися руками взял Рихард радиogramму. Сосредоточился, раскрыл ежегодник; служивший кодом.

Макс наблюдал за выражением лица друга. Внезапно Зорге побледнел, вскочил, схватился за голову: «Они не верят, они сомневаются!.. Ты слышишь, Макс? Сомневаются... Кто сомневается? Сталин? Теперь с меня хватит...»

Он опустился на стул. Глаза потухли. Впервые он ощутил бесконечную усталость, вспомнил, что ему сорок шесть лет. Те, кто составлял радиогамму, по-видимому, были чуткими товарищами: они пытались всячески смягчить выражения. Но разве возможно замаскировать смысл? Тон недоверия переключался в радиогамму. Почему, почему ему не доверяют? Или он плохо служил все эти годы? Где «старик» Берзин? Он-то должен знать, что Рихард не способен на ложь. Одиннадцать лет жизни отдано военной разведке...

Зорге скрипел зубами от собственного бессилия. Неужели все напрасно? Ведь должны же там располагать сведениями из других источников? Или в самом деле возможно передислоцировать 150 дивизий на восточные границы таким образом, чтобы этого не заметил никто? В немецком клубе в Токио фашистские молодчики во все горло кричат о войне против большевистской России, вся японская дипломатия занята тем, каким образом уклониться от прямого ответа Гитлеру. Отт и Шолл подсылают Зорге все новые и новые документы, свидетельствующие о подготовке агрессии. Заговорила пресса Англии и Америки. Вукелич и шведская журналистка Лундквист, которой Рихард часто помогает в работе, каждый день приносят сведения, добытые через агентства.

Зорге диктует Макс: «Повторяю: 9 армий из 150 немецких дивизий совершат нападение на советскую границу 22 июня! Рамзай».

Радиогамму с последним предупреждением Клаузен передал 17 июня. А 22 июня фашистская Германия без объявления войны, поправ договорные обязательства, напала на Советский Союз. План «Барбаросса» вступил в действие.

Рихард вновь диктует Клаузену: «Выражаем наши наилучшие пожелания на трудные времена. Мы все здесь будем упорно выполнять нашу работу».

Пароксизм прошел, Зорге вновь был собран, деятелен. Он не верил в победу фашистов.

«У Рихарда была очень большая сила воли. Нервным его нельзя было назвать. Мы все нервничали, когда каза-

лось, что война развивалась не в нашу пользу. При этом он ходил по комнате и говорил мне: «Ты знаешь, Макс, нам отсюда уже не выбраться... Теперь остается только успешно работать до конца, если не произойдут какие-нибудь решающие изменения, для того чтобы мы все-таки победили!»

Все как-то вдруг ощутили, что над организацией сгустились тучи. В дом Клаузенов стал наведываться полицейский Аояма. Вел себя развязно, сидел часами, словно на дежурстве, болтал всякую чепуху, заглядывал в раздвижные шкафы, где хранилась постель. Весь вид его как бы говорил: я-то знаю, что здесь не все чисто! Передачи приходилось вести на квартирах Бранко или Зорге.

У Вукелича 22 марта 1941 года родился сын Хироси. Иосико была на вершине счастья и не понимала, почему тяжелая печаль легла на лицо мужа. «Я коммунист... а в Европе война. Немцы захватили Югославию. Безоговорочная капитуляция. Правительство удрало в Египет...» Она пыталась успокоить, хоть и понимала, что это невозможно. Мыслями он был там, на своей далекой родине, в неведомой Югославии. Он тревожился за судьбы своего народа, за участь своих родственников и старой матери...

Теперь, когда фашистские полчища рвались к Москве, Рихард всецело был поглощен одной мыслью: выступит ли Япония против Советского Союза? Кого мог успокоить в такой международной обстановке пакт о нейтралитете? Вероломное нападение Германии показало, чего стоят подобные пакты для империалистов. На политику правящих кругов Японии за последние месяцы все большее влияние оказывают различные шовинистические группировки. Генерал Тодзио, военный министр, метит в премьеры. Закоренелый враг СССР... Гитлеровские посланцы все время побуждают Японию к действию. Недавно сюда пожаловал специальный посланник Улах. Зорге выяснил: Улах имеет секретное задание Гитлера изучить возможности Японии для выступления против СССР. Японо-американские переговоры, начавшиеся еще в прошлом году, затягиваются.

Коноэ создал «Ассоциацию помощи трону», куда вошел Сайондзи. На императорской конференции 2 июля обсуждался вопрос: должна ли Япония немедленно напасть на Советский Союз? Конференция проходила в обстановке глубочайшей секретности. Одзакі нервничал.

К трону его не пустили, хоть и считалось, что он помогает трону.

Еще не опустели залы императорского дворца, а Сайондзи принес весть: принято решение об отсрочке нападения на СССР!

Для Одзакі подобное известие прозвучало музыкой.

На запрос Гитлера, почему Япония медлит с выступлением, Отт по совету Зорге телеграфировал: «В японской армии все еще помнят Халхин-Гол. В настоящее время Япония предпочитает воздержаться от нападения на Россию до более благоприятных времен; что же касается Англии и США, то вопрос, возможно, будет решен положительно: взоры Японии устремлены на Юго-Восточную Азию и на владения США и Англии в Тихом океане».

Фашистские орды стремительно катились к Москве. Захвачена Литва, Латвия, Западная Белоруссия, Западная Украина. В августе фашисты подошли к Ленинграду, захватили Киев, Смоленск. Началось наступление на Москву.

Вероятность нападения Японии на дальневосточные границы вынуждала советское командование держать в Сибири и на Дальнем Востоке хорошо снаряженные дивизии, артполки и танковые бригады. Если бы не существовало угрозы!..

Одзакі настойчиво доказывал припцу Коноэ: «Советский Союз не собирается нападать на Японию, и, даже если последняя вторгнется в Сибирь, он будет просто обороняться. Война с русскими явится близоруким и ошибочным шагом, так как империя не получит от нее каких-либо существенных политических или экономических выгод, если не считать неосвоенных просторов Восточной Сибири. Великобритания и Соединенные Штаты будут только рады, если Япония ввяжется в войну, и не упустят возможности нанести свой мощный удар после того, как ее запасы нефти и стали истощатся в борьбе с русскими. Зачем спешить? Если Гитлер одержит победу, что маловероятно, так как германское командование недооценивает возможностей Красной Армии, то Сибирь и Дальний Восток и так достанутся Японии, причем для этого ей не придется шевельнуть даже пальцем».

Премьер соглашался с доводами, обещал на первой же аудиенции изложить их императору.

Германский посол приходил в ярость от своего бессилия уговорить японцев. Он обращался за советами к мудрому Зорге, но тот лишь пожимал плечами. По-видимому, разумнее всего не торопить принца Коноэ. Грубым нажимом ничего не сделаешь.

Посол доказывал, что отказ японцев воевать с Россией будет прежде всего по нему, Эйгену Отту: в Берлине им сильно недовольны и вообще могут отозвать в фатерланд, как отзывали многих. И не только отозвать — отправить на фронт, в самое пекло... Говорят, немецкая армия несет огромные потери, даже генералы считают, что блицкриг провалился...

Да, за последний год Эйгену не везло. Слово чья-то невидимая, властная рука холодно, расчетливо подводила посла к краху. Почему японцы не хотят ввязываться в военный конфликт с Россией? Потери германской армии на первом же этапе войны колоссальны, и этого, к сожалению, не скроешь...

Специальный посланник Гитлера Улах был занят изучением возможностей Японии для выступления против СССР. Этим же вопросом занимались Зорге и Одзак. У специального посланника дело не клеилось: ведь приходилось пользоваться официальными и полуофициальными данными, как правило маскирующими подлинную картину. Улах был плохим экономистом. Простым бухгалтерским подсчетом он пытался установить истину. Кроме того, он в основном изучал возможности японской армии, игнорируя такую скучную вещь, как хозяйственная структура страны. Увы, он не был диалектиком и меньше всего стремился к объективности. Фюреру нужен вывод: Япония в состоянии вести войну с Россией. Это требуется подтвердить фактами. Сделай Улах другой вывод, он сразу же попал бы в немилость. А так как он это знал, то и старался представить все в выгодном для себя свете.

Зорге и Одзак интересовалась истина. Только истина. Как бы горька она ни была. Они вели кропотливую работу. Наконец-то исполнилась мечта Рихарда: он занялся изучением тяжелой промышленности. Это пригодится и для книги. Но сейчас он меньше всего думал о книге. Речь шла о жизни и смерти Советского государства. Так ли уж сильна Япония, как кричит о том печать и как доказывает вся разветвленная сеть японской пропаганды? Есть ли смысл держать огромную армию в Приморье и в

Сибири? Нельзя ли высвободить дивизии с Дальнего Востока и бросить их под Москву?

Вот решением каких вопросов были заняты два мощнейших ума. Они располагали такими материалами, какие Улаху и не снились. У них имелся почти десятилетний опыт изучения экономики Японии, огромная эрудиция помогала легко оперировать фактами, производить глубокий анализ, давать безошибочную оценку. Они располагали данными концернов. С начала 1940 года отдел информации ЮМЖД, где Одзакэ чувствовал себя хозяином, регулярно обменивался данными с отделом информации компании «Мицуи Буссан Кайся», представляющей тяжелую промышленность; Мияги поддерживал тесную связь с крупными промышленниками Хоккайдо-Тагати, Угэнды и другими. Организация Зорге имела данные о новых капиталовложениях в военную промышленность, о запасах каменного угля и нефти, выплавке стали, меди, свинца, цинка, производстве алюминия, о зависимости от иностранных источников снабжения, продовольственных ресурсах, транспорте, государственном бюджете; а в общем — о военном потенциале страны...

Зорге и Одзакэ анализировали, суммировали факты, и перед мысленным взором проявлялись, словно на негативной пленке, контуры хозяйственной структуры Японии.

То была увлекательная работа, и Рихард страшился, что не успеет закончить ее до ареста. Шпики не отступают ни на шаг, приходится изощряться, чтобы хоть на время избавиться от них.

Цифры, цифры... Где следует искать самое уязвимое место вот в этой хозяйственной структуре? Может быть, государственный бюджет? Да, государственный бюджет подобен барометру. Он показывает: в Японии не все благополучно с финансами — страна переживает большое финансовое напряжение, государственный долг только в связи с принудительными займами у населения превысил двенадцать миллиардов иен, безраздельно царит инфляция. Очень плохо с продовольствием. Наиболее слабое место в экономике — зависимость от иностранных источников снабжения.

Но самое уязвимое место, оказывается, — горючее! Да, да, не финансы, не продовольствие, не машиностроение, а горючее. Запасы нефти у промышленности всего лишь на полгода. Флот, авиация, танки обеспечены горючим

весьма скудно и непригодны для ведения затяжной войны. А то, что война с Советским Союзом будет носить затяжной характер, видно на примере Германии. На «молниеносное» отторжение Приморья и Сибири рассчитывать не приходится. Современная война требует грандиозного расхода сырья, топлива, материалов.

Вывод таков: производственные и природные ресурсы Японии явно недостаточны для ведения длительной, напряженной войны; военный потенциал империи не идет ни в какое сравнение с военным потенциалом СССР!

На очередном «завтраке» Одзакки представляет премьеру Коноэ обстоятельный доклад, излагает его суть. «Вы становитесь адвокатом России», — говорит принц. «Я адвокат Японии», — отвечает Одзакки. Доклад эксперта произвел громадное впечатление на премьер-министра. Он срочно созвал кабинет. Как всегда, сражались две группировки. Но у сторонников войны с Советским Союзом отсутствовали убедительные аргументы. Да и что, кроме крикливых воинственных фраз, они могли противопоставить железной логике фактов доклада Зорге и Одзакки? В конце концов пришли к компромиссному решению. 30 июля Зорге радировал: «Япония решила сохранять строгий нейтралитет».

Первая победа воодушевила друзей. Одзакки стал вести работу по разложению приближенных премьера. Зорге обильно снабжал его материалами о поражениях германской армии, о настроениях среди солдат и офицерского состава. Всю эту информацию подбирал по просьбе Зорге помощник посла Мальхтайлер, и она благодаря Одзакки сразу же становилась известной японскому премьер-министру.

Одзакки прав: обстоятельства, конкретные исторические условия в большинстве случаев выше пожеланий отдельных личностей, как бы агрессивно они ни были настроены.

6 сентября Зорге заверяет Центр: если Красная Армия сохранит боеспособность, нападения Японии вообще не последует. Намечается проведение нескольких мобилизаций, но цель их — пополнить Квантунскую армию для дальнейших действий в Китае. Япония занята подготовкой к продвижению на юг и к войне на Тихом океане. Что же касается СССР, то «все это означает, что войны

в текущем году не будет...». Япония на Дальнем Востоке не выступит!

И последняя радиограмма: «После 15 сентября 1941 года Советский Дальний Восток можно считать гарантированным от угрозы нападения со стороны Японии. Рамзай».

Зорге взял на себя огромную ответственность. Теперь ему должны поверить, не могли не поверить... Он живо представлял, как из глубин Сибири движутся на фронт эшелоны. Туда, к Москве...

Он сделал все, что было в человеческих силах.

Эшелоны шли на запад день и ночь, полки и тапковые бригады вливались в соединения, обороняющие Москву...

Он сделал намного больше, чем было в человеческих силах.

Организация выполнила свою задачу. И сейчас, когда все было завершено, она имела право позаботиться о собственной безопасности.

Зорге не мог прекратить деятельность организации, не получив разрешения Центра. Он составил обстоятельную радиограмму, в заключительной части которой говорилось: «Дальнейшее пребывание в Японии бесполезно. Поэтому жду указаний: возвращаться ли на родину или выехать в Германию для новой работы? Рамзай».

Он еще надеялся поработать в Берлине, в самом логове врага. Но надеждам не суждено было осуществиться. Клаузен даже не успел передать последнюю радиограмму.

13. АРЕСТ И СЛЕДСТВИЕ

Существует много версий по поводу того, как японской контрразведке удалось раскрыть организацию Зорге. Тут и утерянные якобы членами организации документы, и проверка японскими агентами сведений, поступающих в разные страны, и прямое предательство, и особая пронырливость контрразведчиков, и многое другое.

Но версии остаются версиями, если они ничем не подкреплены.

За девять лет существования организации ни один документ не был утерян. Если бы японская агентура имела доступ в Центр, где сходились все сообщения «Рамзая», то организация не просуществовала бы и ме-

сяца. Попытки обвинить в предательстве лиц, не имевших отношения к организации и даже не подозревавших о ней, лишены оснований. Трудно апеллировать к особой проницательности контрразведки, которая целых девять лет не могла напасть на след «Рамзая». В основе подобных версий проскальзывает утверждение, что организацию погубила простая случайность: где-то что-то не было продумано до конца. Потому-то, дескать, арест для Зорге явился неожиданностью.

На деле все обстояло совсем по-иному, случайность тут ни при чем.

Зорге решил прекратить деятельность в Японии. Почему? Ведь война Германии против Советского Союза была в полном разгаре, в посольство в Токио продолжали поступать из Берлина важные документы, характеризующие состояние фашистской армии; в самой Японии в диктаторы рвался профашистски и антисоветски настроенный генерал Тодзио, и никто не сомневался, что в самое ближайшее время он придет к власти; японо-американские переговоры продолжались, и кто мог наверняка сказать, к чему это приведет? Не изменится ли круто внешнеполитический курс Японии?

«Нет, не изменится», — утверждал Зорге.

Пребывание группы «Рамзай» в Японии дальше невозможно. В самый ответственный момент для судеб человечества она как бы приняла огонь на себя, сознательно пошла на самопожертвование. Она уже раскрыта, о чем свидетельствует хотя бы визит начальника японской контрразведки в германское посольство. Большая часть радиопередач перехвачена, нет сомнения — рация заперелгвана. Слишком уж интенсивно велась работа в последние шестнадцать месяцев. То, чего контрразведка не смогла сделать за девять лет, она сделала за эти шестнадцать месяцев. Ей ясно одно: происходит стремительная утечка информации. В какую страну?

В Советский Союз? Но Япония в данный момент не собирается воевать с Советским Союзом, а подобная спешка радиооператора в таком случае труднообъяснима. Германия и Италия после заключения трехстороннего пакта отпадают.

Поскольку переговоры ведутся с Америкой, то больше всего заинтересованы в секретной информации американцы. Американская агентура ведет двухстороннюю связь

с Филиппинами или с военно-морской базой, расположенной на одном из островков. Но как американские агенты могли оказаться в Японии? Они — из числа японцев, вернувшихся из США! В момент резкого обострения японо-американских отношений, то есть с приходом в июле 1940 года Коноэ к власти, агентура активизировалась.

Были составлены подробные списки «американцев», куда попал Мияги, а также многие его друзья, рассеянные по Хонсю. За каждым установили самый бдительный надзор. Первой вызвала подозрение некая Китабаяси из города Канагава, префектуры Вакаяма, шестидесятилетняя портниха, вернувшаяся из Америки в 1936 году. До начала 1940 года она проживала в Токио, но потом неизвестно почему переехала в префектуру Вакаяма. Оказывается, из США к ней пожаловал муж Есисабуро! Что могло задержать мужа на целых четыре года в США? Уж не подбросили ли ей помощника? На Китабаяси и раньше поступали доносы: она проявляет излишнее любопытство в разговорах с заказчицами. В Токио она считалась модной портнихой, в числе ее клиентов были жены генералов и других высокопоставленных лиц. Тайная полиция заинтересовалась прошлым Китабаяси Томо. Выяснилось, что одно время она состояла в обществе Пролетарского искусства в Лос-Анжелесе и чуть ли не в компартии. А потом вдруг заделалась адвентисткой седьмого дня, стала верить в пришествие Христа. Все это наводило на размышления. Конечно же, Китабаяси связана с американской разведкой! Во всяком случае, это следует проверить. Были опрошены адвентисты. К Томо Китабаяси иногда приезжает из Токио некто Мияги, ее бывший квартирант в Лос-Анжелесе. Очень приятный человек лет сорока. Болен чахоткой...

Томо и ее мужа Есисабуро Китабаяси арестовали 28 сентября 1941 года. Томо и не собиралась отрицать, что хорошо знает художника Мияги. Разве есть что-нибудь предосудительное в знакомстве с собственным квартирантом?..

За домом Мияги установили наблюдение. Каждый шаг художника фиксировался. А он даже не догадывался ни о чем. Продолжал встречаться с Одзаки. Разумеется, он соблюдал необходимые меры предосторожности. Но сейчас любой его поступок, даже самый незначительный, казался полиции подозрительным. От Мияги ниточка вела

к Одзаки, от эксперта — к Зорге, от Зорге — к Максусу и Вукеличу. Двенадцать дней тайная полиция прослеживала, с кем общается художник.

Японская контрразведка, конечно же, в первую голову занялась активным изучением всех иностранцев; за иностранцами шли все вернувшиеся в разные сроки в Японию из-за границы, потом — близкие знакомые всех этих лиц. А так как Мияги общался со многими, то в список попали главным образом те, кто никакого отношения к организации не имел. Одзаки хоть и попал в список, но его кандидатура вызвала у контрразведки глубокие сомнения: друг принца Коноэ, член «группы завтрака». Правда, за экспертом установили строгий надзор, но арестовывать его пока не решались.

И все-таки от наблюдательного Мияги не ускользнуло, что за ним установлена слежка. Кто-то побывал в квартире в его отсутствие, рылся в бумагах. Художник кинулся к тайникам: секретное донесение, подготовленное для Зорге, исчезло! Все погибло... Бежать, скрыться, предупредить...

В дверь требовательно постучали. Мияги не отозвался, перешел в комнатку, служившую мастерской. Здесь лежали атрибуты древнего самурайского убранства, кривые мечи, кинжалы, сабля катана. Мияги схватил кинжал и стал ждать. Сейчас его схватят, будут истязать... Не все ли равно, когда умереть: на несколько месяцев раньше или позже?

И когда в мастерской появились рассвирепевшие полицейские, Мияги сделал по древнему обычаю харакири: символ глубокого презрения к врагам.

Но он был еще жив, и его увезли в больницу при полицейском управлении. А в квартире устроили засаду.

15 октября к дому Одзаки подкатила полицейская машина. Еще неделю назад было установлено, что эксперт тайно общается с иностранным журналистом Рихардом Зорге. Арест Одзаки произвели не без прямого указания генерала Тодзио. Генерал шел к единоличной власти и дал приказ тайной полиции собирать данные, компрометирующие принца Коноэ. Так он надеялся быстрее свалить своего противника. Причастность друга принца Одзаки к иностранной, возможно американской, разведке ляжет черным пятном на весь кабинет Коноэ.

Тодзио стоял во главе наиболее агрессивных кругов,

мечтающих немедленно развязать войну против США. А Конов медлил, вел бесконечные переговоры. Начальник контрразведки доложил генералу Тодзио: в Японии существует подпольная агентурная сеть некой иностранной державы. В нее входят: Одзаки, немецкий журналист Зорге, коммерсант Клаузен, корреспондент агентства Гавас де Вукелич и, возможно, художник Мияги; кроме того, задержан ряд подозрительных лиц, по-видимому связанных с организацией. Передачи ведутся из квартир Зорге, Вукелича, Клаузена.

У Тодзио не было времени выяснять, заблуждается ли начальник контрразведки или не заблуждается, он приказал арестовать иностранцев. Если эти лица окажутся немецкими агентами, тоже большой беды нет: лишний повод уличить Гитлера в коварстве и мотивировать свой отказ от выступления против России.

...Дела в Японии были закончены. Зорге обдумывал, как эвакуировать группу на материк, подальше от японской полиции. Все сразу покинуть страну они не могли. Это вызвало бы подозрение, и их могли схватить на пароходе или же в порту. Зорге мог бы срочно вылететь якобы в Германию. Но он не имел права исчезать первым. Вукелича могло отозвать агентство Гавас. Свободному коммерсанту Клаузену оставалось сослаться на какой-нибудь выгодный контракт, требующий поездки на континент.

Но на подготовку всех этих мероприятий требовалось время. И случилось так, что в самый ответственный момент Рихарда подкосила болезнь: он получил из Германии известие о смерти матери.

Он лежал, погруженный в забытие. Иногда приходила японка Исии Ханako, приносила лекарства. Ее игра на гитаре-сямисэне успокаивала Рихарда.

С Исии Ханako Рихард познакомился несколько лет назад. Тогда он отмечал день своего рождения в баре-ресторане «Кетчер». Ханako пела перед гостями. Это был ресторан высокого класса, содержал его немец-эмигрант. Сюда брали только талантливых артистов. Тоненькая, грациозная Ханako казалась символическим воплощением этой удивительной страны Японии. На ней было светлосерое кимоно, перехваченное голубым поясом с огромными бантами. Пучок серебряных цветов дрожал в ее черных волосах. Грустная островная мелодия навевала

воспоминания. Зорге поддался очарованию голоса Ханако. Он понял: перед ним истинный талант. Потом они встретились.

— Где вы учились? — спросил Рихард.

— На курсах медсестер, — ответила она. — Работала в больнице.

— Вам пужно учпться.

— К сожалениу, у меня нет такой возможности. Ведь я должна сама зарабатывать себе на хлеб.

— Я хотел бы вам помочь... Можно нанять учителя. Только вы должны уйти из ресторана и учиться всерьез.

Они сделались большими друзьями. Когда обнаглевшие полицейские стали по пятам ходить за Рихардом и за всеми его знакомыми, он предложил Исии уехать в Шанхай.

— Рихард, я никуда не поеду. Вы сделали для меня слишком много, чтобы я могла оставить вас в самое тяжелое для вас время... Вам сейчас, как никогда, нужна помощь друзей.

Исии уже знала, чем занимается Зорге, почему за ним следит полиция, и помогала ему в работе: сторожила дом, когда Клаузен вел передачи отсюда.

В тот день, когда Рихард заболел, Макс взял его маленькую японскую машину и поехал за лекарствами. Но с Максом всегда что-нибудь да случалось. Так и па этот раз. Неожиданно рулевая штанга отделилась. Макс потерял управление. Машина перевернулась. Подошел полицейский, помог поставить машину на колеса, записал фамилию Макса. Этому маленькому происшествию Клаузен не придал значения. Лекарство он все-таки доставил.

15 октября Клаузен застал Рихарда сильно взволнованным. Оказывается, Мияги и Одзаки не пришли на условленную встречу. За все годы такого еще не случилось. Мияги должен был прийти тринадцатого, а Одзаки — сегодня. Встреча с Одзаки планировалась в здании ЮМЖД в ресторане «Азия». Если бы не явился один из них, тогда задержку можно было бы объяснить непредвиденными обстоятельствами. А тут — оба... Ну а если они арестованы?..

Счастье слишком долго сопровождало организации, и трудно было поверить, что все может закончиться вот так... Необходимо выяснить, почему задерживаются Одзаки и Мияги. В панику, конечно, вдаваться не следует.

Нужно послать запрос в Центр. Пора свертывать работу. Ну а если все-таки прикажут остаться, что ж... Он посмотрел долгим взглядом на Макса и сказал: «Война... Мы, видно, застрянем здесь. Как бы там ни было, теперь мы должны во что бы то ни стало сделать все от нас зависящее, чтобы принести как можно больше пользы...»

Два дня спустя Клаузен вечером снова отправился к больному другу. Здесь уже сидел Бранко. Он принес новости о свержении кабинета Коноэ. Да, кабинет ушел в отставку. Власть захватил Тодзио. Он стал премьер-министром, министром иностранных дел и военным министром. Един в трех лицах. Завтра в Токио грандиозное празднество — день рождения императора.

Видно, между Зорге и Вукеличем состоялся большой разговор. Оба были в подавленном состоянии. Одзак и Мияги так и не явились... Значит, арестованы. «Знаешь, Макс, уже началось, очередь за нами...» — сказал Зорге.

Пусть Макс сегодня же или в крайнем случае завтра передаст последнюю радиограмму. Передатчик и все прочее зарыть в саду. Пора готовиться к внезапному отъезду. Рихард утром поставит Отта в известность о своем намерении выехать в Германию. Бранко придется на время оставить семью...

Макс возвращался домой с тягостным чувством. За каждым углом чудились полицейские. И когда чуть ли не у самого дома ему повстречался сотрудник специального высшего отделения столичной полиции Аояма, Макс вздрогнул. Было часов двенадцать ночи. До сеанса оставалось всего полчаса. Клаузен решил, что благоразумнее сейчас не развешивать радиостанцию. Полицейский мог, конечно, повстречаться совершенно случайно. И все-таки...

Это был последний вечер организации.

18 октября 1941 года в 8 часов утра организация Зорге перестала существовать.

Налет на квартиры Зорге, Клаузена, Вукелича полиция произвела одновременно. Полиция учла и то обстоятельство, что по случаю национального праздника утром все находились у себя на квартирах, а не в учреждениях. Когда ворвались токко кэйсацу, Рихард Зорге не потерял самообладания. Он был уже одет. Его обыскали. Он лишь иронически улыбнулся. Он понял: все кончено. Предъявлять претензии к токко кэйсацу, исполняющим приказ

начальника, бессмысленно. Они знали, зачем пришли сюда, и делали только то, что должны делать. «Во время моего ареста в моем доме находилось от 800 до 1000 томов книг. По-видимому, они немало озадачили полицию. Большая часть из них была посвящена Японии».

Обыск в квартире токко кэйсацу производили с большими предосторожностями: боялись адской машины. Через несколько минут Зорге был в инспекции полиции.

Клаузена решили заманить в инспекцию хитростью. «Ко мне пришли два незнакомых японца в штатском и предложили пройти в полицейский участок, чтобы уладить небольшое дело, связанное с автомобильной катастрофой, в которую я попал, наехав на японского мотоциклиста. Они сказали, что уладят это дело прямо в инспекции. У меня действительно был несчастный случай, но я не знал, что наехал на кого-то. Я не мог сказать ничего определенного, так как узнал обо всем только сейчас. Дело выглядело совсем безобидно. Они оба были любезны со мной».

Когда Макса увели, японская любезность мгновенно улетучилась: в дом ворвалась целая орава полицейских, одетых в защищающие от пуль рубашки.

«Только что я собиралась подняться по лестнице, как в этот момент группа полицейских вломилась в дверь, — вспоминает Анна. — Один из них, как обезьяна, бросился ко мне, поймал меня за руку и вместе с подскочившими другими полицейскими вцепился в меня, не давая мне двинуться. Все другие с большими предосторожностями приступили к обыску. Сначала они боялись прикасаться к предметам, трясли меня за плечи и принуждали сказать, нет ли в доме адской машины. Я сказала, что нет, но они продолжали быть осторожными. В квартиру набилось до двадцати полицейских во главе с прокурором Иосикава. Этот прокурор, подпрыгивая, тряс кулаками, тыкал их мне в лицо и приговаривал: «Говори правду, коммунистка, я тебе покажу...» Ключами они открывали шкафы, чемоданы и вот открыли сундук, в котором был спрятан аппарат и все другие вещи и части к нему, лампы к передатчику, шифрованные и незашифрованные радиограммы и какая-то книжечка на японском языке, фотоаппарат и американские деньги. Когда они обнаружили этот сундук, то двинулись к нему, но один из полицейских что-то скомандовал, и все замерли, из желтых

стали зелеными, потеряли дар речи. Они долго молча смотрели друг на друга, даже мои руки отпустили. Я повернулась спиной к шкафу, где в маленьком выдвижном ящичке были фильмы, еще не обнаруженные полицейскими... Они искали еще, забрали все, что нашли, и удалились. Со мной осталось только четыре шакала охранять меня, квартиру и особенно телефон. Вообще же они устроили засаду и оставили меня как приманку... Полицейский у двери в коридор заснул мертвецким сном, и внизу, слышу, никто не шевелится. Тогда я вышла в ванную комнату, а оттуда перебралась в комнату, где были спрятаны фильмы, 8 штук, какая-то бумага, написанная Рихардом и принесенная накануне вечером Максом. Я взяла это все и принесла в ванную комнату. Бумагу я разорвала на мелкие клочки и спустила в унитаз, а фильмы засунула в газовую колонку... Через 13 дней такой жизни полицейские оставили меня одну. Я достала из газовой колонки фильмы и сожгла их в камине. В квартире производили обыск целый месяц. Группы полицейских с фотоаппаратом снимали все подряд. Специалисты рассматривали в лупу все предметы, каждую бумажку, искали отпечатки пальцев посторонних людей...»

При аресте Вукелича присутствовала его жена Иосико. Когда в дверь постучали, Бранко сказал: «Око, посмотри, кого там принесло в такую рань». Сам он пил кофе. «Я открыла дверь и увидела полицейских. Бранко продолжал спокойно пить кофе. Он лишь надел очки, чтобы получше разглядеть непрошенных гостей. Полицейский заговорил с ним по-японски. Из этого я сделала заключение, что ему о Бранко известно все. Бранко и в эту тяжелую минуту не покинуло чувство юмора, так присутствующее ему: он предложил полицейскому кофе. Тот отказался и дал распоряжение производить обыск. Потом Бранко простился со мной, поцеловал семимесячного Хироси. Бранко увели. Полицейские продолжили обыск. Они обнаружили радиостанцию, но назначения ее не поняли. Я сказала, что это принадлежности фотолаборатории. Когда они ушли, я выбросила радиостанцию в мусорную яму».

Анну Клаузен арестовали утром 17 ноября.

Аресты продолжались вплоть до июня 1942 года.

По делу организации Зорге было привлечено много японцев, в их числе граф Сайондзи Кинкадзу. Большин-

ство из них не имело отношения к организации и даже не подозревало о ее существовании. Это были художники, друзья Мияги по Лос-Анжелосу, студенты, заказчики, комиссионеры и даже один владелец фабрики. Они никогда не слышали имени Зорге; Мияги и Одзаки никогда не давали им никаких заданий да и не могли давать, потому что организацию прежде всего интересовали происки Германии в отношении Советского Союза и Японии, попытки германской дипломатии сделать Японию союзницей в войне против СССР. Но почти все арестованные были убежденными антифашистами, противниками войны — и этого было достаточно для полиции, чтобы зачислить их в организацию.

В Японии много политических тюрем: Итигая, Акита, Тиба, Косуги, Мияги, Тоётама, Сакал, Нара, Точиги, Абасири, Футю... — всех не перечесать. Какая из них хуже? Есть ужасная тюрьма Абасири на Хоккайдо, где чаще всего умирают от крупозного воспаления легких. В тюрьме Тиба неизменно заболевают пиореей и теряют зубы, в тюрьме Мияги лысеют, в тюрьме Сакал страдают язвой желудка, так как здесь кормят неразмолотым ячменем. В Точиги умирают от туберкулеза. Во всех тюрьмах применяют средневековые пытки. Самая жестокая из них — сакуи, что значит — корсет. Это особо изготовленный корсет для сдавливания тела. После пыток сакуи в грудной полости происходит кровоизлияние, и человек умирает.

Но есть каторжная тюрьма за высокой бетонной стеной, похожая сразу на все тюрьмы Японии, — Сугамо. Из Сугамо редко кто выходит живым. Здесь содержатся «особо опасные». Узенькая бетонная камера, душная, грязная, где черно от изобилия блох: крошечное оконце под самым потолком. Двор разделен на восемь секторов. Сюда выводят на прогулку.

Рихарда Зорге и его товарищей поместили в тюрьму Сугамо. Так как до суда было еще далеко, это считалось превентивным заключением.

Зорге не оставил нам воспоминаний о годах, проведенных в Сугамо. Но какие существовали порядки в японских тюрьмах и полицейских «свинарниках», мы знаем из рассказов Макса, Анны и других. Анна Клаузен рассказывает: «Со двора по темной мокрой лестнице спустили меня в подвал. Там было темно, только у самой двери горела маленькая лампочка. Ничего не было видно. Только

через несколько минут я увидела, что в яме по обеим сторонам у стенок — черные клетки, а в них плотно друг к другу сидели на полу люди. На каменном полу была вода. Полицейские вампиры сорвали с меня одежду, вплоть до белья, сорвали с ног туфли, чулки. Один из полицейских запустил свои лапы в мои волосы и визжа растрепал их, остальные хохотали, словно шакалы. Меня затолкали в одиночную камеру и бросили вслед только белье. Я осмотрелась. По стенкам текла вода. Соломенная циновка была мокрая. Несло невероятной вонью. В каменном полу в дальнем углу была дыра — параша. Когда меня закрыли, я долго стояла без движения. Наконец обессилела и опустилась на колени.

Поздно вечером меня, босую, по грязной мокрой лестнице повели в контору. Идти я не могла и чувствовала, что серьезно заболела. В конторе сидело девять вампиров. Один из них был врач, который, осмотрев меня, сказал: «Ничего не выйдет». Тогда меня снова стащили в яму, только бросили на этот раз какую-то подстилку. Я легла и, задыхаясь, потеряла сознание. Это они, видимо, обнаружили. Врач сделал мне шесть уколов, и вновь потащили меня в контору, больную и разбитую.

Группа жандармов во главе с прокурором Иосикава приступили к допросу. Прокурор бил кулаками по столу, размахивал руками и кричал: «Ты, коммунистка, хитрая, я тебя знаю! Но я заставлю тебя говорить». Я молчала, не могла отвечать. И немудрено: мне три дня не давали пить и есть. Ничего не добившись, они посадили меня в машину и отвезли в тюрьму. Закрыли в камере на втором этаже. Сразу же пришел врач... Врач сказал, что у меня нервное потрясение. Я мучительно страдала месяцев семь...»

Макс дополняет рассказ жены: «...Следствие продолжалось около года... Затем дело было передано судебному следователю. Нас каждый день возили в здание суда на автобусе вместе с японскими заключенными. При этом нам надевали на голову остроконечную соломенную шляпу с прорезями для глаз, так как шляпа надвигалась до подбородка...»

Японская контрразведка наконец-то поняла, что имеет дело не с американскими агентами, а с коммунистами, с советскими разведчиками, и ярость ее от того возросла еще больше. В Сугамо придерживались старого девиза

японской полиции: «Не оставлять в живых коммунистов, но и не убивать их».

Следствие подвигалось туго. Все члены организации вели себя с большим достоинством. Да, они знали, что помогают Советскому Союзу. Делали это сознательно, добровольно, так как именно там духовная родина всех, кто борется за свободу собственной страны, кто ненавидит войну. «Лекарством от всех социальных болезней является коммунизм!» — упрямо повторял художник Мияги. Его вылечили. Но лишь затем, чтобы каждый раз при допросах подвергать все новым и новым пыткам. А он с холодным упорством обреченного на смерть человека отвечал на все пытки: «Я пришел к выводу о необходимости принять участие в работе, когда осознал историческую важность задания, поскольку мы помогали избежать войны между Японией и Россией. Я знал, что буду повешен...» «Единственно важная информация, которую я надеялся получить заранее, — это точное время возможного нападения Японии на Россию, — заявил Одзак. — Я защищал Советский Союз!.. За время моего деятельного общения с Зорге в Японии от меня часто требовали информации, которая имела непосредственное отношение к обороне Советского Союза. Поэтому я догадывался, что эти сведения использовались непосредственно Советским Союзом. Но это не изменило моих взглядов».

Подобные заявления приводили в неистовство следователей. Им приходилось иметь дело не просто с группой агентов, «почтовых ящиков», а с глубоко идейной организацией, беззаветно преданной общему делу, лишенной всяких шовинистических предрассудков. Эту силу нельзя было сломить пытками, издевательствами, унижением человеческого достоинства. Они были непреклонны и не отрекались от своих взглядов.

Вукелич открыто презирал своих мучителей. Он заявил, что его убеждения являются его личным делом и отрекаться от них он не намерен. Пусть не усердствуют, отвечать на вопросы он все равно не будет.

Макс выработал свою систему: говорить только о себе. Он понимал, к чему стремится тайная полиция: выявить всех лиц, причастных к организации. На первом этапе это было главным. Он, Клаузен, никого не знает. Он — технический исполнитель, его специальность — радиосвязь; к остальному он никакого отношения не имел. Од-

заки, Мяяги? Нет, таких фамилий он не слышал. Вукелич? Откуда Максу знать, чем занимаются журналисты? Он, Клаузен, простой человек, а Вукелич к нему хорошо относился. Никаких радиопередач из дома Вукелича Макс никогда не вел.

А вот как вела себя на допросах Анна: «На допросы меня выводили всегда две стражницы под руки, так как ноги мои не действовали. Сняли с меня 42 допроса в помещении все той же тюрьмы. Допросы иногда продолжались по семь часов подряд и были мучительны... Я старалась отпираться, где только можно, не называла людей, с которыми была связана по работе, и отвечала незнаем... Мне показывали снимки нескольких людей, я не признала ни одного, ссылаясь на плохое зрение и плохую память на лица. Как-то переводчик вышел из терпения и сказал: «Мне с вами, коммунисткой, церемониться надоело. Если бы я имел власть, я бы задушил вас всех своими собственными руками». Я ответила, что ему этого не сделать, коротки руки, пбо коммунистов в Японии так много, что с ними не так легко справиться...»

Организация перестала существовать как функционирующая единица, но боевой дух ее людей не был сломлен и его не удалось сломить до конца.

Самое пристальное внимание следователей было приковано к фигуре руководителя организации, ее идейного вдохновителя Рихарда Зорге. Они сразу же разгадали, что имеют дело с личностью необыкновенной, и с чисто профессиональной точки зрения не могли не восхищаться им. Целых девять лет на глазах сонма полицейских и контрразведчиков он объединял вокруг себя большую группу людей, сумел спаять их в безукоризненный, четко действующий механизм, в коллектив, не знающий ни страха, ни усталости, жертвующий личным благополучием во имя великого дела. Он даже приближенных японского императора и приближенных Гитлера заставил работать на себя! Какой дерзостью, какой неизмеримой отвагой нужно обладать, чтобы в самом глезде врагов творить поистине чудеса!..

Ничего подобного в истории разведки всего мира еще не встречалось.

Зорге вел себя спокойно. Не жаловался на изощренные пытки, на дурное обращение, не предъявлял претензий. Лишь однажды попросил не надевать наручники.

Наконец-то и у этого железного человека нашлось уязвимое место! Ему отказали в резкой форме. Он не настаивал.

Тюремщики чувствовали к нему невольное уважение.

Он часами сидел на циновке в глубокой задумчивости, и дежурные у дверей не решались окликать его. Зорге вовсе не напоминал человека, который проиграл все и теперь должен смириться. Нет. Собственная участь ему наперед была известна. На снисхождение врагов он не мог рассчитывать, да и не рассчитывал.

Он думал не о себе. Он думал о том, как спасти своих товарищей, как смягчить их участь, снять с них ответственность перед шатким японским законом. Эту ответственность он целиком возьмет на себя. Он будет умалять значение каждого, сводить его к нулю, если нужно, чернить за бездеятельность и саботаж. Сейчас речь идет не о заслугах каждого перед организацией, не о славе, а о спасении жизней. Спасти Вукелича, Макса, Анну, Мияги. Одзакки выгородить труднее — милитаристы ничего не простят ему, они ждут расправы над ним. Конечно же, Тодзио каждый день справляется о ходе следствия, торопит. Следствие нужно затянуть на максимальный срок, отодвинуть виселицу. Возможно резкое изменение международной обстановки, если дела у Советского Союза пойдут хорошо. А теперь они должны измениться в лучшую сторону...

В шесть утра на голову Зорге надевали густую сетку, закрывавшую лицо, и в машине под большим конвоем везли на допрос. Стараясь затянуть время, Зорге первый месяц вообще не отвечал. Правда, он с большим вниманием выслушивал следователей: хотел знать, что уже известно им. Начинались пытки. На все изуверства Зорге отвечал холодной улыбкой. Он никогда не боялся боли, многие годы приучал себя быть нечувствительным к ней. Его могли исколоть, растерзать, но не смогли бы выдавить из него ни единого звука. Ведь он немало времени потратил на то, чтобы изучить все разновидности японских пыток, и заранее подготовился к ним. А так как в застенках пытки применялись чаще всего к коммунистам, Зорге собрал огромный изобличающий материал. Он знал все японские тюрьмы наперечет, знал особенности каждой, так как глубоко интересовался жизнью своих братьев, японских коммунистов, а они большую часть

жизни проводили именно в тюрьмах. Здесь были свои бессмертные герои: коммунисты Сёити Итикава, Масаносукэ Ватанабэ, Гоитиро Кокурё, Ивата. Прокурор Тодзава, замучивший не один десяток коммунистов, откровенно хвастал: «Ребята из полиции находятся у меня в повиновении и работают по моим указаниям; симпатичные ребята. Не могу же я их каждый раз предавать суду только за то, что они убили коммуниста».

Эти «симпатичные ребята» выворачивали руки Зорге, вгоняли иглы под ногти, до хруста сжимали запястья в бамбуковых тисках. Но даже они пришли в изумление: Зорге молчал.

Весть о необыкновенном мужестве «хромого» быстро распространилась среди надзирателей и вселила в них боязливую веру во что-то сверхъестественное, исходящее от этого человека. Зорге стал легендой. Даже тут он сумел вызвать к себе расположение, завоевать симпатии.

И неожиданно он заговорил. Нет, не телесные пытки заставили его заговорить. Во время следствия ему показали пространную выписку из картотеки гестапо, присланную из Германии и заверенную всеми подписями и печатями. Скрупулезно перечислялись все коммунистические грехи Зорге, особо указывалось на его близкую связь с известными деятелями Коминтерна. «Вы — агент Коминтерна!» — закричал следователь. «Я — гражданин Советского Союза и помогал своей Родине, Красной Армии. Коминтерн к этому делу не имеет никакого отношения», — ответил Зорге.

И следователи снова и снова убеждались, что имеют дело с незаурядным человеком, искуснейшим дипломатом. Да, Зорге и не думал отрицать, что работает на Советский Союз, на Красную Армию. В этом не было нужды. Тем более, что только кэйсацу пытались приплести к этому делу Коминтерн, обосновать существование некой всемирной разведывательной организации Коминтерна и тем самым лишний раз оправдать заключение Японией «антикоминтерновского пакта». Организация Зорге сыграла свою роль, выполнила долг до конца, помогла советскому народу в его кровопролитной борьбе. Остальное уже не имеет значения. Даже на будущее. Что могут дать японской контрразведке частные штрихи деятельности организации, которой уже не существует? Даже опытом этой организации империалисты не смогут воспользоваться,

ибо в капиталистическом мире иное представление об идеалах. Организация была единственным в своем роде оригинальным творением, и повторить ее нельзя, ибо повторение — уже шаблон, а шаблон в разведке неизбежно ведет к провалу.

Глупцов из токок кэйсапу интересуют всякого рода сыскные мелочи, они до сих пор не могут уяснить, что же произошло, какого масштаба явление перед ними. Они слишком увязли в своей шпиономании, ибо сами привыкли охотиться за грошовыми истинами. Разведывательная организация представляется им не творческим коллективом умов, а некой административной единицей с шефом во главе, с набором шпионских аксессуаров: воздушных пистолетов, адских машин, яда, банкнот иностранного государства, инструментов для взламывания сейфов и, конечно же, передатчика, изготовленного институтом разведывательного управления. А оказывается, главный инструмент разведчика, раскрывающий сейфы с государственными тайнами, — ум. Способность к аналитическому мышлению. Способность самому становиться источником информации. Способность быть незаменимым в среде тех людей, которые хранят государственные тайны. Способность быть патриотом до конца.

Следователям казалось, что они допрашивают Зорге. А на самом деле он использовал эти допросы для того, чтобы внушить, навязать представителям судебных органов свои мысли, повернуть ход их мышления в нужном для организации направлении. Следователи имели дело с самым коварным материалом — человеческим разумом, изощренным умом мыслителя.

Он был страшен в своем невозмутимом спокойствии. словно он уже был по ту сторону жизни и теперь, отрешившись от себя, вел последнюю, глубоко логичную игру. Он и тут, на краю гибели, хотел оставаться хозяином положения.

Удалось ли ему это? Да, удалось.

«Рихард и я, — говорит Клаузен, — все время старались придавать работе моей жены как можно меньше значения. Мы говорили, что Анни всегда была против нас, что она делала все против своей воли, только постольку, поскольку является моей женой...»

Клаузена Зорге перед следователями старался обвинить в саботаже, в обуржуазивании. Дескать, он увлекал-

ся коммерцией, разбогател, и это притупило его энтузиазм.

Зорге всякий раз выступал в роли страстного обличителя Макса, и в это в конце концов поверили. Даже американская разведка, занимавшаяся после войны изучением дела организации Зорге, впала в заблуждение, увидев конфликт там, где его не было и в помине: «Полиция поняла, что благосостояние Клаузена притупило его энтузиазм в деле Советского Союза. Его все возрастающее разочарование, а также больное сердце, которое приковало его к постели с апреля по август 1940 года, вызывали его нежелание отправлять радиосообщения, которые Зорге подготавливал для него во все возрастающем количестве». Как известно, все было совсем наоборот. Только с середины 1939 года по день ареста Макс передал в эфир сто шесть тысяч групп цифрового текста, свыше двух тысяч радиোগрам, то есть в среднем — шестьсот радиোগрам в год, или — по две радиোগраммы в день. Более интенсивного радиообмена в условиях конспирации трудно себе представить.

Вот уже воистину для американской разведки сильнее кошки зверя нет: там, где речь идет о частной собственности, все отодвигается на задний план. По-видимому, Зорге хорошо знал природу мышления деятелей японского суда и тайной полиции: ведь в капиталистическом мире она повсюду одинакова...

В этой трагической ситуации имелись и свои комические стороны. Пока Зорге и Макс всячески старались приизжить роль Анны, доказывая, что она в прошлом была чуть ли не белогвардейкой и до сих пор люто ненавидит Советскую власть, Анна расписывала инспектору Накамуре прелести жизни в Краснокутской МТС. «Когда же я рассказала про жизнь в Краснокутской МТС, где все имели собственных коров, овец, где все было дешево, а мы жили хорошо, инспектор Накамура вскочил с места и закричал, что я вру, и перешел на другую тему. Позже они спрашивали меня, рассказывала ли я кому-нибудь из японцев подобные сказки раньше. Я им ответила, что не рассказывала, но японский народ все равно будет еще слышать правду о жизни в СССР помимо меня».

По поводу участия в организации Брацко и Мягки Рихард заявил: «В то время как я находил свою работу в качестве журналиста скучной и утомительной, потому

что моей настоящей работой была разведка, де Вукелич тратил все больше и больше усилий на свою корреспондентскую работу и передавал мне безо всякого разбора все, что он слышал. Всю оценку он возлагал на меня... Данные, которые доставлял де Вукелич, не были ни секретными, ни важными, он доставал только те новости, которые были известны каждому корреспонденту. То же самое можно сказать о Мияги, который не имел возможности узнавать государственные тайны...»

Так как на защиту рассчитывать не приходилось, Зорге тщательно готовился к суду. Он еще надеялся помериться силами с японскими судьями, защитить Одзаки, во всяком случае, попытаться смягчить приговор. Что касается себя — он готов был на все, решил не уступать врагу ни в чем до конца. Он хорошо знал, что по жестоким японским законам каждый член организации заслуживал смертного приговора. И все-таки он хотел спасти всех...

А как реагировали на арест Зорге в германском посольстве?

Когда Отт и Мейзингер узнали об аресте, они пришли в негодование: опять эти японцы со своей шпиономанией что-то напутали! Рихард — разведчик некой иностранной державы? В то время как германская армия задыхается на полях России, японцы издеваются над гражданами третьего рейха... Новому премьеру Тодзио это так не пройдет. Отт и Мейзингер потребовали немедленно освободить Зорге (послу нужно было в спешном порядке составлять отчет, а он остался без консультанта). Гестаповец был шокирован действиями японской полиции. Ведь могли бы обратиться предварительно к нему, Мейзингеру, и он объяснил бы, что Рихард — чистокровный ариец, убежденный нацист, друг Геббельса и Гиммлера... Нет, идиотизм токкока не имеет предела.

Но японцы стояли на своем: раскрыта разведывательная организация во главе с Зорге, Клаузенем, Вукеличем. Освободить Зорге или хотя бы допустить к нему посла наотрез отказались.

Пришлось сообщить обо всем в Берлин. Перед этим посол и гестаповец устроили бурное совещание. Решили на всякий случай отречься от Зорге, чтобы собственная репутация не пострадала.

Нет, Эйген Отт не мог поверить в подобный кошмар. Лучший друг Рихард, которому он доверял все тайны...

На сообщение Мейзингера из гестапо незамедлительно пришел ответ. Да, Зорге коммунист, связан с Советским Союзом!.. Дальше шел обстоятельный рассказ о подпольной деятельности в Германии, о связях Зорге с русскими коммунистами. Милый Рихард — коммунистический деятель большого масштаба, по матери — русский, а вовсе не чистокровный ариец, как думали Отт и Мейзингер! Мейзингер в спешном порядке передал материалы японской контрразведке. И только после этого у него состоялся разговор с глазу на глаз с послом. Условились не выдавать друг друга. Но в посольстве нашлись люди, которые доложили в Берлин обо всем: о близкой дружбе Отта с Зорге, об исключительном доверии, оказанном советскому разведчику сотрудниками посольства и особенно послом.

Морской атташе Венеккер был напуган не на шутку: ведь все знали о его приятельских отношениях с Зорге. Гибель карьеры, гибель всего... Очутившись у себя на квартире, Венеккер заперся на все замки, открыл чемодан Рихарда. Нет, он не собирался изучать бумаги советского разведчика; он зажег газ и старательно уничтожил на огне все триста страниц рукописной книги Зорге, посвященной истории Японии. Чемодан Венеккер выбросил.

Неожиданно Отту разрешили свидание с Зорге. Посол хотел отказаться, но Мейзингер посоветовал «довести игру до конца».

С некоторым страхом Эйген Отт ступил на территорию тюрьмы Сугамо. Как встретит его Зорге, который впезап-но из друга превратился в самого заклятого врага? Ведь совсем недавно, когда Рихард заболел, он несколько дней лежал в доме Отта, и тут за этим советским разведчиком, ярким антифашистом ухаживали жена посла и девушка из посольства. Отт даже хотел устроить его в йокогамскую больницу, но Зорге не согласился — он дорожил временем.

О дальнейшем рассказывает Макс Клаузен:

«После того как меня освободили, я имел случай встретиться с Венеккером. Венеккер говорил о посещении Рихарда Оттом в тюрьме. Рихард вышел к нему, усмехнулся и сказал: «Это последний раз, когда я вижу посла Отта». Потом повернулся и ушел в камеру».

Риббентроп, поняв, что произошел крупнейший провал, еще до выяснения всех обстоятельств сместил Отта и назначил послом уже известного нам доктора Генриха Штаммера. Отту было приказано срочно явиться в Бер-

лин. Разжалованный Отт знал, что его ждет в фатерланде: трибунал, каторга, а возможно — смерть.

Он добрался до Пекина, сменил документы, растворился в азиатских просторах. В Германию вернулся только после войны, когда ему уже ничто не угрожало.

Но Мейзингер не ушел от расплаты. Правда, его покாரала не рука гестапо. Осенью 1945 года Мейзингера под конвоем доставили в Польшу, и тут «палач Варшавы» после народного суда был казнен.

14. «ЛЮБОВЬ, ПОДОБНАЯ ПАДАЮЩЕЙ ЗВЕЗДЕ» И СМЕРТЬ

Как ни подгонял полицию премьер-министр Тодзио, предварительное следствие по делу организации Зорге затянулось почти на два года.

Фашистское правительство Гитлера потребовало выдачи Зорге и Клаузена, но японцы остались непреклонны. «Прокурор Ио сказал мне, — вспоминает Макс, — что они, японцы, отказались сделать это. С некоторой гордостью он заявил: «Мы отвергаем это требование, поскольку сами решаем свои дела... Мы никому не позволим оказывать на нас влияние».

Первоначально следствие по делу Зорге вел отдел безопасности, потом оно было передано отделу контроля за иностранцами. Японскими членами организации занимался только отдел службы безопасности.

За два года, как и предвидел Рихард, многое случилось.

Развязав войну на Тихом океане, Япония вовлекла в нее США, Англию, Индонезию, Канаду, Австралию, Индию, Новую Зеландию, Китай, Южно-Африканский Союз, Мексику и много других стран. Теперь уж Японии было не до нападения на Советский Союз. Предвидения Зорге и Одзакки сбылись. Гитлеровский план «Барбаросса» потерпел полный и окончательный провал. Надзиратели тюрьмы Сугамо почему-то часто собирались у дверей камеры Зорге и громко обсуждали международные события. Словно их радовало, что Германия очутилась на пороге краха: началось общее стратегическое наступление Красной Армии от Великих Лук до Азовского моря, уничтожена половина всех гитлеровских сил, находившихся на

советско-германском фронте. Зорге казалось, что во всех этих победах есть заслуга и его организации.

Изменилось отношение к Вукеличу, Клаузенам. Так как Макс снова сильно заболел, его поместили в тюремный госпиталь, одели в красное кимоно. Макс скоро поправился, но врач не торопился его выписывать. «Этот врач, высокий, широкоплечий и красивый японец, делал все, чтобы поправить мое здоровье. Он держал меня в тюремной больнице два года, несмотря на то что я давно поправился». Вукелича оставили в покое, хотя он по-прежнему отказывался давать какие-либо конкретные показания. С Анной даже стали учтивы: «Судья сказал, что моему защитнику дано право защищать меня и что он сам как судья постарается облегчить мое положение. Он говорил также, что я не самостоятельно работала в организации, что такой страшный человек, как Зорге, увлек меня, как и многих хороших людей, и подчинил своей власти. Судья спрашивал меня, желаю ли я видеть мужа и Бранко. Я ответила «да»...»

Мужественное поведение Зорге во время следствия также в большой мере повлияло на судебных чиновников. Клаузен в связи с этим вспоминает: «После моего освобождения из тюрьмы адвокат Асанума сказал мне, что Рихард вел себя очень смело. Он меньше всего заботился о сохранении своей жизни, а просил смягчить приговор другим членам организации и все брал на свой счет. Я уверен, что Рихард до самой смерти вел себя так, как всегда. Я очень горжусь тем, что он считал меня одним из лучших друзей. Он говорил мне: «В этом мире, зараженном нацизмом, у меня есть ты; с тобой я могу говорить без неприятного чувства».

Свою звериную ярость полицейские вымещали на японских членах организации. Мягки замучили пытками, он больше не поднимался с постели. 2 августа 1943 года во время суда он умер. Ему было сорок лет.

Заключенным выдали чернила, бумагу, разрешили писать. О чем? О чем угодно. Пусть каждый изложит на бумаге свои политические взгляды, как они складывались. Японских психологов в полицейских мундирах интересовала загадка организации Зорге. Откуда берутся люди такой твердости характера? Каковы побудительные причины их беспрецедентных действий? Нельзя ли все это взять на вооружение?

Клаузен отказался писать. В феврале он отморозил руки и ноги, не мог есть без помощи надзирателя, не мог передвигаться. Боль была настолько нестерпимой, хуже всяких пыток, что Макс даже подумывал о самоубийстве. Надзиратель Араи приходил ночью и утешал: «Крепись! Красная Армия разбила Гитлера на Волге и погнала дальше. Скоро ему — контрами, смерть...» Араи сожалел, что Макс не может писать, — все легче, когда занят чем-нибудь. Зорге, Вукелич и Одзаки вызов приняли, они до конца оставались журналистами и, понимая, что смерть уже подошла вплотную, решили оставить живым свое политическое завещание. Во всяком случае, жандармам тут нечем будет поживиться.

Зорге писал на немецком языке. Свое повествование он начинает вопросом: «Почему я стал коммунистом?» И отвечает: «Мировая война 1914—1918 гг. оказала огромное влияние на всю мою жизнь. Если бы даже на меня не действовали другие различные факторы, то, как мне кажется, в результате одной этой войны я стал бы убежденным коммунистом. Когда началась война, мне было всего каких-нибудь 18 лет, я учился в повышенной средней школе в районе Рихтфильд в Берлине...»

Партийный билет № 0049927... Когда Зорге уже не будет, останется партбилет, сохранится навечно в партийных архивах. У Рихарда хорошая память. Профсоюзный билет № 148990. Когда состоял в КПГ, номер партийного билета был 08678...

Номер партийного билета — это его пароль. Пароль врагам не сообщают, его хранят в своем сердце.

Он вдумчиво прослеживает события своей жизни, рассказывает о своих теоретических работах.

И постепенно перед нами вырисовывается облик человека, беззаветно преданного идеям коммунизма, рыцаря без страха и упрека, борца за мир, великого патриота Советского Союза, пожертвовавшего для Родины всем. Он дрался в окружении, но победил. Его приход сначала в КПГ, а затем в Компартию Советского Союза — не случайность, а логический результат глубоких размышлений над судьбами мира. В главе записок «Мое изучение Японии» он анализирует свою деятельность в Японии, указывает, какое значение для разведывательной работы имело кропотливое изучение экономики, истории, культуры страны. «Я усердно изучал древнюю историю Японии (она и по

сей день вызывает у меня интерес)...» В последних словах весь Зорге — ученый, исследователь, мыслитель. Даже на краю смерти он в состоянии думать о древней истории Японии, жалеть, что какие-то книги остались непрочитанными, незаконспектированными. Да, ему так и не удалось закончить книгу о Японии, успел написать всего триста страниц...

Записки Бранко Вукелича предельно лаконичны: всего пятнадцать страниц. Он также рассказывает, как политические события в Югославии и во всем мире привели его в ряды коммунистической партии, почему он согласился перейти на секретную работу. «Цель нашей организации — защитить Советский Союз от иностранного вмешательства». Очень тепло отзывается он о Зорге как о чутком, отзывчивом товарище и друге, истинном коммунисте.

Ни Зорге, ни Вукелич, ни Одзак, ни другие члены организации в своих записках не выдают никаких секретов — это завещания, рассказ о своей духовной жизни.

Уже находясь в камере смертников, Одзак написал: «Ведь если вдуматься, я счастливый человек. Всегда и повсюду я сталкивался с проявлениями людской любви. Оглядываясь на прожитую жизнь, я думаю: ее освещала любовь, которая была как звезды, что сияют сейчас над землей; а дружба, сверкавшая среди них звездой первой величины...» Свои записки Одзак облек в форму писем своей жене. (Позднее они были изданы под заглавием «Любовь, подобная падающей звезде».)

Он рассказывает о фактах своей жизни, о несправедливостях мира, которые побудили его избрать дорогу революционера-профессионала. В записках излагаются не только взгляды Одзак на проблемы внутренней и внешней политики страны, но и даются оценки внутривнутриполитического и международного положения Японии накануне и в годы второй мировой войны. Он рекомендует правительству использовать советское посредничество в китайском вопросе, ратует за широкое сотрудничество Японии и СССР.

Заседания Токийского районного суда проходили в августе — сентябре 1943 года. «Заседания суда по делам Зорге, Вукелича, меня, Отто и других проходили отдельно», — свидетельствует Клаузен. Судьи в черных с сиреневой расшивкой накидках, в высоких головных уборах меланхолично выслушивали Зорге. Что бы он там ни го-

ворил, его участь уже была решена. Он был опасный, самый опасный... Таким пощады нет. Закрытое заседание не отличалось многочисленностью: коллегия из семи человек, стража, начальник контрразведки — вот и все.

Как построил защиту Зорге?

Прежде всего он вновь приложил все усилия, чтобы защитить своих товарищей. Приводил доводы, оправдывающие Макса, Анну, Бранко. Начал он так: «Японские законы являются предметом обсуждения как в широком смысле, так и в отношении каждой буквы текста. Хотя утечка информации, откровенно говоря, может быть наказана по закону, но на практике японская специальная система не налагает ответственности за сохранение тайны. Мне кажется, что при составлении обвинительного акта недостаточно внимания было уделено нашей деятельности и характеру информации, которую мы получали...»

Он обвинял японское правосудие в недомыслии, обвинял всю японскую систему, считал японские законы несовершенными. Нет, за всю долголетнюю службу японским судьям еще не приходилось слышать ничего подобного.

Он был последователен, логичен, знал экспансивный характер японцев, тонко провоцировал на дискуссию.

И дискуссия с подсудимым завязалась. Сначала в виде грубых окриков; потом Зорге стали объяснять сущность японского законодательства. Постепенно из обвиняемого он превратился в грозного обвинителя.

На каком основании арестованы Вукелич, Клаузены? Разве они нанесли какой-нибудь вред японскому государству? Разве японские журналисты, аккредитованные в Москве, не занимаются тем же, чем занимался Бранко? Разве есть какие-нибудь документы, уличающие Вукелича? Он состоял в организации? Состоять — это еще не значит быть активным. Разве формальная принадлежность к той или иной организации является достаточным поводом для привлечения к ответственности? Ведь он, Зорге, состоял также в нацистской партии. Почему его не привлекают за это? Или фашистская партия в Японии узаконена?

«То, что можно назвать политической информацией, добывал Одзаки или я.

Я добывал информацию из немецкого посольства, но здесь опять-таки я считаю, что очень немногая инфор-

мация, если такая была, может быть определена как «государственная тайна».

Ее сообщали мне охотно. Чтобы получить ее, я не применял никакой стратегии, за которую я мог бы быть наказан.

Я никогда не прибегал ни к обману, ни к насилию. Посол Отт и военные руководители просили меня помочь им писать донесения, в особенности Отт, который относился ко мне с большим доверием и просил меня прочитывать все его донесения, прежде чем отправлять их в Германию. Что касается меня, то я верил этой информации, так как она составлялась и оценивалась компетентными военным и морским атташе для использования генеральным штабом Германии.

Я полагаю, что японское правительство, представляя сведения в германское посольство, знало, что некоторые из них утекут.

Одзаки доставал большинство своих новостей из «группы завтрака». Но «группа завтрака» не являлась официальной организацией. Такие сведения, которыми обменивались в этой группе, могли обсуждаться и в других подобных группах, которых в настоящее время много в Токио. Даже такие сведения, которые Одзаки считал важными и секретными, на самом деле не являлись таковыми, так как он добывал их косвенным путем, после того как они уйдут из своего секретного источника...

Меланхолия исчезла. Судьи были в растерянности. Никто из них не мог привести ни одного разумного довода против защиты Зорге. Заседание пришлось прервать «для дополнительного изучения вопроса».

Так повторялось несколько раз. Зорге по памяти называл параграфы японского права, приводил выдержки. Его обостренный ум уверенно шел сквозь лабиринт процессуального крючкотворства, заводил судей в тупик. Может быть, некоторые из них впервые поняли, до какой степени несовершенно и уязвимы японские законы. Оказалось, голыми руками Зорге не взять. Оставалось одно: заткнуть ему рот, ибо в противном случае суду не предвиделось конца.

Зорге объявили, что состоится последнее заседание суда. Теперь от него добивались, признаёт ли он себя виновным.

«Нет, не признаю! — заявил он. — Ни один из японских законов нами нарушен не был. Я уже объяснял мотивы своих поступков. Они являются логичным следствием всей моей жизни. Вы хотите доказать, что вся моя жизнь стояла и стоит вне закона. Какого закона? Октябрьская революция указала мне путь, которым должно идти международное рабочее движение. Я тогда принял решение поддерживать мировое коммунистическое движение не только теоретически и идеологически, но и действительно, практически в нем участвовать. Все, что я принимал в жизни, тот путь, которым я шел, был обусловлен тем решением, которое я принял двадцать пять лет назад. Происходящая германо-советская война еще больше укрепила меня в правильности того коммунистического пути, который я избрал. Я об этом заявляю с полным учетом того, что со мной произошло за двадцать пять лет моей борьбы, в частности и с учетом того, что со мной произошло 18 октября 1941 года...»

29 сентября 1943 года Токийский районный суд вынес приговор Рихарду Зорге: смерти! Это был последний довод японского правосудия.

Одзакки также приговорили к смертной казни.

И все-таки доводы Зорге возымели свое действие: смерть обошла остальных членов организации.

Когда обвинение потребовало для Анны Клаузен семи лет заключения и принудительного труда, она возмутилась и потребовала пересмотра дела. «Когда я узнала, что мне присуждают семь лет без зачета предварительного заключения, то сказала суду, что это несправедливо. Переводчик Уэда заявил, что и этого мало, что я заслужила быть повешенной, а еще проявляю недовольство». Дело все-таки пересмотрели, срок сократили до трех лет.

Бранко Вукелича и Макса Клаузена обрели на пожизненное заключение.

И за все время пребывания в тюрьме Клаузену лишь однажды, в конце лета 1944 года, удалось повидать Зорге. Макса под конвоем ввели в кабинет адвоката Асанумы. И вдруг из кабинета вывели Рихарда. Макс закричал: «Выше голову, Рихард, Красная Армия победила!» «Рихард улыбнулся мне. Его лицо осветилось счастьем. Но тут ко мне подскочил тюремный чиновник и так двинул в бок, что я растянулся на полу... На суде я потребовал приговорить меня к смертной казни — я хотел умереть

вместе с Зорге. Думаю, что это самое лучшее, что я мог в тот момент сделать в честь антифашизма...»

Приговор не сломил волю Зорге и Одзакки. Они подали апелляцию в Верховный суд. И снова в апелляции Зорге защищает не столько себя, сколько своих друзей. Верховный суд не торопился с ответом.

Апелляция Зорге была отклонена в январе, а Одзакки — в апреле 1944 года. Их перевели в глухие камеры смертников. Ни тому, ни другому не назвали день казни. Им предстояло прожить в гнетущем ожидании почти год. Каждую минуту мог войти начальник тюрьмы Ичидзима и объявить, что по приказу министра юстиции сегодня в таком-то часу состоится казнь.

Оба любили жизнь и даже на краю гибели умели пользоваться ее радостями. Зорге прислушивался к голосам надзирателей, жадно ловил известия о ходе войны. Сопоставляя отрывочные фразы, он приходил к выводу, что победа советского народа близка. Он и жил только надеждой на эту победу.

Одзакки писал свою последнюю книгу — исповедь «Любовь, подобная падающей звезде»: «...Сейчас я ожидаю смерти... Я испытываю счастье при мысли, что родился и умру здесь, у себя на родине... Здесь, в тюрьме, моя любовь к семье вспыхнула с внезапной силой и стала источником мучительных переживаний. Первое время я просто не мог читать письма жены и смотреть на фотографии дочери, вложенные в них... Видимо, профессиональному революционеру нельзя иметь семью...»

Учительница моей дочери Июко специально зашла сказать ей, чтобы она не стыдилась отца и продолжала ходить в школу...»

Рихард Зорге не дожил до Дня Победы Советского Союза над фашистской Германией всего полгода.

Те, кто видели его в последние месяцы без сетки на лице, свидетельствуют: он мало изменился со дня ареста. Все тот же спокойный взгляд голубых глаз, все то же несколько скорбное выражение рта и те же скупые жесты, уверенная походка, чувство собственного превосходства над судьями и полицейскими чиновниками. С надзирателями он был по-интеллигентски вежлив, хотя и по безсуровости. Его имя произносили шепотом. Вести из внешнего мира почти не доходили. Однако у Зорге появился добροжелатель: переводчик. И до суда, и во время суда,

и после вынесения приговора этот симпатичный молодой человек с доброжелательной улыбкой на губах всегда находил удобную минуту, чтобы скороговоркой передать Рихарду обо всем, что творится на белом свете. Зорге продолжал притворяться незнающим японского языка. За последние годы у него сильно обострился слух. Где-то за тюремной стеной, может быть в парке или в сквере, висел репродуктор. Днем его заглушали звуки города, но в ранний час Зорге, лежа на циновке, прислушивался к бормотанию репродуктора и улавливал все.

Пока пульсирует кровь, пока мысль не угасла, его интересует ход событий там, в большом мире, куда он уже не вернется никогда, никогда... Теперь он часто думал о своей жене Кате. Хотя бы одну-единственную весточку от нее!.. Это скрасило бы последние дни... Не мог знать Рихард, что Кати больше нет в живых: она умерла 4 августа 1943 года.

В канун больших революционных праздников «Рамзай» всегда посылал поздравления товарищам в Москву. Вдали от Родины он с нетерпением ждал этих праздников, ибо они знаменовали какой-то новый рубеж в истории Советского государства. 1 мая и 7 ноября собирались обычно у Клаузенов — тут же готов был вкусный русский обед; вспоминали годы, прожитые в Советском Союзе, и та, прошлая, жизнь как бы придвигалась.

Приходится удивляться садистской изощренности японской контрразведки и министра юстиции: именно день 7 ноября они избрали для казни Зорге и Одзак.

В это утро 7 ноября 1944 года Зорге чувствовал себя бодро, он не подозревал, что до смерти остались считанные минуты.

Вначале палачи решили расправиться с Одзак.

В девять часов в камере Одзак появились стражники. Начальник тюрьмы Ичидзима ради соблюдения формальности спросил у осужденного фамилию, возраст и бывший адрес. Потом объявил, что по приказу министра юстиции сегодня, сейчас состоится казнь Одзак. Ичидзима был опытным тюремщиком. Он знал, как некоторые смертники принимают страшную весть: обезумев, просят отсрочить казнь хотя бы на несколько минут. Как поведет себя этот «опасный коммунист»? Ведь умирают только один раз, будь ты императором или коммунистом...

Одзакки даже не изменился в лице. Он спокойно взял почтовую открытку, написал: «Я не трус и не боюсь смерти». Попросил передать письмо жене. Затем переоделся в чистый костюм и твердо сказал: «Я готов». Палачи надели наручники.

Его повели через тюремный двор к месту, где находилась железобетонная комната с высокими стенами. Когда Одзакки вошел в этот мрачный железобетонный мешок, очутился перед золоченым алтарем Будды. Буддийский священник предложил смертнику чаю, сакэ, но Одзакки не принял «угощения».

«Жизнь и смерть — это одно и то же для того, кто достиг высшего блаженства. Высшее блаженство может быть достигнуто, если положиться на милосердие Будды...» — произнес священник. Это был ритуал.

Одзакки поблагодарил всех и еще раз повторил: «Я готов».

Он обошел алтарь и оказался в пустой комнате без окон с виселицей в центре. Под ногами находился люк. На глаза Одзакки надели черные очки. «Я умираю за народ!» — крикнул он.

В 9.33 люк раскрылся.

В 9.51 Одзакки Ходзуми не стало. Ему не было и сорока пяти лет.

«Как огни, гаснут люди, и нет ничего от них, как от огня, только пепел печали...»

...Когда начальник тюрьмы в сопровождении палачей вошел в камеру, Рихард Зорге понял, что час настал.

«Сегодня ваш праздник, — сказал Ичидзима. — Надеюсь, вы умрете спокойно». Он потрогал кадык. Палачи рассмеялись. Но под суровым взглядом Зорге они мгновенно притихли. Ичидзима спросил, не добавит ли Зорге еще что-либо к своему завещанию.

«Мое завещание останется таким, каким я его написал!» Тогда начальник тюрьмы спросил: «Имеете ли вы что-нибудь еще сказать?» — «Да, имею. Вы правы, господин начальник тюрьмы: сегодня у меня праздник. Великий праздник — двадцать седьмая годовщина Октябрьской социалистической революции. Я хочу добавить несколько слов к своему завещанию. Передайте живым: Зорге умер со словами: «Да здравствует Советский Союз, да здравствует Красная Армия!»

После этого Зорге повернулся к тюремному священнику и сказал: «Я благодарю вас за вашу любезность. Ваши услуги не понадобятся. Я готов».

Твердой походкой он прошел через тюремный двор. Очутившись в железобетонном мешке, не остановился перед алтарем, а направился прямо в камеру смерти, встал на крышку люка.

О чем он думал в последние минуты жизни?

Он заботился только об одном: своей выдержкой, спокойствием омрачить торжество врага. Он сам надел петлю на шею.

В 10.20 люк раскрылся.

В 10.38 Рихард Зорге шагнул в легенду...

Позже Макс Клаузен вспоминал: «Я хотел бы сказать еще несколько слов об одном японском товарище, который сидел вместе со мной. Я не помню точно его фамилии, кажется это был Судзуки. Во всяком случае, через тюремщика, который время от времени беседовал со мной на протяжении всего заключения и сообщал мне военные новости, я имел возможность встретиться с ним... Он рассказал мне, что Рихард был повешен 7 ноября 1944 года, что перед казнью он держался очень мужественно и воскликнул: «Да здравствует Красная Армия, да здравствует Советский Союз!»

Из протокола медицинской экспертизы известно: у Зорге было могучее сердце — оно билось еще целых 18 минут после того, как разведчика сняли с виселицы.

15. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Какова дальнейшая судьба людей, принимавших участие в работе организации?

Бранко Вукелич находился в Сугамо до июля 1944 года. Неожиданно Иосико разрешили свидание с мужем. Она взяла трехлетнего Хироси и отправилась в тюрьму. Свидание продолжалось всего несколько минут. Их разделяла решетка. Бранко протянул руки к сыну. Стражник отвернулся. Разговаривать приходилось громко, обязательно на японском. Вид Бранко был ужасен. Он почти совсем ослеп, остались кожа да кости. Но держался с присущей ему веселостью, острил и делал вид неунывающего человека. Иосико понимала, какие вести его интересуют

больше всего. Сказала по-английски: «Советские войска подходят к границам Германии».

Время истекло. Это была их последняя встреча.

Вукелича сослали на каторгу в Абасири (северная часть острова Хоккайдо).

В то время когда в окрестностях Сидзуока расцветают чайные кусты и камелии, на Хоккайдо свирепствует вьюга. Нет в Японии более мрачной тюрьмы, чем Абасири. В начале весны в здешних местах неделями стоят густые туманы, наступает сильное похолодание. Осенью рано выпадает снег, зимой морозы достигают двадцати градусов. Заключенные спят на оледенелых циновках. Потому-то с приходом зимы в Абасири умирают сотнями от крупозного воспаления легких.

Бранко в совершенстве владел разговорным японским языком, но письма жене и сыну писал на английском, так как запомнить несколько тысяч иероглифов он не мог. Тюремные цензоры переводили его письма на японский и только после этого отправляли адресату. Потому-то Иосико получала весточки от мужа с большим запозданием. Бранко скоро догадался, почему задерживаются письма, и всерьез занялся иероглифами, катаканой, хираганой.

Вукелич пережил Зорге и Одзаки всего лишь на два месяца. В Абасири он не избежал участи многих: заболел крупозным воспалением легких.

Почувствовав, что смерть близка, он в конце декабря 1944 года отправил жене в Токио свое последнее письмо.

Вот его содержание:

«Извини, что это письмо задержано. Это произошло потому, что пришлось отложить его на 4-е воскресенье. Я получил письмо нашего мальчика, и, конечно, оно доставило мне большую радость. Ты, конечно, представляешь себе, как я восхищаюсь и вместе с этим беспокоюсь о твоей напряженной жизни. Прошу тебя: хорошенько позабьтсья о себе, ради меня, ведь я так люблю тебя. Как ты писала, от моральных сил зависит многое. Мне очень нравятся твои родители. Пожалуйста, будь к ним добра. Теперь для начала позволь мне ответить на твои вопросы. 1) Серебро необходимо возвратить. Его оставляли нам на сохранение. 2) Почтовый бювар я получил, но пользоваться им мне пока не разрешают. 3) Я хорошо разбираю и читаю твои письма, но, поскольку время на них ограничено, пиши как можно четче и яснее (теперешний

стиль и почерк вполне меня устраивают). Я хочу, чтобы ты описала когда-нибудь в одном из своих писем твой полный день, с утра до вечера, в присущем тебе интересном стиле. 4) Отвечай мне в письмах на все мои вопросы. Если что-нибудь не разберешь в моем письме — спрашивай. 5) Мне кажется, ты очень хорошо справляешься с воспитанием нашего сына в таких трудных условиях. Его привычка разговаривать с самим собой, должно быть, является результатом непостоянства окружающей среды — перемены места жительства, отсутствие знакомых людей и т. п. Отсутствие практики — это, должно быть, результат отсутствия юных друзей. Так или иначе, но это плохие привычки, но я надеюсь, что ты придумаешь, как исправить их. Что касается его способностей, то я считаю, как и все родители, что он талантлив. На фотографии он выглядит таким, каких я рисовал, когда был ребенком, но намного лучше и интереснее, чем его папа. Что же касается почерка, то я ведь начал писать первые буквы значительно позже. Может быть, здесь сыграла свою роль кровь Ямасаки, но я больше всего отношу это за счет твоего отличного воспитания. Я, например, воспитывался большей частью по принципу «оставьте его в покое», подобно маленькому домашнему животному, поскольку этот метод воспитания считали в наше время наилучшим методом. Даже тогда, когда мои родители заметили, что у меня плохой почерк, они реагировали на это очень просто: «Его почерк станет лучше после того, как он повзрослеет. Зачем надоедать ему с этим сейчас?» Может быть, я еще не совсем повзрослел. А может быть, это является результатом пренебрежения начальным воспитанием, недостаточно настойчивым исправлением плохих привычек и т. п. Кстати, относительно слишком мягкого характера нашего сына. Пока в нем не проявляется отсутствие интереса или нелюбовь к работе, тебе не о чем особенно беспокоиться. Главное — привей ему привычку выполнять какую-нибудь работу, не вторгаясь, однако, в священный мир детских игр. 6) Что касается моей матери, то при отсутствии у тебя препятствий к этому пошли ей рождественские поздравления. Однако не торопись с этим, посмотрим, может быть, я получу разрешение послать поздравление сам, хотя я опасаясь, что в этом случае оно может слишком запоздать. Жизнь сейчас такова, что для моей старой больной мамы, наверное, лучше было

бы умереть, чем продолжать жить. Но если весточка от меня придет к ней вовремя, я уверен, это будет для нее большим утешением. Когда ты заботаешься о своих родителях, вспомни об этих моих чувствах. Мне хотелось бы позаботиться о твоих родителях даже больше, чем о своих, но я вынужден был разочаровать их всем этим, что они, должно быть, называют божьим наказанием. 7) В отношении моего здоровья не беспокойся так сильно. В течение последнего месяца рецидивов не было, и я быстро поправляюсь. Кроме того, я переношу холод гораздо лучше, чем ожидал. (Вот только мой почерк становится от него хуже, чем обычно.) Мы вполне можем рассчитывать на встречу в будущем году. Печка, которую я так долго ждал, наконец установлена; с ее появлением я сразу же вообразил себе картину: «Мы вдвоем. Жарится сакияки. Ребенок спит. В печке огонек... тепло так же, как сейчас...» Это было в действительности осенью. 8) Ты должна больше писать мне о своем здоровье. Тебе тоже нужно сходить к врачу. Пожалуйста, пришли мне свою фотографию и фото нашего ребенка. Может быть, мне разрешат посмотреть на них. И конечно, напиши мне письмо. Извини, что я не могу преподнести тебе никакого новогоднего подарка. Я посылаю лишь свои благодарности. Исторически этот новый год должен быть самым важным и самым трудным для Японии так же, как и для всего мира, и для нашего ни в чем не повинного маленького сына. Мысли о вас придают мне сил. Пожалуйста, расскажи напему маленькому мальчику, как я был рад его письму. Позаботься о своем здоровье; я постараюсь быть бодрым.

Ваш папа.

СПАСИБО ТЕБЕ ЗА ПИСЬМО, ХИРОСИ.
ПАПА ОЧЕНЬ ЛЮБИТ ХИРОСИ.
ПРИСЫЛАЙ МНЕ ПИСЬМА ЕЩЕ.
ПАПА».

(Внизу примечание, сделанное рукой Иосико Ямагачи: «Это письмо было написано, по-видимому, в последнее воскресенье декабря 1944 года, но отправлено властями 8 января 1945 года, когда он уже лежал при смерти от воспаления легких».)

Документ потрясающей силы! Мы читаем эти строки и как бы разговариваем с живым Бранко. Вот таким он и

был: глубоко человеческим, мягким, со всегдашней доброй улыбкой. Сколько тут сдержанного чувства, желания не причинить боль любимой, сколько надежд, которым не суждено сбыться...

13 января 1945 года в сорокалетнем возрасте Бранко Вукелич скончался. Узнав о смерти мужа, Иосико поспешила на Хоккайдо. Но ей не показали даже места погребения. О, здесь умирает слишком много, могилу каждого не запомнишь...

После окончательного приговора в 1944 году Макса Клаузена перевели в отделение для уголовников, где находились также японские коммунисты. «Через тюремного служителя они передавали мне японскую газету на английском языке и многое другое. При чтении этой газеты нужно было соблюдать осторожность, потому что время от времени в глазок подсматривал тюремщик. Из этой газеты я узнавал, что происходило в мире и как решается война. Кроме того, я читал тюремную газету на японском языке. Из нее я узнал, что Красная Армия все время наступает и теснит фашистов все дальше на Запад».

Да, чтобы читать тюремную газету, Макс усиленно занимался японской письменностью и добился поразительных успехов. Иероглифы и катакана для него перестали быть загадкой. Книг заключенным не давали, но Макс сумел припрятать словарь японского языка.

10 марта 1945 года Токио подвергся налету американской авиации. Половина города сгорела дотла, тюремщики, забыв о своих обязанностях, отсиживались в бомбоубежищах. Много тюрем вместе с заключенными сгорело в тот день. Налеты продолжались до 26 марта. Последний отряд американских бомбардировщиков сбросил бомбы неподалеку от тюрьмы Сугамо. Загорелись деревянные постройки. «Горящие куски дерева разлетались по ветру и попадали в мою камеру, отчего сразу воспламенялась циновка. Дверь моей камеры была заперта, в то время как камеры других заключенных были открыты, с тем чтобы при необходимости они могли выскочить. Мне все время приходилось заниматься предотвращением пожара...» — пишет Макс.

На следующий день Клаузена отвезли в тюрьму Акита.

Анне Клаузен приходилось еще хуже. Два месяца спустя после вынесения приговора ее перевели из Сугамо в

тюрьму Точиги. Здесь заключенные размещались в землянках, которые при дожде заливало. В коридорах ставили насосы, и заключенные выкачивали воду. В тюрьме насчитывалось более шестисот женщин, из них двести семьдесят политических. Заключенных по семнадцать часов в сутки заставляли изготавливать боеприпасы для армии. Кормили плохо. Смерть от недоедания, туберкулеза и других болезней считалась обычным явлением. «Меня содержали очень строго, совершенно изолировали от других, на прогулку выводили раз в месяц и в такое место, где другие не бывали». Во время налетов американской авиации заключенных сковывали общей цепью и выводили во двор, Аппу оставляли в камере. 13 июля ее перевели в барак № 3 — барак смерти. Тут держали в кандалах. «Моя камера была рядом с той, в которую складывали трупы. В проеме между камерами висела лампочка, в эту дыру из трупной камеры в мою проникало страшное зловоние разлагающихся трупов. В середине августа в ней лежали трупы по десять дней и больше. Пищи давали так мало, что трудно представить. Это были кукуруза, гаолян и еще какое-то месиво. От голода я не могла стоять на ногах».

Но советские разведчики стойко перенесли все мучения и лишения.

После разгрома Красной Армией Квантунской армии и капитуляции Японии Клаузенов освободили. Они обратились в советское посольство. Так как у Макса врачи обнаружили опухоль в печени, он попросил служащих из посольства устроить его в больницу. Через несколько часов Клаузенов отвезли на аэродром. Во Владивостоке Макс сделали операцию.

А потом их ждала Москва...

Макс всегда считал, что вся его деятельность направлена не только на защиту Советского Союза, но также на уничтожение фашизма и на построение социализма в самой Германии. Там, в Токио, он дрался за новую, социалистическую Германию. Подводя итог своей разведывательной деятельности, он мог гордо сказать: «Я стал разведчиком потому, что ненавидел фашизм и милитаризм и горячо любил свою родную Германию. Моя работа для СССР всегда являлась для меня также борьбой за светлое будущее любимой Германии».

В 1946 году Клаузенны переехали на родину Макса — в ГДР. Здесь оба вступили в Социалистическую единую партию Германии. Вскоре Макс стал инструктором по кадрам кепеникских судоверфей в Берлине. Он неоднократно завоевывал почетное звание активиста. Макс и Анна почти ровесники: в начале 1965 года они отпраздновали свое шестидесятишестилетие. Для них настала та мирная жизнь, о которой они так страстно мечтали многие годы.

Советское правительство высоко оценило подвиг боевых соратников отважного разведчика Рихарда Зорге: 19 января 1965 года Макс Клаузен награжден орденом Красного Знамени, Анна Клаузен — орденом Красной Звезды. Узнав о награде, Макс Христиансен Клаузен сказал:

«Дорогие друзья! С чувством радости и гордости мы узнали, что за нашу деятельность в Токио в составе разведывательной организации доктора Рихарда Зорге Советское правительство наградило нас боевыми орденами. Нам выпала высокая честь вместе с незабвенным Рихардом бороться против фашизма, против войны. Мы счастливы, что и наша работа явилась посильным вкладом в дело победы».

Министр государственной безопасности ГДР вручил Макс и Анне золотые медали за заслуги перед Народной армией.

29 января 1965 года Председатель Президиума Верховного Совета СССР передал жене и сыну Бранко Вукелича — Иосико Ямасаки и Хироси Ямасаки орден Отечественной войны 1-й степени — посмертную награду герою.

Автор этой книги имел возможность встретиться с Иосико и Хироси Ямасаки. Тоненькая, небольшого роста женщина, скромно одетая, глуховатым голосом неторопливо рассказывала о живом Бранко. Несмотря на свои пятьдесят лет, Иосико выглядит очень молодо. Живет она в Токио, работает переводчицей в пресс-секции чехословацкого посольства.

Что рассказала нам Иосико Ямасаки?

«У меня хранятся 159 писем, которые прислал мне Бранко из тюрьмы. Я вышла замуж 26 января 1940 года и прожила с Бранко всего двадцать месяцев. После его смерти мое горе было так велико, что я хотела покончить с собой. Но затем, чтобы выполнить его желание, полно-

стью отдалась воспитанию нашего единственного сына. Пусть будет таким, как отец: честным, искренним, душевным, умным, храбрым.

Дело Зорге в Японии стали оценивать правильно, когда поняли, за что он боролся. Слезы радости выступают на глазах, когда вспоминаю слова мужа: «Мы боремся за мир. Сейчас стремимся к тому, чтобы не было войны между Японией и СССР». Я без колебания поклялась, что во всем буду следовать за ним. Вы спрашиваете, какой день в моей жизни самый счастливый? Я хорошо помню тот день. Бранко вернулся вечером и сказал: «Наш брак признали официально. Наши советские друзья поздравляют нас!..» Когда фашисты напали на Югославию, Бранко рвался на родину. Он хотел участвовать в партизанской борьбе».

Хироси учится на родине отца — в Югославии, в аспирантуре при Белградском университете. До аспирантуры он занимался на экономическом отделении юридического факультета Токийского университета. У Хироси есть югославское имя: в Белграде его зовут Лавославом. Сейчас ему 24 года. Мать и сын недавно навестили родных Бранко Вукелича, которые живут в Сибири.

...После казни Рихард Зорге тайно был похоронен на токийском кладбище Тама. Кладбище знаменито тем, что здесь покоятся останки сотен бойцов-антифашистов. Дом, в котором проживал Зорге, полиция сожгла: пусть ничто не напоминает о советском разведчике! После войны друзьям Зорге пришлось провести тщательные розыски, чтобы найти его тело. Останки героя обнаружили в одной из братских могил. «Рамзая» опознали по вставным золотым зубам и огромным ботинкам; имелись и другие приметы: например, всем было известно, что у Зорге одна нога короче другой — следствие давнего тяжелого ранения.

В 1956 году, то есть двенадцать лет спустя после казни, над могилой Зорге друзья установили памятник — гранитную плиту с надписью:

РИХАРД ЗОРГЕ 1895—1944
--

На другой стороне плиты высечены слова:

Здесь покоится герой, который отдал свою жизнь в битве против войны, за мир во всем мире. Родился в Баку в 1895 году, приехал в Японию в 1933 году, был арестован в 1941 году, казнен 7 ноября 1944 года.

В июне 1965 года мы встречались также с верным другом и помощником Зорге японкой Исии Ханako. В Японии широко известны ее книги. «Человек — Зорге» и «Все о встречах с человеком по имени Зорге».

Когда потребовались деньги на сооружение памятника над могилой Зорге, Исии внесла в общий фонд свой гонорар, полученный за книги.

Исии Ханako пятьдесят четыре года. Живет она в Токио. Ее давней мечтой было увидеть родину Зорге — Советский Союз. Эта мечта исполнилась. Да, она увидела Москву. В глубокой печали и задумчивости шла она по улице имени Зорге. Ее друг стал как бы неотъемлемой частицей великого города — и в этом торжество его благородного дела.

«Зорге был человеком особого душевного благородства, — сказала Исии Ханako. — Он всегда проявлял заботу о других и мало заботился о себе. Он хотел мира для всех людей. Я это знаю, знаю...»

Исии — не только артистка, певица, но и талантливый скульптор. Своими руками она изваяла бюст Рихарда Зорге. Этот бюст стоит в ее квартире.

Исии мечтает воздвигнуть со временем над могилой своего друга большой памятник.

На могиле советского разведчика всегда цветы: их приносят простые люди Японии, студенты, друзья Зорге. Память о нем не умирает в Японии.

Рядом с могилой Зорге — обелиск с именами Одзак, Вукелича, Мияги. На могилу Одзак Ходзуми часто приходит жена Одзак — Эйко. Иногда из Йокогамы приезжает сюда дочь Йоко — сейчас она преподаватель йокогамского института.

Беспримерный подвиг советских разведчиков изумил мир. Но о самом подвиге узнали не сразу. В Японии о судебном процессе по делу организации Зорге не писали, только краткое упоминание было сделано в печати в мае 1942 года. В сообщении японская контрразведка пыталась связать членов организации с японской компартией, с Коминтерном, дабы лишний раз в глазах общественности оправдать свое участие в преступном «антикоминтерновском пакте». Однако материалы следствия целиком изобличают миф о причастности организации к Коминтерну, о ее связях с японской компартией. Подлинники некоторых документов, относящихся к процессу, исчезли

во время пожара в министерстве юстиции в 1944 году. Все важнейшие документы, связанные с делом организации, в 1945 году прибрала к рукам американская разведка.

Американская секретная служба штаба дальневосточного командования, завладев материалами, в течение ряда лет кропотливо их изучала, надеясь разгадать тайну советской разведки, понять побудительные мотивы действия Зорге и его товарищей.

Разгадать тайну не удалось. Орешек оказался не по зубам. Оставалось лишь лицемерно восхищаться: «Вероятно, никогда в истории не существовало столь смелой и столь успешной организации...»

Деятелей империалистических разведок, привыкших опираться на морально разложившихся перерожденцев, убийц и диверсантов, поставило в тупик бескорыстие Зорге и его товарищей, их мужество и самоотверженность. Американская разведка, содержащая на службе, по сообщению хорошо осведомленного журнала «Ньюсуик», сто тысяч человек, построена на подкупе, вероломстве, интригах. Здесь все продается и покупается, здесь тоже каждый старается сделать свой бизнес. Ни для кого не секрет, что американское правительство расходует в общей сложности на разведку и подрывную деятельность против стран социалистического лагеря три миллиарда долларов в год. В этот же диверсионный фонд щедро течет золотой поток от фирм Дюпона, Меллона и других. Создатель Центрального разведывательного управления Гарри Трумен в свое время цинично признал, что ЦРУ «в глазах многих превратилось в символ коварства и тайнственных интриг за границей».

Зорге и его соратники никогда не прибегали к насилию, шантажу, подкупу, диверсиям и другим черным приемам разведок империалистических держав. Врагам социалистического государства они противопоставили аналитический ум, творчество, изобретательность, твердую дисциплину и безукоризненную конспирацию.

Во главе организации стоял не «рыцарь плаща и кинжала», а мыслитель, человек, беспредельно преданный Коммунистической партии и Родине, борец с фашизмом, бесстрашный борец за мир во всем мире, подлинный гуманист, отличный дипломат и тонкий политик, общественный деятель большого масштаба. Потому-то Рихард Зорге стал символом мужества и бескорыстного служения сво-

ему народу, прогрессивному человечеству всего мира.

Организация Зорге вела смертельную борьбу с поджигателями войны, она защищала социалистическое государство. В этом величие ее подвига. Зорге сумел сплотить в монолитный коллектив людей доброй воли, долгие годы был не только их руководителем, но также идейным наставником и воспитателем. Он собрал вокруг себя истинных гуманистов, испытанных бойцов против фашизма и милитаризма. Дело защиты Советского Союза стало также делом японских патриотов. Нет, не за деньги и награды рисковали они своими жизнями. Даже американцы вынуждены были признать: «Это успешное достижение практически ничего не стоило Советскому Союзу. Они даже пытались сократить свои расходы и в 1940 году приказали, чтобы часть доходов от Клаузена шла в организацию... Одзаки, например, никогда не получал ни гроша для себя и фактически терпел убытки. Конечно, та информация, которую Зорге отправил после 22 июня 1941 года, помогла сэкономить Советскому Союзу много миллионов долларов. Так как это имело большое влияние на развертывание советских войск и, следовательно, на приостановление немцев в самый критический момент войны, то их общая стоимость неисчислима».

Как видим, все подсчитано с бухгалтерской скрупулезностью. Разумеется, Клаузену никто не приказывал отчислять скромные доходы от мастерской в фонд организации. В том не было необходимости. А если бы потребовалось, Клаузен, не задумываясь, отдал бы все, вплоть до жизни. И Одзаки меньше всего размышлял над тем, какие он терпит убытки, ставя под угрозу собственную жизнь и благополучие горячо любимой семьи.

Не деньги, а более могучая сила руководила всеми их помыслами и действиями: идеи марксизма-ленинизма, высокий интернациональный долг. Этого-то как раз и не понять никогда представителям империалистических разведок.

Буржуазные историографы и писатели, фальсификаторы всех мастей, узнав о подвиге Рихарда Зорге, сразу же подняли сенсационную шумиху. Беспрецедентный случай в истории разведок всего мира! Померк ореол душителя народов Ближнего Востока и Африки Лоуренса, закатил-

лась звезда Мата Хари... За короткий срок книжный рынок был наводнен сенсационно-детективными книжонками, брошюрками, в которых до неузнаваемости искажался образ Зорге.

Фальсификаторов меньше всего интересовала истина. Одни из них историю Зорге решили использовать в целях антикоммунистической пропаганды. Отважный советский разведчик наделялся чертами, совершенно не присущими ему, представлялся таким хладнокровным злодеем, бесшабашным гулякой и донжуаном, шантажом и насилием, подкупам заставляющим работать на себя. Был пущен в ход весь нехитрый набор бульварно-детективной литературы: нагромождение ужасов, любовных похождений, взламывание сейфов, похищения и предательство.

Более изощренные поняли, что на эту неумную приманку никого не поймаешь. Они пошли по другому пути: нужно всячески принизить роль советского народа в Великой Отечественной войне, выставить Зорге героем-одиночкой, чуть ли не спасителем Советского Союза, гиперболизировать его подвиг. Фальсификаторы этого толка не скупились на похвалы Зорге, называя его разведчиком века, разведчиком-идеалистом, разведчиком-фанатиком.

Похвала в устах врага всегда дурно пахнет.

Сам Рихард Зорге более скромно оценивал заслуги организации перед Советским государством. Великолепный диалектик, истинный коммунист, он хорошо понимал, что историю вершат не личности, а народы. Своевременная информация, предупреждение могут повлиять на течение войны, сократить жертвы, но исход войны в конечном итоге решают организованная сила народа, моральный и военный потенциал страны. Информация, которую посылал в Центр Зорге, носила действенный характер: благодаря этой информации Советское правительство всегда было в курсе того, как развиваются германо-японские отношения, с какой стороны Советскому Союзу грозит наибольшая опасность. Трудно перечислить все сделанное организацией Зорге в этом направлении. Но Зорге отдавал себе отчет в том, что сведения, добытые им, являются лишь некой долей в общей копилке советской разведки. Велика или мала эта доля, он не мог судить; он работал не ради славы и считал себя рядовым труженником военной разведки.

Подвиг Рихарда Зорге и его товарищей не нуждается в преувеличении, он значителен сам по себе.

Очутившись в стране, в которой он никогда до этого не был, Зорге, несмотря на крайнюю подозрительность японской полиции к иностранцам, в условиях беспрестанной слежки, а также контроля со стороны гестаповцев, обосновавшихся в германском посольстве, сумел развернуть успешную разведывательную деятельность, создать разветвленную организацию, заставить работать на нее «мозговые тресты» Японии и Германии, охватить все области жизни этих стран. И хотя территориально организация находилась в Японии, острие ее деятельности было направлено против фашистской Германии. Информация о Японии носила превентивный характер: Зорге следил, как развиваются германо-японские отношения и существуют ли в связи с этим опасность нападения милитаристской Японии на дальневосточные границы Советского Союза.

Прогрессивные люди Японии отлично разобрались во всем, дали справедливую, объективную оценку деятельности организации Зорге. Современный японский историк Фудзивара Акира пишет: «В обстановке международной политики того времени Зорге и его товарищи решали наиболее трудную задачу — как практически осуществить борьбу за мир, и с высоким героизмом отдались деятельности, которую рассматривали как самую важную для интересов человечества». (Японский исторический журнал «Рэкисигаку Кэнкю», № 4 за 1963 год.)

В Японии интерес к подвигу Зорге и его соратников велик и не затухает с годами. В Токио в 1962 году был выпущен трехтомник, включающий основные материалы судебного процесса над организацией Зорге; дальний родственник Одзаки по линии отца — Одзаки Хоцуки написал книгу, посвященную героям; в журналах и газетах печатаются воспоминания жены Вукелича Иосико Ямасаки и людей, близко знавших Одзаки и Мияги; огромными тиражами переиздаются посмертная книга Одзаки Ходзуми «Любовь, подобная падающей звезде» и записки Иппи Ханако.

Организация Зорге внесла свой посильный вклад в общее дело разгрома врага всего человечества — германского фашизма.

Потому-то во всех уголках земного шара не угасает с годами интерес к личности Зорге и его делам.

Кто вы, доктор Зорге?..

Рихард Зорге сам ответил на этот вопрос. Ответ предельно лаконичен: «Я — коммунист!» Этим, по сути, сказано все. На пороге смерти отважный разведчик, как нам уже известно, торопился ответить именно на один-единственный вопрос: «Почему я стал коммунистом?» Самое главное, самое важное, что он хотел донести до нас, до всех людей доброй воли: Зорге был и остался до последнего мгновения коммунистом! Он умер за великую идею. Его воспитала Коммунистическая партия, он был сыном партии и все свои дела оцепивал как задание партии. Да, он пожертвовал всем: личным счастьем, всеми радостями спокойного бытия, карьерой ученого и самой жизнью. Но он знал более высокое счастье: служение своей Родине!

«Правда», посвящая страницы памяти Зорге, 6 ноября 1964 года писала: «Только через двадцать лет сложились условия, позволяющие рассказать правду о Зорге. По достоинству оценены его выдающиеся заслуги перед Родиной, его мужество и героизм. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1964 года товарищу Рихарду Зорге посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Люди доброй воли с великой благодарностью вспоминают коммуниста-интернационалиста, пламенного антифашиста и борца за мир — советского разведчика Рихарда Зорге».

Подвиг во имя высоких идеалов не может исчезнуть бесследно, перед ним бессильно даже само время. Подвиг военного разведчика Рихарда Зорге получил признание всего советского народа. Пожалуй, не найдешь в нашей огромной стране человека, которому не было бы известно о героических делах Зорге. Его подвиг нашел горячий отклик в сердцах и мыслях советских людей.

Рихард Зорге! Ика Зонтер... Он прожил удивительную жизнь. Он родился в России, рос в Германии; был солдатом и шахтером; принимал участие в революции; сделался революционером-профессионалом, редактировал партийную газету; стал доктором государственно-правовых наук. Он исколесил Голландию, Италию, Швейцарию, Швецию, Китай, побывал в Америке и Канаде; над его головой шумели криптомерии Японии и пальмы Гонконга. Но сердце его принадлежало Родине — Советскому Союзу, Москве... Он сам избрал свой тяжелый путь разведчика,

так как его кипучая натура не мирилась со злом и требовала немедленного действия.

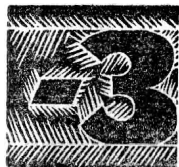
Мы сроднились с ним, и нам легче представить Рихарда неторопливо идущим по Арбату, среди нас, чем там — на Гинзадори, под изогнутыми черепичными крышами страны Ямато, в аллеях парков Уэно и Хибия, ибо он воплотил в своей личности многие наши идеалы. Его жизнь была соткана из приключений. Но самое главное из них — это приключение интеллекта, поединок разума с силами тьмы, и из этого поединка Зорге вышел победителем.

Он не привык склонять свою гордую голову перед врагами и не склонил ее до конца. Мы знаем: в последние минуты, когда уже не было ни солнца, ни синего неба, он мысленно был с нами.

Он идет, высокий красивый человек с добрыми внимательными глазами мыслителя и спокойной улыбкой мудреца, идет по земле, переходя из города в город, из селения в селение: это бессмертная слава коммуниста, Героя Советского Союза Рихарда Зорге шагает по планете.



Рассказы разных лет



пачит, в отпуск, товарищ инженер-подполковник?..

Всегда строгий и жесткий, со сжатым ртом и резкими складками у губ, инженер-подполковник Алексашиц после этого вопроса неожиданно улыбнулся, добродушно сощурился. Складки на лбу разгладились, в глазах появился незнакомый теплый блеск. Казалось, что в его суровую душу ворвалось что-то непривычно-нежное, трогательно-беззащитное. И всем при взгляде на него захотелось улыбнуться.

— Да, братцы, в отпуск, — сказал он весело. — Вот получу в штабе документы — и завтра ту-ту!..

Он попрощался с матросами, пожал каждому руку и уже перед самым уходом добавил почти официально:

— Вернусь, еще раз проверю, как усвоили схему.

От полигона до штаба было не больше двух километров. Но сейчас это расстояние показалось Алексашину необыкновенно длинным. Песок осыпался, засасывал ботинки, высохший упругий вереск хлестал по ногам. Пот ручьями стекал со щек, заползал за воротник кителя, сердце вот-вот готово было выскочить из груди. С каждым годом все труднее и труднее становится подниматься на дюны. Особенно тяжело теперь, когда торопишься, срезаешь углы, ломишься напрямик. Песчинки набились в обувь, натирают, жгут ступни. До одинокой черной ольхи шагов триста — четырехста, не больше, а дальше — косогор, за косогором — штаб. Восьмой час. Должно быть, все уже разошлись на отдых. Хорошо, если догадались оставить документы у дежурного... Хотелось бы сегодня же отправиться в город, взять билет. Поезд отходит рано утром. Нельзя терять целые сутки...

Инженер-подполковник Алексашиц почти никогда не терял самообладания, и потому друзья то ли в шутку,

то ли всерьез называли его человеком без нервов. Вернесс, когда он оставался один на один с боевой миной, которую следовало разоружить, то не бледнел, не терялся, пальцы его не вздрагивали; он почти с флегматичным видом брал тяжелые бронзовые ключи и хладнокровно припирался за свое опасное дело. Он разоружил почти две тысячи самых различных мин и при этом ни разу не выказал слабости, малодушия, ни разу не изменился в лице.

А теперь вот выдержка покинула его. Хотелось как можно быстрее получить проездные документы, отпускной билет.

Да, да, завтра поезд помчит его в родные края, к семье, с которой он не видался вот уже год. Подарки уложены в чемодан: жене — вязаная безрукавка, разрисованная яркими красно-синими узорами, дочери — костюм, а сыну — крепкие ботинки и целая куча игрушек.

Всего лишь год... Кажется, немного. Но только сейчас, когда этот год, наполненный бесконечной тревогой и почти невероятным нервным напряжением, напряжением изо дня в день, прошел, Сергей Алексашин почувствовал, что устал, бесконечно устал. Он мог бы назвать каждую мину, которую обезвредил вот этими руками. А их было так много, так много... И каждая таила хитроумные ловушки, грозила смертью, требовала предельной осторожности.

Хорошо, что все позади. Через несколько минут отпускной билет будет у него в кармане. Дорогие ребята-шпечки уже ждут его, гадают, какие подарки он привезет. Целый месяц не нужно будет сжимать волю в комок, можно просто лежать на траве, смотреть в голубое небо, читать увлекательные книги, думать...

Он так истосковался по семье и так ждал этого отпуска...

Алексашин ускорил шаги. Дымно-спылые тучи опустились низко-низко, почти цеплялись космами за дюны. Городок открылся сразу же за бугром. В переулочек тянуло туманом и сыростью.

В штабе высокий смуглый капитан-лейтенант с холодно-безразличным выражением лица поднялся Алексашину навстречу, сказал скучным будничным голосом:

— Ваши проездные документы начальство не подписало, товарищ инженер-подполковник.

Алексашин ничего не понял, бросил удивленный взгляд на капитан-лейтенанта:

— Почему не подписало?

Капитан-лейтенант пожал плечами:

— Начальник просил вас зайти к нему в кабинет. А вообще-то, как я слышал, водолазы сегодня подняли магнитную мину. Так вот, я думаю...

Алексашин не стал слушать до конца и, резко хлопнув дверью, вышел из комнаты. Он понял все. И нужно же было водолазам именно сегодня нащупать эту мину и поднять ее!..

В кабинете начальника он узнал обо всем более подробно. Да, водолазы утром подняли с илистого дна реки магнитную мину и доставили ее на понтоне на берег. Нащупали ее почти у судоремонтного завода. Старшему офицеру минно-торпедного отдела инженер-подполковнику Алексашину надлежит завтра же обезвредить мину, изучить ее...

Вот так всегда: если стремишься к чему-нибудь всем сердцем, всеми помыслами, на твоем пути возникают тысячи препятствий. С дней войны лежала мина, зарывшись в ил. Она могла бы пролежать еще месяц, может быть, год. Но ее нашли почему-то сегодня...

Потускневший, снявший вышел Алексашин из штаба.

Быстро стемнело. Из серых низких туч сочился мелкий холодный дождь. На западе желто догорал закат. Постояв темного на углу уллицы, Алексашин медленно побрел к морю. Ему не хотелось возвращаться в свою комнату, где, кроме голых стен, железной кровати, стола и стула, ничего не было.

Широкий берег был пуст. Редкие деревья тревожно трепались по ветру. Совсем рядом гулко шумело спокойное море.

Алексашин уселся на мокрое бревно, вытянул ноги и, глядя на воду, раскурил трубку. Обычно он любил такую погоду здесь, на Балтике: можно посидеть в полном одиночестве, собраться с мыслями. А сейчас ему особенно хотелось побыть одному.

Что, собственно говоря, случилось?.. Задержка на день, на два. И только. Завтра он разделяется с этой миной и вновь будет свободен от дел. На кого же еще начальство могло возложить эту работу? Мину следует немедленно разоружить!.. Гораздо хуже было бы, если бы она

всплыла на фарватере реки, где так и кишат катера. В конце концов это не первая его мина и не последняя...

И все-таки какое-то смутное беспокойство завладело им. Почему нервы взвинчены до предела? Предчувствие?.. Но он не верит ни в какие предчувствия. Просто он немного расстроен. Нужно успокоиться, не поддаваться минутной слабости. Все будет хорошо. Важно как следует выспаться, отдохнуть...

Трубка давно уже погасла, но инженер-подполковник не заметил этого. Им овладела легкая грусть. Он думал о своей беспокойной жизни. Он, по сути, мало жил со своей семьей. Годы войны... Затем разные обстоятельства часто разлучали их. Вот и теперь не может взять семью сюда.

Молодость... Она уже давно прошла. На висках — заметная седина...

А в прожитой жизни лишь сотый апрель есть...

Да, была и весна, и черемуха. Надежды, мечты. Как у всякого человека. Черемуха отцвела, а он и не заметил...

Жена имеет довольно смутное представление о его работе, она даже не подозревает, какой опасности он подвергается каждый раз. А ему кажется, что самое главное еще впереди. Еще так много не сделано... основные замыслы еще ждут своего решения.

Ну а если эта мина окажется последней?.. Даже такую возможность нельзя исключать. Люди его профессии ошибаются всего один раз...

Но он отогнал эти мрачные мысли, поднялся и направился домой. Скептически окинул взглядом свое скромное жилище: придвинутый к самому окну канцелярский стол, на столе — лампа с зеленым абажуром, в беспорядке разбросанные брошюры, схемы, цветные карандаши. На подоконнике одинокий кактус, ядовито-зеленый с рыжими колючками. Кровать заправлена наспех, твердая как камень подушка съехала на край. Все временное, кое-как... И так — давно, с самого начала... «Нужно купить настенный коврик с оленями, — подумал он. — А впрочем, на кой черт!..»

Раскрыл чемодан, долго смотрел на детские игрушки. Зайцы, медведи, заводные автомашины. Пушистые уточки. Потом погасил лампу. Сон долго не шел. И когда наконец он забылся тяжелым сном, ему привиделся боль-

шой цветистый луг и бабочки, порхающие в ясном небе...

...В этот утренний час берег казался особенно пустынным. Вокруг не было ни кустика, ни былинки. Угрюмая тишина висела над неподвижными коричневыми водами и невысокими дюнами. Лишь изредка мелькало серое крыло чайки. Далеко за рекой сквозь легкий туман виднелись башни и шпили города. Еще горели огни в зданиях судоремонтного завода. Город пробуждался к жизни, а здесь, на плоском песчаном берегу, будто все вымерло. Ну звука, ни шелеста...

Вот из-за песчаного бугра показался Алексашия. Он остановился, перевел дух и зашагал к черному предмету, лежащему на берегу. Видимо, этот предмет, вернее, огромный черный ящик, тускло поблескивающий от росы, привлекал его внимание.

— Велик ларчик! — проговорил Алексашия одобрительно. — Посмотрим, как он открывается...

Инженер-подполковник был свеж и бодр. Сейчас все вчерашние сомнения казались ему смешными. Он вновь был в привычной атмосфере. Вот она, магнитная мина! Черная, угловатая, молчаливо-зловещая...

Алексашия снова остановился, снял фуражку, китель, положил все это на песок и, вооружившись двумя ключами, решительно направился к мине. Сейчас он забыл обо всем на свете. Только этот черный ящик интересовал его. Он больше не думал об опасности, ибо есть нечто более сильное, чем чувство страха, — это желание проникнуть в тайны вещей. Еще одна загадка... В магнитных минах всегда обнаруживается какой-нибудь фокус...

Знакомое ощущение душевной собранности охватило его. Где-то бурлит, бушует жизнь. Но на пустынном берегу только черный ящик и сухощавый человек с плотно сжатыми губами. Все будет зависеть от выдержки и хладнокровия человека...

А в это время за песчаным бугром у санитарной машины стояла группа моряков. Офицер наблюдения, молодой лейтенант, поднял бинокль, слегка поблелел и громко скомандовал:

— Ложись!

Все залегли. Лишь лейтенант, не отрывая глаз от бинокля, обеспокоенно следил за каждым движением Алексашина. Лейтенант совсем недавно пришел из училища,

о войне знал понаслышке и из учебников. И теперь ему казалось немного странным, что в мирные дни там, на плоском берегу, происходит своеобразный поединок человека со смертью, с настоящей смертью... Ведь мина в любой момент может взорваться! Кто может разгадать все ловушки, скрытые в ней?.. Лейтенанту было явно не по себе, он даже закусил губу, чтобы не выдать волнения.

...Алексашин быстро отвернул крышку запального стакана. Оставалось штангой вынуть сам стакан. Но стакан будто прирос к корпусу мины. Все попытки вытащить его были безрезультатными.

— Да лезь же ты, проклятуший!.. — проворчал инженер-подполковник. Стакан не поддавался. Глухое раздражение закипело в груди Алексашина. Сейчас запальный стакан казался ему одушевленным предметом, полным упорного сопротивления. Есть же такие противные вещи! Смешно говорить, но в эту минуту он проникся самой настоящей ненавистью к неподатливому стакану.

Алексашин сцепил зубы и, не рассчитав усилий, нажал на штангу. Зацеп к запальному стакану оборвался, и инженер-подполковник, взмахнув руками, упал на песок.

Он проворно вскочил на ноги — и замер на месте. Что-то непривычное, какой-то новый звук заставил его насторожиться. Алексашин прислушался и почувствовал, как холодеют руки. Пот крупными каплями проступил на лбу. Сомнений быть не могло: он слышал равномерное, несколько приглушенное тиканье часового механизма мины. Мина ожила. В утробе огромного деревянного ящика почти в тонну весом, начиненного до отказа взрывчатым веществом, забилося сердце. Тик-так, тик-так...

Пот ручьями стекал с ладоней, а ноги словно примерзли к земле. Минута, может быть, две... Он даже не успел добежать до укрытия!

И как всегда в подобных случаях, мысль работала лихорадочно быстро. Постепенно самообладание вернулось к нему. Нельзя терять ни секунды! Отвернуть винты горловины, оборвать провода, идущие к запалу... А тревожный тикающий звук назойливо лез в уши. Вся мина — будто гигантские черные часы, отбивающие последние минуты жизни...

Он снова вооружился ключами и, собрав весь запас

энергии, принялся за дело. Каждое движение было строго рассчитано.

Сколько минут, часов прошло с тех пор, как заработал часовой механизм? Он не мог бы сказать. Возможно, полчаса, возможно, и больше...

Соленый пот застилал глаза. Солнце поднялось над доками, и река теперь блестела, словно алая ртуть. Алексашин то и дело тер шершавой ладонью гудящие виски. Он чувствовал, что выдыхается. Кисти рук мучительно ныли, взбугрившиеся мускулы дрожали от чрезмерной натуги. Ему хотелось повернуть горловину, но тяжелый двухсторонний ключ в двенадцать килограммов весом то и дело выскальзывал из ладоней. Содранная кожа на руках висела лохмотьями. Во рту было сухо.

Ему безумно захотелось закурить. Хотя раз затянуться горьковатым дымом!.. Он даже задрожал от возбуждения, представив себе, как раскуривает свою пахнущую табаком трубку. Но сейчас он не мог отвлекаться, не имел права терять ни единой секунды...

Алексашину казалось, что он работает довольно быстро. На самом же деле он едва удерживал ключ. Ног подгибались, разъезжались в стороны. Ему стоило огромных усилий сохранять равновесие. Все тело было налито свинцовой тяжестью. И все-таки пальцы держали ключ. Алексашин знал, что ни за что не выпустит ключ из воспаленных ладоней. Пальцы словно припаяны к бронзовой штанге...

Он никак не мог понять, почему в глазах появилась резь. Возможно, от нестерпимого блеска реки? Он закрыл глаза, но блеск не пропал. Замелькали цветные пятна. Что бы это могло быть?

Наконец он сообразил: «Это цветистый луг и порхающие бабочки. Как тогда во сне...» Ему грезился цветистый луг и ясное прохладное небо. Да, он лежит на траве и курит свою трубку. Можно лежать спокойно, следить за весело порхающими бабочками и думать, думать... Страшна не смерть. Нет. Страшно то, что не будешь больше думать. А ему так нужно довести до конца работу над одним изобретением! Кроме того, очень важно, чтобы его ребятишки получили подарки... Заводной заяц так смешно поводит ушами...

Голова его покоилась на спине, глаза были закрыты. Он больше не мог пошевелить ни рукой, ни ногой — все

силы были израсходованы. Но закоченевшие пальцы не выпускали бронзовую штангу. Если бы Алексашин даже захотел, то не смог бы разогнуть их. Это была мертвая хватка.

...На наблюдательном пункте уже давно заметили, что у мины творится что-то не совсем ладное.

— Что там происходит? — то и дело спрашивал врач и нервно потирал сухие жилистые руки.

Офицер наблюдения молчал. Он уже выкурил пачку папирос. Глаза устали от долгого зрительного напряжения. Что он мог ответить врачу? Он и сам не понимал, почему инженер-подполковник задерживается у мины. Пора бы ему закончить все...

Офицер наблюдения прошелся вдоль бугра, резко сказал сигнальщику:

— Передайте: отставить разоружение! Отойти в укрытие...

Сигнальщик заработал флажками. Но, по-видимому, Алексашин не замечал ничего. Врач поднялся с земли, подошел к лейтенанту:

— Как он там?

Лейтенант поморщился:

— Ложитесь. Прошу не отвлекать меня. И вообще, прошу... Это черт знает что такое! Сигнальщик! Красную ракету...

Ракета взвилась в блеклое небо. Красное облачко повисло над дюнами и постепенно растаяло. Неугомонный врач приподнялся, снова потер руки, спросил:

— Принял он наш сигнал?

Лейтенант вскинул к глазам бинокль. Его худая длинная фигура чуть согнулась. Краска постепенно сошла с лица, губы дрогнули.

— Инженер-подполковник, кажется, потерял сознание, — выговорил офицер глухо. — Что делать?..

Что делать? На этот вопрос вряд ли можно было сейчас ответить. Послать туда людей?.. Но неизвестно, что там случилось. Может быть, мина вот-вот взорвется. Оставить Алексашина у мины тоже нельзя.

— Я обязан быть там! — сурово сказал врач. — Мой долг!

Лейтенант опустил бинокль, бросил на врача быстрый взгляд, вздохнул облегченно:

— Инженер-подполковник очнулся. Нужно дать еще одну ракету.

...Алексашин с трудом стряхнул наползающий бред. Какое-то мгновение длилось его забытие, но этого оказалось достаточно, чтобы силы снова вернулись к нему. По телу прошел легкий озноб. Инженер-подполковник поднял голову, расправил плечи. Он не заметил и второй ракеты, так как слишком был занят делом.

Однако он все еще был очень слаб, чтобы справиться с крышкой. А эту крышку нужно было отвернуть во что бы то ни стало. Иначе никак не подберешься к проводам. Самое главное, самое важное — оборвать провода. От этого зависит жизнь, все...

В нем пробудилась неукротимая воля к сопротивлению, к жизни.

Он закрипел от ярости зубами, когда к горлу подступила противная тошнота, а в глазах снова потемнело.

Это, кажется, конец...

Совсем измочаленный, изнуренный, с потухшим взором, он опустил на песок рядом с пульсирующей черной миной.

«Даже такую возможность нельзя исключать...»

Сейчас грянет взрыв небывалой силы. Ведь в минах подобного рода заключено обычно восемьсот двадцать килограммов взрывчатого вещества, более сильного, чем тротил.

«Бороться, бороться, хоть нет на победу надежды...» Откуда эти строчки?..

Опираясь на штангу, он поднялся, прислонился к мине. Колени дрожали. Он подумал о том, что если бы и попытался спастись, то, наверное, и за час не доплелся бы до укрытия. Горькая улыбка исказила его рот. Он готов был заплакать от своей беспомощности и все же стал орудовать ключом, пытаясь отвернуть крышку.

И когда он уже совсем потерял надежду совладать с этой круглой, как блин, крышкой, она слетела.

Алексашин не поверил своим глазам, но раздумывать было некогда. Вот они, провода, идущие к запалу!.. Последнее усилие воли, последний прилив энергии...

Он разорвал толстые черные проводки и рухнул на песок.

...Алексашин лежал на мягком теплом песке. Он сознавал, что лежит здесь, на пустынном берегу, и в то же

время ему опять мерещился луг, усыпанный крупными желтыми, красными и фиолетовыми цветами. Только пестрые бабочки куда-то девались. А небо такое глубокое, бездонное...

Он вспомнил, что точно на таком же лугу лежал еще в детстве там, в Белоруссии. Прошли годы, стерлись из памяти лица людей, а вот этот луг остался...

Теперь можно лежать сколько угодно: ведь черная мина больше никому не грозит смертью. Пусть сплывут по реке катера. И в доках и на судоремонтном заводе люди могут работать спокойно.

Ну а он лишь выполнил свой долг, сделал то, что привык делать каждый день, из года в год. Но ведь наступит же когда-нибудь день — и последняя мина, это злое наследие войны, будет разоружена или взорвана...

Ему было просто хорошо лежать на теплом песке, ощущать каждой клеточкой существа бесконечный покой. Он не заметил, как подошли люди. Только сквозь сон услышал знакомый звонкий голос офицера наблюдения:

— Сгорел плавкий предохранитель без взрыва мины... Большая удача...

— Смотрите! У него на руках из пор выступила кровь. Это от нечеловеческого напряжения... — громко проговорил врач. — На носилки!..

Алексашин приподнял веки, слабо улыбнулся и сказал:

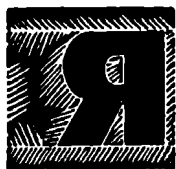
— А ларчик просто открывался...

...Через несколько дней друзья провожали его в отпуск. Уложены чемоданы на полку. Последние пожелания. Прощальный свисток паровоза.

Алексашин сидел у окна и смотрел, как убегают назад рощицы, домики с остроконечными крышами, телеграфные столбы. А в ушах перестук колес вагона.

Ну вот, все вышло так, как он и предполагал... Не велика важность, что пришлось задержаться еще на несколько дней. Ведь ничего от такой задержки не случилось... Не первая мина и не последняя... Только вот до сих пор болят мышцы рук и ног, а в остальном все хорошо.

Стоило ли так волноваться из-за двух-трех дней задержки!



слова вернулся в знакомые края. Вот оно, море — шумит, рокошет у прибрежных скал, обдаст меня крупными брызгами. Скалы еще покрыты снегом. От мыса к северу тянется черно-белая стена: острые конусы гор и лежащие между ними ослепительные снега. А в безграничной синей дали пушинками мелькают чайки и гагары...

Тогда была осень, и снега так же лежали на скалах. А сейчас весна. Синяя полярная весна... Солнце подолгу не сходит с небосклона, и как-то не верится, что совсем недавно здесь гудела метель. Тогда я был старшиной второй статьи, а теперь вот вернулся сюда капитан-лейтенантом. В морозном мареве виднеется корабль, на котором я буду служить. Тогда я мечтал о корабле, а сражаться приходилось на суше. Время было такое. Теперь вот мечта моя исполнилась... Но почему грусть не покидает меня все последние дни?.. Я брожу по берегу и вспоминаю, вспоминаю...

Поднимаюсь в горы, раздвигаю ногами упругие кусты сиверсии, срываю крупный золотистый цветок. Странное это растение — сиверсия: на земле еще только появляются проталины, а оно уже цветет. И не страшны ему ни вьюги, ни заморозки. Говорят, этот низкорослый кустарник живет почти сто пятьдесят лет!

Впрочем, я мало разбираюсь в ботанике и не знаю, как называются жесткие северные травы.

О сиверсии мне рассказывала Наташа Усольцева. Она знала толк в таких вещах, ведь Наташа любила природу и понимала ее. И хоть это было давно, двенадцать лет назад, я помню каждое слово, сказанное Наташей. Я узнаю круглый обомшелый камень, на котором мы любили сидеть перед тем, как пойти туда, в тыл противника... А вот там, за черной высоткой, находилась минометная батарея противника...

Я распахиваю китель и подставляю грудь свежему ветру, снимаю фуражку. Ветер рвет волосы, обжигает щеки. В нем особая сила, в этом северном ветре... Снова верится в необъятную широту жизни, в исполнение желаний, в мир необыкновенных, сильных людей. Будто сбросил я эти двенадцать лет и опять вернулось то юношески-задорное, что я считал навсегда утраченным. Словно каждый камень, каждая былинка шепчет: «Здравствуй, здравствуй!.. Мы рады тебе. Ведь ты опять вернулся сюда. А как же могло быть иначе?.. Здесь прошла твоя юность, трудная комсомольская юность. Рядом с тобой были твои друзья, настоящие друзья. И дружба ваша и ваша любовь были скреплены кровью. Разве все здесь не наполнено для тебя особым смыслом? Пройдись по тропе, и может быть, в твоих ушах снова зазвучит ее тихая печальная песенка:

А море шумит не смолкая.
Подруга моя, не забудь...

Да, тогда была осень. Помнишь, хлестал дождь и бушевал ветер? Но за три года в этих гранитных скалах вы свыклись и со снежными буранами, и с дождем, и с ветром. Величайшим злом вы считали минометную батарею противника и к ней не могли привыкнуть. Когда у самого блиндажа разрывалась мина, командир взвода Шевчук скрипел зубами от злости. Он морщил лоб, хмурился и сердито дергал рыжеватый ус.

— Позор нам, разведчикам, — говорил он в запальчивости. — Не можем выковырять какую-то паршивую батарею...

Но враг за три года прочно укрепился в скалах, и подобраться скрытно к батарее не было никакой возможности. С каким-то особым ожесточением в любую погоду, днем и ночью поливала батарея огнем ваши позиции. От осколка мины погиб помощник командира взвода Подковка. Все любили Подковку — веселого добродушного парня. Он обладал неистощимым юмором, умел подмечать смешные стороны суровой фронтовой жизни. Без него как-то опустел блиндаж, не стало слышно шуток, все приуныли.

Даже лейтенант Шевчук загрустил.

— Потеряли Подковку. По своей беспечности поте-

ряли, — говорил он с душевным надрывом. — Добрый был хлопец. И кто заменит его?..

Шевчук курил свою самодельную хрипящую трубку, болезненно щурил глаза, коричневые скулы его сухо блестели. Он тяжело переживал гибель помощника.

С некоторых пор все стали замечать, что на худом лице лейтенанта появилось совсем незнакомое выражение: то ли задумчивость, то ли недоумение. Он часто вздыхал, охал, бормотал что-то в усы, потом как-то после ужина собрал всех и с плохо скрываемым раздражением сказал:

— Стыдно мне смотреть на вас! Маскхалаты рваные, сами небритые. У Ячменева подметка проволокой прикручена. В блиндаже грязь!.. Тоже мне разведчики — носители воинской культуры! — И неожиданно повысил голос: — Сегодня же навести порядок! Распустились, заблагодушествовали. Хватит! Никаких поблажек. Вот погодите, придет мой новый помощник, он не потерпит подобного безобразия, зажмет вас в кулак...

Он еще долго страдал разведчиков новым помощником, недовольно ворчал и дергал свой ус. Все поняли, что лейтенант нервничает, чем-то обеспокоен. А нового помощника стали ждать со страхом: надраили все до блеска, пол землянки песочком посыпали, одежду и обувь отремонтировали.

Ты помнишь, конечно, тот день, необыкновенный день в твоей жизни?.. В то время тебя считали лучшим корректировщиком в бригаде, и эту славу свою ты берег пуще глаза. Бывало, чуть что: «Старшина второй статьи Ячменев! Берите рацию — и в тыл противника». Привычное дело. Ты каждый день неплохо справлялся со своим делом и очень гордился этим. Смысл жизни, пожалуй, и заключался в том, чтобы незаметно пробраться в тыл и навести огонь своих орудий на врага.

Но в тот день тебе не повезло...»

...Да, да, я помню тот день. Я помню каждую мелочь. Помню, как мы ползли с матросом Джумгаловым по мокрым скользким камням. От второй упаковки рации больно ныли плечи. На бугре сидела белая полярная сова и смотрела на нас круглыми бессмысленными глазами. Дрожали капли дождя на оголенных почерневших кустах. Мы замаскировались на высоте, спугнув птицу, и развернули радиостанцию. А потом стали корректировать

огонь наших батарей. Но почему-то не ладилось у нас в тот день.

— «Коршун», «Коршун»! Я — «Крокодил». Сектор «Н», прицел... буссоль... два снаряда — огонь!..

Опять перелет. Я даже тихонько ругнулся от возмущения:

— Эх ты, «Крокодил»!..

Чья-то властная рука выхватила у меня микрофон. От неожиданности я даже подскочил, повернулся и обомлел: на меня в упор смотрели большие девичьи глаза, черные, насмешливые и, я бы даже сказал, гневные. В груди у меня сразу как-то похолодело. Растерялся и слова вымолвить не могу. А рядом лейтенант Шевчук ус теребит, на меня с укоризной смотрит: эх ты, мол, лучший корректировщик! Опростоволочился...

А девушка в бушлате с погонями старшины первой статьи между тем передает данные управляющему огнем. Приглушенным раскатом грянул залп. Вижу, снаряды упали прямо на позиции врага. Вот как нужно корректировать огонь!.. Потом еще и еще... Посрамила она меня, лучшего корректировщика, перед лейтенантом посрамила. Можно сказать, уничтожила. Однако ни перед кем даже словом не обмолвилась о том, что произошло на высоте.

Так мы познакомились с Наташей Усольцевой...

И с тех пор что-то запало мне в сердце. Иду в разведку или огонь корректирую, а сам ее горячие гневные глаза вижу. Так обожгла она меня тогда взглядом — на всю жизнь запомнил. И еще запомнил ее руки — маленькие, узкие, почти детские. Откуда пришла она к нам? Знаю только, что до этого в институте училась — конспекты с собой по горному делу возила.

Чудно нам сперва показалось, что вместо Подковки эта девушка командует. Отвыкли мы за годы войны от женского голоса, огрубели малость. Война есть война. Лейтенант Шевчук сперва тоже смущение испытывал: иногда нужно резкое слово сказать, а тут приходится себя сдерживать, учтивые выражения подбирать. Очень это его сковывало.

Только она, наверное, секрет особый знала: быстро прибрала нас всех к рукам. Сама ставила задачу перед разведчиками, людей подбирала, сама в тыл ходила. Большой смелостью, дерзостью отличалась.

После одного совершенно невероятного случая я сов-

сем голову потерял. А было так. Отправились мы в разведку втроем: Усольцева, я и Джумгалов. Туман небольшой окутывал скалы. Вдруг слышим нерусскую речь. Егеря! Залегли. Шагах в тридцати от нас вражеские солдаты противотанковую пушку разворачивают. Лошадей выпрягли и собираются увести их под прикрытие.

— За мной! — это закричала Усольцева. И с пистолетом бросилась на солдат. Забросали мы их гранатами. Паника там поднялась невообразимая. Бросились кто куда — врассыпную. Наташа тем временем запрягла двух лошадей в противотанковое орудие, прицепила ящик с боезапасом, подобрала инструмент и погнала лошадок на нашу сторону.

Вернулись мы в блиндаж героями. Лишь лейтенант Шевчук чем-то был недоволен, строго сказал Наташе:

— Вы мне эти штучки бросьте! Это ухарство. Я за вашу жизнь перед начальством отвечаю...

А сам даже побелел от переживания. Но с тех пор большая перемена произошла в лейтенанте Шевчуке. Без Наташи он не принимал ни одного ответственного решения. И если мнения не сходились, случалось, уступал ей. Подобрел как-то лейтенант, на нас больше не покрикивал. Мечтательное выражение в глазах появилось. О чем он думал тогда, неизвестно. Обратишься к нему с вопросом, он взглянет рассеянно, усы разгладит, потом скажет негромко:

— А вы спросите у помощника. Она лучше моего в таких вещах разбирается...

Не знаю почему, но мне всегда казалось, что я имею какое-то право на ее особое внимание. Нет, это не самоуверенность. Слишком неприметным человеком я был тогда. Да и внешность у меня самая обыкновенная: лицо широкое, чуть скуластое, глаза серые, ничем не примечательные. Да и рост отнюдь не богатырский.

И все-таки мне казалось, что она как-то выделяет меня из всех. Идем в тыл — всегда берет меня. Самое трудное задание — опять же посылает меня. Словно испытать хочет, на что способен. А для меня все это как высшая награда: готов по малейшему ее знаку и в огонь, и в воду лезть. Голова кругом идет от переполняющих меня чувств. Смотрю в глаза ее черные, чуть насмешливые, а в груди теплая волна разливается. Вы скажете — любовь? Не знаю. Может быть, и любовь. Да только тогда

я об этом и думать не смел. Мне бы только слушать, слушать ее да видеть маленькие руки... А она поет вполголоса свою песенку. И тот голос негромкий, чуть грустный стал всюду меня преследовать...

Иногда она вела со мной длинные разговоры. Если время, конечно, позволяло. Усядемся, бывало, на камень, а она спрашивает:

— Вот вы, Ячменев, скажите, есть у вас завстная мечта?

— Так точно, — отвечаю. — Есть! На корабль перебраться бы... За это полжизни отдал бы. А о большем и мечтать не хочу. Помню, как наш «Разящий» тонул... Будто сердце мое из груди вынули. Много моих товарищей погибло. А меня едва живого из ледяной воды вытащили...

Она задумчиво смотрела на меня и говорила:

— Возможно, ваша мечта исполнится: ведь воевать осталось совсем недолго. Да, закончится война, и каждый из нас пойдет дорогой своей мечты. Корабль, море — это хорошо. Я тоже люблю море. В его беспредельности кроется что-то неразгаданное ни учеными, ни поэтами... Но больше всего я люблю землю. Люблю горы и березовые рощи. Особенно горы. Да и специальность у меня — горный инженер. С последнего курса института ушла сюда. Слышали вы что-нибудь о тоннелях? Скажем, способ подсводного разреза или центральной штольни... Или щитовой способ... Как это все далеко!.. Наш профессор Боярышников, сухонький седенький старичок, бывало, глянет строгими бесцветными глазами, а у меня — душа в пятки... Ведь я большая трусиха. Перед экзаменами ночей не спала. От прежней жизни лишь конспекты остались. Правда, осталось еще кое-что. Очень строгий у нас был военрук. Изучали винтовку, гранату, пулемет. А военное дело не любили, считали второстепенным предметом. Вот так и получается: то, что подчас считаешь второстепенным, оказывается самым главным, жизненно необходимым, смыслом всего...

Тот мир, о котором говорила Наташа, казался мне почти нереальным. Я даже представить ее не мог в легком платье, в туфлях на высоких каблуках. Мне казалось, что она всегда носила вот этот черный бушлат и кирзовые сапоги. Да и в этом наряде она была прекрасна, лучше всех других девушек, каких я знал...

Нет, тогда я не рассуждал о месте женщины на войне. Важно было то, что Наташа сразу же нашла место в сердце каждого из нас. Мы ее любили и оберегали. А она не берегла себя, выискивала для себя дело потрудней. И за это мы любили ее еще больше.

— Значит, вам хотелось бы уйти отсюда, перебраться на корабль? — спросила она.

Я кивнул головой.

— И вам не тяжело было бы расставаться со всеми своими друзьями?

Что-то незнакомое уловил я в ее голосе и покраснел от смущения. А она расхохоталась. И глаза ее словно говорили: «Никуда ты отсюда не уйдешь... даже если бы тебя отпустили. Я-то умнее и хитрее тебя и понимаю кое-что. Человеческая натура — сложная штука. Уйдешь на корабль — и все равно будет тянуть сюда, к этим суровым берегам. Ведь здесь начало твоей юности, твоей первой любви...»

Этот взгляд я истолковал гораздо позже, а тогда только смутился. Очень боялся, чтобы не узнала, что без нее жизнь мне — не в жизнь.

— Ну хорошо, — сказала она. — Море — это потом. А сейчас мне хотелось бы поделиться с вами кое-какими соображениями. Не кажется ли вам, Ячменев, что минометная батарея всем намозолила глаза? Даже командир пулеметной роты жаловался. Думается, пора с ней копать. И вот что пришло мне в голову...

И Наташа поделилась со мной своим дерзким замыслом. Теперь и мне становилось понятным, что только таким способом можно захватить батарею. Дня два ходили мы с заговорщическим видом, затем свой план Наташа доложила Шевчуку. Лейтенант оживился.

— Золотая голова у вас, Наталия Сергеевна, — впервые назвал он ее по имени и отчеству. — Замысел смелый. Думаю, командование не будет возражать. Вас, разумеется, придется оставить в блиндаже... Риск велик...

Лицо Наташи потемнело, глаза вспыхнули, она ударила кулаком по столу. Такой мне еще не приходилось ее видеть. И посыпались гневные слова. В конце концов Шевчук потерял выдержку, тоже стукнул кулаком по столу:

— Кто здесь командир взвода? Слишком много вы о себе воображаете. Прикажу сидеть в блиндаже — и будете сидеть!.. И вообще, приказы не обсуждаются...

А сам воротник кителя расстегнул — душно ему сделалось. Три дня они после этого не разговаривали и даже взглядами встречаться избегали. Мы, конечно, одобряли действия Шевчука, так как жалели Наташу. Все сделаем сами, только бы ей ничто не угрожало. А она ходила невеселая, даже веки покраснели от слез... Острыми зубами закусит губу и молчит.

И Шевчук не выдержал характер. Подошел к Наташе, сказал ледяным тоном:

— Командование утвердило план. Сегодня ночью выступаем. Пойдете в обход с Ячменевым и Джумгаловым...

Видели бы вы ее лицо в ту минуту! Она вся просияла, голос зазвенел, щеки покраснелись. В глубине зрачков чудесный огонек засветился. Тут-то по-настоящему я и узнал, какая она красивая да статная. Рассудок у меня помутился от любви к ней. Обрадовался, что вместе будем, а о том, чем все это может кончиться, даже не подумал. Не верилось как-то, что с ней что-нибудь плохое может случиться.

...Ночь выдалась дождливая, ветреная. Руки от холода стыли. Цепляясь за выступы, подталкивая друг друга, мы поднимались все выше и выше в горы. Свет ракеты иногда озарял наши лица, и мы припадали к камням, сливаясь с ними. Где-то слева шарил луч прожектора. Нас было трое в холодной каменистой пустыне. Когда я останавливался, Наташа сжимала мне руку теплой ладонью. Джумгалов замыкал шествие. Мускулы наши были напряжены до предела. Я меньше всего думал о смерти, об опасности в эти минуты. Все казалось легко осуществимым: ведь рядом была Наташа!..

Нагромождение валунов осталось позади. Совсем обессиленные, мы упали на землю. Дальше можно было пробираться только ползком. И то, что нам удалось незамеченными пробраться в тыл противника, казалось мне хорошим предзнаменованием. Лейтенант Шевчук с остальными, должно быть, уже вышел на северный склон высоты. Пора действовать!.. Наташа подняла руку: там враг! Мы поползли вперед. Вспыхнула ракета, и в ее неверном свете мы отчетливо увидели силуэты минометов и палатку, где, должно быть, размещались солдаты. А вот темная фигура часового...

Из-под ног Джумгалова вырвался камень и с шорохом

покатился вниз. Кровь ударила мне в виски. Часовой постоял, прислушался, потом снова зашагал по дорожке. У каждого из нас в руках были гранаты на боевом взводе.

— «Рубашки» не снимать! — шепнула Наташа.

Остальное я помню очень смутно. По знаку Наташи мы вскочили, забросали палатку и минометы грапатами. Откуда-то справа застрочил пулемет. Я догадался: полوشел лейтенант Шевчук с разведчиками. Мы сделали свое дело, пора было уходить!..

Да, да, мы стали отползать... Ущелье было наполнепо грохотом. Свет прожектора ударил в глаза. В сознание презался лишь этот ослепительный свет. И еще — запро-кинутая голова девушки у меня на руках. Волосы ее рас-трепались. Она застонала. Затем тихо, но явственню про-изнесла:

— Оставьте меня здесь... Все кончено...

Обезумев от горя, я прижал ее голову к своей груди. Я не замечал ледяного ветра, не слышал орудийного гула. Кажется, Джумгалов тряс меня за плечи.

Я очнулся, поднялся с земли, сжал в каждой руке по грапате и, тяжело ступая, медленно двинулся навстречу выстрелам. А в ушах звучали слова песенки:

А море шумит не смолкая...

И глаза ее, большие милые глаза, в которых всегда было что-то невысказанное, насмешливое и ласковое, печальное и зовущее, словно провожали меня в ту ветреную ночь на большие дела...

Нет, никогда я не забуду страшного озарения той ночи, не забуду простую русскую девушку в матросском бушлате. Она была среди нас, как тот золотистый цветок сиверсия, распустившийся на холодной северной земле в лютую непогоду.

Двенадцать лет... А как будто все это было лишь вчера. И песенка все еще звучит в ушах...

Я снова вернулся в знакомые места... Край мой любимый! Сердцем я всегда был с тобой, хоть и разделяли нас тысячи километров. Вот они, скалы и море! Из-под снега пробивается куропаточья трава. С призывными криками опускаются на воду птицы.

Полярная весна...

Мне казалось, что давно кончилась моя комсомольская юность, а сегодня я снова встретился с ней.



ногодневный тяжелый переход конвоя от Архангельска до маленького гористого полуострова, где в скалах укрепилась бригада, близился к концу.

«До базы часа два ходу, не больше...» — прикидывал в уме трюмный машинист Василий Виноградов. Он недолго любил это холодное пустынное море и всегда радовался, когда ощущал под ногами твердую ямлю. Пусть полуостров гол и неприютен, пусть его днем и ночью враг осыпает минами и снарядами. Но все-таки в теплой землянке в кругу друзей можно расслабленно сидеть за пахнущим свежим деревом столпком, не торопясь тянуть из жестяной кружки густой обжигающий чай, вспоминать с земляками свою далекую Сибирь, заросшие разлапистым ерником пади, маленький рудник, затерянный в тайге, где до войны работал экскаваторщиком.

А война привела земляков и сюда, за Полярный круг. Их было двое: Кешка Макухин, такой же экскаваторщик в прошлом, как и Василий, и даже с одного с ним рудника, и дядя Михеич, бывший лесник, человек уже не молодой, весь в веселых, по-домашнему уютных морщинах. Михеич с его чуть дребезжащим голосом, петоропливыми движениями всегда почему-то напоминал Василию отца. Батя работал на лесозаготовках. Огромная, метровой толщины, сосна, сгнившая на корню, не выдержав собственной тяжести, с грохотом рухнула и придавила старого Федота. Умер отец в страшных мучениях, не приходя в память. Василий остался с матерью.

Земляки часто получали письма из дому. Василию никто не писал. Мать была слишком стара и неграмотна, короткие весточки от нее приходили редко: все тот же корявый почерк инвалида Кузьмы...

А Кешке и Михеичу писали щедро: родственники, рудничные, с лесоразработок. Василий не раз ловил себя

на мысли, что его больше всего интересуют эти чужие письма. И те незнакомые люди с их заботами и маленькими радостями казались близкими, почти родными. Стоило взять в руки трехугольный конвертик, пахнущий хвоей, как перед глазами вставали пронизанные синим туманом распадки, волнистые отроги хребта, покрытые щетилистыми соснами и лиственницами, бревенчатые домики рудничного поселка. А если взобраться на самую высокую сопку, то дух захватит от необъятной голубой шири. Внизу раскинулся рудник. Отсюда, с высоты, карьер напоминает большую воронку. На уступах виднеются работающие экскаваторы, на верхних площадках — длинная вереница вагонов-самосвалов. Красноватая пыль висит над забойными путями, над экскаваторами. И приятней той пыли нет ничего на свете...

В прошлый раз Кешка как бы между прочим сказал:

— А Катя-то Твердохлебова техникум кончила: взрывниками теперь командует. Кто бы мог подумать! А тогда совсем неприметной девчушкой была: от горшка два вершка...

Сейчас старший матрос Виноградов стоял на верхней палубе у привода клапана затопления и поеживался от хлесткого ледяного ветра. Со стеклянным шелестом набегали крутые волны, тучи белесых брызг клубились в воздухе. Полушубок покрылся прозрачной коркой, мерзло ничем не защищенное лицо. Над головой трепыхались хлопья: небо горело зелеными, желтыми и красными, как остывающая с накала сталь, огнями.

И этот призрачный игольчатый свет, тихо переливающийся в бездонной вышине, и черное как деготь море — всхолмленная водная равнина без конца и края, неясные пепельно-серые силуэты транспортов, словно медленно плывущие айсберги, — все навевало неясную тоску, думы о тепле, о солнечных весенних днях.

Не впервой доводилось Василию совершать трудный переход от Архангельска до иззубренного скалами полуострова, и очень часто уже на подходе к базе его ставили сюда, у приводов.

Вахта трюмного машиниста на верхней палубе у привода клапана затопления носила даже несколько формальный характер, во всяком случае, так казалось Виноградову. По боевой тревоге он снимал запоры с головок, заключенных в палубные втулки, надевал на головки

торцовые ключи. Во время боя, в случае катастрофы, могло поступить приказание с мостика или от командира электромеханической части...

Но за девять дальних штормовых походов еще ни разу ничего особенного не случалось, если не считать стычек с подводными лодками противника, и «страшной» команды с мостика не поступало. Вот и теперь, кажется, все обошлось благополучно...

Да, через два часа, а то и раньше, они будут в базе. И пока разгружаются транспорты, а корабль стоит у стенки, Василий успеет побывать у Иннокентия и Михеича, будет пить с ними чай без сахара, узнает новости из гайги. О Кате Твердохлебовой Кешка упомянул в тот раз не случайно. Василий давно догадывался, что Макухин ведет переписку с девушкой, правда, еще не было случая, чтобы Кешка показал письмо от нее: скрытый, прижимистый варнак!

Катю Твердохлебову Василий знал хорошо. На руднике все парни ухаживали за ней. Объяснялся в любви и Кешка Макухин. После получки он покупал в рудничном ларьке яркие ленты, бусы, серьги. Но своенравная девушка наотрез отказывалась от подарков, всячески издевалась над незадачливым ухажером.

«Неприметная девчужка... от горшка два вершка...» — Василий невольно улыбнулся. За этими несколько пренебрежительными словами Иннокентий скрывал острую тоску по девичьей ласке, свои постоянные думы о Кате. Она никогда не отвечала ему взаимностью — это Василий знал наверное. И если теперь Катя переписывалась с Макухиным, то только как с земляком, ушедшим на фронт; а возможно, Кешка первый затеял переписку.

Василию припомнилась последняя весна перед войной. Однажды после смены он забрел в кедряч — в самый дкий, самый угрюмый уголок тайги. И здесь он, к своему удивлению, увидел Катю Твердохлебову. Девушка прерывисто дышала, вздымались маленькие груди, густой румянец заливал ее смуглые щеки.

— Ты чего здесь? — грубо спросил Василий. — Все меня выслеживаешь? Люди уже смеяться стали, проходу не дают...

— Вася... — в голосе девушки послышалась бесконечная грусть и мольба. А он стоял высокий, белокурый, пре-

зрительно-насмешливый и со злостью смотрел в ее большие печальные глаза, блестевшие от слез. Он тогда резко повернулся и торопливо зашагал к руднику.

Надоедливая, привязчивая девчонка!.. Она всюду его разыскивает, следует за ним по пятам, открыто ревнует ко всем рудничным девчатам и не хочет замечать, что Кешка Макухин высох от любви к ней.

И только здесь, на войне, Василий понял, что мимо него прошла большая, настоящая любовь. Странное дело: за последнее время он все чаще и чаще вспоминает цветущий багульник, дикий кедряч и тоненькую девушку с большими заплаканными глазами. Ему начинает казаться, что тогда он поступил глупо, очень глупо. Нет, не цужно было уходить — и все сложилось бы по-иному...

И уже не раз он подумывал, что нужно послать Кате письмо, попросить прощения и сказать, что всегда он любил ее, и только ее. Но ложная гордость до сих пор мешала ему исполнить задуманное.

...Самолеты появились внезапно. Их еще не было видно за облаками, но тревожное гудение все нарастало и нарастало, заполняя небо. «Юнкеры»!..» — определил по низкому звуку Василий и ощутил, как болезненно сжалось сердце; корабль показался неуклюжей незащитной посудиною, и негде укрыться от надвигающейся беды. Ветер да волны... Ветер да волны...

Матросы взлетали по металлическим трапам, торопливо занимали места у зенитных автоматов и орудий. Напряженные бледные лица, суженные глаза и внешнее спокойствие в каждом движении: почти флегматично снарядные подхватывают снаряды, замочные неторопливо вытаскивают из-за пояса запальные трубки. Волнуется только командир зенитной батареи лейтенант Трубилов: то и дело вскидывает бинокль, резко опускает, его, кусает потрескавшиеся от ветра губы.

Напряжение росло, взгляды всех были устремлены в небо. И вдруг, захлебываясь и перебивая друг друга, застучали автоматы. Что-то темное с воем пронеслось почти рядом, содрогнулся корпус корабля, мутный столб воды поднялся едва ли не до мостика, заломился, рухнул на палубу. Стуча от озноба зубами, Василий ползал по настилу, его мотало из стороны в сторону, в ушах стоял звон от неустанно бьющих орудий. Наконец он поднялся, отряхнулся, произвольно глянул вверх и застыл, пара-

лизованный страхом: прямо на корабль отвесно мчался «юнкерс», его черные крылья закрыли все видимое пространство над головой. Корабль рыскнул влево, но было уже поздно...

Раздался треск, Василий почувствовал, как палуба уходит из-под ног. Где-то в глубине корабля прокатился глухой гул. Трюмный машинист сидел, широко раскинув ноги, стирал рукавицей кровь с рассеченной щеки и пытался сообразить, что же произошло. Он не заметил, как подбежал командир трюмного поста старшина первой статьи Кривцов. Старшина едва переводил дыхание, густые брови его дергались.

— Бомба! — выкрикнул он. — Взорвалась рядом с артиллерийским погребом. Открывай клапана...

Василий вскочил как ошпаренный, рванулся к штоковому приводу и бессильно заскрежетал зубами: привод был разбит. А через вентиляционные раструбы уже выбивалось багрово-желтое пламя. Оно вырывалось со свистом, что-то булькало, бурлило в огнедышащих жерлах. Красноватый отблеск падал на встревоженное сухощавое лицо Кривцова.

Оба словно оцепенели, не могли отвести глаз от пышущих жаром раструбов. Вот выскочил бурый султан дыма, высоко поднялся над вспененным морем. А в недрах корабля, может быть уже в артиллерийском погребе, всюду бушует огонь, разливается по платформе, подбирается к стеллажам, набитым снарядами. Возможно, началось разложение пороха: не пройдет и десяти минут, как невиданной силы взрыв разнесет корабль.

Кривцов судорожно схватил трюмного машиниста за рукав и потащил к люку. Они скользили по трапам, натыкались в темноте на переборки, пробирались по коридорам и выгородкам и снова спускались в густой мрак. Снизу от накалившейся переборки артиллерийского погреба наплывали и наплывали волны горячего воздуха, обжигало ноздри, спирало дыхание. Старшина был поджар и юрок, Виноградов едва поспевал за ним; полушубок и ватные брюки стесняли движения. Спина покрылась терпкой испариной, в тело зудело, словно в него впились тысячи игл.

Загремела сталь. До ушей трюмного машиниста донесся стон.

— Товарищ старшина!..

— Ничего, — прокрихтел из темноты Кривцов. — Зашиб колено. Добирайся до мастерской, там проходит шток. А я доплетусь...

Раздумывать времени не было. Василий кубарем скатился на площадку. Здесь было невыносимо душно, едкий дым стлался слоями.

Стараясь не дышать, Василий побежал. Он бежал и ловил руками переборку, руки часто соскальзывали, и переборка уплывала куда-то в сторону. Где-то здесь должна быть дверь в мастерскую. Уж не проскочил ли он мимо? Нет, это вот тут. Именно тут. Он шарил в кромешной тьме и жалел, что не припас на подобный случай хотя бы коробку спичек. Он никогда не курил, и спички были ни к чему. А теперь вот от какой-то дрянной спички, может быть, зависит жизнь корабля, сотен людей.

Сдерживать дыхание больше не было сил, и он вдохнул полной грудью воздух, снова задергался в конвульсиях. Спазмы в горле отзывались острой болью. Наконец он нащупал дверь, толкнул ее ногой. Дверь не поддавалась. Тогда он понял: заперта! Мастерскую всегда закрывали на замок. Следовало с самого начала спуститься в другой отсек, где тоже проходит шток. Как это он не сообразил сразу? Теперь уже поздно, поздно...

Тупое безразличие постепенно овладевало им. Захотелось опуститься на паелы, хоть на мгновение обрести покой. Если бы не давила тошнота и не стучала кровь в виски...

Чтобы не упасть от головокружения, он уцепился за тяжелый замок и повис на нем. Словно обезумевший, рвал замок на себя, колотил ногами в дверь. Узкий коридор наполнился гулом. Это уже были не осмысленные действия, а слепая ярость человека, пришедшего в отчаяние. Рвать, крушить, биться головой, стучать кулаками в неподатливое железо. И все время его преследовало видение: пляшущие языки пламени, подбирающиеся к высоким ларям со снарядами, охваченное огнем основание башни.

Василий был сильным парнем. Еще там, на руднике, другие за смену выдыхались, а он, проработав день, как ни в чем не бывало шел копать огород или дотемна пилил дрова. Его силе завидовали многие, и особенно Кешка Макухин. Сейчас же он не мог совладать даже с этим замком.

Кто-то отстранил Василия. Звякнуло железо. Хриплый голос проговорил:

— Берись за ломик. Дернем вдвоем!

Трюмный машинист узнал старшину первой статьи Кривцова. Значит, все-таки доковылял! И оттого, что товарищ был здесь, рядом, у Василия стало легче на душе. Они взялись за концы железного прута и рванули его на себя. Замок слетел. Дверь раскрылась. В темноте и дыму они пробрались к штоку, отсоединили его, а потом, вращая руками, открыли клапан затопления.

Полузадохнувшийся, еле живой от усталости, Виноградов долго возился с шарниром. Старшина то и дело дергал его за рукав:

— А ну-ка, дай мне!

Василий не мог видеть его испачканного сажей, перекошенного от боли лица. Старшина скрипел зубами, подтаскивая руками волочащуюся зашибленную ногу; он боялся ступить на нее и все время прыгал около трюмного машиниста. Все-таки им удалось отсоединить шток. Напрягая последние силы, они оба ухватились за стальную трубку и повернули ее. Они все еще не верили, что все мучения кончились. Шток повернулся плавно, без сопротивления. Еще и еще... Клапан затопления был открыт. Они не слышали шума забортной воды, которая мощным фонтаном била из широкой трубы, растекалась по артиллерийскому погребу, но оба знали, что кораблю больше не угрожает взрыв. Что бы там ни случилось наверху, взрыва не будет!

— Ну а теперь обопритесь на меня, товарищ старшина, — сказал Василий, — будем выбираться отсюда...

— Здоров же ты, браток! — проговорил Кривцов удовлетворенно. — Одним словом, сибиряк! А я совсем заплошал...

...Василий стоял на верхней палубе, прислонившись к башне. Бой уже закончился, санитары перевязывали раненых. По-прежнему дрожало северное сияние и шеренги темных волн меланхолично набегали издалека. В небе все еще висел дымок, но вражеские самолеты исчезли. Каждый был занят своим делом, и никто не подошел к трюмному машинисту, не любопытствовал, где он был все это время. Да и так ли это важно? Важно, что уцелели транспорты и корабль. А еще очень хорошо, что он может стоять вот здесь на палубе и следить за вечной игрой

моря. Холодное море! Пустынное и штормовое, ледяное и неприветливое... И нет ничего прекраснее его беспокойного простора, его неизведанной глубины и суровости. Оно такое же необъятное, как тайга, и кто его полюбил однажды — не разлюбит никогда...

Когда Василий сошел на берег, он прежде всего разыскал своих земляков Иннокентия Макухина и Михеича. Разведчики только что вернулись с поиска, и рассказам не было конца. Все было так, как и представлял себе Василий: крутой горячий чай в жестяных кружках, уютно гудящая железная печка, широкие пары. А писем из тайги пришла целая куча! На экскаваторе Василия работает Петька Лыков (давно ли парнишка бегал в школу!). Только о Кате Твердохлебовой не было сказано ни слова.

После недолгой стоянки моряки собрались в обратный путь в Архангельск. У бревенчатой стенки, где стоял корабль, царило оживление. Пришел проститься с Василием и сержант Макухин. Приземистый, круглоголовый, он стиснул жилистой рукой ладонь трюмного машиниста, сказал с плохо скрываемой обидой:

— Ваши ребята рассказывали о твоём подвиге. Почему сам молчал?

Василий грустно улыбнулся, нахлобучил шапку на глаза Макухину:

— Брось, Кека, не терплю пустых слов. Как будто ты меня не знаешь. А ребята, известное дело, любят похвалить. Открыл клапан — велика невидаль...

Насупившийся Иннокентий сплюнул:

— Бахвал ты и есть бахвал. Все ему нипочем — тоже мне герой выискался! — И уже серьезно, с легкой печалью добавил: — А я сегодня утром Кате письмо отправил. И все пять страниц — о твоём подвиге. Давно с ней переписываемся, и каждый раз только о тебе и спрашивается. Любит, значит. До сих пор любит. Запал ты ей в сердце. А я молчал, скрывал от тебя те письма. Да, видно, не судьба мне...

Василий ничего не ответил. Только почувствовал, как его всего охватывает теплом, волнением до слез. И сразу же представилась бескрайняя тайга, глухие распадки, заросшие стлаником, и девушка в простом ситцевом платье, смуглая, тонкая, с большими любящими глазами. Как будто и не лежали между этим студеным морем и родным таежным рудником тысячи километров...

СОДЕРЖАНИЕ

Огонь, вода... <i>Повести</i>	
За огненными лесами	5
Пальмы в океан	117
Таким был Рихард Зорге	197
<i>Рассказы разных лет</i>	
На пределе	413
А море шумит не смолкая...	423
На крутой волне	432

Михаил Сергеевич Колесников

ЖИЗНЬ БЕЗ АПЛОДИСМЕНТОВ

Редактор *Н. Логинов*
Художник *О. Айзман*

Художественный редактор *Г. Гречихо*

Технический редактор *М. Калёнова*

Корректор *Р. Кащеева*

Г-42639	Сдано в набор 5.6.67.	Подписано к печати 15.11.67,
Формат 84×108 ¹ / ₁₆ .	Печ. л. 13 ³ / ₄ (Усл. печ. л. 22,55).	+ 1 вкл. Печ. л. ¹ / ₁₆
	(Усл. печ. л. 0,103)	Уч.-изд. л. 23,340
	Бумага типографская № 2	
	Тираж 100 000 экз.	

Изд. № 4/142

Заказ №19

Цены 83 коп.

Военное издательство Министерства обороны СССР

Москва, К-160

1-я типография Военного издательства

Москва, К-6, проезд Скворцова-Степанова, 3